

4

И О В Ъ И Ў
М У Р

И О В Ъ И Ў
М У Р

1963

4



1963

Н(О)ВЫИ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 4

Апрель, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЗА ИДЕЙНОСТЬ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ	3
Г. ТРОПОЛЬСКИЙ — В камышах. Из тетрадей охотника	11
М. ГАЛЛАЙ — Испытано в небе. Записки летчика-испытателя	50
КАРЛО КАЛАДЗЕ — А Прометей, сын наших гор..., Ночь во время сбора винограда. Фреска, Осень, Зимняя ночь в деревне, О, дня сиянье голубое... Стихи. С грузинского. Перевели Вл. Корнилов, Э. Котляр, Вл. Соколов	109
ЮРИЙ СМИРНОВ — Из первых стихов	115
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Я знаю ее, стихотворение	118
ХУАН ГОЙТИСОЛО — Чанка. Перевел с испанского А. Макаров	119
В. РАДКЕВИЧ — Трактористка, стихотворение	155
ПУБЛИЦИСТИКА	
НАЧАЛО ПУТИ. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1886 — 1893). Обзор составлен Б. Яковлевым	156
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. ОСИПОВ — Впереди — море	172
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
С. ИВАНОВ — Труд, техника, эстетика	186
А. КОНДРАТОВ — Люди и знаки	202
<i>К 80-летию со дня рождения Демьяна Бедного</i>	
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — «Писать правду жизни...» Публикация А. П. Антоненковой	216
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. ПОЛЯКОВА — После первой книги	221
Н. ГУДЗИЙ — Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»?	234
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
А. М. Горький в экспертной комиссии Наркомвнешторга. Публикация С. Белякова	247
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Тушнова. Зрелость таланта.— А. Берзер. Победил человек.— Владимир Огнев. «...Мой век — в стихе моем».— И. Соловьева. Материал и прием.— З. Файнбург. Желанное и трудное будущее.	251
<i>Политика и наука</i>	
Лев Разгон. Драгоценные находки.— Г. Анисимов, кандидат экономических наук. Важный принцип строительства коммунизма.— М. Васильев. Хорошее начало.— Ю. Моралевич, научный обозреватель АПН. Океан тысячи тайн.— В. Матвеев. Распространители отравы.	265
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
ПЕТР ПЕТРОВИЧ ВЕРШИГОРА	287

ЗА ИДЕЙНОСТЬ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

В 1905 году Владимир Ильич Ленин писал: «В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».

Опыт, накопленный советской литературой, советским искусством, убедительно показывает, что благодаря ленинскому принципу партийности были одержаны наши самые значительные художественные победы. Отражая жизнь, раскрывая характерные черты революционной эпохи, черты нового человека, советские писатели создали ряд поистине замечательных произведений, ввели в отечественную и мировую литературу новые образы, обогатили ее новыми художественными открытиями.

Как и предсказывал Владимир Ильич Ленин, литература и искусство стали у нас неразрывной частью общенародного дела. Советские писатели являются верными помощниками партии.

Это еще раз было отмечено на последних встречах руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. Непосредственным поводом для этих встреч явились некоторые тенденции в современном искусстве и литературе, тенденции, которые Центральный Комитет нашей партии по справедливости нашел необходимым подвергнуть критике. Но содержание этих встреч в целом намного шире и глубже. Это было развитием, дальнейшей конкретизацией ленинского понимания задач искусства и литературы, продолжением того, что уже высказано на прежних собеседованиях такого рода, освещалось в печати, формулировалось в партийных документах и что отражено в главном из них — в новой Программе партии.

Вновь и вновь здесь была подчеркнута особая роль литературы и искусства в советском обществе как могучей воспитательной силы, необходимость теснейшей связи их с жизнью, активного претворения новой действительности в образах искусства.

«В битве за коммунизм, которую мы ведем,— сказал Н. С. Хрущев,— важнейшее значение имеет воспитание всех людей в духе коммунистических идеалов. И это составляет главную задачу идеологической работы нашей партии в настоящее время. Нам надо привести в боевой порядок все виды идейного оружия партии, к числу которых принадлежит и такое мощное средство коммунистического воспитания, как литература и искусство».

Период развернутого строительства коммунизма в стране — это не только новые условия существования литературы, но и новая мера требовательности, предъявляемая к литературе народом.

Партия еще раз напомнила деятелям искусства и писателям:

«Нашему народу нужно боевое революционное искусство. Советская литература и искусство призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время строительства коммунизма, правдиво отобразить утверждение и победу новых, коммунистических отношений в нашей жизни. Художник должен уметь увидеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддержать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни» (Н. С. Хрущев).

Необъятен фронт коммунистических работ. Совсем недавно мы были свидетелями перекрытия могучего Енисея. Каждодневно свершаются и другие замечательные дела. И одновременно с этим идет глубинный процесс воспитания и формирования психологии нового человека, идет упорная борьба с пережитками капитализма и чуждыми влияниями в сознании людей, за упрочение коммунистических идеалов в сердцах и умах миллионов наших современников.

Отразить течение этого процесса, показать современника во весь его рост, помочь воспитанию нового человека — задача сложная и вместе с тем необычайно благодарная для художника.

Ясно, что решение этой задачи возможно только на путях социалистического реализма, воплощения правды жизни. Именно об этом говорят те строки Программы партии, в которых идет речь о необходимости укрепления связей литературы с жизнью, о правдивом и высокохудожественном отображении многообразия нашей действительности.

Отвечая на измышления о том, что социалистический реализм будто бы требует приукрашивания действительности, сглаживания противоречий, розового благодушия, мещанской самоуспокоенности, секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев сказал на встрече: «Нет, высший критерий, сердцевина социалистического реализма — жизненная правда, какой бы суровой она ни была, выраженная в художественных образах с позиций коммунистического мировоззрения».

Художественная правда не имеет ничего общего с унылым копированием действительности, когда художник, в сущности говоря, является не хозяином, а рабом жизненного материала. Писатель должен увидеть смысл факта или события, его значение и место в ряду других жизненных явлений. Только тогда конкретность изображения обретет глубину, идейную направленность и целеустремленность.

Бездумному описательству на первый взгляд противостоит ложно-романтическая манера письма. Но это только на первый взгляд. Словно бы не доверяя действительности, писатель начинает ее «приподнимать» в целях, так сказать, придания ей большей красоты и величия. Но в такого рода «приподнимании» наша героическая действительность несколько не нуждается.

Народ ждет от художников совершенных произведений. Создание таких произведений — дело нелегкое. Знание жизни, глубина постижения ее — решающая сторона мастерства. Чтобы правильно отобразить нашу современность, нужно находиться в гуще жизни, зорко вглядываться в жизнь народа, чутко улавливать и верно понимать новое.

И не отвращать взора от недостатков, от того, что мешает строительству коммунизма. Партия поддерживает здоровое, жизнеутверждающее критическое направление в искусстве социалистического реализма. В конце прошлого года была опубликована, например, повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Если бы нужно было доказывать широту взглядов Центрального Комитета нашей партии на литературу и искусство, то одного факта одобрения им этой повести было бы

более чем достаточно. Кстати, этот факт неопровержимо свидетельствует о полной несостоятельности враждебных нам толков о мнимых ограничениях и регламентациях, которые якобы кем-то предписываются советской литературе.

Достоинство повести А. Солженицына состоит в том, что в ней правдиво и смело разоблачается произвол, допускаясь в период культа личности, и вместе с тем в образе Ивана Денисовича показан трудовой советский человек, который и в нечеловеческих условиях сохраняет моральную чистоту, любовь к труду, трогательную чуткость и душевный такт в отношениях со своими товарищами. С каким воодушевлением герои этой повести А. Солженицына, забыв обо всем, работают на ледяном ветру — кладет стену здания. Одна эта сцена многое говорит нам о герое, которого нетрудно представить и в иной обстановке — на фронте или на стройке послевоенных лет.

Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» представляет собой явление особо значительное и принципиальное. И дело не только в том, что она основана на специфическом материале и показывает антинародный характер тех явлений, которые связаны с последствиями культа личности, но также и в том, что всем своим художественным строем она утверждает непреходящее значение традиций правды в искусстве и решительно противостоит мнимому новаторству формалистического, модернистского толка.

«Один день Ивана Денисовича» — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением.

Известно, что буржуазная пропаганда усиленно пытается противопоставить советскую литературу последних лет литературе предшествующего времени. Дескать, культ личности «убил» нашу литературу, лишил ее свободы, и современные писатели порывают с литературой предшествующих десятилетий.

Однако все эти построения «ученых знатоков» превращаются в прах при первом же столкновении с фактами. Конечно, культ личности не мог не сказаться отрицательным образом на советском искусстве и литературе. В известные годы у нас было немало и книг, и фильмов, и произведений живописи, отмеченных печатью украшательства, бескрылой иллюстративности, ложной монументальности. Однако совершенно неверно, антиисторично и в противоречии с самоочевидными фактами было бы характеризовать всю литературу, скажем, тридцатых годов, периода Отечественной войны и даже послевоенных лет при И. В. Сталине только этими чертами неправдивости, несамостоятельности и парадности. Подобно тому как историческое творчество масс, разбуженных Великим Октябрем, не могло быть приостановлено культом личности в областях экономической и социальной, так оно продолжало проявлять себя и в области строительства новой культуры, искусства, литературы.

Не будем здесь в «списочном» порядке перечислять имена советских писателей, известных всему читающему миру своими произведениями, созданными как раз в эти десятилетия. Этот перечень был бы весьма обширен, если даже говорить лишь о русских писателях — Шолохове и Фадееве, Федине и Павленко, Пановой и Казакевиче, Исаковском и Маршаке, Леонове и Погодине и многих-многих других, живых и ушедших, чьи творения составляют славу и гордость нашей литературы. А со славными именами писателей и поэтов, пишущих на других языках Советского Союза, он был бы еще обширнее.

К надуманным, приписанным нам «конфликтам» относится так называемый «конфликт поколений», «отцов и детей» в нашей литературе.

Авторы этого «открытия» прежде всего плохо знают историю нашей литературы XIX века, откуда понаслышке они взяли напрокат эту проблему. В знаменитом романе Тургенева «Отцы и дети» речь идет о конфликте между «отцами» — дворянами-либералами и только что выходящим на сцену поколением «новых людей», представителей революционно-демократической интеллигенции середины прошлого века. Совершенно ясно, что отношения тургеневских «отцов и детей» даже отдаленно не могут напоминать отношений между разными поколениями нашей революции, всегда выступавшими плечом к плечу в борьбе за общее дело.

Но, может быть, концепция «отцов и детей», абсурдная в отношении широкого исторического плана общенародной жизни, приложима в области специфически интеллектуальной к сегодняшней жизни научной и художественной интеллигенции, студенчества, литературной молодежи?

Нет, и здесь эта концепция представляется совершенно беспочвенной. Кто здесь «отцы», а кто «дети»? Если «отцы» — это заслуженные ученые, скажем, конструкторы космических кораблей, а «дети» — молодые офицеры-летчики, осуществившие «облет» этих кораблей в космическом пространстве, то антагонизма опять же не получается.

То же самое можно бы сказать о взаимоотношении писательских поколений. Разве есть какой-нибудь «конфликт», скажем, между таким маститым поэтом, как С. Я. Маршак, и молодыми поэтами, писателями и критиками, среди которых трудно назвать кого-нибудь, кто не побывал бы в его рабочем кабинете, как в мастерской художника-учителя, старшего друга и взыскательного наставника. Где же «конфликт поколений»? Его нет.

Буржуазная печать проявляет явную невзыскательность к содержанию и художественному качеству стихов таких наших «детей», как, например, Евтушенко или Вознесенский. Это происходит от желания в лице этих «детей» видеть певцов некоей оппозиции «отцам», от стремления использовать эти молодые имена в целях вовсе не литературных. Конечно, такая тенденциозность способна породить лишь дурную сенсацию и принести вред в первую очередь этим молодым — уже не столько по возрасту, сколько еще по мастерству — поэтам.

Опять же из некоего ветхого реквизита понятий, не приложимого к нашим литературным отношениям, взята зарубежной печатью выдумка о разделении советских писателей на «либералов» и «консерваторов». Конечно же, у нас ведутся споры, имеются различия в оценке тех или иных явлений нашей литературы — то есть идет нормальная литературная жизнь. И западным «знатокам» нашей литературы остается понять только одно: что наши дискуссии и различия во мнениях существуют в пределах единого целого — нашей советской социалистической литературы. Можно только посоветовать этим «знатокам» видеть действительность такую, какой она есть на самом деле, а не подменять ее хотя бы и желанными для них, но иллюзорными построениями и представлениями.

Советская литература на всех этапах своей истории едина как литература нового мира, литература социалистического реализма. Этого не стоило бы забывать и некоторым молодым нашим писателям, упивающимся собственным «новаторством», которое нередко оборачивается бессодержательностью и формалистическим изыском.

Социалистический реализм предоставляет художникам широкий простор для поисков, если, разумеется, эти поиски идут не в ущерб содержанию, не деформируют саму форму произведения до такой степени, что она становится антихудожественной, маловразумительной и пусторечивой.

Творчество молодых, несомненно, внесло в нашу литературу новую струю и живое ощущение современности. Выступая в таких формах, как рассказ, стихотворение, небольшая повесть, молодые писатели нередко добиваются успеха. Но мало-мальски непредубежденному взгляду ясно, что иные молодые прозаики и поэты нередко приносят глубину содержания в жертву самоцельной игре словом и образом. Интеллектуальная и эмоциональная недостаточность стремится в этом случае оснастить себя претенциозной «проблематичностью», украсить себя узорчатостью формы, которая на поверку оказывается не больше, чем эпигонством.

Особо следует подчеркнуть значение для молодых опыта русской классической прозы и поэзии. Иногда в произведениях молодых писателей заметнее влияние зарубежных, к тому же второразрядных, образцов, чем великой отечественной литературы, творчества Пушкина, Льва Толстого, Чехова, Горького, великих мастеров русского реализма, оказавших и ныне оказывающих властное влияние на все литературы мира.

Наша литература издавна — со времен Радищева и Пушкина — выступала в своем особом историческом качестве: проникнутая духом освободительных идей и народности, она была мощным фактором развития передового общественного сознания.

Заветы великих, всемирно известных деятелей нашей литературы и искусства для нас не есть «далекое прошлое». Советская литература в ее лучших образцах являет как раз живую преемственную связь со своими славными предшественниками. Изменились условия развития и исторические задачи литературы и искусства, но нестареющими остаются такие их отличительные черты, как глубокий гуманизм, правдивость изображения жизни, озабоченность интересами широчайших народных масс, верность передовым идеям своего времени.

Хранить наследство, как мы говорим вслед за Лениным, — не значит ограничиваться наследством. Советская литература многим обязана великой литературе прошлого — и отечественной и мировой, — но она не могла не приобщить к этому наследию собственных серьезных приобретений потому, что она рождена великой революцией, означавшей новую ступень в истории человеческого общества и его культуры.

Главное приобретение нашей сравнительно молодой литературы — это ее новое содержание, образы и типы, выявленные и почерпнутые в новой, социалистической действительности. Новое содержание вызвало и определило черты во многом иной, чем классическая, формы выражения — стилей, приемов и способов воплощения небывалого жизненного материала. В этом, между прочим, и заключается суть того явления в литературе и искусстве, которое мы называем социалистическим реализмом.

Порывая с реалистическими традициями и свысока относясь к реализму, формализм и абстракционизм несут гибель искусству — его содержанию, общественному назначению. Лев Толстой писал в свое время о декадентах: «...в их искусстве осталась только одна форма... И писатели, когда пишут, даже не разгорячаются, не разгораются в процессе своей работы и создают эффекты, захватывающие воображение читателя, не имея в душе ничего, что стоило бы высказать... Это есть величайшая опасность для искусства!» Что можно в наше время добавить к этим убийственным словам? Что распад формы у современных приверженцев «нового искусства» достиг такой степени, по сравнению с которой изощрения декадентов начала века кажутся невинными забавами.

«Абстракционизм, формализм, за право существования которого в социалистическом искусстве ратуют отдельные его поборники, — говорит Н. С. Хрущев, — есть одна из форм буржуазной идеологии». Поскольку

же искусство относится к сфере идеологии, а мы стояли и стоим на классовых позициях в искусстве, то мы и выступаем самым энергичным образом против какого-либо нейтрализма по отношению к формалистическим и абстракционистским течениям. Социалистический реализм решительно противостоит этим течениям.

За последнее время в связи с вопросом о новаторстве в искусстве много пишут и говорят о так называемом «стиле XX века», «стиле нашей эпохи», «современном стиле». При этом многие связывают характер и структуру этого стиля, перспективы развития современного искусства с поразительным техническим прогрессом и потрясающими научными открытиями нашего времени. Пишут, что разложение атома, космические полеты, кибернетика вызвали к жизни новый тип видения мира и новый характер художественного мышления.

Можно подумать, что XX век уже не может мириться с такими художественными течениями, как реализм, с такими жанрами, как социально-психологический роман, с такими формами, как традиционное стихосложение. Выходит, если речь идет о русском искусстве, то уже устарели Пушкин и Лев Толстой, Репин и Серов, Чайковский и Рахманинов.

Но все это просто нелепо. В искусстве, литературе главное — человек, жизнь человеческая, жизнь народная, главное — мысль о человеке и народе. И никакое новаторство в искусстве невозможно без изображения нового человека и без новых мыслей. Суждения же о «стиле XX века» исходят лишь из того, что главное в искусстве — формальные элементы: краски и линии, фонетика и ритмика, ассоциации и строение фразы, экспрессия и динамизм, что новаторство заключается лишь в новых признаках формы.

Шум вокруг «стиля XX века» — лишь один из примеров того, как проникают к нам чуждые идеи мирного сосуществования в области идеологии. Но такого сосуществования не было и не будет!

Владимир Ильич Ленин писал: «...вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому в всякое умаление социалистической идеологии, в всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Вполне понятно, что на нынешнем этапе нашего развития, когда роль литературы и искусства в воспитании людей особенно возросла, советский народ, партия требуют от литератора, художника, композитора, деятеля кино и театра непримиримости к любому умалению коммунистической идеологии или отступлению от нее. С этих позиций на встрече были подвергнуты принципиальной критике ряд произведений, в том числе опубликованные в «Новом мире» мемуары И. Эренбурга.

Действительно, пока в мемуарах И. Эренбурга речь шла о давно минувших днях, многое можно было воспринимать в них как живое, объективное свидетельство очевидца. Однако теперь, когда повествование приблизилось к нашим дням, стали заметны и некоторые ошибочные тенденции, субъективизм автора, проявляющийся и в превознесении «левого искусства», и в так называемой «теории молчания», и в одностороннем изображении некоторых важных событий прошлого.

Мы знаем и ценим И. Г. Эренбурга как одного из замечательных советских писателей, талантливого публициста, видного общественного деятеля. Вместе с тем считаем критику его мемуаров Н. С. Хрущевым и Л. Ф. Ильичевым справедливой и несем свою долю ответственности.

Правильными мы считаем и критические замечания, сделанные Н. С. Хрущевым по поводу напечатанных в нашем журнале путевых записок В. Некрасова.

Мы относимся к этой критике со всей серьезностью. Она поможет нашей дальнейшей работе.

У нас немало и других недостатков и упущений, мы далеко не всегда бываем довольны уровнем художественного мастерства произведений, появляющихся на страницах журнала. Но неизменным остается наше горячее стремление давать читателю полноценный идейно-художественный материал, радовать его новыми талантами, рисующими яркне и правдивые картины современной жизни.

Наша редакция будет выполнять свои обязательства перед читателями, взятые ею на 1963 год.

На днях Чингиз Айтматов, с которым «Новый мир» в свое время впервые познакомил русского читателя, передал нам новую повесть; Самуил Маршак, старейший друг нашего журнала, заканчивает для нас очередную работу из цикла своих бесед о поэтическом мастерстве; Расулом Гамзатовым, издавна выступающим на наших страницах, обещана новая поэма и лирика.

Нам приятно отметить, что этим трем ближайшим сотрудникам «Нового мира» присуждены в этом году Ленинские премии по литературе за 1962 год.

Константин Федин работает над второй книгой романа «Костер», заключающей известную трилогию этого большого мастера русской прозы.

Молодой Георгий Владимов, известный читателю по его первой повести «Большая руда», вскоре принесет в редакцию свою новую вещь.

Ольга Берггольц сообщила, что ею закончена вторая часть «Дневных звезд». Мы ждем новую работу Александра Солженицына, которая, естественно, предназначена для нашего журнала.

Над рукописями для «Нового мира» работают В. Фоменко, В. Некрасов, С. Залыгин, В. Аксенов, Е. Дорош, В. Панова, В. Тендряков, А. Яшин и другие.

Партия и ее Центральный Комитет считают, что советская литература и искусство развиваются успешно и в основном хорошо выполняют свои задачи. И разговор наш о сегодняшних задачах литературы должен идти на высоком принципиальном уровне, исключая мелкие столкновения самолюбий и разжигание дурных страстей. Выступая на III съезде писателей, Н. С. Хрущев говорил: «Вы можете спросить, к чему я призываю, к разжиганию страстей в борьбе или к примирению? Отвечаю вам — к сплочению сил на принципиальной основе». Консолидация на принципиальной основе, а не разжигание страстей в борьбе или примирение — вот линия партии в литературе.

Серьезная ответственность ложится на нашу литературную критику. Она должна решительно отказаться от односторонних пристрастий, эстетства, от примитивного и поверхностного подхода к анализу художественного произведения. Критика чаще всего или занимается эстетическим анализом и упускает из виду идейное звучание произведения, или объясняет содержание, смысл произведения, несколько не заботясь о его художественных достоинствах, о том, как оно выполнено. Между тем задача критики состоит в осмыслении процессов действительности и литературы, в умении понять, как, насколько полно отразилась жизнь в произведении. Критика должна быть непримиримой, когда речь идет о проявлениях чуждых нам взглядов и представлений. Она также должна активно выступать против серости и посредственности в литературе.

На заседании Идеологической комиссии при ЦК КПСС с участием молодых деятелей искусства Л. Ф. Ильичев говорил: «...некоторые писатели и художники считают, что если в произведении заложены верные идеи и оно написано на нужную тему, то можно быть не так требовательным к его форме, к эстетическому, образному выражению идей. Так думать — значит давать возможность разного рода халтурщикам и ремесленникам спекулировать великими идеями в неблагоприятных целях». Учет сильных и слабых сторон произведения, понимание индивидуальных особенностей таланта художника, вообще специфики художественного творчества — это те элементарные качества, без которых невозможно плодотворная работа критика.

В. И. Ленин считал, что «литературное дело», бесспорно, имеет свои особенности. «Спору нет, — писал он, — литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

Советское общество находится сейчас на новом этапе своего развития. Ликвидировав последствия культа личности Сталина, Коммунистическая партия устранила препятствия, связывавшие инициативу и активность трудящихся, и создала самые благоприятные условия для развития творческих сил народа. Советские люди знают, что возврата к культу личности нет.

Сила советской литературы в ее коммунистической идейности, правдивости, в том, что она отображает живую жизнь, всю правду и закономерность ее явлений, невиданную по размаху созидательную деятельность нашего народа. Нет выше счастья и награды для каждого писателя, чем сознание того, что его слово может помочь народу в его историческом походе к коммунизму.

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

В КАМЫШАХ

Из тетрадей охотника

Охота zelo добрая потеха, ее же не одолеют печали
и кручины всякие.

«Урядник сокольничья пути».

1. Мое Далекое

Это было в юности. Из старинной одноствольной шомполки я выстрелил в чирка и, конечно же, промазал. Но с тех пор уже никогда не расстаюсь с ружьем.

Годы летели и летели. Жизнь почти прошла, я по ней — всегда скороходом, всегда работы по горло. Но мне не забыть первого выстрела из той старушки шомполки, перевязанной проволокой у колодки.

Сотни анкет заполнил за свою жизнь, отвечая на разные там вопросы. В каждой из них обязательно значилось: «Фамилия — Перегудов, имя и отчество — Тихон Иванович, пол — мужской, профессия — агроном, за границей не был»... Но ни в одной анкете не было вопросов: «Занимался ли охотой? С какого времени? И в каких местах?» А жаль. Ей-же-ей, тогда было бы видно человека насквозь, даже и по анкете.

Я, например, с первого выстрела охотился только на Тихой Ольхе, в тех самых камышах, где бороздили на долбленках мой отец, деды и прадеды. Но предки мои ничего не оставили после себя, кроме устных рассказов. Я же исписал десять тетрадей. И в них — все об охоте, о камышах, о Далеком, о Тихой Ольхе.

А какие у нас камыши! Таких камышей, как в Далеком, нигде нет. Да и речка хороша.

Вы выезжаете на челноке вниз по течению. Жужжит потихоньку моторчик «чайка». Камыши наклоняются к вам и иногда ласково скользят листьями по плечу. Еще раз осматриваете, правильно ли лежит «хозяйство»: ружье, патронташ, корзинка с кряковыми утками, плащ, корзинка с продуктами, бачок с бензином; и если осенью — то еще привязана ли к краю лодки суховилка — такой длинный, метров семь, тонкий и прочный шест с рогаткой на конце. Без нее, без суховилки, в Далеком не проехать — такие там густые камыши и сплошной резак. Но до Далекого вы едете моторкой — километров двадцать от Камышевца.

Сначала, прямо от села, широкий плес, потом купальня, и вдруг русло становится узким, в пять — десять метров, вода здесь быстрая, как в горной речке. Это место и называется Быстрик. Потом течение все медленнее и медленнее, вы подъезжаете под мост, что против кирпичного завода. Река все шире и шире, и наконец неожиданно открывается взору водная гладь полкилометра шириной — это и будет Сазанка.

Спокойна здесь Тихая Ольха. Камыши отражаются, как в зеркале, высокой стеной: вверху камыши, внизу камыши. Заглушите моторчик, послушайте реку вечером и смотрите на воду. Месяц трепещет в ней, как большая серебряная плотва: то он дрожит, то бьется. Плеснет рыба, оставив круги. Они все шире и шире — так и кажется, вот-вот они зазвучат. А месяц, шалун, уже бросился в тот круг и притворяется себе, будто попался, запутался,— играет. Так охотники и говорят: «Месяц играет».

Осторожно, чтобы не спугнуть тишину, крикнет в камышах дикая утка, то ли подзывая утят, то ли собираясь отлететь на ночную кормежку... И больше ни звука, ни движения, ни вздоха. Одна за другой осыпаются в водную гладь звезды: появляются внизу и там остаются, вздрагивая от вечерней свежести, то пропадая, то блестками объявляясь вновь. И вдруг где-то далеко-далеко слышится тихая песня девчат, чуть тоскливая, плавная, широкая, как родные просторы... Слов не разобрать. И кажется, что поет река — тихая, спокойная... Хороша, очень хороша река Тихая Ольха!

А дальше вы едете совсем уже по другим местам, каждому из которых свое название. Перед челноком вдруг вырастает на середине реки забор из камыша, но он только для тех, кто не знает: это всего-навсего Перерост. Проскочите в прогалину — и откроется река уже новая, совсем непохожая на то, что вы видели: причудливо извилистая, с омутами и неожиданными коленами. Потом вновь узкий проход, течение быстрее, и вдруг... водопад! Челнок прямо таки ныряет мимо кривой ветлы. Здесь — ухо остро! Малейшая ошибка — и вы в воде. Это место называется Кайдан.

Потом река узкая, потом широкая. Вновь извилины и крутоверти — вы едете то вперед, то поворачиваете назад и снова на курс.

За Лещевом камышей уже больше. Километр за километром не увидите берега, кроме пяточков или больших кочек — вода, вода и вода, а с обеих сторон камыши, камыши и камыши. И чем дальше, тем они выше и выше, в пять-шесть метров.

Но вот справа неожиданно прервалась стена камышей. Поворачиваете в затон, к лесу. Это и есть остров Далекое, окруженный водой с камышами, поросший разнолесьем, с вечной прохладной свежестью, с зелеными лужайками, тысячами соловьев, весной наполненный крупными, необычайной красоты ландышами, подснежниками, фиалками, а к сроку — ежевикой, земляникой и разной благодатью земли.

Все озера, протоки, топи и необозримые пространства камышей — тоже все вместе называется Далекое. Это огромный массив, нетронутый пока, потому что сама природа устроила так, что человек не смог ее здесь испортить — не проедешь, не пройдешь. Не каждому доступны дебри Далекоего. Все здесь стоит таким же, как и тысячу лет назад.

Нигде в мире нет такого места, как остров Далекое.

Даже зимой, когда смотрю на охотничье ружье, что висит на стене, то и в комнате чудится мне шелест камышей.

И я жду весны. Жду солнца.

2. В поисках счастья

И вот она снова пришла, весна!

Каждый по-своему встречает ее.

Булькают капли с крыш. Они торопливо и настойчиво, вразнобой, как расстроенный пульс, отстукивают последние минуты жизни зимы, кажется, капают они не потому, что снег тает и расползается во все сто-

роны, а сам старик снег тает оттого, что капли продолбили его рыхлое и уже немощное тело. Каждая капля спешит в ручей.

Неистово чирикают воробьи, размахивая полами пиджачков и насканивая друг на друга задиристо и безрассудно, упоенные любовью и оглушенные ревностью, потерявшие всякий воробьиный облик в этой вакханалии. Еще недавно он, такой доверчивый и смиренный попрошайка-воробышек, сидел на форточке при последней поземке и ныл: «Чик-чирик! Подайте Христа ради! Чик-чирик! На бедность и погорельцев — чик-чирик!» Теперь тот же самый воробышка насканивает на соперника, хотя у самого уже обшипан хвост и изодрана прическа. Потом он, паршивец, отлупив врага, распушится, растолстеет и надрывается, орет благим матом как оглашенный и, кажется, вот-вот лопнет от спеси, от любви, от ревности, от невероятного эгоизма. Надо же!

А воробыха, которой будто и безразлично, что там у них, у мужчин, происходит, неожиданно для всей бесшабашной публики выбирает именно этого обтрепанного эгоиста — ласкает его, и жметя, и кокетничает, шельма. И тогда становится абсолютно ясно: раз уж воробышка-пострел вообразил себя пупом земли — то весна пришла!

Серые вороны, у которых и сам бог не различит по одежде, кто из них она и кто он, как торговки на базаре, нахально обзывают друг друга разными непотребными вороньими словами. Топчутся у мусорного ящика и спорят, кто сильнее. Эти не дерутся, эти соперничают только в том, кто у кого кусок вырвет. Но вдруг одна из них, овладев лакомством, отлетает в сторону, где сидит другая ворона — поджарая, нервная, поворонья красивая, и отдаст ей кусок. И та клюет. Понятно, он принес ей что-то такое несравнимо вкусное. Так началась любовь: улетели они вдвоем. Остальные же, переругавшись окончательно, поднялись вслед за теми счастливыми.

И ворона ищет счастья! Значит, весна пришла.

Но вот залетели к нам и грачи — милые, черные, умные и такие родные, российские птицы, спутники хлебопашца во все века — от деревянного сучка вместо сохи до современного трактора. Серьезные, сосредоточенные, работающие однолюбы, но живущие всегда все вместе. Они уже хлопочут над парком, голосисто перекликаясь и перепутав номера летних квартир. Кто их поймет: может быть, они уже теперь знают, где поля отстающих колхозов, куда они ежегодно весной слетаются собирать незаделанную в рядки кукурузу, а по осени, до самого снега, лакомятся подсолнечником и такими вкусными початками; может быть, потому они стали отлетать так поздно, уже по морозам. Но весной раньше времени не прилетишь. Если уж грач пришел, то весна настоящая! Тут уж дудки! Не обманешь.

А по ночам легкие заморозки еще чуть-чуть приглушают капель. Еще нет-нет, да и зашуршит опадающий, прозрачный от луны гребешочек, оставшийся от бывшего сугроба-великана. В открытое окно уже слышен требовательный шум реки, доселе молчаливой и покорной. Ночью все звучит, все поет.

И я уже не могу усидеть дома.

Тогда на столе появляется заветный ящик с охотничьими припасами. Гильза за гильзой встают солдатиками. Сначала вставляешь только пистоны, потом каждому «солдатику» по норме пороха, потом войлочные пыжи, на них — дробь и еще пыжи картонные, под закрутку. При каждой такой операции «солдатики» переставляются то вправо от тебя, то влево. Заряжаешь и дрожишь: весна!

Еще несколько дней до открытия охоты, а все уже собрано, все приготовлено и упаковано в рюкзак. Еще за неделю-две приучаешь к холодной воде кряковых уток и подкармливаешь добро. Иначе нельзя. Брось

утку в ледяную воду прямо на охоте, без подготовки — ничего не выйдет. Может, и покричит она полчасика и того меньше, а потом замокнет — раскиснет, распухнет и начнет тонуть.

Все чаще и чаще берешь в руки ружье и тренируешься на вскидках по разным точкам в комнате, «набиваешь руку».

Собака моя, Лада, волнуется и не старается этого скрывать. Она знает, что весной на селезней ее не беру, и — тоскует: то подойдет к столу, положит морду на мое колено и так стоит; она очень долго может так стоять, не шевелясь; то она становится лапами на подоконник и смотрит на мир, что-то вспоминая.

Между делом я разговариваю с собакой. Она слушает внимательно. И понимает: люблю. Важно, чтобы она это понимала.

День за днем приближается открытие весенней охоты. Уже по ночам слышен гогот гусей и свист утиных крыльев. Мы с Ладой выходим слушать весну. Хорошо!

В один из таких беспокойных дней рано утром я проснулся оттого, что Лада тихонько дергала за уголок одеяла. Она уже третий день так делает, как и на охоте: не дает проспать. Она не знает календаря, но точно знает по всему моему поведению, что в какой-то из этих дней я обязан ехать. Именно в это утро я и поехал искать охотничье счастье.

Лада виляла хвостом, подходила ко мне, потом к двери и ждала. Тоже ждала счастья — побыть со мной в Далеком. Я погладил ее, потрепал по шее и... не взял. Она отошла, села и уныло опустила голову. Я приблизился и посмотрел ей в глаза, печальные и влажные, со слезинкой. Лада плакала... Вы можете мне не верить, люди, пожалуйста. Но у меня была такая собака.

А в тот день была весна. И все было хорошо вокруг.

Кому и какое дело до того, что где-то какая-то собака плачет!

...В шесть утра я уже сидел в кузове попутного грузовика, направляясь в Камышевец (в тот год мне пришлось работать в одном из колхозов, в пятидесяти километрах от этого села, но только год; потом снова переехал в Камышевец).

Утро было ясным. Впереди охота, а это уже начало счастья. Так всегда кажется.

Перед Доном произошла задержка: понтонный мост еще не навели, а катерок перевозит только людей. Баржа на той стороне с привалившимся к ней катерком-тягачом, как мне сказали, переправляет автомашины вечером, когда подвезут из колхоза молоко. Положение весьма неприятное: завтра утром открытие охоты, а я и к ночи не попаду в Камышевец. Надо что-то придумать.

С очередным рейсом пассажирского катерка еду на тот берег и по сходням взбираюсь на баржу.

Там живописно расположились три молодых парня: один лежал на весеннем припеке и, задрав рубаху, видимо, грел живот; второй, закрыв от солнца козырьком глаза и подвернув ноги калачиком, сидел рядом и грустно-лениво смотрел на воду; третий (как оказалось потом, старший баржи), лежа на спине и мечтательно смотря в небо, играл на балалайке «Светит месяц».

Никто из них и не пошевелился, когда я вскарабкался на палубу. Кажется, я мог бы походить-походить, вернуться обратно на берег, но они не обратили бы внимания.

— Здравствуйте, — говорю.

Грустный парень — тот, что сидел, — сдвинул козырек на затылок и лениво ответил за всех:

— Привет из Крыма. — Не обращая на меня ни малейшего внимания, сказал: — Гля-ка, Кирюха... Рыба идет... по-над берегом.

Кирюхой оказался тот, что грел живот. Он встал на колени, глянул за борт, сказал будто спросонья:

— Рыба.— И снова лег. Теперь он запахнул полы пиджака и засунул руки в рукава.— Потеплело — она и пошла... Запрет на нее.

— Какой запрет? — вновь попытался я пробить броню невнимания. Но Кирюха промолчал (пусть другие скажут, если это так уж важно).

Ответил старший:

— На рыбу запрет. Весной нельзя.

— Ну и что же: не ловите?

— А мы ее никогда не ловим. Мы не рыбаки.

— Ну речники,— говорю.

— Колхозники... Эта посудина своя, колхозная... Когда нам заниматься рыбой-то... День при дне на работе.

— И сегодня на работе?

— А как же? — Старший встал, потянулся, глянул на реку, потом на небо и подытожил обзор окрестности: — Погода изменится.

— А чем же вы занимаетесь? — спрашиваю.

Старший ухмыльнулся и покачал головой (дескать, какой непонятливый).

— Перевозим,— ответил теперь Кирюха.

— Кого?

— Молоко.

— Как молоко?

— А так: молоко. Утром подвезут — переправим четыре машины, молоковозы. Вечером подвезут, в сумерках,— доставим на тот берег.

— И все?

— А что же еще? Каждый день колхоз к сводке попадает. От нас все зависит: попадет или не попадет.

— А днем?

— Днем плохо. Скучно.

— А как платят?

— Хорошо платят. По два трудовня.

— Вы-то довольны?

Кирюха становился разговорчивей:

— А чего нам? По двадцать копеек на трудовень — итого сорок монет... Скучно только. А так ничего.

Старший тоже наострил уши:

— А вы что: издадека, что ничего не знаете? Да мы каждую весну так, пока понтон наведут. Месяц целый тут опухаем.

— Еду на попутной,— уклонился я от ответа.— Вон стоит на том берегу. Видишь?

Никто из них не повернул головы «на тот берег». Но Кирюха сказал:

— До вечера будет стоять.

— Почему так?

— Молоко повезем — захватим и вашу... ежели председатель разрешит.

— А где он?

— Там,— ответил теперь старший, указав на село.— Сходи к нему, попроси. Тут недалеко — километров пять.

— А без председателя не получится? — спросил я.

И опять никто не ответил. Все трое снова стали до удивления скучными, безразличными и, казалось, равнодушными.

На том берегу появился еще один грузовик. Он почти воткнулся носом в воду, да так и замер в полной безнадежности; затем из проема

дверцы высунулись ноги: шофер расположился спать в ожидании своего черед.

— Ну, так как же? — спрашивал я, обращаясь ко всем троим сразу.

Кирюха глянул на меня изучающим взглядом и задал вопрос старшему:

— Ты как, Степан?

— Никак, — ответил тот. — Сказано «никого», кроме молоковозов, — и крышка... На этой посудине чужие машины переправлять опасно.

— Свои-то перевозите?

— Своя утопнет — один ответ, в суд никто не подаст. А чужая булькнет — не расхлебашь... Нет... нельзя.

— Уж пожалуйста, — не отставал я.

— А ну-ка да случись что, а мы молоко сорвем. Нельзя. Молоко — это тебе не собачий... хвост.

К чему такое противопоставление, я так и не удостоился узнать и бросил последний козырь:

— Заплачу хорошо.

— Сколько? — спросил Степан.

— Не знаю. Сами скажете. Не возьмете же лишнего.

Все трое сошлись на другом конце баржишки, тихо обсуждая несколько минут мое предложение.

Потом подошел один Степан. Теперь я увидел его во весь рост — широкоплечий русоволосый русский богатырь! Он сказал коротко:

— Три рубля.

— Давай, — говорю.

Нет! Мне не приходилось в жизни наблюдать такого необыкновенного перевоплощения. Степан махнул рукой, как командир эскадры. Кирюха подскочил к причалу, а третий, доселе молчавший и оказавшийся Ленькой, вскочил в катерок, прилепившийся к барже, как подсосный поросенок к свиноматке. Потребовалось не более пяти минут, чтобы мотор катера заревел, изрыгая струю воды, а сходни были сняты, — и маленькая баржишка заскрипела, отчаливая.

Оказалось, все трое вовсе и не лентяи, а им просто-напросто нечего делать. Только тогда я и понял, что значит «целый месяц опухаем»: тоже нужна привычка. На середине реки я высказал эту мысль Степану. Он как-то виновато улыбнулся, стал совсем-совсем другим (наверно, тем самым настоящим, чем он и был в жизни, дома в семье, с товарищами).

— И не говори... Тоска смертная. А тут весна! — воскликнул Степан. — Кто выдержит? Никто. Мы только... Я вот охотник, и ружье есть. Душа трещит! — Он положил на грудь могучую ладонь. — Места не нахожу: завтра открытие!.. Трудно.

Передо мной раскрылся человек, пребывающий в героическом безделье. И такая печаль лежала у него на лице, что мне стало не по себе.

Потом спустились вместо сходен две широкие доски, нашитые на пару бревнышек. По ним и надо было, как в цирке, взобраться автомобилю на баржу. За нашим въехал и второй грузовик. Шофер-эквилибрист вползал черепахой, тихо, осторожно. А взобравшись, спросил:

— Бесплатно за этот плавучий цирк?

— Рупь, — ответил Кирюха.

— Заткнись! — прикрикнул на него Степан и ответил шоферу: — Бесплатно... Лезет не в свое дело, — заворчал он на Кирюху.

Я не понял такой неожиданной перемены в отношениях между товарищами. Но Кирюха притих, а шофер больше не повторил вопроса. Видимо, они знали Степана хорошо.

На другом берегу, когда уже закрепили баржу к причалу и стали спускать автомобили, Степан увидел мое ружье.

— Охотник?! — восхищенно спросил он.

— Он самый.

— На охоту?

— Да.

Он отвел мою протянутую руку с трояком, коснувшись ее шершавым пальцем, и грустно сказал:

— К чему? Не надо. Не полагается. — И отвернулся.

— А как же ты-то, на охоту?

Этот вопрос, казалось, переполнил чашу терпения, и Степан почти вскрикнул:

— Убегу! Если не отпустит, убегу все равно.

Когда я отъезжал, то оглянулся и увидел: Кирюха стоял, смотря на воду; молчаливый Ленька сел верхом на бочку; Степан провожал меня в гору взглядом. А может быть, он смотрел в небо, в простор, туда, где вылезали темно-сизые облака — явный признак ухудшения погоды.

К середине дня я все-таки был уже в Камышевце и хлопотал с Алешей у Тихой Ольхи, спуская на воду челноки.

Алеша — это тракторист из совхоза, что в пяти километрах от Камышевца. Он ежедневно ездит на работу на велосипеде или ходит пешком: каждый день десять километров пути и десять — двенадцать часов работы. Так изо дня в день, из года в год. Он прекрасный тракторист, я знаю его этак лет двадцать подряд. И, кроме того, у него челнок. — и у меня челнок, у него мотор — и у меня мотор, у него ружье — и у меня ружье. Одним словом, Алеша Русый — мой друг, прямой и всегда со мной откровенный. Не одну ночь скоротали мы с ним в камышах, не одну зорю отметили в Далекое, и много-много раз наши челноки стояли рядом под спокойным месяцем, окропленные росой или припудренные инеем, а мы по душам разговаривали или молчали, понимая друг друга. Всяко бывало — и дожди мочили, и солнце сушило.

А в тот беспоконный и хлопотный весенний день, перед открытием охоты, мы с ним выезжали из Камышевца на двух моторных челноках. Все было уложено по-хозяйски, закурена на земле последняя папироска, поставлены в нос лодки садки с кряковыми. Взрели моторы. Мы пошли по разливу, держась русла и взяв курс на Далекое.

Кругом вода, вода и вода. Вдали на пригорке — крохотный хуторок из карточных домиков. Верхушки старого затопленного камыша, высувшись из воды, беспрестанно трепетали оттого, что вода, напирая, все толкала их и толкала. Вот он, кажется, уже утонул совсем — нет его, но неожиданно снова выскакивал, вздрагивая и отряхиваясь. Даже мертвый стебель не сдастся! Не сломай его силой, он истлеет на месте, но погибнет стоя, дожидаясь молодого, которого еще не видно, но который отрастает от его же корня.

Через час мы были уже около дамбы — через нее надо перетаскивать челноки волоком. Все хозяйство выгрузили и вдвоем переволокли сначала один, потом второй челноки. Работа эта трудная, потная, но мы не унывали.

На другой стороне дамбы снова все уложили и присели отдохнуть. Алеша вытер пот со лба рукавом. Прядь русых волос прилипла к виску, да так и осталась, а он сдвинул трех на сторону и проговорил:

— Отдохнем, пожалуй.

Я знаю: ему не надо бы никакого отдыха сейчас. Он просто захотел послушать реку.

А река шумела особенным, весенним шумом. Всплески воды, набегающей на дамбу, и шорох старых камышей, и бульканье водоворота у моста, почти залитого до краев, и кряканье утки где-то неподалеку,

и ответное шавканье селезня, и смех скворца, заржавшего чистым жеребеночком, и далекие человеческие голоса где-то там, за ветлами,—все это трепетало и жило в общем шуме.

Алеша неожиданно воскликнул:

— Смотри-ка! Лягушка! — Он указал пальцем на сухое пятно земли.

Лягушка смотрела на нас с наивным и спросонья ленивым любопытством.

— Проснулась, тварь? — спросил у нее Алеша.— Подумать, как рано... Так редко бывает... Весна будет теплая. Примета такая.— Он потрогал лягушку кончиком хвостинки.— Надо же — ничуть не боится. Всеми миру доверяет... А тварь обыкновенная... Весна!

Алеша живет бесхитростно, с открытой душой нараспашку. Если чем недоволен — скажет, не держа в рукаве; начальству смотрит в глаза прямо и не замедлит высказать любому высокому лицу свое возражение, если к тому есть причины. Все рабочие и трактористы уважают его. С семнадцати лет и до сорока он работает на тракторе.

Когда подходит срок охоты, Алеша становится беспокойным, непохоже на него торопливым. Он идет прямо к директору совхоза, минуя мелкое начальство, и говорит:

— Уж, пожалуйста... На два дня...

Тот сначала посмотрит на него, потом накричит («Может, завтра пахать! А ты со своей охотой!»), а все-таки отпустит. Знает, что Алеше без охоты невозможно — уйдет все равно.

Мы присидели на дамбе минут десять. Вставая, Алеша сказал:

— Небо заволочло. Ветер потянул... Поболтает нас с тобой, Тихон Иваныч, за милую душу.

И правда, камыши заныли, вода покрылась рябью даже и здесь, в затишке,— погода изменилась. Мы тщательно укрыли вещи брезентом, подоткнули его поглубже, завели моторы и двинулись дальше: Алеша впереди, я за ним.

Сразу же за поворотом реки, на выходе на простор, на нас повалили волны, но ветер тут был встречным, челноки шли бодро, хотя штормовка на мне стала влажной от брызг.

Кто видел охотничий челнок на волнах издали, тот знает, что он похож на утлую скорлупку, которую вот-вот захлестнет и скроет под водой. То он появится, то нырнет, то закроется фонтаном, и видно лишь корму да маленького на ней человечка.

Но так кажется со стороны. Камышевецкий челнок, длиной в шесть метров и шириной не более метра, на ходу довольно таки устойчив: только неумеха может опрокинуться. Веками охотники приспособивали это суденышко к Тихой Ольхе. (Еще жив один из великолепных мастеров этого дела, семидесятипятилетний охотник, по прозвищу Беда.) Такой челнок иглой пройдет по дремучим камышам, его не так-то уж трудно одному вытащить волоком на берег, но в нем можно жить на воде во время охоты неделями: сверху палатка, внутри душистое сено — сиди себе или лежи, вытянувшись го весь рост.

На таком-то челноке я и ехал. Его сделал сам Беда! Поэтому волна в полметра высотой, встретившая нас на Сазанке,— суший пустычок. Вот если большая волна да прихватит поперек хода, тогда, конечно, трудно.

Но ветер все крепчал. К вечеру он стал плотным и напористым. И, как часто бывает ранней весной, с ветром пришел колючий, секущий дождь. Сначала он накрапывал несмело, хотя и хлестко, а потом забарабанил всюю.

Когда мы миновали Сазанку и вошли в более узкое место, где волна спокойнее, Алеша замедлил ход, сбавив газ почти до отказа, и дал знак

рукой. Я выровнялся с ним и тихонько подошел борт к борту. Алеша отвернул голову капюшон плаща и сказал весело:

— Дождик-то обнаглел совсем. Не переждать ли?

— Уже вечер,— говорю.— Скоро смеркаться начнет, а по темноте-то хуже будет.

— Ночью нам так и так ехать. Но под Лещевом теперь волна страшная — надо бы миновать завидно. Видишь, буря-то какая нахальная. Ты как?

— Поехали.

— Поехали! — воскликнул Алеша, а лицо его озарилось этакой удалью и веселостью, будто он пошел в перепляс.— Поше-ел!

Моторы заревели. Мы теперь шли по крутым поворотам, то врываясь в волну, то выходя в затишек у края берега.

Но вот уже подходим и к Лещеву. Здесь река образует огромный затон длиной около двух километров. Ветер бьет вдоль затона, а волны, нарастая в нем, выкатываются на простор реки и, уже могучие, с белыми гребешками, бьют поперек течения прямо в берег.

Итак, нам надо пройти вдоль течения, но... поперек волны. Это сделать невозможно! Воткнувшись в протоку, мы посоветовались. Решили: ехать обязательно — завтра открытие.

У Алеша мотор стационарный, а управляет он веслом. У меня подвесной: веслом не справишь, а только винтом. Из протоки надо рывком выйти на волну и поставить челнок по ветру. Только так. В любом другом положении волна накроет немедленно.

А дождь! Обнаглел окончательно. А буря! По-настоящему нахальная.

Первым выскочил Алеша. На полном газу он прижался челноком к камышам протоки, рванулся на простор, взвился на гребень волны и ударил веслом. Брызги беспорядочным фонтаном скрыли челнок... В следующую секунду Алеша вынырнул носом по ветру и пошел в затон, то опускаясь в провал волны, то поднимаясь на гребень.

Я во всем точно подражаю Алеше. Выхожу из протоки вплотную к камышам с подветренной стороны, там разворачиваю в полветра — пока волна еще не так сильна — и... полный газ!.. Вровень со мной, на уровне глаз, — вода! Еще доля секунды... Кажется, ошибка! Но... Челнок задрал нос вверх... Еще доля секунды — и он провалился носом, а я вверх. Порядок! Иду на ветер точно, как по нитке.

Вдали Алешин челнок ныряет и выныривает.

В конце затона, в затишке, мы разворачиваемся и идем обратно уже под ветер. Так и входим в русло другим берегом затона.

Чтобы обмануть бурю и миновать пятьсот метров поперечной волны, мы сделали крюк в три-четыре километра. Иначе нельзя. Алеша знает дело.

В спокойном месте мы причалили к берегу, отчерпали воду из челноков и присели на борт Алешиного челнока, покуривая из-под капюшонов. Дождь барабанил по брезентовой одежде.

Алеша сказал:

— Ночь будет холодная.

— На остров съедем, в землянку.

— Захар Макарыч Пушкарь тоже там. Он раньше нас ушел часа на три.

— Веселей будет.

— А что я хочу сказать,— заговорил вновь Алеша.— Что, если бы в такую чертокопытную погодушку тебе бы сказали: поезжай вот так за двадцать пять километров и там ты получишь пятьдесят рублей. Ведь не поехал бы?

— Ни за что. За сто рублей не поехал бы.

— Я тоже. А на охоту едем — мокнем, рискуем, а едем. Чудное все-таки творение — человек. Страсть! Охота! Весной-то еще туда-сюда: две недели — и охота кончилась. А вот как наступит осень, то ведь ни единого воскресенья дома не бываю. Моя Ася уже привыкла: в такую пору все выходные мы врозь. Ничего. Ладим. Понимает... Охота! — повторил он еще раз.

И я рассказал ему про тоску Степана с баржи. На это Алеша вымолвил:

— На охоту не пускают — страдалец!

И вот мы вновь уселись в свои суденышки. «Чертокопытная погодашка» не унималась. Начало смеркаться.

Вдруг издали:

— О-о!!! Спа-аси-ите-е!

Ветер донес жуткий крик. Алеша вскочил, отбросил капюшон и весь превратился в слух.

Слышу теперь четко:

— Спа-аси-те-е!.. Е-е-е!.. Спа-а-а!..

— Человек тонет! — крикнул Алеша мне, как глухому.

Он выбросил из моего челнока рюкзак, я — корзину с кряковыми и ружье. Он столкнул пустой челнок в воду и сел на дно. Я — за руль.

— Прямо — на ветер! — скомандовал Алеша. — Левее!.. Правее! Так держать!.. В затоне он!

Он властно выкрикивал во весь голос. Мне оставалось только выполнять приказания. Вот он махнул рукой на берег, приложил ладонь к уху, и я понял: «К берегу». Он дополнил:

— Заглушить мотор! Слуша-ать!

С трудом подошли к берегу. Но неожиданно Алеша встал на колени и рывкнул:

— Вон он!

В наступающих сумерках и в пелене дождя теперь и мне было видно метрах в ста от нас перевернутую вверх дном лодку, которую уже прибило к камышам, тоже залитым водой.

— Разворачивай!

Это на такой-то волне! Но моей воли уже не было ни капли. Была только воля Алеши.

Лодку, конечно, захлестнуло, залило водой чуть ли не на половину. Алеша схватил черпак и, как машина, заработал им, отливая воду. Потом он сбросил плащ... Сбросил и пиджак... Метрах в двадцати от нас мы увидели, как человек, держась за нос перевернувшейся лодки, боролся за жизнь. Он уже выбился из сил. Он не видел нас.

Алеша скинул сапоги... Крикнул мне:

— Подходи бортом! — Утопающему заорал во все легкие: — Держи-ись!!!

Тот услышал. Метрах в десяти от нас он бросил свой челнок и кинулся, бедняга, к нам в ужасе и беспомощности.

— Что ты делаешь, мать твою!.. — заорал Алеша неистово.

Человек схватился обеими руками за середину борта. Но окоченевшие руки соскользнули, а челнок наш пронесся мимо, снова зачерпнув воды. Казалось, все кончено — у утопающего не было даже щепки, чтобы за нее ухватиться. А я просто отупел, что ли, и поэтому не заметил, борясь с волной, как все случилось...

Алеша в ту же секунду, как соскользнули руки человека, бросился в реку и обхватил его под мышки со спины.

Секунда. Другая. Третья. Вечность!

Позади меня, метрах в десяти, Алеша вынырнул из воды и крикнул дико:

— Це-спь!!!

Я понял. Но как подойти?! Врезаюсь в камыши, точнее — вихторчащие из воды верхушки. Глушу мотор. Выхожу на весле по ветру к Алеше, выбрасываю причальную цепь в воду. Алеша одной рукой схватился за нее, другой держал человека.

— Мото-ор!!! — рывкнул Алеша.

Рванул мотор.

Челнок шел вдоль затона, под ветер, к берегу реки.

Спереди видна только красная, окоченевшая рука Алеша.

Глушу мотор, чтобы не разбить голову Алеша о берег. Хватаюсь за весло. Но Алеша уже оттолкнулся от лодки и выбирался на берег.

В ледяной воде он пробыл не меньше десяти минут.

Человек оказался не кем иным, как Недолиным Петром, или, как его прозвали охотники, «Петька Плакун» — тоже охотник, но вечный неудачник. Он был в полубессознании, ворочал белками, кашлял и кричал одни и те же слова:

— Ружье! Пропало ружье! Пипер! Пропал Пипер!

Мы бежали к старой скирде камыша, что стояла на берегу, на курганчике. На бегу Алеша ругал Петьку Плакуна на чем свет стоит.

— Корова ты, а не охотник, Плакун чертов... Ружье ему жалко стало...

— А то не жалко, — возражал уже тот, всхлипывая.

У скирды Алеша приказал:

— Берите камыш. Давай сюда... Кругом, кругом его! Шире круг! Да не так, черт вас дерит!.. Быстро — пока дождь перестал!

За три-четыре минуты образовалось два полукруглых валка из камыша метров пять-шесть в диаметре, с двумя проходами. Мои спички в кожаном чехольчике оказались-таки годными. Камыш подожгли со всех сторон. И вот уже Алеша стоит голый в середине круга. От его тела идет пар. С явным удовольствием он пошлепывает себя ладонями. При этом играет каждый мускул — весь он сильный, сухой, точеный. А рядом с Алешей стоял жалкий, тщедушный Петька Плакун и держал над огнем одежду, от которой пар валил столбом.

Я подкладывал камыши в пламя так, чтобы в кругу было тепло, но не жгло.

Буря постепенно утихала.

Алеша обратился непосредственно к небу:

— Так, так, чертова непогоды! Нельзя же издеваться над человеком. Давай, давай затихай, пожалуйста... Давай мирное сосуществование.

Когда же образовался валик золы высотой в полметра, Алеша командовал:

— Хватит подкладывать! Баста! — И сел в кругу на корточки, разложив одежду.

Остальное я сделал уже по своей собственной воле: сбегал к тому месту, где остался Алешин челнок и мои вещи, притащил рюкзак, вошел с ним в теплый круг, достал поллитровку.

— Сразу видно — человек! — восхитился Алеша. — И соображение есть!

С этой секунды его командирство прекратилось, мне уже можно было не подчиняться беспрекословно, как прежде.

Они оба выпили по стакану водки. Из рюкзака я вытащил запасную пару теплого белья и подал Алеше. Он взял ее в руку, подержал чуть и подал Петьке со словами:

— На, надень... Загибнешь ведь, сухарь чертов...

— Ты что лаешь?! Что лаешь! — вскипятился тот. Но белье надел.— Человек ружья лишился, а он...

— Присохни, Петька,— перебил его Алеша.

Петька Плакун «присох»: замолчал и стал приплясывать.

Мои высокие охотничьи сапоги с ботфортами, конечно, не пропустили ни капли воды, а штормовка, хотя и стояла колом, не промокла. Поэтому я разделся, снял белье, отдал Алеше (у нас с ним одинаковый пятьдесят четвертый размер), а сам остался в теплых ватных брюках. Мой ватник надел Алеша.

Теперь мы сидели, окруженные теплом. Сверху начали выпрыгивать из облаков звезды. Потом и серп луны поехал по облакам лодочкой, то скрываясь, то появляясь вновь и будто проверяя, что же случилось на земле во время бури за его отсутствие... Почему-то мне опять вспомнился Степан с баржи.

— Как же ты опрокинулся, чучело? — спросил Алеша спокойно.

— Как... Очень просто... Надо бы до конца затона ехать, а мне показалось, можно разворачиваться... Ну, и...

— Кукла ты — больше никто,— беззлобно утвердил Алеша.— Леня тебе проехать пятьсот метров лишних... И всегда ты выкинешь какую-нибудь кадрель. Охота — это тебе не игрушки. А ты...

— Ну уж... — попытался возразить Петька.

Но Алеша его перебил:

— Ты мне не возражай! Кто своего собственного кобеля поймал на удочку? Ты. Кто сам себя поймал за ухо щучьим тройником? Ты. Кто наступил в лодке на голову кряковой утке, своей, личной утке? Опять же ты. Кто прострелил дно в собственном челноке? Ты! Да что там! — Алеша безнадежно махнул рукой.

— Ну, было. Ну, было... Дак то ж случайно,— все еще пытался отговориться Плакун.

Но Алеша его давил:

— Сидел бы ты в своей артели да делал горшки, раз у тебя к тому талант есть.

Мне даже стало жаль Петьку. Я ведь хорошо знаю, какие чистые, блестящие, идеально гладкие, а иногда и расписные горшки он выдает из своих рук.

Наконец все обсохли и все просохло. Алеша надел свои кальсоны и рубашку, потом верхнюю одежду. Плакун тоже. Так мы потеряли не меньше полутора часов. Была уже ночь.

Петьку мы высадили на противоположном берегу. Он вылез из челнока, постоял-постоял немного и сказал в абсолютной безнадежности:

— Пойду в Лещево. Ночую.

А когда скрылся в темноте, Алеша проговорил:

— Ну и фигура! Завтра будет весь день болтаться по затону, ловить челнок да искать ружье. Придет в Лещево к рыбакам и заканючит: «Пи-ипер поги-иб!» Ну, и... найдут ему.

— Думаешь, найдут?

— Найдут. Жалко вот уток. У него две кряковых — теперь потопли.

— А может быть, не потопли?

— Потопли. Он ведь их в фанерном ящике возит, чудо преестественное. Жалко уток.

Иногда весной бывает так: налетит буря, погуляет часа два-три и так же неожиданно затихнет, как началась. Река присмирела. Лишь мелкая волна похлестывала о берег. Просвистела стая уток.

Мы подъехали к своей первой стоянке, снова все уложили, привели в порядок хозяйство и тронулись дальше.

До самого Далекого мы уже ни разу не остановились и не перекинулись ни единым словом.

Часов в двенадцать мы высадились на острове Далекое, вытащили челноки, захватили ружья и рюкзаки и пошли в землянку за триста — четыреста метров от берега, на бугре.

Лес тихонько шумел тем особенным весенним шумом, когда ветерок пронизывает насквозь еще голые ветки: то он звучит басовой струной, то взвизгнет со свистом, то — как шмель, то будто кто-то дует на листы плотной бумаги, а то вдруг все эти звуки смешиваются в общий гул, беспоконный, нетерпеливый, требовательный при порыве ветра. Потом снова затихнет, и тогда скрипнет старая осина, наверно, уже сухая, но ее тут же заглушит настойчивый весенний шум.

Из землянки, как только мы открыли дверцу, на нас пахнуло теплом. У жарко растопленной печки сидел Захар Макарыч Пушкарь и подкладывал дрова. Он обернулся к нам, вскочил и отчеканил, вытянувшись во фронт:

— Докладываю: караульное помещение натоплено, чай готов! Лось подходил к землянке! Никаких происшествий не случилось.

— Вольно! — ответил Алеша и так же шутливо спросил: — Оружие при себе?

Я рассмеялся, а Захар Макарыч выпалил:

— Так точно! — Но вдруг, спохватившись, с ноткой обиды проговорил: — Ты, Алеша, не тово... Кто старое вспомнёт, тому глаз вон.

Только мы втроем знаем, о чем шла речь. Было однажды так, что Захар Макарыч приехал на охоту... без ружья. Забыл дома. Это могло случиться только с ним — ни с кем больше. Однако даже такой случай не умаляет достоинств нашего друга.

Потом мы под карманный фонарик пили чай. Макарыч сидел против меня. Лицо у него широкое, скуластое, с большими губами, изрезано крупными редкими морщинами. Если кто-либо встретит его в камышах или в лесу впервые, то он, пожалуй, может показаться страшным. Но стоит ему заговорить или засмеяться, как перед вами уже совсем-совсем другое лицо: так плавен и мягок у него голос и так чист и искренен смех. И тогда вы обязательно посмотрите ему в глаза, потому что они сами смотрят открыто и просто. Ему уже шестьдесят пять — он на пенсии, — но дать больше пятидесяти невозможно. Роста он ниже среднего, коренастый, с короткой мускулистой шеей. В его больших руках кружка с чаем кажется маленькой чашечкой.

Захар Макарыч пил чай с удовольствием. Сначала он откусывал большой кусок хлеба и отправлял его за щеку, затем с хрустом прямо таки отрубал зубами кусочек сахару и шумно отхлебывал чай до тех пор, пока шишка, образовавшаяся на щеке от хлеба, не исчезала. И тогда все повторялось снова в том же порядке. Уж до того аппетитно!

— Покачало вас? — спросил он во время чаепития.

— Малость, — ответил Алеша.

— Не то чтобы малость, а средне, — уточнил я, не желая явного преуменьшения.

— А ты как доехал? — спросил Алеша.

— Я-то? Я хорошо доехал. Буря меня почти не захватила.

— А мы Плакуна вытащили, — сказал Алеша так, будто он вытащил из воды жука, не больше.

— Опять тонул?! — воскликнул Захар Макарыч.

— Опять. Лодка перевернулась. Ружье утопил. Пошел в Лещево. — Алеша говорил это в раздумье, как бы мимоходом, и все только что происшедшее, казалось, уже далеко и не заслуживает серьезного внимания. Он так и заключил: — А ну его, чучело...

Так-таки я и не смог понять, почему неприязненно огзывается о нем Алеша. И спросил:

— Отчего ты так поносишь Петьку? Ты же его спас, а сам кроеешь с первой же минуты.

Алеша ответил, смеясь:

— Воспитываю. Агитатором к нему закрепился.— Потом серьезно:— Его хоть сто раз вытащи из воды — все равно опять тонуть будет.

— Пока не утопнет совсем,— добавил Захар Макарыч.

— «Утопнет»... Есть такие люди: тысячу раз помирает, а до ста лет живет.— Так Алеша вновь обошел мой вопрос.

Захар Макарыч относился к Плакуну тоже явно недоброжелательно. Он сказал, вытирая губы:

— Плакун и есть Плакун. Ему при каждом несчастье люди помогают, а он — никому. Леший с ним... Давайте-ка поговорим про охоту.— Лицо его подобрело.— Вот вопрос: какая заря будет? Пошли подумаем.

Мы вышли из землянки.

На небе вывездило, но ветерок пока еще гудел в ветвях и шумел в камышах. После теплой землянки мне показалось сначала холодно и даже сиверко, но погода явно улучшалась.

— Заря будет холодная,— определил Алеша.

— Зато тихая,— с надеждой сказал я.

Все согласились иметь тихую зарю, и с этим настроением вернулись в землянку, захватив из челноков кряковых. Они энергично загалдели между собой, но вскоре, договорившись, умолкли, успокоились.

Мы постелили на полу сена, заготовленного хозяйственным Макарычем, развесили над печуркой на жерди одежду и улеглись, погасив фонарик. Я — в середине, слева — Алеша, справа, прямо у жерла печурки,— Захар Макарыч. Он сам пожелал лечь поближе к теплу, предварительно подбросил еще дров на печь и растянулся в полном блаженстве.

— Вот она, настоящая жизнь-то, где! И чего тебе еще, Захар, надо? Ничего не надо,— спрашивал и отвечал сам себе Захар Макарыч.

— А хорошую зорю? — спросил я.

— И еще хорошую зорю завтра. А больше ничегошеньки.

— А две пары селезней? — докучал я.

— Ага. И еще две пары селезней... Тьфу, пропасть! Никак человеку не угодишь,— спохватился вдруг Захар Макарыч.— Все ему мало, человеку. Уж вот, кажись, все-все хорошо и все есть, а, поди ж ты, опять не хватает чего-нибудь... Может ли человек быть счастливым? — спросил он.

— Сам же сказал: «Опять не хватает чего-нибудь»... Человеку все мало,— ответил Алеша.— Только умом все довольны и всем хватает до отказа. Только умом все довольны... Ни один идиот не жалуется на нехватку ума. А всего прочего всегда мало.

Захар Макарыч приподнялся на локоть, и его мягкий голос зазвучал совсем близко от меня:

— Что я скажу, Тихон Иванович, про эту самую жар-птицу, счастье. Мы, брат, сами не знаем, когда счастливы, не замечаем... А когда несчастны, то понимаем все...

— Пожалуй, загибаешь,— проговорил Алеша.

— Подожди. Слушай. Я двенадцать шесть лет проработал на комбайне. Сколько труда, неприятностей, пыли, грязи! Сколько я, прости бог, матерков навешал на хедер сушить... И-их! Вспомнишь, аж совестно... и муть на душе. А как пошел на пенсию... как стал сдавать комбайн, тут и... Голос его чуть-чуть задрожал. Он снова лег.— Что ж ты думаешь: вспомнил и утречко в поле, и хлеба... много хлебов. Я их убрал — счету нету... Сдал комбайн — сердце заболело. И думаю: да неужто же так я

больше и не буду на комбайне-то? — Он откашлялся. — И показался я себе тогда несчастным человеком... А раньше не замечал, что хорошо-то.

Он замолчал. В землянке стало тихо. Алеша заснул крепким богатырским сном, откинув на меня руку. Захар Макарыч некоторое время ворочался с боку на бок, потом тоже уснул. А мне что-то не спалось.

И припомнился июль 1956 года.

Директор и механик стоят на штурвальном мостике комбайна Захара Макарыча Пушкаря. Он вывел его на первый круг. Объехал раз... другой... всю зиму и весну он готовил комбайн, как на парад: не было той гайки, чтобы он не подержал в руках. Это был прощальный ремонт. Захар Макарыч был молчалив: никому ни слова. Рядом с ним стоял Сережка, молодой парень лет двадцати трех, новый комбайнер. Ему го и должен был сдать комбайн Захар Макарыч, уходя на пенсию.

Вот уже проехали и третий круг. Директор сказал:

— Ну что ж, Захар Макарыч... наверно... надо. Пора.

— Пора, — глухо произнес старый комбайнер.

Они сошли на стерню. Это значило, что сейчас комбайн будет передан другому.

Захар Макарыч обходил вокруг машины — такой знакомой, послушной и безотказной, гладил ладонью железо и деревянные планки хедера. Взобрался на мостик, глянул на поле и, опустив голову, махнул безнадежно рукой. Потом сошел вниз. Губы у него задрожали, суровое и грубо выточенное лицо в тот миг было — ей-богу! — нежным. Он подал руку Сереже и сказал:

— Бери... Сережа... Работай лучше меня... И это...

Захар Макарыч не мог договорить. Отвернувшись от нас, он прижался лбом к стенке под выгрузным шнеком.

В то лето он выходил к комбайну каждое утро, как и много лет подряд. Иной день он заменял Сережу.

Засыпая, я очень желал счастья Захару Макарычу Пушкарю, знаменитому когда-то в районе комбайнеру.

* * *

Кто-то стукнул дверцей. Я лежал с закрытыми глазами, уже проснувшись. Не хотелось даже шевелиться — так овладел мной покой. Дверца скрипнула еще раз, и Захар Макарыч рывкнул:

— Подъе-ем!

Заря приближалась! Сборы были короткими. Мы вышли в затон на всслах. Там разъехались в разные стороны: Алеша — на Квочку, я — в Голову, Захар Макарыч — на Голубую. Это все названия плесов и озер, окруженных камышами.

Теперь я совсем один: вода, камыши и я.

Ветер не шелохнет... Тишина. Ее не хочется нарушать даже всплесками весла. Бесшумно опускаешь весло в воду и так же тихо гребешь. Слышно лишь, как стекают капли, когда весло на секунду оказывается над водой. Старые, прошлогодние камыши темнеют стеной, а лес на фоне предугренного неба совсем черный.

Зоревой, полусонный и бледный, как кусок матового стекла, месяц уперся рогом в край земли, кажется, задумался: ложиться на отдых или подождать еще маленько, пока погаснет последняя звезда.

В полутьме я виляю на челноке по протоке, ведущей в Голову. От тишины шумит в ушах.

По тому, как от нечаянного удара веслом начали брызгаться на меня камыши, замечаю: ложится роса — предвестник ясного утра.

Еще несколько минут — и я на озере, в Голове.

Потом утро серой пеленой повисло над водой с легким, чуть-чуть заметным туманом-дымкой. В этот час камыши на краю озера кажутся далеко от тебя, но на самом деле они всего в двадцати—тридцати метрах. Это еще не утро — это конец ночи, такой бурной в начале и такой смирной и тихой в конце. Вчера, сразу же с вечера, она сердилась, бурлила, неистовствовала, а теперь вот до того покорна и спокойна, что нежная светло-алая полоска на востоке без труда отсекала горизонт от ночи, затолкала за лес бледный серп месяца, так долго раздумывающий и нерешительный, и уже занимает небо все выше и выше, все шире и шире. Заря именно занимает небо. Как все-таки точно русский человек выбрал слова: «Заря занимается».

Так получилось, что я не заметил, как встал со скамейки и снял треушник. Да так и стоял, боясь стронуться и спугнуть тишину:

И вдруг... Я вздрогнул! Тихо каркнула цапля. Этот звук настолько неожиданно ворвался в тишину, что, казалось, он рассек пополам озеро. В раздумье я и прозевал начало охотничьей зари. О чем жалеть!

И вот, уже торопясь, въехал в заводь озера. Неподалеку от берега островком торчала прошлогодняя куга. Она густа и лежит в одну сторону, как расчесанная гребнем. Осенью она была высока — около двух метров, — а теперь лежит пластом. Лучшего места для засидки не найти, и никакого шалаша не надо строить. Мы его сделаем в два счета!

Вы переходите в нос челнока, подъезжаете к островку наполовину затопленной куги, кладете весло в лодку. Затем, поднимая перед собой шалашиком кугу, постепенно въезжаете в нее, пригнувшись. Когда лодка войдет вся в этот шалашик, подвязываете изнутри с каждой стороны по одной хворостине, заготовленной тут же у куста, что рядом с вами. Засидок готов! Он ни для кого не заметен — вы спрятались от острого глаза птиц. Теперь остается выпустить кряковую утку. Для этого осторожно выезжаете из шалашика и на бечева (с грузилом) выпускаете утку и вновь возвращаетесь в готовый засидок. Вот и все. И ждете счастья.

Теперь мир сузился до предела: в отверстие видна только крякуха и немного воды. Где-то сначала нерешительно, а потом смелее закричала дикая утка. В ответ ей прожавкал селезень. Он, кажется, у того края озера. Моя Аленка, услышав его голос, забила любовную тревогу в чаштуху, надрывно, со страстью, чуть пришепывая крыльями.

Все! Весь мир заслонили эти крики. Внутри дрожь. Пальцы сжимают шейку приклада. Сердце бьется часто-часто...

Свистят крылья селезня. Он делает первый круг «с голосом», второй молча и, не выдержав призыва любви, плюхается в трех-четыре метрах от Аленки. В полумраке еще не очень четко видно любовника. Он то покажется силуэтом, то сольется с кочкой — стрелять нельзя. И вот сначала слышу, а потом уж и вижу: он рядом с Аленкой. Она ласково и так часто-часто щебечет ему: ка-ка-ка-ка! Она приседает, чуть откинув крылья. Потом...

Они полюбили друг друга.

Теперь вижу его отчетливо: красавец, с галстуком! Он отплыл от Аленки метров на пять. Потом на десять. Он зовет ее, зовет с собой, на волю, в воздух, приглашает к взлету в небо. Он соблюдает веками установленный этикет — не подниматься в брачный облет раньше самки. Аленка рвется на бечева, она бьет крыльями, стремясь к супругу, но что можно сделать!.. Он уже перестал ее звать и смотрит удивленно, озираясь по сторонам, почуяв что-то неладное...

Все вокруг уже видно даже и через кугу: можно стрелять. Но надо ли?.. И я опускаю ружье... Редкий охотник убьет селезня, покрывшего его

утку, да еще с первой зари, с первого крику. Разве можно убить счастливого!

И тогда от моего легкого стука ладонью о борт челнока красавец срывается с воды и без облета, без прощального круга, уходит ввысь. Аленка кричит отчаянно, безнадежно в великом горе и одиночестве.

На несколько минут она наконец замолкает. Потом кричит уже редко и основательно, прислушиваясь и склоняя головку набок. Крикнет раза три-четыре — и слушает. Крикнет — и слушает.

И снова свист крыльев. Снова крик нового селезня. Аленка дает «осадку» страстно, музыкально и почти беспрерывно. В переводе на человеческий язык это означает: «Ах-ах-ах-ах! Какой вы прелестный и молодой! Ах-ах-ах! Не проходите мимо! Ах-ах-ах! Как отлично вы одеты и какой исключительный галстук! Ах-ах-ах!» Разве не все равно ей — какой это селезень! Вот стерва, прости боже... Он отвечает ей жавкающим сиплым голосом: «Что ж-ж-ж, по-ж-жалуй, мож-ж-жно».

Но этот оказался «битый». Он дал один круг, второй. Вот уже зашел и на третий, а на посадку, видно, и не собирается. Я встал в куге во весь рост, приложился и выстрелил. Селезень, как ошпаренный кипятком, упал метрах в тридцати от меня. Эхо взбудоражило утро. Дрожь внутри прошла.

Точный выстрел — и я счастливый. Охотника делает счастливым первый удачный выстрел. Удивительное существо — человек!

Слышу справа — Захар Макарыч ахнул!.. Прямо от меня — вдалеке ударил Алеша... Потом еще раз — моя удача. За полчаса зари каждый выстрелил несколько раз.

Заря кончилась. Солнце вышло из-за горизонта, брызнуло золотом по верхушкам леса. Золотым ковром оно пересекло озеро и заиграло на воде блестками. Становилось все теплее и уютнее.

Четыре селезня уже лежат у меня рядышком. Аленка, довольная, как оказалась, всем происшедшим, встряхивалась, сидя на лавочке, и обирала перышки. Селезни ее уже не интересовали: заря кончилась.

Было тихо и золотисто. И такой покой был вокруг и рядом со мной, что не хотелось двигаться. Так я и стоял посредине озера еще добрых полчаса, ни о чем не думая.

Слава тебе, грядущий весенний день!

* * *

Через двое суток на обратном пути, переправляясь через Дон, я узнал печальную весть.

Во время той бури баржу стукнуло о берег. Степан бросился на край палубы с бревном, чтобы подложить под автомобиль-молоковоз и тем спасти его — иначе, по мокрому, он сполз бы юзом в воду. В этот момент баржу ударило еще раз. Автомобиль вместе с бревном скользнул, ударил хребта бортом в голову...

Степана не нашли...

Рассказал мне об этом Кирюха.

— Пока не нашли,— закончил он с тоской и тяжело вздохнул.

Потом он сел, подвернул под себя одну ногу и грустно, задумчиво смотрел в воду.

Дон был спокоен, тих, невозмутим. Чайки плавно скользили над водой. Сверху чибис спросил у нас: «Чьи вы?» — но на него никто не обратил внимания. Солнце грело.

На обрывистом берегу молоденькая женщина дико выкрикивала только одно слово:

— Степа-ан!!! Степа-ан!!!

3. Заря без выстрела

А весна разыгралась.

На солнцепеке невесть откуда появились красные пятна — это божьи коровки, смиренные, доверчивые. Нежные сережки вербы крупными серебряными бусинами осыпали ветки. Щеточкой вылезла трава на лугу, и он заиграл неповторимой свежей, весенней зеленью. Вода начинает сбывать, с каждым днем все больше и больше освобождая затопленную пойму. Все цвета чистые, точные, без мягких переходов одного к другому, но сами они удивительно мягки: серебряные сережки, красные божьи коровки, зеленая травка, голубое-голубое небо вверху, необъятное и величественное, и голубые-голубые подснежники внизу — капельки неба на земле! А утром и вечером — золотая вода, разукрашенная солнцем.

Прошло несколько дней, как я расстался с друзьями. Мы договорились: вновь ехать в Далекое на воскресенье. Алеша — на две зари, а мы с Захаром Макарычем — на четыре, то есть на два дня.

В субботу вечером мы уже сидели на берегу Далекоего у костра, уже отохотившись вечернюю зорю. Алеша взял двух селезней, я — одного, Макарыч — нуль. Утки стали не так доверчивы, как в первые дни прилета (по выражению Захара Макарыча, «практикованные»).

— А и как им не быть практикованными, — подтвердил Алеша, подкладывая в огонь сучья. — На пять километров от Камышевца на каждой кочке охотник, а в каждом паршивеньком болотце кряковая утка. Это ведь сюда никто не заглядывает — большой воды и камышей бояться, — а та-ам, боже мой, что там творится! Так орут кряковые, так орут — кажется, со всех с них шукуру снимают с пером и лапки прочь отдирают.

Захар Макарыч, соглашаясь с собеседником, спокойно поддерживает разговор:

— Он, селезень-то, за сто километров поймет такой ералаш у Камышевца. Летит пулей мимо них и — сюда, и — сюда... Так что не каждый подсядет теперь и к нашим.

Мы с Алешей не возражаем против того, что «селезень за сто километров поймет», — мы знаем склонность нашего друга к преувеличениям. Он, например, может сказать: «Я тебе говорил четыре с половиной миллиона раз!»

В тот вечер он сказал Алеше:

— Ты что: пять тыщ сучков хочешь сжечь? Хватит подкладывать — и так жарко.

Алеша посмеялся:

— Четыре тысячи двадцать пять с половиной... Еще полтысячи — и достаточно. — Он подложил все-таки еще пару крупных веток и спросил: — А чего ж ты, Макарыч, на нуль сегодня сел? И не стрелял?

— Нет. Не стрелял.

— А чего?

— Нельзя было.

— Почему нельзя? — приставал Алеша.

— Как тебе сказать... Такая штука получилась... — Захар Макарыч замолчал, не договорив.

Я тоже пристал к нему.

Макарыч открыл нам секрет:

— Завтра свадьба будет. Сваты приходили.

— Э-э! Тогда понятно! — воскликнул Алеша.

Мне же ничего не было понятно: что за свадьба тут в камышах? Какие сваты? Почему нельзя было ему стрелять селезней? Все эти вопросы я высypал перед Захаром Макарычем в одну кучу.

Они оба рассмеялись. Потом Алеша наконец-то ответил, протянув:

— Ца-апли-и. Это он про цапель.

Мне стало стыдно оттого, что не понимаю. Но я уже чувствовал, что мне предстоит сделать открытие. И, как всегда в таких случаях, заволновался.

А Захар Макарыч подсел ко мне и ворковал:

— Если вечером рядом с ними стрелять, то свадьбу не увидим — улетят в другое место... за пять тыщ километров... Поедем на утреннюю вместе? Чудно будет — дым из макушки! Из десяти тыщ охотников один только, может, и видал такое.

Алеша подправил:

— Из тысячи один — это точно. А я видал. Захар Макарыч показывал. Покажет и тебе, Тихон Иванович. Ты езжай с ним, езжай — не пожалеешь.

Хотя ночь была по-весеннему холодна, но ночевали мы на открытом воздухе, постелив остатки прошлогоднего сена на то место, где был костер, и предварительно очистив всю площадку веником из прутьев. Уснули быстро.

...Алеша толкнул меня в бок:

— Пора вставать. Скоро заря.

На двух челноках мы отправились с Захаром Макарычем на протоку. Это подобие узкой канавы в камышах, ведущей на край луга. Ехать надо было не меньше трех километров — мы спешили, отталкиваясь веслами, стоя во весь рост. Хотя челноки двигались довольно быстро, но к месту мы прибыли, когда уже заря занялась, но все-таки еще не рассветало. Я следовал по пятам за челноком Захара Макарыча. Он с ходу воткнул челнок под ветви ветлы, боком склонившейся над сухими камышами. Я сделал то же самое, и мы оказались рядом, борт к борту. Мой спутник приложил ладонь к губам: дескать, надо тихо! За все время пути он не произнес ни единого слова. Мне казалось, что он наслаждался тишиной. Но тут надо было молчать, вероятно по необходимости. К тому же мы попали в самое что ни на есть начало зари. Я указал на корзину с кряквыми, что означало вопрос: «Будем пускать или нет?»

Захар Макарыч притронулся к моему плечу: «Не будем».

Ладно. Сидим без единого шороха.

Нигде ни звука.

Потом упала с ветлы в воду капля — звонко и чисто так, как мне никогда не приходилось слышать за все сорок лет охоты. Это, конечно, от неимоверной тишины. Из всего мира звуков, которые мы всегда слышим, чистого, свободного «от помех» падения весенней крупнейшей капли мне, оказывается, не пришлось слышать. Они, капли, всегда окружены беспокойными шумами, а здесь — звонко-презвонко: блю-к-к!

Я ждал второй капли, но ее не было — она ударилась о камышинку. Ждал третью...

Третьей капли для меня не было — я ее уже не мог слышать: ухнула выпь! Этот дисциплинированный горнист природы открывает зорю всегда точно: заиграл горнист — значит, подъем для всего живого в камышах. И тогда крякнет утка, тогда спросонья зашебечет камышевка, тогда шлепнет ногой о воду цапля и завозится в ветвях невесть какая птичка. Выпь-горнист и вечером «играет отбей» — закрывает зорю: если она ухнула вечером, то все — охота кончилась! Только, пожалуй, взлетит утка, уходя на кормежку уже в темноте. Но взлетит с голосом, как бы приветствуя и благодаря горниста и предупреждая молодежь (если летом) о том, чтобы сидели тихо и ждали голоса горниста — тогда она прилетит вновь. Ухнет выпь летним утром, прислушаешься — запищат утят: сейчас мать прилетит.

Итак, заря началась.

Светало.

В нескольких шагах села утка, а за ней в ту же минуту шлепнулся селезень. Она прокричала дважды. Еще второй селезень упал рядом. И пошла катавасия! Оба красавца сцепились в жаркой схватке, с озлоблением шипя и клокоча. Тот, что явно посильнее, наконец впился в «шапку» противника и стал его топить, кружа на воде и ударяя крыльями. Оставив часть собственных перьев, побежденный вырвался и улепетнул прочь, рассекая воду и вытянув шею. Но он не улетел, а пристроившись у края островка, притих в полной покорности. И только после того, как победитель сделал все, что ему нужно сделать, тот неудачник поднялся от стыда в воздух. Делать ему тут больше нечего. Он и поднимался-то как-то тяжело, неуклюже, боком, в таком безутешном унижении.

Начало всходить солнце.

В камышах кто-то тихонько шлепнул о воду. Потом еще, уже в другой стороне от нас. Потом звук: кр-рп... Знаю: цапля! Ответ последовал более нежно: р-рп-р-р. После этого — несколько голосов по очереди громко и призывно: кар-р! кар-р! Но это совсем непохоже на карканье грача, а чуть-чуть с гортанным клекотом, однако и не так, как цапля кричит перед дождем (тогда она орет на лету во все горло, предвещая ненастье).

И вот она вышла шагах в двадцати от нас на островок, около которого только что сидел несчастный селезень. Вышла чинно и даже чопорно. Остановилась, расправила огромные крылья, чуть присев, затем сложила их, чуть встряхивая, и огласила окрестности брачным призывом.

Где-то под ветлой, позади нас, зашумело. Мы теперь увидели, как самец выплыл на крыльях планером, чуть отлетел от невесты и, вернувшись, пошел над ней кругами, выкрикивая тихо и нежно: кар-р! кар-р! Следом за ним появился второй. Потом третий... Их было шесть женихов. И все полетели друг за другом по эллипсу, то заходя под кроны огромных ветел, то появляясь на просторе. И все покрикивали свое «кар-р». Она же то поворачивалась, то вытягивалась, то приседала, приоткрыв крылья.

Солнце вошло совсем. Позолотило ветлы. В его лучах сверкали серебряные крылья серых цапель. Они все ходили и ходили точно по эллипсу, явно соблюдая какой-то ритуал. То кто-то из них немного снизится и каркнет погромче, а она ответит на цапельном языке таким ласковым коротким курлыканием; то один самец догонит другого и обойдет его на невидимом для нас треке. Мне так и осталось непонятным, как она выбирает супруга на таких чудесных, таких чинных и до удивления красивых смотринах. Именно красивых!

Но один из них, кажется самый большой, сузив круг, неожиданно сел рядом с невестой. Она несколько раз переступила, изогнув шею и опять же приоткрыв крылья. Он обошел вокруг нее. Потом еще раз обошел, но уже в обратную сторону. Снова повторил то же самое и в том же порядке. Было очень похоже на плавный танец.

Потом он направился к протоке. Там остановился у маленькой заводинки, замер и вдруг вытащил из воды рыбку... Как он с ней шел обратно! Как шел! Гордо, уверенно и в то же время удивительно вежливо. А она, уже полураскрыв крылья, приветствовала его голосом. Он подошел и подарил ей рыбку из клюва в клюв. Она присела! Проглотила подарок. И только тогда все случилось.

Я не заметил, куда делись побежденные женихи — их уже не было. Не заметил потому, что так захватывающе было зрелище с подарком.

Супруги ушли в старые камыши пешком. Впереди шел он, за ним — она. Шли медленно, тихо, степенно, как от церковного аналоя, освещенные уже ярким солнцем.

Кроншнеп прокричал свое «тоу-у! тоу-у!».

Захар Макарыч вздохнул и сказал первые слова за всю зорю:

— Диво! Чистое диво! Пятый раз смотрю, а все интересно... Ка-ак он к ней шел! Ты только подумай: откуда это у птицы такая ласка? Ведь цапля, если сравнить с другими птицами, урод, а, поди ж ты, какая нежность, какой обряд... И, главное дело, подарок от жениха обязательно.

Все это он говорил в каком-то раздумье, тихо, удивленно, а на его грубом лице сияли голубые глаза, ничуть не тронутые возрастом.

Когда же я рассказал ему, как толкунчики, насекомые, перед спариванием преподносят подарок самке, то он сложил руки на груди крест-накрест, закатил глаза, собираясь тут же умереть от удивления, и воскликнул:

— Помрачительно! Тыщу лет живи — всего не узнаешь!.. Удивленье! Ей-право, удивленье. Понимаешь, Тихон Иваныч: вот я уже, пожалуй, старик, а все это занятно.— Но почему-то он еще раз вздохнул все-таки.

Мы выехали из засады и наладились возвратиться на остров Далекое, так и не разрядив ружья за эту зорю.

И вдруг... выстрел! Где-то неподалеку от нас, по направлению к руслу, кто-то охотился. Прислушались. Отчетливо донесся неосторожный, сильный вслеск весла: настоящий охотник не болтает веслом, как мешалкой в кадушке.

— Кто бы это мог быть? — спросил я вполголоса.— За всю зорю ни единого выстрела, а теперь вдруг...

— А ну-ка, поедем туда,— сказал Захар Макарыч.

Не дожидаясь согласия, он оттолкнул челнок.

Метрах в четырехстах от нас мы обнаружили торчащую из засидки корму челнока. Подъехали. Там сидел Петька Плакун.

— Ты чего стрелял? — спросил Захар Макарыч.

— Промазал,— ответил Плакун, казалось, безразлично.

— Почему не в зорю, без времени? В кого?

— Опоздал я на зорю.

— Стрелял в кого? — настаивал Захар Макарыч.

— Да в селезня же, в селезня. Чего пристал?

— Без зари он не сядет. Нет, стой! — Захар Макарыч подтянул свой челнок, перехватившись за камыши, и уже буквально зарычал, глянув под корму:

— Да ты что же натворил, чертова рожа?! — Он перечислил в качестве приложения несколько не очень печатных слов и выхватил из челнока Плакуна убитую утку-самку.— Что ты делаешь, гад заморский?!

— Я, я... нечаянно,— пытался оправдаться Плакун.

— Ах ты нечисть! — ревел Захар Макарыч.— Миллион раз нам долбят: «Не тронь утку весной». Ты кого убил? Мать убил. Двадцать голов от нее было бы осенью, а ты, подлец, убил мать. Давай билет охотничий! Давай сюда, рыло!

— А кто ты такой, что я тебе билет выложу? Отвяжись. Присучился... Ну убил, ну нечаянно. С кем не бывает...

— Ни с кем не бывает! Ни с кем! Только с тобой! Ты хам в природе. Хуже зверя, сказать тебе прямо.

— Если ты еще раз скажешь такие гадостные слова, я тебе! — Плакун погрозился кулаком.

— А ну, подавай сюда билет,— потребовал и я, помогая Захару Макарычу и стараясь сохранить спокойный вид.

Плакун крикнул:

— Никакого билета не дам! — И схватился за ружье.

Мы прижали оба челнока к бортам Плакуна.

— Ружьецо положи,— теперь спокойно сказал Захар Макарыч. —

Стрелять ты в нас не будешь. Вот так. Три челнока из камышей не спихнешь. Сиди аккуратненько и не топорщись. А я кликну сейчас Алешу.

При этом он отнял у своего ружья цевье, потом стволы. Провел языком по губам, приставил к ним ствол и издал такой сильный трубный звук, что похоже было на охотничий рог. Так повторил трижды: протяжно и требовательно. Это был наш условный сигнал опасности.

Плакун снова пытался угрожать ружьем, пробовал выехать из засидки, но Захар Макарыч, держа утку за лапки, замахивался на него и рычал:

— Сиди!

— Сколько сидеть?! — кричал тот.

— Цыц!

Вдруг Плакун шагнул в своей лодке, очутившись лицом к лицу с Захаром Макарычем, схватил его за грудки и, как хорек, накинулся, взвизгнув:

— Убью-у!

Я схватил его за руку, но он отмахнулся, отступив, а я чуть было не полетел в воду. Плакун оттолкнул наконец свой челнок, оторвавшись от нас.

Тогда я сказал:

— Плюнь, Захар Макарыч. Приедем домой, составим акт и передадим в суд.

— Суд на такую сумму не принимает, — зло усмехнулся Плакун, уже наладившись ускользнуть.

— Егерю передадим! — грозился я.

— С нашим удовольствием, — загадочно сказал Плакун и поехал.

Из протоки, широко взмахивая веслом, стоя в челноке, показался Алеша Русый. Он увидел всех нас троих, наверное, о чем-то догадался и с ходу подошел к борту Захара Макарыча.

— Что за крик? — спросил он.

— Вот смотри. — Захар Макарыч показал утку и ткнул пальцем в сторону Плакуна.

Тот уже был метров за сто от нас. Но Алеша, взяв в руки утку, окликнул строго:

— Петька!

— А? — отозвался он.

— Постой-ка.

Петька стал.

— Давай сюда, — позвал Алеша.

Петька, к моему удивлению, повернул назад и подъехал. Лицо его теперь уже было трусливое и жалкое.

— Ты? — спросил Алеша, протянув утку.

— Я ж... нечаянно, — съежился Плакун.

— Билет, — тем же спокойным тоном потребовал Алеша.

Плакун отдал охотничий билет без единого слова. Тогда Алеша взял Петьку за шиворот, как котенка, и, так придерживая, ударил его уткой по лицу. Потом еще раз. Плакун — ни слова, ни звука! Алеша — тоже. Так он огрел его раз пять-шесть и спросил:

— Будешь?

— Не буду...

— Не надо, Алеша... не бей! — просил Захар Макарыч. — Не надо!

Я взглянул в его сторону. Лицо его выражало жалость: он не мог смотреть, когда бьет человека. Впрочем, он так и дополнил:

— Человек же!

— Кто? Петька? Плакун чертов, вот он кто. — Алеша обратился наконец к Петьке: — Я бы тебе тут молотьбу устроил, если бы... не они. —

Алеша указал в нашу сторону.— На билет, разнесчастный! — Алеша бросил ему в челнок билет и утку и добавил: — Брысь отсюда!

Плакун — ни слова. Он поехал и поехал себе, утираясь рукавом.

— А зачем же отдал билет и утку? — спросил я у Алеши.

— Длинное это дело: к егерю, потом акт, потом к областному инспектору, потом штраф... в один рубль. И — только. А так-то крепче и дельнее действует на Плакуна.

— Не надо бить, Алеша,— убеждал Захар Макарыч.— Да еще по лицу...

— А разве я его бил? Ничуть! Так просто: уточкой его, уточкой, похабника. Ни разу не прикоснулся кулаком, клянусь...

— А вдруг он да пожалуется на тебя в суд за побои? — спросил я.

— И не подумает. Я его характер знаю... Ведь совсем отучил от браконьерства, а вот опять... отрыжка образовалась. Теперь уж конец. Все. Плакун не убьет утку. Может, будет человеком.

В глухих камышах свои законы — Алеша знает их лучше меня. Когда он, например, обнаружит браконьерскую сеть на реке, то поступает очень просто: поднимает ее в середине, берет свой охотничий нож и перерезает пополам; иногда же вынимает при этом и замаскированный кол-пачику, чтобы половину сети снесло течением. Попробуй поставь еще раз! Там, где охотится Алеша, браконьеры чувствуют себя неудобно.

Эти мысли утешали меня, и хорошее настроение вернулось вновь.

Мы ехали друг за другом: впереди Алеша, за ним я, а последним Захар Макарыч. Чуть замедлив ход челнока, я подождал Захара Макарыча и спросил:

— Как они, цапли-то? Хороши!

— Точно! — воодушевился он.— А ты знаешь, что они говорят вдвоем между собой?

— Что?

— А вот расскажу сейчас.— Он крикнул: — Алеша! Обожди, что-то отмочу!

Тот остановился, и мы стали в протоке вплотную борт к борту. Закурили.

— Чего «отмочишь»? — спросил Алеша.

— А вот слушайте... Когда он парит над ней, она кричит: «Кар-рпо! Кар-рпо!» То есть Карпо, по имени. Тогда он садится к ней, танцует вокруг и ласкает так тихонько: «Мар-рфа! Мар-рфа!» А она ему: «Карпо, р-рыбки! Карпо, р-рыбки!» Он идет в обратный круг около нее и отвечает: «Р-рад, Мар-рфа! Р-рад, Мар-рфа!» И за рыбой — то-оп... то-оп... А когда несет рыбу-то, она так: «Кар-рпо, р-родной! Кар-по, раскр-расивый!» Он отдает ей подарочек и с приплясом так, весело: «Мар-рфа, р-рад! До гр-роба, Мар-рфа!»

Захар Макарыч так удачно подражал цаплям, так имитировал их голоса, что на остров мы приехали уже в самом веселом настроении.

Позавтракали плотно и легли отдохнуть прямо под солнцем. Весной оно мягкое и ласковое.

— Малость полежу, с часок, и поеду домой,— сказал Алеша.— Завтра мне на работу как штык к восьми... Не хочется уезжать.

Через час-полтора Алеша собрался, уложил все в челноке по порядку, выпотрошил своих четырех селезней (двух он убил в это утро). А мы проводили его с почестями: шутливо обнялись, дали салют из ружей в честь отплытия, а Захар Макарыч протрубил в ствол сигнал отправления.

И мы остались вдвоем. День будем на острове, а зорями охотиться. Моего вчерашнего селезня мы ощипали и приготовили сварить его к обеду.

Между тем солнце поднялось уже на полдень.

Только-только распутившиеся листочки деревьев, «язычки» молодого камыша, высунувшиеся свечками из воды, сине-голубые подснежники и золотые цветы мать-и-мачехи у кружки распространили такой аромат во-круг, что порой кружилась голова. Ко всему этому примешивался запах весенней воды и влажной земли. А все вместе — аромат весны, торжественный в этой дикой тишине, могучий и в то же время какой-то нежный и так близко родной.

4. Муравьиная повесть

Захар Макарыч взял котелок и сказал:

— Пойду в родник за водой. Из ключевой-то вкусней обед будет.

Я посмотрел ему вслед. Перекинув ружье через плечо, пошел он медленной, уверенной походкой, чуть вразвалку, широкий и костистый, погромыхивая котелком.

Вскоре Захар Макарыч скрылся в лесу острова. До родника тут всего с полкилометра: через пятнадцать—двадцать минут он вернется, и мы заварим обед.

Но прошло и полчаса, а Пушкаря все не было. Прошло еще минут пятнадцать. Есть хочется, а его все нет и нет. Вот уж истинно: пропал, как в воду упал.

Потом мною овладело беспокойство: что могло случиться? На острове, кроме семьи лосей, нет никаких крупных животных. Недобрых людей тоже не должно бы быть. Где же Захар Макарыч?

Пошел я к роднику «искать козу с орехами».

Родник притаился в низинке, вокруг которой бережком возвышались края естественной чаши, без леса и кустарников. На этой большой поляне в свое время уйма земляники, а сейчас просто травка, только-только ожившая.

Вышел на край поляны, вижу место, где родник, а Захара Макарыча нет как нет. Остановился, прислушался. Слева до меня донесся ровный и тихий голос. Повернулся в ту сторону и увидел: на опушке сидел Захар Макарыч, а рядом с ним стоял человек и что-то говорил, изредка жестикую правой рукой. Мне нетрудно было узнать за сотню метров, хотя и в спину, безрукого — то был Петр Михайлович Чумак. Давненько уже не видно его здесь.

Подошел ближе.

Захар Макарыч сидел на коленях почти рядом с муравейником. Его ружье висело тут же, на сучке. Он смотрел снизу вверх на Чумака, не сводя глаз, слушал очень внимательно. Шутки ради я решил не обнаруживать себя до поры до времени и стал за кусты. «А посмотрим, когда принесешь воду, товарищ Пушкарь», — думаю себе. Слышу, говорит Чумак:

— Понимаешь, Захар Макарыч, насекомые воспринимают весь окружающий мир совсем не так, как мы.

Ясно: рассуждают о муравьях, иначе зачем же Макарыч уселся у муравьиной кучи. Он спросил:

— Вот я стучал тут палкой о палку: не слышат. Почему так?

— Недоступны им такие звуки, поэтому-то муравьи и кажутся нам совсем глухими. Но зато они издают ультразвуки и принимают их антеннами-усиками. А мы таких звуков никогда не услышим. Их мир звуков гораздо богаче нашего.

— А видят они хорошо? — спросил Захар Макарыч.

Конечно же, он забыл об обеде!

— Ничего не видят,— ответил Петр Михайлович.— Слепые совсем. Цвета для них нету. Они и живут по этим запахам: уходят на большие поля крошки-насекомого расстояния и без труда находят свой муравейник.

— Интересная живность. Диво-дивное. И ты смотри: выроят себе гнездо — чем! — натаскают всякой всячины, накроют. Целый город внутри нагородят. Подумать!

— А ты почему знаешь, что там внутри? — спросил Петр Михайлович.

— Давно еще было: интересу ради раскопал.

— Кусали?

— Отлично кусали, дружно...

Разговор на некоторое время затих. Видимо, они уже разобрали по частям всю жизнь муравьев.

Безрукого Чумака знаю уже давно: он тоже работал агрономом, а в последнее время председателем колхоза совсем в другом районе. Как он появился здесь сейчас, весной, в первые дни сева — было непонятно. Однако мне не хотелось подслушивать того, чего, может быть, мне и не следует слушать.

Я крикнул:

— Пошел кувшин по воду!

Захар Макарыч встрепенулся, схватил котелок и второпях оправдывался:

— Забылся... Вот... Петр Михайлович пришел.

Чумак приветливо поздоровался, протянув единственную руку (охотился он, приспособив к прикладу ременную петлю). Захар Макарыч набрал в котелок воды, и мы втроем пошли к табору.

— Какими судьбами сюда? — спросил я у Чумака.

— Насовсем. Я ведь здешний — из Семеновки.

— А председательство?

— Сняли,— коротко ответил он.— Уже больше года не работаю.

Было неудобно расспрашивать. К тому же я заметил, что Захар Макарыч идет без ружья, неся воду на отлете, чтобы не расплескать.

— Где же ружье? — спросил я.

— Ой! Запаятовал. На суку висит.— Он сунул мне котелок и притко побежал к муравейнику обратно.

Мы с Петром Михайловичем усмехнулись, глядя друг на друга: с Макарычем это может быть.

...Обед был отличный.

На разостланном плаще стоял котелок горячего супа, рядом с ним куски утятин и большие ломти черного хлеба. Закуской служили пара огурцов, коробка крабов да ветчина, нарезанная «пальчиками». Петр Михайлович поднес каждому по порции из неприкосновенного запаса.

— Эту проклятую всегда с собой приходится брать на охоту. Намокнешь — спасет, из сил выбьешься — поддержит, ноги промочишь — в каждый сапог по рюмке — и никакая простуда не подкопается.

— А зачем же расходовать зря? — спросил я.

— Ради встречи. Полагается... Да я вам обоим больше порции и не дам. К тому же погода стоит, как в раю... А не виделись мы... Потом подчитаем, сколько не виделись лет.

Петр Михайлович был в добром расположении духа. «Порцию» отмерял пластмассовой крышечкой от термоса.

Конечно же, через полчаса спокойных хлопот котел оказался пуст, а от селезны остались бранные косточки. После такого божественного обеда Захар Макарыч, устроившись на том месте, где мы ночевали, вскоре уснул (полевая многолетняя привычка: пообедал — спать).

— Итак, сколько же лет мы не виделись? — начал Петр Михайлович, обращаясь ко мне.— Подсчитаем... Та-а-а...

Он сморщил высокий лоб, вспоминая, отчего карие большие и без того открытые глаза стали еще больше. В его облике есть что-то похожее на ученого. А в чуть грустных глазах было еще, как я и раньше заметил, что-то от больших переживаний.

— Вы когда уехали из Камышевца? — спросил я.

— В пятьдесят четвертом... Переметова-то знаете?

— Малость знаю. Но под началом у него не пришлось быть.

— Наверно, мы с вами и не виделись с пятьдесят четвертого года, — уточнил Петр Михайлович. Но, спохватившись, передумал: — Нет, позже виделись. Припомните-ка: в областном управлении сельского хозяйства, на совещании.

— Помню! — воскликнул я. — Большачков, завоблзу, тогда проехал по вас. Это было... в пятьдесят пятом. Мы же после «бани» обедали вместе, вдвоем.

— Проехал Большачков... Силен был, силен, как... коряга. Но ведь он-то говорил «по сказкам» Переметова... Было мне!

Вспомнилось, как кричал Большачков Чумаку: «Вырублю корень сопротивления плану преобразования природы!» Но какой «корень сопротивления» он «вырубал» тогда, я уже запомнил. И поэтому спросил:

— За что он тогда навалился? Из памяти выскочило.

— Дело длинное... Помните? Так и значилось: «В основе государственного плана преобразования природы лежит учение Мичурина — Вильямса — Лысенко». То-то вот и оно. Завяз я в середине, в Вильямсе: мне лоб набили. Переметов тогда был у нас первым. Так вот он-то и сказал мне в то время: «Рушишь учение. Подрубаешь основу Вильямса. Вильямса поправил президент академии. Все правильно! А ты против установки». Я возьми, да и скажи Переметову на полном серьезе: «А как думает народ?» Вытаращил глаза Переметов. «Ты — народ? Какой из тебя народ? Ты — агроном государственный! — кричит мне. — И обязан выполнять установку». — «Тогда дело плохо, товарищ Переметов». Так я ему и рубанул... Ой, что тут было! Обвинили меня в антипартийном поведении. Переметов лично нашел у меня на участке уйму недостатков и объяснил это внутренней гнилью. Чуть не исклочкили из партии. Да вот... — Он указал на пустой рукав. — И тут... — Петр Михайлович прочертил пальцем поперек груди два ряда воображаемых колодочек. — А то не то было бы...

Последние слова Петр Михайлович говорил все медленнее и медленнее, будто раздумывая. И вдруг прижал ладонь к голове. Так посидел некоторое время. Потом встряхнул головой и сказал:

— Отпустило... В последние годы это у меня бывает: сдавит что-то в башке, прижмет — нет терпенья...

— А вы постарайтесь не думать. В самом деле... А? — попытался я прекратить разговор на эту весьма тяжелую для него тему.

— Не могу же я, черт возьми, не думать! — вспыхнул он. — Не говорить об этом могу... Долго уже не говорю, но думать... думать — прошу прощения! — думать буду, потому что... не могу не думать... Впрочем, и контузия опять сказывается... Да и работа председателем колхоза, если по душам... тяжкая. Ни дня, ни ночи. Одно к одному... Устал я, Тихон Иванович... Колхозники требуют... начальство требует... Хвост вытащишь — нос завяз, нос вытащишь — хвост завяз. Так и дергаешься день при дне... Шесть лет я так-то... Придешь к ней, к тетке Марье, пожурить за невыход на работу, а ее дома нету. Глянешь: тащит она на себе вязанку хворосту из лесу на топку. На себе!.. Говоришь ей: «Подводу дам — за дровами. Ходи на работу». — «Спасибо, говорит, но только у меня трудной мало. Заедят тебя, председатель, ежели дашь подводу». Я ей в от-

вет: «Ты меня не жалей, себя жалей». — «Мне, говорит, себя не жалко: у меня их трое, все школьники, мал мала меньше. В холодной хате не больно-то здорово писать: «Мама мыла раму». Вот и хожу через день «на работу»: день в колхозе, а один день за вязанкой хворосту за четыре километра». Ну что ей скажешь? В колхозе мало дают за работу.

И тут дело опять же в Вильямсе, как это ни странно. В общем, я уже рассказал: попал в переплет — чуть не выгнали за охивание «плана преобразования природы». Та-а-к... Упал Вильямс... Ну, думаю, теперь-то пойдет у меня! И стаж председательский уже четыре года — кое-что смыслию, кое-чему научился, теперь мне и карты в руки. Но вот беда: у меня в колхозе было четыреста гектаров меловых и супесчаных земель — почва бросовая, десять — двенадцать сантиметров толщиной, и та бедная-пребедная. Разбил я там короткий севооборот с одним полем клевера: так что через каждые пять лет клевер приходил бы в поле. Что же вы думаете? Пошел урожай! На такой земле без клевера невозможно. И стал я ежегодно сеять по семьдесят—восемьдесят гектаров клевера, не больше. А урожаи прыгнули! По двадцать центнеров с гектара пшеницы озимой — это на такой-то землице. От травопольной системы земледелия у меня не осталось ни шиша — похоронил без почестей. И вот... Тут и начинается это самое «все наоборот»... Тот же Переметов, который «убивал» меня за «сопротивление Вильямсу», теперь объявил меня... травопольщиком. Сбили меня с линии. Упал урожай. А свекла на таких землях совсем не идет. Плохо. Мне — выговор... Вот и все...

— Убеждали? — спрашиваю.

— Как же! Убеждал. Говорил, мол, вверху не против клевера вообще, а против того, чтобы травы и овес не занимали огромных площадей. Говорил, что, мол, в Калиновке сеют целое поле клевера и получают сорок центнеров сухого сена с гектара. Все говорил. Убеждал: случай-де в нашем колхозе исключительный — участок почвы бедный... Куда-а там! Смотрит на меня Переметов с сожалением и цедит: «Плохо, брат, дело. Установку рушишь. Плохо. Не везешь. Постромки отпускаешь». Отвечаю ему: «Я не лошадь, а агроном». Обиделся: «Тебе, говорит, отдыхать надо. Пенсия у тебя хорошая — чего тебе здоровье подрывать. Пиши заявление». Так вот и «ушли меня» «по собственному желанию»... Вот... и вся моя муравьиная повесть. Я муравей. Всю жизнь работал... А Переметов не понимает того. Он наступил мне на лапки и приказал: «Назад!» — Петр Михайлович снова схватился за голову, полузакрыв глаза.

Проснулся Захар Макарыч. Он зевнул, почесался обоими локтями, посмотрел вокруг и крикнул в полном удовольствии:

— Красота! — Потом глянул на Чумака и с участием спросил: — Опять голова?

— Отлегло уже, — ответил тот.

— Это от воздуху, — сказал Захар Макарыч. — Воздух тут весной пьяный. Так и тянет в сон. Это ничего: для здоровья полезно. Правда?

— Правда, — ответил Петр Михайлович. — Дня три-четыре побудешь тут — и всякие болезни пропадают. Какой бы камень ни был на душе, становится легче.

Ясно, что Петру Михайловичу надо было «свалить камень». Нигде не бывает так прост и искренен человек, как на открытой природе. Так и было с Чумаком в тот день.

Потом мы пили горячий чай. Приближался вечер. Вверху парил коршун, снижаясь над островом кругами. Захар Макарыч и Петр Михайлович схватили ружья, чтобы встретить хищника, но тот не пошел на нас — заметил.

Заря была отменно удачной. Победителем оказался однорукий охотник: он привез пять штук крупных селезней, похожих друг на друга. Он знает здешние места. Я видел, как сияло на его лице охотничье счастье, и сам был счастлив от этого. Знаю, Петр Михайлович провел здесь, в Далеком, много дней своей жизни. Еще в детстве он проникал в эту глушь, в этот милый уголок мира.

У каждого человека есть свое Далекое.

5. Река пела

Кажется, совсем недавно был на весенней охоте, а, поди ж ты, в полевых хлопогах и не заметил, как пришло лето.

Два месяца тому назад меня вновь перевели в Камышевец на старое, насиженное место. Теперь я живу недалеко от речки.

Летом Тихая Ольха нежится на солнце, разукрашенная белыми кувшинками в заводях и затишках. Местами она сплошь покрыта сочными широкими листьями этого ласкового растения. А в затонах и в самих камышах — ковер ряски. С восходом солнца, когда еще все живое не размлело от солнцепека, ряска серебрится; к середине дня она — зеленое кружево, а к вечеру или при тихом ветерке чуть-чуть краснеет. Иной раз увидишь, что на сплошном ее коврикe обозначились извилистые полоски: то плавала дикая утка или лысуха; а если ряска изрезана замысловатыми виньетками, то здесь были и утята. Они, еще в пушке, с первого дня жизни умеют самостоятельно находить корм и спастись от многочисленных врагов.

Случалось так: рано утром, неожиданно выезжая из-за поворота, ты видишь выводок. Одна секунда — и ничего нет: утка взлетела с тревожным криком, а утята... Где же утята?.. Подъедешь и смотришь. Вот тут они только-только что были и... провалились. Но опытный глаз охотника, осмотрев затончик или плес, начинает читать книгу Тихой Ольхи. Здесь всего лишь одна страничка, и ее надо проверить буква за буквой, строчка за строчкой, медленно, не шевелясь. Вот торчит из воды тонкая кужица... С чего бы это она чуточку, еле-еле вздрогнула? Может быть, на верхушке села муха или зацепил неосторожный комар? Взгляд скользит сверху вниз по этой нежной густо-зеленой и стройной кужице: на верхушке никого нет, середина чистая, а у самой поверхности воды — маленькое темновато-зеленое пятнышко, и на нем две точки на манер блошек. Эге-е! Две «блошки» — это и есть ноздри утенка. Он прицепился носиком за кужицу, повис под водой, вытянув лапки, и преспокойно дышит. Их тут было штук десять, утят, но даже самый искусный чтец книги природы обнаружит всего лишь одного-двух.

А через полчаса ряска снова затянет дорожки утиных следов так, будто здесь никто и не был.

Камыши по краям реки, спокойные, стройные и могучие, наполнены звуками песен камышевок — веселых, непоседливых и таких доверчивых маленьких птичек. Иной раз она зацепится лапками за стебель, повиснет боком в метре от тебя и очень внимательно смотрит в глаза. Если не шевелиться, она будет долго-долго смотреть, наклоня головку то вправо, то влево, удивляясь и будто раздумывая: «А нельзя ли все-таки клюнуть в эти самые шары, что больше моей головы?» Возможно, она интересуется тем, как двигаются ресницы, и наблюдает, что же из всего этого получится. Кто ж ее знает!

Летом в тихий день река спокойна и кажется ленивой. Вечером она торжественна, задумчива и кажется мудрой и такой же древней, как

звезды, дрожащие в ней. Утром она чиста и нежна, как ребенок спростонья, обнимающий мать.

Большинство охотников в такую пору не может усидеть в четырех стенах, не может спокойно ходить по земле. Их тянет на воду, туда, где душа всегда становится на свое место. Но лето — запретный срок для охоты. И тогда некоторые охотники меняют квалификацию и становятся рыболовами, вливаясь на это время в ряды самоотверженных, чертовски терпеливых «бездельников», для которых весь мир сосредоточивается на тонком конце удилища, как у сазанятников, или на поплавке, как у прочих, более мелких членов этой огромной армии слегка помешанных, но неистребимых и преданных своему делу до самозабвения.

Если любому из этого племени туземцев, привязанному удочкой к одному только месту планеты и влюбленному в свой край, предложить удить из каменного бассейна, кишашего рыбой, то согласится на такой позор только безвозвратно погибший. Настоящему рыбаку нужно много: река, цветы, камыши, утренние зори, таинственные ночи, голубые вечера и... тишина.

Разве ж можно и охотнику усидеть летом в субботу вечером и в воскресенье утром! Это невысказано и даже непостижимо. А я не исключение. Именно поэтому в один из июньских дней я плелся по Тихой Ольхе на челноке.

Мне очень хотелось разыскать Василия Кузьмича Кнутикова. Он должен быть где-то недалеко. Его любимое сидало недалеко от Сорокомылки (место реки так называется), туда я и наладил лапти. Очень уж интересно с ним ловить рыбу. А вечерком он всегда что-то расскажет из своей жизни или о своем колхозе, а иной раз и о больших материях заведет речь.

Давно-давно я знаю Василия Кузьмича Кнутикова — лет этак тридцать с лишком. Как тогда, в молодые годы, так и теперь он отличается удивительным прямотушием и чистой совестью, когда-то по праздникам малость любил выпить. По его словам, это самое называлось «потешить душу». И еще одна примечательность: его юмор всегда выражается в действии, без особо острых и сальных слов.

Одним словом, помню Василия Кузьмича еще с тех времен, когда он, имея одну тощую лошаденку, перебивался с хлеба на квас и слыл не очень-то охочим до работы в личном хозяйстве.

А после организации колхоза Василий Кузьмич неожиданно оказался таким старательным, что всю неделю с утра до ночи работал не покладая рук. Ни от какой работы не отказывался. Но в воскресенье — извините! — он на работу не пойдет. Ни за что. Даже если из города понаедут шефы убирать картошку — все равно не пойдет.

Он надевает синюю рубаху, новые суконные черные брюки, праздничную кепку и проводит праздник в полном отдыхе. С утра он идет степенно по улице, заложив руки за спину, высокий, сухой, жилистый и до удивления серьезный. А бывает, продефилирует так мимо шефов, толпящихся у сельсовета. Идет тихо по направлению к магазину сельпо. Встречным он кланяется первым, но от ребятишек категорически требует, чтобы они снимали перед ним картузы. В противном случае он не замедлит отпустить подзатыльник и при этом же добродушно заметит:

— Почитай старших, козявушка.— И пойдет дальше.

Вскоре он вернется обратно таким же манером — тихо и спокойно. Что означает: у сельпо пока народу нет, а он просто гуляет. Примерно через полчаса он идет снова к магазину, теперь чуть быстрее, потому что там уже слышен говор.

— Здорово были, колхознички! — приветствует он сидящих на широких порожках магазина. — С праздником вас! Чего же это вы шефов-то одних бросили на произвол судьбы?

Все улыбаются, а Василий Кузьмич и бровью не дрогнет.

— Здорово, трудяга! — скажут ему, будто и не обратив внимания на его вопрос.

— Ну? Так как же? — вновь спрашивает он.

— А что?

— Как так «что»? Праздник же!

— Знамо дело, воскресенье, — подтверждают прочие со вздохом, изображая нарочитую грусть.

— Ну-с... по троячку? — опять же вопрошает Василий Кузьмич.

От такого довольно четкого предложения лица отчасти просветляются. Конечно, складчина получается мелочная, пустяковая, рассказывать тут нечего, но во всяком случае завмаг выносит стакан и селедку. Происходит нечто вроде символической выпивки — по сто граммов на рот.

После этого Василий Кузьмич идет по улице уже быстрее, руки за спиной не держит и даже изредка пощелкивает пальцами. Однако не так уж много пролетит времени, как он скороходом спешит к сельпо снова. Здоровается со встречными отрывисто, но весело, с улыбкой, без той утренней степенности. Ребятишки снимают шапки, но он отвечает им так снисходительно:

— Один раз снимал мне — хватит, козявушка. Молодец. Хвалю.

На обратном пути, по той же улице (ее не миновать!), он кричит мне в раскрытое окно:

— Тихону Иванычу! Алый привет!

До сих пор я так и не знаю, почему «алый». Но тогда, бывало, спрошу из окна:

— Пошел?

— Поше-ел! — ответит Василий Кузьмич и махнет длинной рукой вперед так, будто ему предстоит сегодня пересечь земной шар по экватору. — Варвара! — кричит он доярке, стоящей у калитки. — Варварушка! — Помотае головой, крякнет и добавит: — Ух, ты, Варвара! Ох, и бабочка ты, Варвара! Золотая ты наша работяга. Ух! — И засмеется от души, без какой-либо задней мысли. Он-то лучше других знает цену этой труженице и красавице.

— Спасибо, Василий Кузьмич! Зашли бы, — приглашает она. — Папаша дома — он всегда вам рад.

— Не могу — Домаша теперь ждет дома. Я ведь уже три раза был «у обедни». Куда же кроме ткнуться? Некуда. А теперь домой надо. Не могу зйти, Варварушка.

— Ну, воля ваша. Тогда одну минутку! — Она скрывается в калитке и вскоре выносит сверточек. — Это тете Домне. Пирожки у меня нонче вышли на славу — пусть отведае. По ее рецепту — с содой. Мастерница у вас тетя Домна.

— Варвара! Без подхалимажу! — отсекает на полном серьезе Василий Кузьмич.

Во время такого разговора у калитки или где-либо в другом месте Василия Кузьмича окружают девчата, тоже нарядные по-праздничному. Кто-то из них начнет вроде бы издалека:

— Надоели старые песни, Василий Кузьмич.

— А ну вас! — отмахнется он. — Где я их вам возьму? Прошлое воскресенье дал две новых. Хватит.

Тогда они хором и вразной начнут канючить: «Василий Кузьмич, да Василий Кузьмич, да пожалуйста, да хоть одну... И он, конечно же,

сдается. Подзывает самую голосистую, говорит ей вроде бы по секрету, но так, что все окружающие слышат каждое слово:

— Вот тебе — про Аришку Гузыреву.

Мой милоч опять свистить —
Кличет на свидания.
Ой, нельзя к нему пойтить —
Опять заседания.

Подобные частушки Василий Кузьмич сочинял молниеносно. В общем, ко всем качествам можно прибавить еще одно: он был признанным поэтом на селе и поставлял девушкам веселые песни. Те запоминали и пели, а Василий Кузьмич тут же забывал свое сочинение, как, впрочем, и любую шутку. На каждый день у него были новые шутки — не запомнишь.

Перед собственной хатой Василий Кузьмич, изображая разгулявшегося, прямо таки кричит:

— До-омна-а! Прише-ел!

— Вижу — пришел. — И она тоже соблюдает серьез с глубоко скрытым юморком. Она-то лучше других знает, что муженек никогда не напьется пьяным, а сейчас только шутит.

— Как ты понимаешь, Домна: кто я есть?

— Ты?

— Я. Кто я есть?

— Трудовик вечный, — отвечает она, зная, какой ответ ему по душе.

— Отвечаешь правильно. — Он сразу переходит на трезвый тон и говорит: — На-ка вот тебе от Варварушки — сними пробу.

Они садятся на завалинке, пробуют тот пирог. Иной раз Василий Кузьмич подставит ей спину:

— Почеши-ка маленько...

После обеда они хорошо поспят, попьют чайку, перечитают в который-то раз письма от двух сыновей. Домна Петровна скажет с сожалением:

— Ванятка домой не вернется. Всѣ.

— Ну и пусть. Все уходят... А он у нас в науку ударился... По крайности за мукѳ в город не будет ездить. И то — здорово.

— Это ты к чему?

— А я уж забыл к чему. Ты-то о чем?

— Ванятка, говорю, не вернется... И в отпуск не едет. Два года не был дома... Пусть женатый, пусть дети пошли свои, пусть там и ученый он, а все равно дите родное... Сердце тоскует.

— «Отпуск, отпуск»... Заладила. Он студентов обучает. А они знаешь какой народ? О! Народ!.. Во! — Василий Кузьмич показывает большой палец, что означает: студенты — народ отличный, и их надо учить хорошо. — Все ты зря, Домаша. Пишет же: приедет на два месяца.

— Может, и приедет. Только вряд ли, — вздыхает Домна. — Какой уж раз обещает.

— Обязательно приедет, — утешает муж. — Ванятка — охотник заядлый: в ноябре по уткам, северная пойдет; и по зайцам опять же открытие в ноябре... и по первой пороше в декабре. Как не приехать? Обязательно приедет.

Вечером они прослушают лекцию в клубе «О вреде алкоголя» или посмотрят кино «О передовом опыте возделывания технических сельскохозяйственных культур». Там они начинают помаленьку засыпать. А дома спят крепко, успокоенные, отдохнувшие для того, чтобы снова шесть дней от солнца и до солнца работать без разгибу.

В правлении очень уважали их за труд. Одна только и была запятая у Василия Кузьмича: иной раз нападала на него рыболовная одержимость. Тогда он уезжал на лодке еще на ночь, под воскресенье. А для этого волей-неволей надо было уходить с работы в субботу часа на два-три раньше. Удержать его невозможно никакими увещеваниями. Сам председатель пробовал уговорить, но Василий Кузьмич отвечал ему короткой речью, будто со сцены:

— Дорогие товарищи! Отдаю свой полный трудодень стоимостью в один килограмм хлеба за эти три часа субботнего вечера. Свою ошибку признаю, но выправить ее уже трудно. Горбатого исправит одна могила, а на меня и двух могил мало. Миру — мир, а я пошел на рыбалку. Алый привет!

Вот какой был Василий Кузьмич Кнутиков, к которому я проби-рался на челноке в разомлелый июньский праздничный день.

Да, именно был. Теперь он уже не такой. Совсем, совсем не та-кой.

Как говорят в газетах, многолетним и самоотверженным трудом в колхозе Василий Кузьмич заслужил всеобщий почет и уважение, и год от году его авторитет в массах повышался. И вот он уже на постоянной почетной работе — заведующий птицефермой! — и зачислен правлением в постоянный список актива, участвует на расширенных заседаниях, обсуждает выполнение и перевыполнение, утверждает планы, предвари-тельно утвержденные райисполкомом. Его птицеферма выдала го-довой план продажи яиц к первому июля. Небывалый случай в районе! Из полудохлого птичника — передовая ферма! Вот он какой стал, Ва-силий Кузьмич. Попробуй теперь уйди на три часа раньше. Или выпей стопку на порожках магазина. Нельзя — массы осудят. Человек на по-стоянной — нельзя.

Теперь Василий Кузьмич появляется на речке только в воскресенье, чуть свет.

...В тот полуденный час река дремала. Я тихонько шевелил в воде веслом, еле-еле продвигаясь, прислушиваясь к тишине и боясь ее нару-шить. Спешить мне некуда.

Где-то совсем близко, рядом со мной, кто-то запел частушку, тихонь-ко-тихонько, для самого себя. Я замер. Не далее как в трех метрах торчали из камышей два удилища и краешек кормы челнока. А оттуда голос:

Гармонист, гармонист —
Рубаха горохом!
Не играй ты, гармонист,
Всяким там... пройдохам.

Голова высунулась из камышей, и песня оборвалась.

— Кого я вижу! — воскликнул Василий Кузьмич. — Алый привет!

Рыбак сидел на лавочке челнока без рубахи, в засученных по колено брюках. Мы пожали друг другу руки.

— Тоже не вытерпел? — спросил он. — Надолго?

— Два дня пробуду тут.

— Я на ночь. Больше не могу. Нельзя.

— Частушки у тебя здорово получаются! Талант! — сказал я.

— А-а... Это я сам себе. Забавляюсь. В поле две воли, а на воде вдвойне. Конечно, спел бы и дома, но... Когда был рядовым колхозником, тогда другое дело — и девочкам помогал, а сейчас... Только тут, на речке, человеком станешь: ни тебе начальства, ни тебе плана, и массы нету — осудить некому. И на душе просторно.

— Ключет? — спросил я.

— Как в могиле: ни печаль, ни воздыхание. Вишь, как печет — где уж там ей клевать. Она что, рыба-то, дура, что ли, клевать в такую жарницу? Курица — дура: в любое время жрет, весь день жрет... А рыба срок знает... Ох, уж эти мне куры!..

— Подкормку бросил?

— А как же. Да еще и со жмыхом. Вечерней зарей да ночью обязательно поймаем.

— Один тут?

— За поворотом, в затончике, Захарка Пушкарь сидит.

— Поймал он чего утром?

— Два ерша и ракушку.

— Поехать к нему, что ли?

— Сиди тут. Не мешай ему... Жука-плавунца и пиявку изловил он да в банку с водой посадил.

— Это для какой же цели?

— Уясняет: будут драться или нет... На ночь приедет сюда... Ну и печет же... Спасу нету, печет.— Василий Кузьмич лениво глянул на солнце, прищурившись, зевнул во весь рот, потянулся с хрустом и добавил еще раз: — Печет... Спать хочется. Выбирай место, бросай подкормку да давай-ка поспим в удовольствие. Ночевать будешь тут?

— Буду.

— Резон. Втроем, значит... Налаживай себе место, налаживай. Утром рыба играла — лучше не ищи.

Отъехав метров на двадцать, я загнал челнок в камыши, измерил глубину, бросил подкормку, искупался, бултыхнувшись с кормы челнока. Затем разровнял траву на дне лодки и вытянулся во весь рост.

Приятная тень от камышей защищала от палящего солнца, но спать мне не хотелось. Ловить сейчас нет смысла: не клюет... Василий Кузьмич малость поворочался в челноке и затих. Раз ему хочется поспать, то и не надо его тревожить. Ежедневно от рассвета и до темной ночи он ведь на ферме, поэтому, когда подходит срок отдохнуть днем, он засыпает обязательно... Пусть поспит... А если меня не клонит, то и нечего стараться — полежу так...

Когда лежишь вверх лицом, то пятиметровые камыши кажутся огромной высоты — уходят в небо, к самым облакам, реденьким и лениво плывущим неведь куда, но уж обязательно мимо моих, вот этих, камышей... Плывот облака... Если закрыть глаза, то, кажется, и ты плывешь по небу вместе с челноком и облаками. Можно и не открывать: я знаю уже все окружающее меня, все до единого стебелька и листа... И я плыву спокойно и радостно... Плыву по небу...

Плеснула рыба. Чиркнула по воде крылом чайка. Вдрагивал надо мной паучок, уже соорудивший свою сеть.

— Тихон Иваны-ыч! — проснувшись, окликнул Василий Кузьмич.

— Гоп-го! — бодро отозвался я.

— Пора начинать. Рыба заиграла. Теперь будем жить тихо. Молчок: как куры на насесте.

И я стал разматывать удочки.

С первого же клева мне подвезло: вывернул «лаптя» — твердого красавца окуня. Потом эта удочка «замолчала» — червя никто из рыб больше не пожелал; но оживела вторая, что насажена пшеничкой: гусиный поплавок вздрогнул, покачнулся и лег на воду плашмя... Подсечка! Леска упруго натянулась струной, конец удилица — дугой. Короткая борьба — и вполне порядочный лещ уже бился в подсаке. Зато в садке он вел себя тихо и мирно, абсолютно не представляя себе, что такое скворода.

Ну и что ж, на пшеничку — так на пшеничку. И бодро заправил удочки пшеничкой. Настроение было на взводе: путь к рыбе был найден!

Но... целый час удочки молчали. Тогда вновь подкралось сомнение: «Может быть, напрасно охаял червей?» Показалось, что именно так оно и есть. И я спешно выбрал наилучших по качеству, самых вертлявых, червячков и исправил ошибку.

Конечно же, поплавок немедленно скрылся под водой: взяла огромная рыбина! Подсечка!.. Мне стало очень грустно: попался самый маленький з мире... ерш — зародыш сатаны, колючий, большеротый, лупоглазый антихрист. Он заглотнул весь крючок полностью..

Потом я решил вернуться к старому методу: одну удочку — на пшеничку, другую — на червя. Потом наоборот: ту — на червя, а эту — на пшеничку. Но и двойственный хитрый метод не вызывал ни малейшего восторга у рыбы.

Солнце уже зашло за горизонт — заря на исходе. А я анализировал свои ошибки: если бы ловил только на пшеничку, то, возможно... А если бы только на червя, то, можно полагать... И вообще: я наверху, рыба внизу; я ее понимаю, а она меня ни чуточки... Такая неблагодарность к моим стараниям возмущала.

И вдруг конец удилца потянуло в сторону. В раздумьях я не заметил, как и когда утонул поплавок. Схватил удилище, дернул слегка вверх, но рыба... Рыба ли это? Еще раз потянул — ни с места. Пробую посильнее: что-то сдвинулось. Осторожно, чтобы не оборвать леску, ташу и ташу... Ботинок! Старый, с полуоторванной подошвой, растоптанный, непригодный для носки солдатский ботинок.

Сначала я настроился, с досады, на мрачный тон: «Вот жил солдат, вот он разбил ботинки, бросил их в реку и пошел босиком...»

К чему бы привело течение мысли, не знаю, но подъехал Захар Макарыч Пушкарь.

— Шабаш — заря кончилась. Жму! — Он зажал в тиски мою ладонь. — Ночуем?

— Обязательно.

— Как улов?

— Окунь, лещ и... вот, смотри.

— Да к то ж мой ботинок! — воскликнул Захар Макарыч и рассмеялся. — Вижу — разорился, взял — бросил. Им, ботинкам-то, лет двадцать — с войны принес. На рыбалку пока годились — брал, а теперь со святыми упокой. Утром бросил.

— Твой?

— Мой. Утром, говорю, закинул. Тут еще один должен быть: походи — поймаешь... Тут яма. Их, должно, в ямку-то и снесло течением.

Ботинок полетел обратно в воду, но уже на середину реки. Полетел старый, рваный остаток войны.

Ясно: утром буду ловить только на пшеничку. И ерш и ботинок попались на червя. Все начнем снова. Лихо смотав удочки, я бодро поплыл вслед за Захаром Макарычем на кочу.

Коча — это кусок сухого берега, чистого от камышей. Кочей же здесь называют и крохотный островок среди болота, поросший сплошь камышом. В тот вечер мы расположились у самого края реки: рядом с одной стороны вода, а с трех сторон — стены камышей. Великолепный домик с украшенным звездами потолком и с открытыми воротами к звездам в воде. Вверху звезды, внизу звезды, а посередине мы втроем.

Июньская ночь коротка. Поэтому ни кашеварить, ни разводить огонь мы не стали. Улеглись рядом, настелив на землю слой камыша, а на него слой осоки.

— Постель царская, — определил Василий Кузьмич.

Захар Макарыч был молчалив, видно, о чем-то думал. Он глядел в небо, подложив ладони под затылок.

— Какие новости в банке? — спросил я у него.

— Откуда ты знаешь про банку?

— Доложил лично, — опередил меня с ответом Василий Кузьмич.

— Дела непонятные: плавунец жив и пиявка жива — не трогают друг друга. Ведь оба хищники. Думалось: кто кого? А они плавают себе в банке, ни в чем не бывало. Я ж сам видал, как плавунец расправлялся с головастиком. Пробрался по протоке на болотце и смотрел часа два, как он воюет: раз-раз — молнией! — готов головастик. А тут тихоня.

— В неволе — вот и посмирнел, — сказал Василий Кузьмич. — А почему пиявка на него не лезет? Вот вопрос. Она же и из банки присасывается. Она же слепая — не понимает неволи.

И тогда я рассказал им, что у пиявки целый десяток глаз. Что она несет яйца и сама же роет дырки для коконов. И пожалуйста: гнездо. Через месяц потомство.

— Ты скажи, какие глупости на земле... Вот те и слепая! А она, вишь, гнездо. Как курица. Смехота! — заключил свое суждение Василий Кузьмич.

— Чудак ты, Кузьмич, — возразил Захар Макарыч. — Сколько тебя знаю — всегда чудак. Какая же тут смехота?

— И смех и чудо, — не уступал Василий Кузьмич и добавил вполне серьезно: — Посади рядом на гнездо. курицу и... пиявку. Смехота! Может, у них заведующий пиявочной фермой есть?

Мы с Захаром Макарычем рассмеялись, а Василий Кузьмич и бровью не повел. Он так умел.

Наконец Захар Макарыч безнадежно махнул рукой, встал и полез в челнок смотреть банку.

— Живые оба, — сказал он, вновь укладываясь рядом со мной.

Некоторое время мы лежали молча. Меня начало клонить в сон. Но Захар Макарыч заговорил с Василием Кузьмичом:

— Комбайны-то отремонтировали в колхозе?

— Комбайны? Нет. Два стоят верблюдами.

— А что так?

— Почему я знаю? Говорят, запчастей нету. Вот и стоят.

— Вам что же: дядя будет убирать? Июль на носу.

— Может, и дядя... Мало ли какие «дяди» к нам приезжают убирать... Таких комбайнеров, как ты, Захар, теперь нету у нас. Нету.

Видно, это польстило Захару Макарычу. Он спросил:

— Аль вспоминают?

— А как же! Чудак ты, Захар, право. Тебе до всего было дело. Это, брат, редкая штука — до всего доходить. Я вот, к примеру, не могу, не способен. Мне птицеферма — главный вопрос.

— А как ты туда попал?

— Как? Очень даже просто... Дохнут и дохнут куры — яиц нету. Дохнуть перестанут — опять яиц нету. Тыщи цыпловков привезут с инкубаторов — подохнут, как мухи осенью. Опять везут... Кого ни поставят руководить — куры яиц не прибавляют. А план давай! И маслом выполняли за яйца, и мясом — покупали на стороне... Было дело... Да... И говорит мне Домаха моя: «Может, ты взялся бы за курей: смотреть тошно на всю эту гармонию». Подумали-подумали мы так, и пошел я в правление. Говорю председателю: «Чего кур гробишь? Разума не хватает? Человек ты представительный, ученый, все умеешь, а курицу за вошь считаешь». Как он вскочит! Как он распалится! «Ты, говорит, критикан!» Это я-то «критикан». «Вы, говорит, только и умеете подсидывать да шептать за углом». Говорю ему: «Я тебе не за углом, а в лице членов правления». —

«Указывать вас много, а делать некому. Возьмись сам, да и подыми ферму на высоту». — «На высоту? — спрашиваю. — На высоту не могу, а на середину можно». Тут, конечно, все посмеялись, а председатель спрашивает с сердцем: «Ты, говорит, в цирк пришел или в правление?» Отвечаю ему: «В цирке таких курей не держат». Опять смеются, которые посмелее. Та-ак. А сидел тут в уголке незнакомый парнишка в кепочке и в очках (сперва его не заметил). Встал он, подошел к председателю и вежливо так поясняет: «А может, этот человек и есть тот самый, кого нам нужно». Уж потом я узнал, что парнишка тот вовсе не парнишка, а зоотехник из района новый. Да. Только, конечно, прогнал меня председатель: «Иди, иди своей дорогой». Я ему возьми, да и скажи: «Так-то и я тебе, Григорь Палыч, могу сказать». Тут уж не до смеху всем: испугались. А зоотехник на меня смотрит и смотрит, так сурьезно смотрит... Ну, я и ушел домой. А утром они ко мне: сам председатель и тот парнишка-зоотехник — Сережей его теперь зову. Ух, молодчина! Ух, мозгун! Ну, пришли. Слово за слово. Рассказывать тут нечего: сами назначили мне чин. И оказался я на птицеферме, заведующий.

— Самозванцем! — удивился Захар Макарыч.

— Ага, самозванцем.

— Ну и что же?

— Вот и все. Работаю. В прошлом году выполнили годовой план по яйцам к первому июлю. За весь год дали два плана.

— А председатель как: все сердится на тебя?

— Куда та-ам! Агнец! «Кузьмич да Кузьмич... Да не надо ли курям насчет витаминов — капуста есть лишняя... Может, хату тебе покрыть? Ведь худая». А мне, сказать по душам, не до хаты: хлопот полно. Когда был рядовым, все было просто, а теперь вот...— Василий Кузьмич вздохнул.— Как там убирают хлеб, чем убирают, кто убирает — ничего не знаю: птицеферма — главный вопрос на земле.

— А отчего же тебе теперь плохо? — спросил Захар Макарыч.— Все налажено, перед начальством в почете, в активе ходишь.

— Хожу-то хожу, слов нет. Ну... с председателем райисполкома нелады у меня.

— Ого! — воскликнул Захар Макарыч.— Эка хватил.

— И доси косится,— продолжал Василий Кузьмич.— Был бы он, скажем, плохой человек — наплевать мне, пусть дуется, а то ведь... вроде бы. он ничего себе... Ну, да ладно — толкач муку покажет.

— А что случилось? — спросил я.— Может, расскажешь, Василий Кузьмич?

— Да оно как-то и рассказывать про это неудобно.

Захар Макарыч подбодрил:

— Почему неудобно? Сам говоришь: «В поле две воли, а на воде вдвойне». Валяй. Чего там «неудобно».

— Вопрос-то политический... Ну, ладно, расскажу, так и быть. Но — между нами.— Теперь он снова лег на спину и стал рассказывать тихо, вполголоса: — Дело было в прошлом году. Добыл я хорошего прехорошего кочета: красавец, могучей такой, кохетинской породы. Молодой петушок, а ростом с наших стариков. За двадцать пять километров ходил за ним, на руках принес, как дите малое. Это такой кочет, каких у нас не было с роду родов. Картинка! Хоть на иконостас вешай... Голубь мира, а не кочет — вот какая птица... Принес я его и посадил вечером на насест. А сам тем же оборотом на актив: объявили еще вчера — собраться по важному делу. По какому — не знаю... Пришел. Сидим час, сидим два, а председателя нет и нет. И пришло мне в голову такое: «Зачем я кочетка своего посадил сразу к старикам? Утром заключают!» Ну и, конечно, вскочил и — бежать. Пересажу, мол, пока под корзинку. Прибегаю,

Цап-цап — нету кочета! Я — фонарь: нету кочета! Я к сторожике: «Где кочет?» — «Какой такой кочет?» — «Я же посадил вот-вот, два часа назад». — «Меня не было, когда сажал. Знать не знаю». — «Где кочет?! Молодой, рыжеватый. Красавец!» — кричу ей. «Э-э! Тогда к председателю отнесли. Вот записку прислали — велел петушка дать: председатель райисполкома приехал голодный — покормить надо». Я бежать к председателю колхоза. Его дома нету — на актив ушел. Спрашиваю у его хозяйки: «Покажи, пожалуйста, перья». Показала в корыте: мой кочет! Мой красавец! Двадцать пять километров ташил, как дите малое... С них надо начинать, с кочетков, если хочешь много яиц добыть... Ай, мамушки, погиб производитель! Ладно. Пришел на актив. Сидят. Говорит, конечно, председатель райисполкома Фомушкин. Трудно мне, но все ж таки понял, о чем речь: один план продажи хлеба выполнили, надо теперь еще второй, а актив должен поддержать это самое на общем собрании. «Валяйте, — думаю себе, — я на все согласен, но только чего на трудодни дадим — это вопрос». Одним словом, сказать по душам: злой я был по случаю смерти кочета, а через то и вредные мысли.

— А что ж ты думаешь: это ведь не пустяк — сбегать за двадцать пять километров, — сочувственно поддержал Захар Макарыч.

— Не в том дело. Петушина-то был царь-птица, а не кочет. — Василий Кузьмич чуть помолчал и продолжал дальше: — Пошли все на общее собрание. Начальство, с виду может, довольное, улыбаются — актив подготовили. Григорь Палыч подходит ко мне, председатель наш, и говорит: «Выступи — поддержи. Вопрос большой: область с планом садится — ничего не поделаешь. Как? Я, говорит, отвертеться не могу». — «Ладно, говорю, так и быть. Актив же. Не рядовой же я». А когда подошли вопросы после доклада, мне так-то стало тяжело через того самого кочета, так-то тошно!.. Осерчал еще больше, а виду не показываю. Слышу: «У кого вопросы есть?» — спрашивает Григорь Палыч. Я и задал: «А почему так: по хлебу — два плана, по мясу — четыре раза в год спускали, план тот? Неужто нельзя одним разом? Так, пожалуй, и ума не приложишь, как за трудодни расплачиваться, как самим планировать хозяйство, как дебет-кредит наводить». Ответил председатель райисполкома Фомушкин: «Этот план не от нас... Дополнительный... Надо поддержать... Работаете плохо — вот и мало на трудодни в этом году». Но, вижу, замаялся. Вопрос-то политический! Тогда я ему так, для утешения: «Конечно, слов нет: что потопашешь, то и полопашешь. Тыщу лет этой поговорки. Что ж: будем топтать. Я не против второго плана. Дело ваше». Тут звонок. Еще раз звонок. В президиуме заторопились, заторопились и объявили перерыв. Подходит ко мне Григорь Палыч: «Поди-ка за мной: товарищ Фомушкин кличет — поговорить желает с тобой». Иду. Знаю, будет воспитывать. А я — злой и к воспитанию не способен в таком разе. Фомушкин — из клуба, я — за ним. Фомушкин — за угол, я — за ним. Говорит мне с глазу на глаз, в полной темноте: «Товарищ Кнутиков! Василий Кузьмич! Как же так подводишь? Актив называется! Гнилой ты актив. Народник ты — вот ты кто». А сам (чую по словам и по голосу) улыбается. Ну, думаю, лаяться начал, ругательные слова всякие... И тут я ему отрубил: «Ладно, пускай я народник. А ты колхозного кочета слопал! Это похуже народника. — И стал его, со зла, воспитывать: — Ты знаешь, какой это был кочет? Царь-птица!» — «Стой! — говорит. — Какой кочет? Где он?» Я легонько ткнул ему в пуп: «Тут кочет». Он-то, конечно, не знал, о чем речь, а, чую, догадывается — растерялся. Тогда я ему: «Зови Григорь Палыча». Ушел. Смотрю — идут вдвоем. А когда дело выяснилось, они оба тише воды, ниже травы. «Объяснишь на собрание?» — спросил Григорь Палыч. «Не дурак я, чтобы на собрание. Но без заведующего фермой никто не имеет права вмешиваться в жизнь

и воспитание курей. Если вам моя линия не подходит, снимайте. С меня хватит. Я бы сам дал петушка, какого полагается есть, — не помирать же начальству посередь колхоза! — а вы сожрали... царь-птицу».

— Так и сказал? — спросил Захар Макарыч.

— Так и сказал. Отнимись язык, так сказал.

— А они что же?

— Что? Григорь Палыч ударил себя по лбу и, прямо сказать, вскрикнул: «Ну какой же я остолоп!» А Фомушкин вежливо: «Тут, товарищ Кнутиков, нам надо извиниться... Я-то... но все-таки скверно. Плохо. Извиняюсь. Только зачем же вы так против плана?» Я ему отвечаю: «Не против плана. А это не план. Это переплан. Вы только вникните, товарищ Фомушкин: мясо себе стоит рупь, а продай за семьдесят пять копеек; денег — пятнадцать копеек на трудодень, а хлеба...» — «Что предлагаешь?» — спрашивает Григорь Палыч и тихонько подталкивает меня в бок: дескать, предлагай. Я ему: «Думаю, что из второго плана и половины хватит. Вы только вникните!» На том дело и кончилось. И зло с меня соскочило. Раз они понимают, что натворили с кочетом, — за что на них и сердчат. Осталась одна жалость: хорош был кочет. Ой, хорош!

— Ну, а на собранье что? — допытывался Захар Макарыч.

— Аль там ты не был? — удивился Василий Кузьмич.

— Не был, — как-то виновато ответил Захар Макарыч.

— А-а... Тебя, значит, это не касается — пенсионер... Что на собрание?.. Я молчал.

— А второй план как?

— Григорь Палыч сказал им всем, что и половины второго плана достаточно.

— А сам райисполком?

— Не возражал. Мирно все обошлось. Там же прикинули: по полтора килограмма на трудодень осталось. Это вполне допустимо... Тут, Захар Макарыч, надо сурезно думать: вопрос политический... Большая это политика! На трудодни давать надо обязательно.

— А чего же он на тебя косится и теперь, Фомушкин-то? — спросил я.

— Кто ж его знает. Так он человек неплохой, старательный, в сельском хозяйстве дотошный. Хоть и новый он, а уважают его колхозники. Не чета Переметову... Помнишь, был в райкоме?

— А чего его помнить, если он и сейчас живет в Камышевце в отставке.

— А мне, как бы сказать, интересу теперь нет — где он там живет. А Фомушкин с головой. Худа не скажешь... Но только вот встретится со мной, подаст, конечно, руку и отводит глаза. Значит, сердает, полагает. Разве ж узнаешь, что у человека на душе?

Оба они некоторое время молчали. Потом Захар Макарыч сказал, будто обдумав:

— Не-ет, Василий Кузьмич! Ты не чудак. Нет... Не первый год тебя знаю, а вот, поди ж ты, и не угадал, что ты за человек.

Было совершенно ясно, что Захар Макарыч открыл нового, незнакомого ему Василия Кузьмича. Я тоже не знал его таким, каким он был сегодня — задумчивым, спокойным. А все оттого, что звезды вверху, звезды внизу, а кругом камыши и тишина.

Спать мне уже не хотелось.

Василий Кузьмич сказал:

— Я десять крючков поставил на соменка на ночь. Посду проверю... И неслышно поплыл на челноке.

Захар Макарыч вежливенько захрапел — тихо, без нажиму.

«Вот оно какое дело-то, — думалось мне, — пока я анализировал свои

ошибки, Василий Кузьмич расставил крючки на ночь без всяких сомнений. Пожалуй, и мне надо так поступать — спокойно, помаленьку, надежно. И всегда будет удача».

Он действительно приволок четырех сомят и в полном удовлетворении улегся «на царскую постель». Уже засыпая, он лениво и тихо-тихо замурлыкал под легонький храп Захара Макарыча:

— Разве ж это храп... у Захара-то?.. Одна срамота, а не храп... Себе под нос... Так-то и кошка храпит...

— Пусть, в свое удовольствие,— ответил я.

— Вот у покойницы, бабки Васёны, была дудка-то!.. Вот это был храп... Двор-то ее у проулка был, а через тот проулок мужики с нашей улицы в поле ездили... Бывало, она в обедах заснет под сараем, да ка-ак захрапи-ит!.. Ох!.. Плетни треском трещат... Храпит, как перед концом света... Пугливая лошадь никак не шла в проулок: жуть, а не храп — стон дьявола... Зайдет мужик во двор к ней, разбудит и молит: «Тетка Васена! Дай бога ради проехать!» — «Проезжай, говорит, скорей, пока опять не заснула, а то время мне подошло». А у Захара не храп, а ответственная речь... с трибуны... по записке... Ну пусть. Он человек хороший. Чудак, конечно, Захар-то... но человек хороший. Только вот чудак. Мухи ему разные... жуки нужны. Все глупости. Хороший человек Захар. Пусть себе храпит... помаленьку.

...Разбудила меня выпь-горнист. Ухнула где-то рядом.

Василий Кузьмич уже собрался домой: ему ведь надо поспеть на работу к пяти часам утра. Он о чем-то тихо беседовал с Захаром Макарычем. Я подошел к челноку, над которым они оба наклонились. Захар Макарыч повернул ко мне голову и с восторгом объяснил:

— Сожрал плавунец пиявку! Одни хлопья остались.

— Сожрал, собака,— удовлетворенно подтвердил и Василий Кузьмич.— Смехота! Ночью сожрал...— Он оттолкнулся веслом от берега и скрылся за поворотом...

За утро я поймал еще одного окуня. И все. Захар Макарыч ничего не выудил: он сидел всю зорю метрах в пяти от меня и, казалось, не обращал внимания на удочки. Но сидел недвижимо.

Когда мы, чуть шевеля веслами, ехали домой вдвоем с Захаром Макарычем, солнце уже поднялось «выше завтрака».

У моста, причаливая челнок, он сказал:

— Завтра пойду в колхоз. Как это так: два комбайна негодные, а уборка вот-вот?

— А что сделаешь? Запчастей-то нет.

— Когда-то вовсе никаких запчастей не было, а работали. И убирали... Отремонтрую. Я могу. Двадцать пять лет ремонтировал — знаю.

Река пела. Трещала в камышах птичка-барсучок. Вскрикивали чаечки. Заливались сотней голосов камышевки, шелестели камыши...



М. ГАЛЛАЙ

★

ИСПЫТАНО В НЕБЕ*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Везение и невезение

Тебе крупно повезло, Марк! Ты еще сам не до конца понимаешь, как чертовски тебе повезло...

Александр Петрович Чернавский — один из старейших летчиков-испытателей нашего института — сидел на длинной скамейке посередине «гардеробной». В этой сплошь уставленной одинаковыми узкими шкафчиками комнате летчики-испытатели облачались в летное обмундирование перед полетом, а вернувшись, вновь надевали свою обычную одежду.

Я уже снял и положил на полку шлемофон, очки, перчатки. Вынул из наклонного планшета заполненный в полете картонный прямоугольничек — сделанные на нем торопливые карандашные записи еще предстояло аккуратно перенести на оборотную сторону полетного листа, в графу «выполнение задания». Но до этого следовало переодеться, и я принялся расстегивать несметное количество пуговиц своего старого, заслуженного летного комбинезона. Конечно, во времена, о которых идет речь — дело было в середине войны, — такое завоевание техники, как застежка-«молния», человечество уже освоило. Но летчики не любят менять свое привычное, обношенное обмундирование. Держался за свой древний комбинезон и я.

Пока я вылезал из упомянутых доспехов, мой собеседник продолжал развернуто комментировать обстоятельства только что закончившегося полета, в котором мне, по мнению Александра Петровича, так здорово повезло.

Возражать ему не приходилось: полет действительно обернулся довольно каверзно...

Когда неожиданно (такие вещи почти всегда происходят неожиданно!) развалился мотор моего самолета и, в довершение всех удовольствий, из него начало выбивать пламя, — мне невольно подумалось, что было бы вполне достаточно чего-нибудь одного — либо отказа двигателя, либо пожара. Но, мелькнув где-то на задворках сознания, эта, не к месту всплывшая мысль сразу же исчезла: обстоятельства требовали не философских раздумий, а совершенно конкретных — и, притом выполняемых в весьма резвом темпе — дел.

Впрочем, расскажу все по порядку.

* Вторая книга записок летчика-испытателя «Через невидимые барьеры». Первая книга опубликована в «Новом мире», № 6 и 7 за 1960 год.

До вылета ничто не давало повода ожидать каких-либо осложнений. Задание, которое мне предстояло выполнить, было довольно обычным: надо было «прогнать» несколько «площадок» — режимов горизонтального полета при полной мощности мотора — на истребителе «Лавочкин» с мотором АШ-82.

Благодаря новому мотору и некоторым аэродинамическим усовершенствованиям машина — и без того неплохая — стала буквально неузнаваема! Резко улучшились ее маневренность, скорость — словом, едва ли не все боевые качества.

Именно из этой комбинации самолета и мотора родился прославленный истребитель ЛА-5. Недаром в боях над Курской дугой, где наша «новинка» впервые была применена в широких масштабах, гитлеровцы быстро разобрались, «что к чему», и не раз в эфире можно было слышать тревожные голоса их постов наведения:

— Achtung! Achtung! Hier La-füpf! La-füpf! (Внимание! Внимание! Здесь ЛА-5! ЛА-5!)

А мотор АШ-82 — спасибо его создателям во главе с главным конструктором А. Д. Швецовым — оказался очень удачным. В дальнейшем он был установлен не только на истребителях, но и на фронтовых бомбардировщиках «Туполев-2», дальних бомбардировщиках «Петляков-8» и многих других самолетах.

Даже сейчас, без малого через двадцать лет, когда пишутся эти строки, над Советским Союзом и соседними странами летает множество пассажирских двухмоторных «Ильюшиных-14», на которых установлена одна из последующих модификаций того же мотора АШ-82. Он же вращает лопасти несущего винта такого распространенного у нас и также получившего международное признание вертолета, как МИ-4.

Долгая и славная жизнь получилась у этого мотора!

Но, как едва ли не любая машина, при всех своих положительных качествах, поначалу он был совсем «сырым».

Это, пожалуй, более кулинарное, чем техническое, выражение означало, что мотор в то время не вышел еще из периода, в течение которого продолжали «выползать» скрытые в нем дефекты. Чтобы устранить их, потребовалось оперативно изобрести и внедрить немало мелких и крупных усовершенствований. Это называется — «довести» объект.

А в ходе доводки неизбежно и закономерно возникают многочисленные неприятности — от какого-нибудь сравнительно безобидного подтекания масла из-под местной неплотности и до — увы — таких «номеров», как разрушение ответственных частей мотора!

«Лавочкин-5» был нужен срочно — к началу летней кампании, и его доводка шла широким фронтом — на нескольких машинах одновременно, благо к этому времени едва ли не все разлетевшиеся в сорок первом году по фронтам и дожившие до середины войны летчики-испытатели были отозваны назад в тыл, на свою довоенную работу. Впрочем, «довоенной» ее можно было назвать лишь весьма условно: испытывалось не то, а главное — не так, как раньше, в мирное (казалось, оно кончилось около тысячи лет назад) время.

* * *

В день, о котором идет речь, я успел сделать один полет с самого утра, заполнил полетный лист, подождал, пока осмотрят и заправят бензином мой истребитель, и снова ушел на нем в воздух.

Через несколько минут машина резво вынесла меня на нужную высоту. Я развернулся носом к аэродрому и с небольшим «прижимом» —

снижением на сто — двести метров для более энергичного разгона скорости — вывел самолет в режим горизонтального полета. Площадка началась.

Все протекало нормально. Стрелка высотомера дрожала у одной и той же цифры. А стрелка указателя скорости вначале поползла было по циферблату, но вскоре ее движение замедлилось, стало почти невидимым: еще немного, и установится постоянная — весьма солидная по тем временам — скорость.

Рев мощного мотора, звенящий звук винта, превратившегося в прозрачный, едва видимый диск, свист плотного, очень материального воздуха, обтекающего плексигласовый фонарь моей кабины, — весь сложный звуковой аккомпанемент полета был таким же привычно бодрящим, как всегда.

Новинка того времени — непрерывная двусторонняя радиосвязь с землей — позволяла слышать переговоры командного пункта с находящимися одновременно со мной в воздухе товарищами: Расторгуевым, Югановым, Якимовым. Кто-то выруливает на взлет, кто-то докладывает об окончании задания, кто-то просит посадку...

Глубоко внизу, под крылом, проплывает в разрывах облаков и быстро остается за хвостом самолета наш аэродром. Взглядываю на часы — прошло четыре минуты, это почти половина площадки. Что ж, едем дальше.

И вдруг — будто в нутро мотора подбросили какой-то посторонний громоздкий твердый предмет! Подбросили куда-то под самые шатуны, вращающие со скоростью двух тысяч четырехсот оборотов в минуту массивный коленчатый вал. Мотор загрохотал с таким надрывом, что по сравнению с этим грохотом весь обычный — тоже изрядный — шум полета показался вкрадчивым шепотом. Видимая сквозь прозрачный козырек фонаря верхняя часть моторного капота дергалась, как крупный зверь, силящийся вырваться из капкана. Вся машина лихорадочно тряслась.

Летчик на винтомоторных истребителях сидел сразу за двигателем, можно сказать, непосредственно ощущая ступнями ног источаемое им тепло. Поэтому, когда мотор пошел вразнос, впечатление было такое, словно весь этот могучий бунт техники происходит чуть ли не прямо у меня на коленях.

В довершение всего откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени, хищно облизнувший фонарь кабины. Снизу, из-за ножных педальей, в кабину клубами пополз едкий сизый дым.

Час от часу не легче — пожар в воздухе. Одно из худших происшествий, которые только могут произойти на крохотном островке дерева и металла, болтающемся где-то между небом и землей и несущем в своих баках сотни литров бензина.

Очередной авиационный «цирк» развернулся во всей своей красе!..

Как всегда в острых ситуациях, дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному. «двойному» счету масштаб времени. Каждая секунда обрела волшебную способность неограниченно — сколько требуется — расширяться: так много дел успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется — ход времени почти останавливается. Но — вот оно, действие «двойного» масштаба, — никаких незаполненных пустот или пауз человек в подобных ситуациях не ощущает, «подогнать время» совершенно не хочется. Напротив, оно само подгоняет человека! И, если судить по отсутствию «скуки», время не только не останавливается, но даже бежит быстрее обычного. Если бы человек всегда умел так ловко — без излишеств, но и без дефицита — распоряжаться им!

* * *

Почти автоматическими движениями — на них потребовалось куда меньше времени, чем для того, чтобы рассказать обо всем случившемся, — я убрал газ, выключил зажигание, перекрыл пожарный кран бензиновой магистрали, перевел регулятор винта на минимальные обороты и заложил крутой разворот в сторону аэродрома.

Вон оно, наше летное поле: его край как раз появляется из-под равнодушно ползущего пухлого кучевого облака.

Главное теперь — попасть на аэродром!

Конечно, главное из того, в общем, немногого, что от меня зависит. Кроме этого, есть еще немало других, столь же «главных» обстоятельств, повлиять на которые я не в силах: так, например, крайне желательно, чтобы пожар мотора не распространился на всю машину (особенно внизу, у самой земли, когда и с парашютом прыгать будет уже поздно). И таких «чтобы» можно было назвать довольно много!

Но все, что можно было сделать для их предотвращения, уже сделано. А значит, и думать ни о пожаре, ни о грозящем разрушении машины нечего: такие бесполезные мысли в подобных обстоятельствах должны «знать свое место»; какой-то кран в моем мозгу решительно «отключает» их и направляет все помыслы в единственно важном сейчас направлении: как попасть на аэродром?

Когда-то, на заре развития авиации, летающей машине, подобно стрекозе из крыловской басни, — «под каждым ей листком был готов и стол и дом». Иными словами, в случае отказа мотора (а это был тогда, надо сказать, довольно частый случай) можно было спланировать и приземлиться чуть ли не на любой лужайке. Теперь же для вынужденной посадки требовались уже не лужайки или полянки, а большие ровные поля, которые могли подвернуться в нужный момент лишь случайно. К тому же из-за большой посадочной скорости машина, налетев во время пробега на малейшее препятствие — канавку или бугорок, — как правило, оказывалась полностью разбитой...

Нет, надо попадать на аэродром!

Круто опустив нос к земле, самолет быстро снижается. Аэродром еще довольно далеко, да и во время разворота я изрядно потерял высоту. Теперь надо — не обращая внимания на грохот всей этой железной мельницы, на тряску, на огненные плевки из-под капота, на дым в кабине, на все неприятности, повлиять на которые я не в силах, — педантично держать курс — точно на аэродром; и скорость — наивыгоднейшую, при которой я пропланирую дальше всего.

Наконец наступает момент, когда ясно, что мы с многострадальным, дрожащим ЛА-пятым все-таки дотягиваем до дома!

Впрочем, особенно радоваться еще рано. Пока налицо только, так сказать, принципиальная возможность попасть на аэродром. Ее, эту возможность, надо еще реализовать.

Теперь главное — расчет, то есть такой маневр, который приведет меня к земле у самой границы летного поля. Если запас высоты «кончится» раньше, чем я дотяну до аэродрома, исправить ошибку подтягиванием я не смогу — мотор-то не работает! Приземление состоится вне летного поля, и машина будет обидно, перед самым аэродромом, разбита. Тем более не смогу и я «уйти на второй круг», чтобы рассчитать посадку более удачно с повторного захода, если подойду к аэродрому с «промазом» — чрезмерным избытком высоты. И в том и в другом случае нужен мотор... Нет, надо рассчитывать точно, без поправок!

Кажется, это получается... Да, теперь уже ясно: расчет приличный. Есть небольшой избыток высоты — убираю его змейками и подкальзыванием на крыло. Так — хорошо!

Над самой землей, нажав рычаг быстродействующей аварийной системы, выпускаю шасси. Оно четко выходит — я ощущаю два легких толчка, а на приборной доске загораются зеленые лампочки.

Еще несколько секунд — и «Лавочкин» катится по заснеженной земле, обгоняя пожарную машину, которая полным ходом мчится по краю полосы к тому месту, где я должен остановиться.

Время снова пошло своим обычным, нормальным, не «форс-мажорным» ходом... «Цирк» окончен...

Первый же беглый осмотр самолета подтвердил то, что мне стало ясно еще в воздухе — мотор развалился. Один из его цилиндров вырвало начисто (по-видимому, из образовавшейся «дыры» и хлестало пламя). У другого сорвало головку. Большая часть шатунов порвана и перекожена. Хотелось бы сказать, что мотор, мол, годится теперь разве что на металлолом. Но нет! Представители моторной «фирмы», хотя и немало огорченные всем происшедшим, смотрят на него с величайшей заинтересованностью. В нем — разгадка причин аварии. А значит, и возможность полной ликвидации этих причин в будущем.

* * *

Разоблачаясь в «гардеробной», я поначалу ничего, кроме тяжелой усталости, не ощущал: сказывалось то, что, как говорят спортсмены, «выложился» до дна. Хотелось не дискутировать с Чернавским, а поскорее идти в душевую и после этого — на отдых, домой.

Но ближе к вечеру я вернулся к мысленному разбору происшедшего. Действительно, мне последовательно везло в этот день.

Произошло разрушение мотора на полминуты позже (то есть на несколько километров дальше от аэродрома), будь немного больше угол, на который мне пришлось развернуться, чтобы лечь курсом «домой», лопни от дикой тряски бензиновая проводка вблизи от живого факела пламени, бьющего из мотора... Словом, можно было перечислить немало весьма вероятных «если», при каждом из которых выкрутиться из создавшегося положения не удалось бы никакими силами ни мне, ни любому другому летчику на моем месте.

Получалось, что действительно повезло!

И я задумался... Едва ли не впервые серьезно задумался над тем, что же, в сущности, такое — везение? А равно и его значительно менее приятный антипод — невезение?

Попытки обратиться к таким испытанным источникам мудрости, как, например, «Философский словарь», верой и правдой послуживший мне в студенческие годы для сверхскоростной подготовки к экзаменам, — успеха не имели. О везении и невезении там ничего сказано не было.

Гораздо тщательнее исследованными оказались категории случайности и необходимости. Если верить Александру Дюма, еще отважный мушкетер Д'Артаньян интересовался этим вопросом и пришел к выводу, что на голове у случая растет одна-единственная прядь волос, за которую его можно схватить. (Д'Артаньян, судя по всему, имел в виду случай неизменно благоприятный; он явно не служил в авиации.)

Конечно, эти проблемы можно было изучить не только по высказываниям мушкетеров короля Людовика XIII. И я попытался, в меру своих возможностей, сделать это. Но все же проблема случайности и необходимости не совсем совпадала с той, которая меня интересовала: везение и невезение. Родственно, но не то.

Пришлось обратиться к самому надежному критерию истины — практике. Благо авиационная практика оказалась на сей счет весьма богатой: примеров везения и невезения вокруг меня было сколько угодно.

* * *

Мой товарищ Алексей Николаевич Гринчик — впоследствии один из виднейших советских летчиков-испытателей — отправился в полет на самолете И-16. Дело было года за два до начала войны, когда мы как испытатели едва начинали «оперяться». Завоевать свое «место под солнцем» нам еще только предстояло, причем для большинства из нас — в том числе и для Леши Гринчика — эта задача была осложнена некоторыми дополнительными обстоятельствами, начиная со столь «неблагоприятного», как наличие у молодого летчика-испытателя высшего технического образования. На фигуру инженера за штурвалом опытного или экспериментального самолета кое-кто из старожиллов смотрел в те времена еще косо.

Словом, едва ли не в каждом полете надо было, что называется, «показывать товар лицом», а как понимать этот «показ», мы по молодости лет порой толковали несколько превратно. Так, например, возвращение домой с не до конца выполненным заданием представлялось нам чем-то неуловимо компрометирующим, независимо от того, чем это невыполнение было вызвано: неполадками в работе мотора, ухудшением погоды или какими-нибудь другими причинами.

И вот в один прекрасный летний день Гринчик ушел в воздух на маленьком, тупоносом, похожем на злого бульдога истребителе И-16. Ему надо было добраться до потолка, а затем, как бы спускаясь с невидимой лестницы по гигантским ступеням высотой в километр каждая, выполнить несколько горизонтальных скоростных площадок на разных высотах — на восьми километрах, на семи, шести и так далее. Это задание сокращенно именовалось «потолок и скорости по высотам».

Леша благополучно добрался до потолка, сделал одну площадку, другую и, лишь подходя к третьей, обнаружил, что кучевые облака под ним сгущаются — просветы, сквозь которые он видел землю и определяя свое местонахождение, делаются все меньше. А надо сказать, что другие способы ориентировки — например, столь распространенные сейчас различные виды радионавигации — в то время, по крайней мере при выполнении испытательных полетов, да еще на одноместных самолетах, практически не применялись. Поэтому единственным способом определить, над чем летишь, было так называемое «сличение карты с местностью», для чего, конечно, эту самую местность надо было видеть.

Знакомясь с уставами наземных родов войск, летчики не без зависти читали о широко распространенном у «наземников» методе ориентировки «путем опроса местных жителей». С летящего самолета узнать что-либо таким способом было — увы — почти невозможно.

Говорю «почти», потому что некий паллиатив этого соблазнительного метода нами (когда совсем уж «припирало») все же применялся. Я сам однажды, немного подзаблудившись и выскочив на какую-то затерявшуюся в лесах железную дорогу, использовал нечто подобное опросу местных жителей: снизился и на бреющем полете стал читать названия станций. Первая же надпись — «Александров» — сразу поставила все на место. Мне повезло в том, что это первое попавшееся мне название оказалось достаточно знакомым: иначе разобрать его при столь кратковременной «экспозиции» — станция вместе со всем, что на ней находилось, проскакивала под самолетом мгновенно — было бы нелегко.

И не мудрено, что один наш летчик, вынужденный применить такой же не совсем авиационный метод восстановления ориентировки, впал поначалу в ошибку. Надпись на вывеске, обнаруженной на какой-то захудалой платформе, оказалась вроде и недлинной, но ни одного из знакомых ему железнодорожных наименований не напоминала. Лишь

с третьего захода таинственное слово было прочитано, надпись гласила: «Буфет». Пришлось лететь к соседней платформе...

Зато легко было летчикам, пролетавшим в довоенные годы над теми аэродромами, названия которых были написаны огромными меловыми буквами прямо на зелени летного поля. Увидев впервые эти надписи, я вспомнил сказку Чуковского, в которой главное действующее лицо — крокодил — прилетает в Африку и с облегчением убеждается, что по дороге не заблудился, ибо:

На земле там написано:
«Африка»!

Но шутки шутками, а точно ориентироваться, не видя земли, в довоенные годы на одноместном самолете было непросто. А в полете, о котором идет речь, Гринчик видел все меньшие и меньшие клочки земли, зажатые между быстро распухающей облачностью, да к тому же, как назло, все клочки какие-то очень «неинтересные» — невыразительные поля, опушки и перелески, лишенные сколько-нибудь характерных, легко опознаваемых ориентиров.

Но он упорно продолжал «гонять площадки» (не возвращаться же домой с невыполненным заданием!), соблюдая со всем возможным тщанием «курс и время»: пять минут в одном направлении, следующие пять — строго в обратном. Однако точности выдерживания элементов полета — и курса и времени — абсолютной, конечно, не бывает, да и ветер упорно сносит машину на десятки километров в час куда-то в неизвестном летчику направлении.

Короче, закончив задание и вынырнув под облака, Гринчик местности под собой не узнал. Тогда он начал методично, спокойно (чего-чего, а уж волевых качеств ему было не занимать!) летать перпендикулярными курсами по расширяющемуся многоугольнику, постепенно увеличивая продолжительность каждого прямолинейного прогона, пока не наткнулся на знакомые места.

Бензиномера на И-16 не было (сейчас только удивляться приходится, как кустарно мы тогда летали; впрочем, то же самое, наверное, скажут летчики восьмидесятых годов про авиационную технику наших дней). Судить об остатке бензина в баках приходилось исключительно по времени полета.

Поэтому, когда запоздавший сверх всяких допустимых сроков И-16 появился наконец на горизонте и стал приближаться к аэродрому, на земле было уже очень тревожно — не один лишь летчик замечает время своего вылета и пристально следит за ходом стрелок часов!

Вот И-16 подошел к аэродрому и встал в круг... О дальнейшем мне рассказал через час за обедом сам Гринчик:

— Понимаешь, король...— В Лешиных устах обращение «король» означало благорасположение к собеседнику и вообще хорошее настроение, для которого в этот день у него — видит бог! — были все основания.— Понимаешь, когда я увидел аэродром, время полета у меня уже истекло начисто. Что тут делать? То ли садиться на фюзеляж, пока под мой полет и есть куда приткнуться, а то кончится бензин над городом — куда денешься? То ли лететь вперед: очень уж досадно ломать машину, когда аэродром вон он, в трех минутах хода! Ну, я и пошел! Ты сам видел — все вроде было нормально: выпустил шасси, подошел к последнему развороту, поглядел, как положено, на посадочное «Т» — пора убирать газ. И только я плавно потянул газы назад, как мотор стих. Но, понимаешь, как-то подозрительно — чересчур уж послушно стих, вроде быстрее даже, чем я сектор газа потянул. Я снова сектор вперед!

Фигушки: никакого эффекта — нет газа! Понял? Мотор сам за меня «рассчитал»...

Я, конечно, все понял. Понял еще до Лешиного рассказа, когда увидел, что его самолет после посадки не отрулил на стоянку, а был забуксирован тягачом.

Бензина для того, чтобы сесть на аэродром, хватило, как говорят, «тик-в-тик». Израсходуйся он буквально на несколько секунд (именно — секунд!) раньше — и падение среди окружающих аэродром городских зданий было бы неминуемо!

Как тут не сказать: повезло! Крупно, капитально повезло, вопреки многому, что допустил в этом полете смелый, настойчивый, но в то время еще недостаточно опытный и осторожный летчик...

* * *

А вот случай, в котором от летчика уж вовсе ничего не зависело.

Один из лучших летчиков-испытателей нашего института, пионер в деле сочетания летно-испытательной работы с инженерной и научно-исследовательской деятельностью, Юрий Константинович Станкевич проводил испытания того же И-шестнадцатого на боковую устойчивость.

Вернувшись из очередного полета, он, как обычно, порулил по краю летного поля на стоянку, как вдруг почувствовал, что ручка управления непривычно легко ходит влево и вправо.

Взглянув, естественно, на элероны, Станкевич не сразу поверил собственным глазам. Оба элерона висели на шарнирах, безвольно качаясь при каждом толчке рулящего самолета. «Будто у слона уши!» — как определил потом их недостойное поведение сам Юра. Оказалось, что лопнули трубчатые тяги управления обоими элеронами — по-видимому, от мелких, но длительного действовавших вибраций.

Но лопнули — вот оно, везение! — лишь после посадки. Все предыдущие полеты они держались; держались и в течение всего этого длившегося без малого целый час полета, а через какую-нибудь минуту после посадки лопнули.

Случись это во время захода на посадку — и катастрофа была бы неизбежна...

Другой наш товарищ — один из лучших, если не лучший мастер фигурного пилотажа из всех, которых я когда-либо знал, — В. Л. Расторгуев работал однажды в испытательной зоне, когда погода на аэродроме внезапно стала резко ухудшаться. Штормовое предупреждение метеослужбы очутилось в руках у руководителя полетов, когда он уже мог собственными глазами видеть мутные валы тумана, подбиравшегося к летному полю из «гнилого угла» — с юго-запада.

Если бы в воздухе был бомбардировщик, транспортный или пассажирский самолет, решение было бы несложным: направить его на запасной аэродром, и дело с концом. Но в зоне работал истребитель, причем работал уже долго — задание было почти выполнено, и на полет до запасного аэродрома горючего явно не хватало.

Короче говоря, когда получивший приказание немедленно идти на посадку летчик оказался над аэродромом, он ничего, кроме сплошной пелены тумана, из которого торчали лишь три радиомачты да верхушки нескольких особенно высоких деревьев, увидеть не смог.

На всякий случай (когда дело плохо, самые последовательные материалисты склонны надеяться на чудо) с земли по радио был задан вопрос:

— Как с горючим?

— На пять — семь минут.

Этот естественный ответ заставил передать летчику единственно возможную в подобной ситуации команду:

— Набрать три тысячи метров. Выключить зажигание, перекрыть бензомагистраль и покинуть машину.

Покинуть машину! Легко сказать — бросить совершенно исправный, целый, ничем не провинившийся самолет!.. Но делать было нечего. Расторгуев развернул самолет в сторону пустынных лугов и бросил последний невеселый взгляд на аэродром, вернее, на тот участок туманной пелены, под которым он должен был находиться.

И вдруг — вот оно, то самое чудо! Из-за реки медленно выползал большой разрыв в тумане! Он был еще в добром полукилометре от аэродрома, но неуклонно приближался к нему.

Теперь весь вопрос был в том, что случится раньше: кончится горючее или откроется хотя бы кусочек аэродрома для посадки. Прошла долгая, полновесная минута, еще более продолжительная вторая — и наконец спасительный разрыв лениво вполз на аэродром!

Виктор потом говорил, что он бросился в этот разрыв, как ястреб на цыпленка. Буквально через несколько секунд после приземления самолет еще на пробеге врезался в туман. А после остановки летчику пришлось выключить мотор и вместо заруливания на стоянку долго «аукать», чтобы «навести на себя» людей, — настолько непроницаем был этот туман. Он продержался — без единого разрыва — несколько часов. Казалось, будто мгла нарочно расступилась, чтобы пропустить беспомощно носившийся над нею самолет, а приняв его, немедленно сомкнулась еще плотнее, чем раньше...

* * *

Иногда бывает, что везение и невезение даже в одном полете по несколько раз сменяют друг друга. Об одном таком случае (кстати, тоже связанном с туманом) нам — в то время начинающим летчикам-испытателям — рассказал еще в довоенные годы наш старший коллега Борис Николаевич Кудрин.

Дело было в середине двадцатых годов. Товарищ нашего рассказчика по отряду пассажирских самолетов, пилот И. Ф. Бывалов отправился на своем «Дорнье» в очередной рейс (в то время на наших линиях отечественная техника еще не успела вытеснить иностранную).

Все поначалу обстояло прекрасно. Но через некоторое время местность внизу стало заволакивать туманом. Сначала затянуло низины, потом леса, наконец исчезли из виду и пригорки.

Это было очень красиво. Но красота красотой, а с точки зрения практической ничего хорошего про туман не скажешь. Начать с того, что, не имея возможности «сличить карту с местностью», летчик вынужден был упереться глазами в компас и напряженно выдерживать курс, одновременно отсчитывая в уме пройденное расстояние по времени полета. Иначе можно было в два счета сбиться с пути.

Главное, однако, было впереди.

Когда зона тумана по всем признакам должна была уже скоро кончиться и впереди у горизонта появились очертания и краски открытой земли, в этот самый момент зачихал, захлопал и остановился мотор!

Вот оно — невезение!

Бывалову оставалось одно — планировать. Ничего, кроме этого, на самолете с неработающим мотором не сделаешь! Планировать наугад, без малейшего представления о том, что ждет самолет и людей внутри этой, так некстати оказавшейся под ними мути.

Все ближе и ближе верхняя кромка тумана, как назло, особенно плотного в этом месте. И вот планирующий самолет погружается во

влажную молочную мглу. Никаких приборов слепого полета, конечно, нет — они появятся лишь через добрый десяток лет. Чтобы не потерять пространственного положения и не свалиться в штопор, приходится, за-мерев, «на память» сохранять то самое положение рулей, которое подобра-лось в открытом полете до того, как самолет врезался в туман.

Взор летчика устремлен вперед в напряженных, но все еще тщетных попытках увидеть, куда летит машина, что ждет ее внизу: овраг, лес, жилые строения, провода высокого напряжения? Но впереди туман... Туман... Только туман...

Но вот цвет окружающей самолет мглы как-то изменился, из молоч-но-серого стал чуть-чуть зеленоватым. Еще секунда — и перед взором Бывалова появилась стремительно набегающая навстречу, покрытая травой земля. Ему оставалось только, не мешкая, выбрать штурвал на себя и посадить машину на ровную поверхность луга, будто специально «подставленного» ему в тумане.

Везение! Потрясающее, сказочное везение!

Спокойно, как по аэродрому, катится, постепенно замедляя бег, само-лет. Еще совсем немного — и он остановится. Кажется, эта исключитель-но рискованная — как говорят, «лотерейная», — вынужденная посадка окончилась благополучно.

Но стоило этой естественной, но — увы! — преждевременной мысли прийти летчику в голову, как он почувствовал резкий толчок. Удар. Треск. Крутой разворот вправо... И машина, врезавшись во что-то не видимое в тумане, замерла, неловко завалившись набок.

Невезение! Невезение в самый последний момент, когда уже, каза-лось бы, так бесспорно обрисовалось везение!

Потирая ушибленное плечо, летчик выбрался из кабины на землю.

Кругом сплошной туман. Куда идти — неизвестно. И решив пере-ждать, когда видимость улучшится хотя бы настолько, что можно будет отправиться искать ближайший населенный пункт, летчик присел отдох-нуть под нелепо задранным крылом поломанного самолета.

Тишина, теплые лучи греющего даже сквозь туман солнца, да и нерв-ная разрядка после пережитого напряжения быстро сделали свое дело: Бывалов уснул.

Когда он проснулся, от тумана не осталось и следа. Самолет стоял, уткнувшись колесом в яму. — е д и н с т в е н н у ю яму посреди огром-ного — несколько километров в любую сторону — ровного луга... Нужно было бы очень точно прицелиться, чтобы, заходя на посадку при полной видимости, угодить в эту яму нарочно!

Чего в этом полете было больше — везения или невезения, — сказать трудно.

* * *

Не всегда невезение проявляется в совсем уж беспросветно мрачном обличье. Нередко — спасибо ему и за это — оно в конце концов застав-ляет посмеяться.

За год до войны я заканчивал летные испытания первого в Советском Союзе экспериментального самолета с так называемым трехколесным шасси. Эта машина была специально создана группой инженеров под руководством Игоря Павловича Толстых, чтобы исследовать свойства такого шасси (в наши дни получившего почти монопольное распростра-нение) и выяснить, как же лучше всего летать на оборудованных им самолетах.

В аэродромном просторечии эта экспериментальная машина имено-валась «птеродактилем». Многие самолеты, кроме своих официальных наименований, начертанных на обложках технических описаний и упо-требляемых в официальных документах, имели также и прозвища, авто-

рами которых были, конечно, наши механики — великие любители острого слова и хорошей шутки.

Большая часть этих кличек имела в своей основе созвучие. Так, самолет МИ-3 был быстро переименован в «Митрича», американский штурмовик «Нортроп», обрусев, превратился в «Антропа», трудолюбивый истребитель И-16 стал «ишаком», а пикирующий бомбардировщик ПЕ-2 — «пешкой» (хотя, если исходить не из созвучия, а из существа дела, его следовало бы назвать ферзем или по крайней мере ладьей).

Иногда поводом для той или иной клички служил внешний вид машины. Один самолет с очень длинным и тонким фюзеляжем фигурировал у нас под наименованием «анаконда» — его появление на аэродроме совпало с демонстрацией в московских кинотеатрах занимательного фильма об охоте за этой огромной змеей в джунглях Южной Америки. Впрочем, и в ходе испытаний «анаконды» поначалу не все шло вполне гладко, так что полученное ею прозвище вполне отвечало не одной только внешности, но и существу дела.

А «птеродактиль» назывался так скорее всего по причине кажущейся архаичности своих очертаний. В последние предвоенные годы мы уже прочно привыкли к гладким, благородным, зализанным формам самолетов, а из нашей «трехколески» во все стороны торчали всякие стойки, подкосы и растяжки, необходимые для того, чтобы от полета к полету изменять взаимное расположение колес шасси и в конце концов найти наилучшее из всех возможных.

По ходу испытаний нам приходилось выполнять немало весьма нестандартных заданий: от посадок «без выравнивания» — своеобразного «утыкания» в землю с полной вертикальной скоростью снижения, до перескакиваний на разбеге и пробеге через положенное на полосе бревно с целью спровоцировать, а затем, конечно, детально исследовать вибрации, которым в некоторых случаях бывает подвержено носовое колесо трехколесного шасси.

Но все самые необычные «номера» были уже проделаны, когда в один прекрасный вечер мы полетели на нашей «трехколеске» по одному из последних, оставшихся заданий. Наблюдателем в кормовой кабине был на этот раз сам конструктор машины — И. П. Толстых.

Первые полеты «птеродактиля» неизменно привлекали внимание широкого контингента зрителей и болельщиков. Но всякая новинка на испытательном аэродроме быстро приедается: на смену ей в изобилии приходят следующие. И в тот вечер наш взлет никем уже не воспринимался как сенсация.

Взлетев и набрав по прямой метров двести высоты, я взглянул налево. Воздушное пространство со стороны предполагаемого разворота было свободно. Убедившись в этом, я, как положено, чуть-чуть «прижал» самолет — опустил немного его нос, чтобы получить нужный в развороте избыток скорости.

Внезапно что-то черное мелькнуло в поле моего зрения, в ту же секунду раздался резкий, как при взрыве, шум, и от сильного — прямо в лоб — удара помутилось сознание. Наверное, я пришел в себя очень быстро — не позднее, чем через несколько секунд, — иначе навряд ли успел бы выпутаться из создавшейся ситуации, столь же малоприятной, сколь и необычной.

* * *

Во всяком случае, открыв глаза, я увидел окружавший меня мир в розовом свете — к сожалению, не в переносном, а в самом прямом, буквальном смысле этого выражения. И заливной луг, раскинувшийся по соседству с нашим аэродромом, и извивающаяся речка, и даже плывущий по ней пароход виделись мне будто сквозь очки с розовым свето-

фильтром. Голова болела так, словно по ней долго колотили чем-то тяжелым. А прямо в лицо била плотная холодная струя встречного воздуха, врывающаяся в кабину сквозь вдребезги разбитое переднее стекло (автомобилисты называют его «ветровым», и тут-то я понял, насколько безукоризненно точен этот термин). Впрочем, этой холодной струе я должен был быть благодарен — без нее навряд ли столь своевременно вернулось бы ко мне сознание. Среди осколков, еще державшихся по краям переплета кабины, был зажат какой-то странный темный предмет неопределенной формы, от которого все время отлетали клочья, неуклонно удалявшие меня по голове (больше им, впрочем, и деваться было некуда).

Не сразу сообразил я, что этот таинственный предмет — убитая при столкновении с самолетом птица. Не сразу потому, что поначалу было не до нее: все мое внимание привлекли иные — гораздо более важные в этот момент — обстоятельства: самолет под довольно крутым углом, опустив нос, шел к земле. До нее оставались уже немногие десятки метров. Повидимому, потеряв от удара сознание, я грудью навалился на штурвал и таким образом невольно перевел машину в режим энергичного снижения.

Вытащив самолет из этого чреватого существенными неприятностями режима, я кое-как выполнил «коробочку» вокруг аэродрома и посадил, нет, вернее, не посадил, а плюхнул «птеродактиля» на бетонную полосу. Вот когда пригодилась крайняя нетребовательность к технике пилотирования на посадке, присущая самолетам, имеющим шасси подобной схемы!

Сразу после посадки, еще на пробеге, я опять завалился на штурвал и позволил себе роскошь снова — на сей раз уже более капитально — потерять сознание. Благо и прямолинейное направление пробега «трехколеска» отлично сохраняла сама.

Однако, сколь ни сильны были переживания, доставшиеся в этом полете на мою долю, положение наблюдателя было еще хуже. Судите сами: в тот самый момент, когда благополучно выполнен ответственный этап полета — взлет — и экипажу положено немного «размагнититься», во всяком случае до начала следующего ответственного этапа (например, выполнения заданных испытательных режимов), — в этот самый момент он чувствует удар, откуда-то спереди в его кабину врывается струя забортного воздуха, и машина, опуская нос, устремляется к земле! Выброситься с парашютом — явно не успеть: для этого чересчур мала высота. На вызовы по СПУ — самолетной переговорной установке — летчик не отвечает. Что делать?.. И тут-то наблюдатель с ужасом замечает, что врывающаяся в его кабину воздушная струя несет с собой множество горячих капель крови! Никаких сомнений не остается: летчик убит или по крайней мере тяжело ранен, что при создавшейся ситуации, в сущности, одно и то же!

Но и на это чудеса не заканчиваются! Игорю Павловичу, наверное, подумалось, что от нервного перенапряжения у него начались галлюцинации: вместе с кровью поток воздуха начал гнать в его кабину... перья! Настоящие черные перья, источником которых организм летчика — даже сколь угодно тяжело раненного — вроде быть не мог... Конечно, галлюцинация!..

Здоровенный старый грач, на которого мы налетели, — вернее, то, что от него осталось, — застрял в переплете фонаря и так и был доставлен на землю. Но при этом изрядно досталось и мне. Кроме ушиба головы (за счет которого друзья и коллеги в течение долгого времени ехидно относили все мои, с их точки зрения недостаточно мудрые, высказывания), обнаружилось, что осколки стекла повредили мне левый глаз. Поэтому руководивший нами в то время профессор А. В. Чесалов на сей

раз — в отличие от того, когда я попал во флаттер, — не велел ничего записывать «на свежую голову» (тем более что в тот момент ни о какой «свежести» в голове не могло быть и речи), а, напротив, тут же решительно засунул меня в автомобиль и отправил в Москву, в глазную лечебницу. И, как вскоре выяснилось, очень правильно сделал. Только благодаря этому у меня еще на долгие годы сохранилось стопроцентное зрение на оба глаза.

Дабы происшествие не кануло бесследно в Лету, покойный грач был сфотографирован во всех возможных ракурсах (так принято делать при любой, даже самой незначительной поломке). Две или три фотографии были предложены мне в качестве сувенира, и я легкомысленно принял их. Говорю «легкомысленно», ибо, кроме злополучного грача, на них фигурировала часть переплета фонаря — две дюралевые рейки, каковые при желании можно было квалифицировать как «элементы конструкции экспериментального самолета». И действительно, не далее как на следующий же день спохватившееся бдительное начальство велело немедленно принести фотографии обратно и даже потребовало от меня пространного письменного объяснения — зачем я их взял. Мой естественный ответ: «На память», был воспринят, как не вполне удовлетворительный. Так я и остался без осязаемых сувениров от «истории с грачом», как, впрочем, едва ли не о всех прочих, случившихся со мной за годы испытательной работы.

Столкновение с птицей вспомнилось мне как случай, в котором мне явно не повезло.

Судите сами: беспредельное воздушное пространство и в нем совсем небольшая птица. Так надо же было уткнуться в нее прямехонько лобовым стеклом кабины!

До этого мне казалось, что так столкнуться с летящей птицей столь же маловероятно, как, например, угодить под метеорит, падающий на Землю из космического пространства.

Впоследствии я узнал, что вероятность первого все же гораздо больше и что немало столкновений летящих самолетов с птицами закончилось гораздо печальнее, чем у меня. Сравнительно недавно — осенью шестидесятого года — я прочитал в журнале «Интеравиа», что вблизи города Бостона разбился пассажирский самолет Локхид «Электра»; причиной этой катастрофы, стоившей жизни нескольким десяткам человек, было столкновение машины с птицами (правда, не с одной, а с целой стаей).

Так что мне с этим грачом не повезло, оказывается, не так уж решительно...

Новые события, в которых на испытательном аэродроме недостатка никогда не ощущается, быстро отодвинули «грачное происшествие» на задний план. Его подробности быстро стирались в памяти окружающих. И уже недели через две кто-то из летчиков в разговоре бросил:

— Это было незадолго до того, как Марк столкнулся с вороной...

— Не с вороной, а с грачом, — поправили его. — Никакой вороны там не было!

Но тут кто-то из «мэтров» — не то Корзинщиков, не то Чернавский — неопределенно заметил:

— Ну, одна-то ворона там во всяком случае была...

Я тогда не придавал этой туманной реплике должного значения, так как не видел оснований возвращаться к и без того, казалось бы, ясному делу. Не повезло — и все тут!

Столько места в небе, и на тебе — наткнуться на грача, можно сказать, прямо носом!

Конечно же, не повезло.

* * *

Исключительно досадное невезение постигло однажды моего друга, выдающегося советского летчика-испытателя Героя Советского Союза Николая Степановича Рыбко.

Он испытывал очень интересную, прогрессивную и многообещающую машину, созданную коллективом, которым руководит А. Н. Туполев. Кстати, именно эта машина послужила впоследствии основой для разработки первого реактивного пассажирского самолета — широко известного у нас и за рубежом ТУ-104.

Размеры аэродрома, на котором проводились испытания, в то время не оставляли новой скоростной машине особенных запасов при посадке: стоило на ней, как говорят летчики, «промазать» — коснуться земли не в самом начале полосы — или сделать это в нужном месте, но на повышенной скорости, и длины летного поля могло не хватить. Поэтому Рыбко был вынужден каждый раз буквально «подкрадываться» к аэродрому — с высоко задранной носом, на наименьшей допустимой скорости и притом как можно ниже, над самыми окружающими летное поле препятствиями. «Подкравшись» таким образом, летчик перед самым началом посадочной полосы энергично убирал газ, и самолет тут же приземлялся.

Конечно, для такого захода на посадку требовалась очень точная летная интуиция и не менее точный расчет. Достаточно было чуть-чуть «перехватить» в стремлении подходить к земле безо всяких запасов высоты и скорости — и самолету грозило приземление в категорически не приспособленном для этого месте: среди ям, бугров и столбов, находящихся в зоне подхода к посадочной полосе.

Иными словами, летчик сознательно держался не в середине и без того узкого диапазона допустимых режимов захода на посадку, а, так сказать, у самого края этого диапазона. Так шофер, едущий по извилистой горной дороге, перед разворотом прижимает машину к самому краю обрыва. Пассажирам при этом делается весьма неудобно, но ничего не попишешь: иначе в разворот не «уложиться».

Из полета в полет Рыбко точно притирал машину к бетону на расстоянии буквально нескольких метров от начала полосы. Постепенно этот аттракцион стал привычным и не вызывал уже никаких особенных «ахов». И в этот день все наблюдавшие полет с земли видели, что самолет приближается к аэродрому так же, как обычно.

Внезапно, когда до полосы оставалось буквально несколько секунд полета, машина резко — будто припечатанная чем-то сверху — провалилась, и не успели опомниться ни зрители, ни, главное, сам летчик, как самолет, не долетев считанные десятки метров до аэродрома, ударился о землю!

К счастью, люди остались целы и невредимы, но новая опытная машина — драгоценная не только по своей многомиллионной денежной стоимости, но прежде всего по возлагаемым на нее надеждам — была поломана. И поломана серьезно.

Осмотр самолета показал, что посадочные закрылки находятся в убранном положении. Но во время захода — все это видели — они были, как положено, полностью выпущены. Внезапная уборка закрылков над самой землей, да еще при предельно малой скорости полета, не могла не повлечь за собой резкой «просадки» самолета вниз, окончившейся ударом о землю. Это было ясно.

Но неясным оставалось другое: почему убрались в самый что ни на есть не подходящий для этого момент закрылки? Все возможные пробы и проверки, в изобилии проведенные дотошной аварийной комиссией, не выявили ничего в этом смысле сколько-нибудь подозрительного.

Предъявить какие-либо претензии к технике не удавалось. И тут-то (как почти всегда в подобных случаях) возникло и, будто на дрожжах, быстро выросло в полный рост предположение: виноват летчик. В конце концов так и порешили: он нечаянно — возможно, задев рычаг закрылков локтем или рукавом при оперировании секторами газа, — убрал закрылки сам!

Излишне говорить, какая тяжкая моральная ответственность возлагалась при этом на летчика-испытателя!

И хорошо еще, что только моральная. Целый ряд привходящих обстоятельств, сопутствовавших, если можно так выразиться, «анкетному» облику Николая Степановича в тот период, мог легко усложнить дело в еще гораздо большей степени! По-видимому, только бесспорные — государственного масштаба — заслуги Рыбко и исключительное уважение и доверие к нему со стороны всего коллектива, начиная с его руководителя и кончая любимым мотористом, помогли избежать трудно поправимых крайностей.

Но и моральная травма — груз, способный раздавить человека! В сущности, любая иная травма тем и тяжела, что в конечном счете оборачивается моральной.

Не знаю, всегда ли отдают себе в этом отчет люди, на которых возлагается обязанность — тоже не простая! — разбираться в летных происшествиях — от мелкой поломки до катастрофы. Боюсь, что в трудно-объяснимых случаях соблазн перенести всю ответственность на человека, держащего штурвал в руках, весьма силен. Конечно, если летчик виноват — то он виноват. Я не хотел бы, чтобы меня поняли превратно, как поборника автоматической амнистии летчика при любых обстоятельствах (хотя и у такой крайней точки зрения есть свои сторонники; их позиция базируется на том, что летчику, даже допустившему ошибку, ее последствия грозят прежде и сильнее, чем кому бы то ни было иному). Но стоит ли обязательно изображать летчика виновником аварии всегда, когда истинная ее причина остается неизвестной?..

К сожалению, в том случае, о котором идет речь, получилось именно так: виноватым остался Рыбко.

И лишь впоследствии, когда множество серийных самолетов этого типа, в каждом из которых была заключена немалая доля опыта, знаний, таланта, самоотверженности Николая Степановича Рыбко, уже успешно летало в течение ряда лет в нашем небе, — только тогда на одном из серийных экземпляров вдруг... самопроизвольно убрались закрылки!

Через некоторое время то же самое случилось еще на одном самолете того же типа. Словом, дефект гидравлической системы, послуживший причиной той, первой, аварии, в конце концов все-таки выплыл на свет божий! Бывают такие дефекты, коварные именно тем, что проявляются они не в каждом полете, или в десятке, или, хотя бы, в сотне полетов, а, что называется, «раз в год по обещанию». «Выловить» и устранить такой дефект, понятно, очень трудно. И надо же было ему случиться на первом же драгоценном опытном экземпляре, да к тому же у самой земли!

Да, это было невезение в полном смысле этого слова.

* * *

К сожалению, далеко не всегда невезение проявляет себя так, не скажу — благополучно, но во всяком случае, не трагически, как в только что рассказанных случаях. Бывало и гораздо хуже...

Каждый раз после того, как очередная катастрофа уносит кого-то из тесного круга испытателей, коллеги погибшего еще долго обсуждают

происшедшее в его, так сказать, «пилотажно-техническом» аспекте, независимо от того, что одновременно тем же самым занимается официально назначенная аварийная комиссия. Смею утверждать, что «неофициальная» комиссия подходит к этому разбору во всяком случае не менее фундаментально. Оно и не мудрено: никакой опыт не дает таких полезных уроков на будущее, как опыт горький. И нельзя допустить, чтобы, доставшись столь дорогой ценой, он, хотя бы в малой степени, пропал напрасно. Этого требуют интересы дела. Того самого дела, которое не удалось довести до конца погибшему и которое продолжают его товарищи. Продолжат, как правило, в самом прямом, конкретном смысле этого выражения — возобновят прерванное испытание на другом экземпляре того же самолета, построенном вместо разбившегося. Естественно, что именно они, товарищи погибшего, и нуждаются больше, чем кто бы то ни было, в его последней дружеской услуге — кровью написанном опыте последнего полета, из которого он не вернулся...

Один мой знакомый журналист, случайно попавший в комнату летчиков в разгар подобного обсуждения, с горечью сказал:

— Это же цинично! Только вчера они стояли в почетном карауле, говорили скорбные речи, утешали осиротевших родственников... А сейчас сидят и разбирают страшную человеческую трагедию, будто варианты отложенной шахматной партии! Спорят, с азартом перебивают друг друга! Действительно можно подумать, что дело идет о том, как лучше пойти: слоном или ладьей...

Я тогда ничего не ответил своему собеседнику. Лаконичный ответ ничего ему не объяснил бы, а говорить подробно не хотелось — у меня у самого голова была «повернута» в сторону так оскорбившего его «разбора».

Но, конечно же, он был по любому счету не прав. Не прав прежде всего потому, что, пользуясь его же сравнением, «шахматная партия», вокруг которой идет спор, именно отложена. Не сыграна, а только отложена! Она будет продолжаться и, значит, — как бы это ни выглядело со стороны — нуждается в детальном, педантичном, проведенном с холодной головой (сердце при этом может оставаться горячим!) анализе...

Как правило, такой анализ приводит к очень полезным и вполне конкретным выводам.

Но иногда бывает и так, что, детально разобрав все действия погибшего летчика и обговорив все возможные варианты, испытатели убеждаются, что избежать происшедшего при возникших тяжелых обстоятельствах было невозможно. И тогда кто-нибудь из присутствующих со вздохом говорит:

— Да. Не повезло!

Так не повезло нашим друзьям и товарищам Юрию Константиновичу Станкевичу, Алексею Николаевичу Гринчику, Владимиру Павловичу Федорову, Виктору Леонидовичу Расторгуеву, Матвею Карловичу Байкалову, Степану Филипповичу Машковскому... Так не повезло многим другим испытателям, попавшим в действительно безвыходное положение.

Во всех прочих — не безвыходных — положениях летчики высшего класса находят «тот самый», единственный, хотя порой и исключительно трудно реализуемый выход. Находят и «выкручиваются» — не раз и не два, а без преувеличения десятки и сотни раз за свою летную биографию.

И лишь когда в конце концов такой, подобный одному из только что названных, летчик попадает в совершенно безвыходное положение, мы и оказываемся вынуждены произносить горькие слова:

— Да. Не повезло!..

* * *

Итак, если верить фактам, приходится прийти к выводу: бывает на свете везение, бывает — увы! — и невезение.

Казалось бы, от такого признания один шаг до фатализма — учения чрезвычайно удобного (ни о чем не надо заботиться самому), но в еще большей степени опасного, особенно в авиации! Рассчитывать на долготлетие ни летчику-фаталисту (само сочетание этих слов звучит противостоительно), ни его экипажу, ни пассажирам, если — от чего боже упаси! — таковые у него есть, никак не приходится.

Дело в том, что, при более детальном рассмотрении, в девяти случаях из десяти как везение, так и невезение оказываются не такими уж безоговорочно «чистыми», как может представиться с первого взгляда.

Бывают, конечно, случаи, когда летчик, что называется, делает все, лично от него зависящее, дабы убится, и остается цел только благодаря «железному» везению. Но это редкость, исключение. Рассчитывать на него не приходится. Такой персонаж античной драмы, как богиня Счастливого Случая Тихе, в авиации далеко не всевластна и нуждается в постоянной поддержке. В первую очередь — от лиц, непосредственно заинтересованных в ее успешной деятельности.

Вернемся хотя бы к казусам, рассказанным мною только что.

Легко заметить, что едва ли не во всех описанных здесь примерах везения «счастливики» делали все от них зависящее, дабы ухватить случай за ту самую единственную прядь на его голове, о которой говорил Д'Артаньян.

Вот молодой Гринчик потерял ориентировку в полете за облаками и буквально на последних каплях горючего добрался до своего аэродрома. Повезло? Конечно, повезло! Но этому везению сам Гринчик активно «помогал». Заблудившись, он ни на секунду не поддавался панике, спокойно, четко, методично восстановил ориентировку, к аэродрому летел по кратчайшему маршруту — строго по прямой — и притом на режиме, обеспечивающем наибольшую возможную дальность полета при данном запасе горючего (этот режим, кстати, соответствует умеренной скорости, и его использование в ситуации, когда хочется «скорее домой», тоже требует определенной выдержки).

Виктор Расторгуев, прежде чем покинуть оказавшийся над сплошным туманом самолет, внимательно следил за, казалось бы, безнадежно закрытым аэродромом и подходами к нему. И стоило появиться малейшему просвету — это, конечно, было везение, — как летчик с ювелирной точностью использовал представившийся ему единственный шанс.

И. Ф. Бывалов, снижаясь в сплошном тумане без каких-либо приборов слепого полета, сумел за счет одной лишь присущей ему блестящей летной интуиции не сорваться в штопор или спираль, удержать самолет в режиме прямолинейного планирования, а когда из тумана косой стеной навалилась земля, успел выбрать машину из планирования и «вполуслепую» посадить ее. Ну, а то, что земля эта поначалу оказалась вполне пригодной для посадки — это уж, конечно, элемент везения.

То же можно сказать и про большую часть случаев, в которых летчикам не везло. Разумеется, я здесь не имею в виду положения безвыходные, когда летчик действует безукоризненно правильно, но, несмотря на это, оказывается бессильным против преследующего его тяжкого невезения. Все, что можно было сказать о них, сказано, и добавить к этому, к сожалению, нечего.

Но безвыходные случаи, повторяю, — большая редкость. Не они «делают погоду» в авиации. Не фатального невезения должен прежде

всего опасаться летчик, а своих собственных ошибок. На практике же почти всегда своему невезению летчик (разумеется, невольно) опять-таки «помогает» сам.

Так, например, сейчас, без малого через четверть века после столкновения с грачом, я думаю, что, будь я тогда более осмотрителен и поглядывай почаще вперед, я, возможно, успел бы заметить эту чертову птицу и если не отвернуть от нее всем самолетом, то по крайней мере наклонить голову к штурвалу и увернуться от удара самому. Что говорить, в какой-то степени я в этом деле действительно оказался вороной...

И, по-видимому, нельзя объяснить одной лишь случайностью (так сказать, «концентрацией» везения или невезения) тот известный в истории авиации факт, что одним летчикам всю жизнь, за что бы они ни взялись, неуклонно «везет», а другим столь же фатально «не везет». Впрочем, навряд ли такие «счастливики» и «неудачники» существуют только в авиации...

Бывает иногда и так, что человека, у которого долгое время шли одни сплошные успехи, вдруг постигает неудача. Это может случиться в любом виде творческой деятельности: от конструирования и пилотирования новых летательных аппаратов до создания произведений литературы и искусства. Когда один кинорежиссер, получивший широкую известность как постановщик очень удачного фильма, выпустил на экран следующую, значительно более слабую картину, среди зрителей раздалась голоса:

— Наверное, та, первая, картина получилась у него случайно...

Вот в это я не верю! Неудача может быть случайной, удача же — настоящая, большая удача — случайной быть не может!

Не может хотя бы потому, что требует совпадения очень уж многих благоприятных факторов, среди которых пресловутое «везение» хотя и присутствует, но далеко не на первом месте.

Нет, не столь уж легка жизнь так называемых «счастливицков»! Они вынуждены в течение многих лет — пока длится их творческая деятельность — прилагать немалые усилия, чтобы неизменно держать в руках все без исключения многочисленные компоненты «удачи»...

Везение надо «делать»!

Впрочем, эта мысль не нова: еще Суворов в ответ на утверждения своих недоброжелателей, что ему, мол, просто «везет», обычно говорил: «Сегодня — везение. Завтра — везение. Помилуй бог, когда-нибудь надобно и умение!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТУ-4 — дальний, высотный, скоростной...

Со дня окончания испытаний первых отечественных реактивных самолетов не прошло и года.

И вот — снова «пересадка».

На этот раз нам предстояло испытывать новый мощный — по тем, конечно, временам — стратегический четырехмоторный бомбардировщик ТУ-4.

История создания этой машины была необычна. Необычна во многих отношениях, начиная с обстоятельств, при которых было принято решение об ее постройке, и кончая тем, что заложена она была не в одном, и не в двух, и даже не в трех опытных экземплярах, а сразу малой серией.

Два десятка машин этой серии должны были выходить со сборки и начинать испытания с небольшими интервалами одна за другой.

Почетное задание возглавить экипаж первого головного самолета получил Н. С. Рыбко.

Командиром следующего корабля — «двойки» — был назначен я. Мой «подшефный» МиГ-9 незадолго до этого был благополучно внедрен в серию, и я после длительного периода полетов на истребителях был не прочь для разнообразия поработать на тяжелых кораблях. Так же, впрочем, как после тяжелых кораблей меня столь же неуклонно тянуло полетать на маленьких маневренных самолетах. Прочно ввевшаяся привычка подниматься в воздух на летательных аппаратах самых разных типов превратилась в потребность.

Но, конечно, не одна «охота к перемене мест» тянула меня к ТУ-четвертому.

Это была в то время действительно очень интересная, прогрессивная машина.

Правда, нельзя было сказать, что присущие ей летные данные были до того не изведаны летчиками. Нет, мы уже летали на таких же высотах, с такими же скоростями, до таких же дальностей. Но «по отдельности», на разных самолетах.

Одни из них развивали большую скорость, но летали не очень высоко и очень недалеко. Другие — так называемые высотные — отличались только хорошим потолком в ущерб остальным летным данным. Были и специальные дальние самолеты вроде заслужившего мировую известность АНТ-25, на котором летчики-испытатели М. М. Громов, А. И. Филин, В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. Б. Юмашев и штурманы И. Т. Спирин, А. В. Беляков, С. А. Данилин выполнили несколько рекордных перелетов: по замкнутой кривой, на Дальний Восток и через Северный полюс — в Америку. Но средняя скорость полета даже этой исключительно удачной в своем роде машины едва превышала... сто шестьдесят километров в час! А потолок ее был таков, что, попав в зону плохой погоды, экипаж оказывался вынужденным либо обходить ее (и терять на этом драгоценные километры пути рекордного полета), либо пробиваться «вслепую» сквозь обледенение, грозные воздушные порывы и прочие неприятности, подстерегающие самолет в столь красивой со стороны, но весьма коварной изнутри мощной фронтальной облачности.

Развитие одних способностей шло у таких самолетов за счет почти полной атрофии других.

Представьте себе человека с могучими бицепсами, мускулистым торсом и ногами штангиста, но недоразвитой головой микроцефала. Или наоборот — этакую блистательную сократовскую голову математика и шахматиста, водруженную на хилое, немощное тельце. И то и другое вызывало бы по меньшей мере сочувствие... Дисгармоничные самолеты, правда, таких эмоций не вызывали, но, я думаю, только потому, что самолетов гармоничных мы до поры до времени не видели и даже не очень задумывались о том, могут ли они реально существовать в природе.

Сейчас, когда, скажем, детище того же конструкторского коллектива, что и АНТ-25, турбовинтовой четырехдвигательный ТУ-114 ежедневно по расписанию проходит без посадки на стратосферной высоте из Москвы в Хабаровск или обратно всего за восемь с лишним часов, такой вопрос ни у кого, конечно, не возникает.

ТУ-4 был первой машиной, способной пролететь тысячи километров на границе стратосферы со скоростью пятьсот—пятьсот пятьдесят километров в час,— еще недавно винтомоторные истребители летали не быстрее этого!

Он именовался дальним, высотным, скоростным стратегическим бомбардировщиком. И сколь ни опасны подобные эпитеты (я уже как-то

писал, что слово, например, «скоростной», поначалу звучащее довольно гордо, через несколько лет может закономерно обрести оттенок горькой иронии), применительно к ТУ-четвертому удержаться от них было трудно. Немалое впечатление производила и его невиданная насыщенность всяческой электрикой: одних разного рода электрических машин — моторчиков, генераторов, преобразователей на нем было несколько сотен!

— Что говорить! Одного закона Ома тут маловато, — мрачно заявил один из моих коллег, принимаясь, прежде чем садиться за штурвал новой машины, за изучение толстых фолиантов ее технических описаний.

Да и сам этот штурвал буквально тонул в кабине среди пультов, густо утыканных множеством на первый взгляд одинаковых, миниатюрных блестящих пальчиков — тумблеров. До этого мы привыкли к рычагам, тем более солидным по размерам, чем важнее была их функция. Так, например, рычаг уборки и выпуска шасси — это всегда был действительно рычаг: видный, крупный, с цветной рукояткой. А здесь огромные, почти в рост человека, сдвоенные колеса шасси подчинялись крохотному, почти не отличающемуся от своих соседей тумблерочку, за который и взялся-то в меховой перчатке было мудро.

Впрочем, и в меховых перчатках необходимости не было. Кабина была герметична, и в ней независимо от высоты полета сохранялось давление воздуха, ненамного отличающееся от земного, и ровная «комнатная» температура. О том, какой трескучий мороз царит снаружи, можно было судить только по показаниям забортного термометра.

Современному авиационному пассажиру, вдоволь налетававшему на ТУ-104, ИЛ-18 или АН-10, наверно, представляется, что иначе и быть не может. Но мы, грешные, успели полетать по полтора—два десятка лет в негерметичных, а поначалу — еще того крепче — в открытых кабинах, где летчик был прикрыт от обжигающе ледяной струи встречного потока воздуха только легким плексигласовым козырьчком. Летать приходилось в теплых комбинезонах, унтах, а порой и в масках — не кислородных, а обычных, прикрывающих все лицо, которое иначе было бы моментально обморожено.

Особенно противно было ходить на высоту жарким летом. Процесс облачения во все эти полярные доспехи выполнялся у самого самолета — в тени под крылом. При этом летчик — наподобие окруженного придворными лица королевской фамилии во время утреннего туалета — только протягивал руку или ногу, а верные друзья-механики проворно запаковывали его, да еще потом подсаживали в кабину. Но, несмотря на все эти меры предосторожности, к моменту взлета летчик успевал изойти потом, как мышь. На высоте же, по мере того как становилось холоднее, пот остывал: возникало такое ощущение, будто вам зашиворот налили холодной воды.

В конце полета все повторялось в обратном порядке. Опускаясь, как в только что вытопленную печь, в горячие приземные слои атмосферы, едва «подсохший» летчик взмокал вторично. Своей кульминации этот процесс достигал на посадке. А предстояло еще зарулить на стоянку, выбраться из кабины, снять парашют и лишь после этого, с помощью тех же друзей-механиков, вылезти из насквозь мокрого — хоть выжимай! — обмундирования.

Образное выражение «семь потов сошло» приобретало совершенно реальный смысл.

Нетрудно представить себе, с каким одобрением встретили летчики такое новшество, как закрытая, а затем и герметическая кабина.

...И вот наступил момент, когда экипаж Николая Степановича Рыбко, второго летчика Ивана Ивановича Шунейко и ведущего инженера Вартаана Никитовича Сагинава, сопровождаемый добрыми пожеланиями,

шутками, поручениями, «подначками» провожающих (иными словами, всех свободных в этот момент от полетов летчиков-испытателей нашего института), погрузился в транспортный ЛИ-2 и улетел на завод. Там была уже готова к «выходу в свет» первая из двадцати машин малой опытной серии. наших друзей ждала серьезная работа: первые — это всегда первые!

* * *

Они прилетели через две недели. На заводском аэродроме Рыбко успешно сделал первый вылет и несколько доводочных полетов, но настоящие испытания по основной программе должны были проводиться у нас, на базовом аэродроме.

И вот радиограмма: «Вылетели». Еще через час в диспетчерской, где вопреки грозной табличке на двери «Вход посторонним категорически воспрещается» торчали все свободные летчики (их изгнание отсюда существенно затруднялось отсутствием точной юридической трактовки термина «посторонний»), раздался телефонный звонок из радиооператорской:

— Есть прямая связь с бортом Рыбко. Все нормально. Будут у нас через тридцать восемь минут.

Точно, минута в минуту, как было обещано, на востоке возник и стал непрерывно усиливаться ровный басовитый гул четырех моторов, и из-за леса показалась широкая черточка с наклепленными на ней пятью кружками: четырьмя моторами и фюзеляжем.

ТУ-4 приближается, проходит над нами — теперь мы видим его в плане. На какой-то момент резко усиливается и повышается в тоне производимый им шум — это ударила нас по ушам и пронеслась дальше незримо сопутствующая самолету плоскость вращения его винтов. Корабль делает круг, заходит на посадку, мягко приземляется и заруливает на стоянку. Экипаж вылезает на землю. Поздравления, приветствия, вопросы, не требующие ответов, ответы на незадаанные вопросы — словом, несусветный галдеж!

Виновник торжества — свежий, беленький, аккуратный ТУ-4 № 001 — стоит на линейке, окруженный множеством стремянок, на которых уже устроились добрых два десятка механиков. Уютно потрескивают остывающие моторы. На кабины натягивают чехлы. Машина добралась до дому...

К концу дня, когда ажиотаж несколько утих, я вытащил Рыбко на летное поле и там, прохаживаясь по траве за хвостами выстроенных вдоль линейки самолетов, получил наконец более подробную информацию о ТУ-четвертом.

— Моторы ничего, — говорил Коля, — работают. Управление немного туговато, особенно по крену: то ли тросы новые, еще не вытянулись, то ли в роликах трение великовато; но, в общем, чтобы штурвал крутить, надо работать. Оборудование? Представь себе, вроде действует! По крайней мере то, что мы уже включали...

Информация была обнадеживающая.

И своевременная: через несколько дней после торжественного прибытия «единицы» я улетал на завод за «двойкой».

По роду своей работы мне и раньше не раз приходилось бывать на серийных авиационных заводах. То надо было перегнать какую-нибудь машину, то участвовать в проверке техники пилотирования заводских летчиков, то — бывало, к сожалению, и такое — поработать в составе очередной аварийной комиссии. Так что едва ли не все заводские аэродромы, а главное люди, трудящиеся на них, были мне хорошо знакомы. Это было немаловажно, так как весь экипаж ТУ-4 № 002, за

исключением командира корабля, был целиком укомплектован из местных специалистов.

Вторым летчиком и одновременно ведущим инженером самолета был назначен Николай Николаевич Аржанов — ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР. Он был, что называется, коренным аборигеном местной летно-испытательской станции и много лет поработал на ней в самых различных ампулах: и ведущим инженером, и летчиком-испытателем, и одно время даже начальником станции. Кроме всех прочих профессиональных качеств, Николай Николаевич отличался сугубо атлетической комплекцией — обстоятельство, в полетах на тяжелых кораблях отнюдь не лишнее. А главное, он был насквозь свой человек на заводе, знал всех и вся, так же как все знали его, и во всем, что касалось так называемой специфики местных условий, на него можно было смело и полностью положиться. Впрочем, в ходе полетов быстро выяснилось, что не только в этом: оказалось, что и летает он уверенно, и новую машину знает глубоко, и в сложных обстоятельствах не теряет — словом, жаловаться на второго летчика и ведущего инженера явно не приходилось.

Любимым его обращением к товарищам по работе было почему-то «боярин» (наподобие «короля» в лексиконе Гринчика), а в случае особого благорасположения к собеседнику — «гроссбоярин». Что в точности должна была обозначать эта тевтонско-славянская словокомбинация — не знаю, но тем не менее, удостоившись этого обращения впервые, я почувствовал себя польщенным.

Бортинженером у нас был Антон Порфирьевич Беспалов. Надо сказать, что бортинженер на тяжелом многомоторном корабле — фигура исключительной важности. Львиная доля работы с силовой установкой в полете осуществляется с его пульта, который соответственно и выглядит наподобие лабораторного стенда.

Управляться со всем своим сложным хозяйством бортинженер обязан «по-летному» — быстро, четко, безошибочно, без длительных размышлений и «раскачки». А вернувшись из полета, он же должен руководить работой десятков людей, составлявших наземную техническую бригаду. Не зря его называют «хозяином самолета»! В лице Антона Порфирьевича мы имели именно такого хозяина: грамотного, знающего, любящего свою технику, умеющего организовать работу подчиненных, спокойного и исполнительного в полете.

Все остальные члены экипажа: и помощник ведущего инженера С. В. Иваненко, и бортрадист И. М. Тягунов, и бортовые механики Г. Г. Ирлянов и И. С. Рязанов — все были под стать один другому. Экипаж был профессионально — каждый в своем деле — очень сильный и к тому же дружный, что в подобных случаях тоже очень важно.

Когда я приехал, «двойка» стояла на линейке и проходила длинную программу предполетных наземных проверок и испытаний.

Самолет был облеплен — снаружи и изнутри — копающимися в его потрохах людьми так, что это внушало неожиданное беспокойство: при таком столпотворении трудно ожидать безукоризненного порядка. Однако на мой робкий вопрос: «Чего они там больше: чинят или портят?» — последовал не строго соответствующий вопросу, но уверенный ответ Аржанова:

— А ничего, когда они все уйдут, Порфирьич со своими ребятами все с ног до головы прочешет сам.

Это было утешительно: как самому Порфирьичу, так и всему «процесанному» им. я уже тогда доверял полностью.

Много мороки, помнится, было с уборкой и выпуском шасси. Внешне, правда, все обстояло благополучно: машину вывешивали на «козелках»

(если это «козелки», то что же называть «козлищами»?) и шасси, подчиняясь перекладке тумблера в кабине, послушно с глухим урчанием уползло в свои прикрытые створками ниши, а затем столь же послушно выползло обратно. Но расходуемый на эти операции ток существенно превышал норму. Опасались, что это свидетельствует о наличии каких-то до поры до времени невидимых дефектов в механизме шасси. Так прошло несколько дней (это не мелочь: график выхода машин был расписан по дням и утвержден, как тогда выражались, «наверху»), наполненных техническими, оперативными и всякими иными совещаниями, взаимными упреками конструкторов и производителей, инициативными предложениями широчайшего диапазона — от «менять шасси» до «сойдет и так». Спасли положение химики, предложившие новый состав смазки для ходовых винтов шасси. Как только нанесли новую смазку, огромные колеса стали убираться и выпускаться действительно «как по маслу».

Поучительной оказалась для меня и другая сравнительно мелкая доработка. Дело в том, что большая часть носовой кабины ТУ-четвертого была сплош застеклена. Казалось бы, это должно было обеспечивать безукоризненный обзор с рабочих мест летчиков наружу. Но в действительности оказалось иначе. Прежде всего обзору мешала частая сетка «переплета» — металлического каркаса кабины, в который было заделано остекление. Сев в свое кресло, я убедился, что одно из перекрестий этого переплета торчит у меня точно перед носом.

Тут я — в который уже раз — расплачивался за то, что вырос таким длинным! Все пилотские кабины делались и делаются в расчете на так называемого «стандартного летчика», ровно в сто семьдесят пять сантиметров ростом и соответствующими, строго нормированными размерами рук и ног. Этот воображаемый, не существующий в действительности персонаж — «стандартный летчик» — сумел тем не менее издавна стать моим личным врагом!

Итак, чтобы смотреть перед собой вперед, мне предстояло либо нагибаться, либо по-журавлиному вытягивать шею вверх. Так я и делал в течение многих лет, каждый раз, когда приходилось летать на ТУ-четвертых. Но на «двойке» не спасало и это: гнутые стекла, укрепленные выше и ниже злосчастного переплета, страшно искажали. Их явно следовало заменить, и главный инженер завода, дневавший и ночевавший у нас на линейке, сказал, что так и будет сделано.

Тем не менее назавтра я обнаружил старые, негодные стекла в полной неприкосновенности на своих прежних местах. На мой вопрос, почему распоряжение главного инженера не выполняется, он сам ответил:

— Как не выполняется? Все идет своим чередом. Готовят документацию, потом спускают листок доработки в производство, и все будет сделано.

— Зачем же такой бюрократизм, Михаил Никифорович: документация, листок доработки? Позвать мастера-стекольщика, объяснить ему суть дела, он все и сделает. Тут ведь элементарный здравый смысл подсказывает...

Я казался себе очень прогрессивным в этот момент — таким воитель с косностью и формализмом, бесстрашно ломающим закорюченные формы руководства производства. И великим откровением был для меня ответ главного инженера:

— Здравый смысл? Здравый смысл — чересчур острое оружие, чтобы его можно было бесконтрольно давать в руки нескольким тысячам человек. У нас на заводе вместо него — «листок доработки»...

... Далеко не всегда подлинно прогрессивно то, что кажется таковым с первого взгляда.

* * *

Наступил день нашего вылета на «двойке». В том, как поведет себя самолет в воздухе, особенных сомнений ни у кого из нас не было, тем более что «старший брат» нашего корабля — «единица» — сделал к этому времени уже около десятка успешных полетов. Единственное, что меня несколько смущало, был заводской аэродром — грунтовой и довольно маленький, во всяком случае намного меньше нашего институтского. Он имел форму, близкую к эллиптической. Когда Рыбко две недели назад летал здесь на «единице», направление ветра позволяло ему взлетать и садиться вдоль длинной оси эллипса. Теперь же — как назло — ветер переменялся, и мне предстояло пользоваться самым коротким направлением и без того ограниченного аэродрома. Правда, по расчетам, места должно было хватить. Но то расчеты... Я не забыл мудрого замечания Чернавского о том, что, если бы все рассчитанное на земле в точности подтверждалось в воздухе, летные испытания были бы вообще не нужны и нам пришлось бы безотлагательно менять профессию.

Начиная летать на новой машине, летчик всегда держит скорость на посадке чуть больше расчетной. Это тот именно случай, когда особенно справедлива пословица о запасе, который, как известно, карман не тяготит и ни пить, ни есть не просит. Лишь убедившись в том, что запас действительно есть, летчик постепенно, из полета в полет, уменьшает скорость подхода, пока не дойдет до такой, которую сочтет, без «перестраховки», нормальной.

Но это можно позволить себе на большом испытательном аэродроме. Здесь же приходилось с самого начала заходить на посадку «без излишеств»...

Мы расписались в полетном задании, в сводном листе готовности машины к вылету, еще в каких-то бумагах, надели парашюты и залезли в самолет, отмахиваясь от астрономического количества «последних указаний» провожающих (удивительно, как много сообщений, представляющих их авторам чрезвычайно существенными, выплывает перед самым вылетом, когда их все равно и «переварить»-то уже не успеешь!).

Осмотр кабины, проверка внутренней самолетной связи, запуск и опробование моторов — и мы трогаемся со стоянки. Пока ничего нового нет: за день до вылета мы уже сделали несколько рулежек и пробежек по аэродрому.

Выруливая на взлетную полосу, я увидел группу людей — руководителей завода, конструкторов, заводских летчиков, многочисленных «представителей» и «уполномоченных», стоящих у края полосы, в том месте, откуда нам предстояло начать разбег.

Только один человек, отделившись от этой группы, медленно шел по полю вперед, туда, где предположительно мы должны были оторваться от земли.

Это был Андрей Николаевич Туполев. Вот он дошел до нужного места и остановился — плотный, немного сутулившийся, в низко нахлобученной на голову генеральской фуражке. Редко я встречал в своей жизни человека, столь мало заботящегося о том, какое впечатление он производит на окружающих. Может быть, в этом и заключалась одна из причин того, что впечатление он неизменно производил самое сильное.

— Кутузов! — уважительно сказал Аржанов, кивнув головой на Туполева.

Действительно, в одиноко стоящей фигуре главного конструктора было что-то от полководца, в раздумье озирающего поле предстоящей битвы. Впрочем, в данном случае так оно и было: навряд ли зеленое, не очень ровное летное поле заводского аэродрома воспринималось Туполевым в тот момент иначе.

Взлет прошел нормально. Самолет слушался рулей так, как оно и положено машине подобного тоннажа: невозможно, конечно, было требовать от него чуткой, будто у истребителя, реакции на миллиметровые, почти «мысленные», движения ручкой. Здесь нужны были совсем другие движения: широкие, свободные, размашистые.

В полете сразу почувствовалось, что машина гораздо «мягче», чем все, известные мне ранее. Под действием воздушных порывов корабль «дышал» — его крылья мерно, в плавном, танцевальном ритме изгибались в такт колебаниям воздушной среды.

А содержимое кабины — кресла пилотов, приборные пульта, даже подвесные вентиляторы — при малейшей болтанке попросту прозаически тряслось. Тряслось и шумело на разные голоса: дребезжало, громыхало, звенело, скрипело.

Со временем это стало привычным. Но в первом полете на новом самолете каждая его особенность — включая не имеющие ни малейшего «делового» значения мелочи — воспринимается особенно остро.

Но вот мы набрали заданные восемьсот метров, вышли из зоны болтанки в спокойные слои воздуха, и в кабине сразу стало почти совсем тихо. То есть, конечно, продолжали гудеть моторы, но этот шум, сколь он ни силен, как-то не доходит до сознания, наверное потому, что он ровный. Другое дело — малейший перебой в работе моторов или любой иной прерывистый, немонотонный звук. Он будет замечен сразу. Шум и его восприятие сознанием, оказывается, разные вещи. Человек, уснувший у включенного радиоприемника, просыпается, если вдруг наступает тишина.

Итак, в кабине стало «тихо»... Я вывернулся, как только мог, и в такой акробатической позе взглянул на показания приборов на пульте бортинженера. Вскоре, всего через несколько полетов, я отказался от подобных гимнастических упражнений, так как убедился, что, когда за пультом бортинженер Беспалов, о моторных приборах можно не думать.

Под нами проплывали мало знакомые мне места. За исключением реки, не узнать которую было трудно — это была Волга, — все остальное было непривычно: какие-то дороги, леса, поля... Большую помощь в построении маршрута оказал мне Аржанов. Он-то знал здесь буквально каждый кустик и помог вывести машину на последнюю предпосадочную прямую так, чтобы избежать излишних змеек и поворотов в последний момент, перед самым летным полем.

Вот и аэродром. Чуть-чуть прибавив газу — только бы, боже упаси, не разогнать в последний момент тщательно установленную скорость! — «переползаем» последние препятствия. Так... Хорошо... Препятствия пройдены. Теперь убираем газ всех четырех моторов до упора. Штурвал на себя — и самолет мягко касается колесами земли.

В самом конце пробега мы подкатываемся к стоящему по-прежнему в полном одиночестве Туполеву. Пока машина была в воздухе, он прошел в то место, где, по его мнению, мы должны были закончить после посадочный пробег, если приземлимся точно в начале аэродрома. Так оно и получилось. Кажется, точно угадывать (по крайней мере во всем, что связано с делами самолетными) — специальность этого старика!

Недаром столь широкое хождение в авиации имело множество легенд об этом его свойстве: и как Туполев, посмотрев однажды на самолет другого конструктора, на глаз, безо всяких расчетов, определил, в каком месте конструкция «не держит», и действительно самолет в этом самом месте сломался. И как, в другой раз, перелистав объемистый том аэродинамических расчетов, в итоге которого выводилась ожидаемая величина максимальной скорости полета новой машины, Туполев — конечно, сно-

ва «на глаз» — назвал другую цифру, которая и подтвердилась, когда дело дошло до летных испытаний. И многое другое в подобном роде. Рассказывали, что каждый сотрудник туполевского конструкторского бюро, которому удавалось при обсуждении какого-нибудь технического вопроса в чем-то переспорить «главного», убедить его в своей правоте, немедленно получал премию, повышение в должности или иной знак поощрения.

Не знаю, что в этих легендах правда, а что домysel (но ни в коем случае не вымысел). Симптоматичен во всяком случае сам факт их существования.

* * *

Во втором полете мы окончательно убедились в исправной работе всей многообразной техники, из которой была соткана наша «двойка», и сделали первую прикидку расходов горючего на крейсерских режимах, чтобы рассчитать, сколько понадобится бензина при перегоне машины на наш основной аэродром.

Третий полет — в Москву.

Когда, взлетев, мы делали прощальный круг над заводом, из ворот сборочного цеха выводили ТУ-4 № 004 — «четверку», — и тащили ее на поле, где уже в течение нескольких дней доводилась «тройка». Серия шла полным ходом.

Развернувшись на запад, мы легли на курс.

Наверное, десятки раз летал я по этому маршруту — и на истребителях, и на бомбардировщиках, и на транспортных самолетах. Летал за штурвалом и пассажиром, в хорошую погоду и в «муре» — словом, по-всякому.

Сейчас впечатление от полета какое-то «смешанное»: скорость почти как на добром истребителе (винтомоторном, конечно), а общая обстановка — просторная кабина, большой экипаж — бомбардировочная.

И к тому же — пресловутые гнутые стекла. Два стекла для обзора вперед на заводе более или менее подобрали (в свой срок сработала заменяющая здравый смысл документация), но все остальные стекла, сквозь которые я сейчас рассматривал местность по сторонам от линии нашего пути, искажали изрядно. Проблема остекления герметической кабины — одновременно прочного и не искажающего обзор — была полностью решена лишь на более поздних типах самолетов. А на ТУ-четвертых так и пришлось все время, сколько они просуществовали, взирать на окружающий мир, будто в неприменном аттракционе любого парка культуры и отдыха — так называемой «комнате смеха».

Ближе к Москве усилилась болтанка. Мы шли довольно низко, погода была ветреная и жаркая, резкие воздушные порывы следовали один за другим. И тут-то мы поняли, что за «удовольствие» лететь на ТУ-4 в болтанку. «Шуровать» штурвалами и педалями приходилось почти непрерывно и с изрядными усилиями.

— Ничего, — сказал Аржанов. вытирая пот, — это даже полезно: улучшает фигуру...

За работой время полета промелькнуло быстро, и вот уже перед нами родной аэродром с длинной бетонной полосой, на которую можно заходить спокойно, не «подкрадываясь», с добротным запасом скорости. Впрочем, из всего экипажа родным этот аэродром был только для одного человека — командира корабля; для всех прочих прилет сюда означал, так сказать, прибытие в гости. Если, конечно, можно назвать «пробытием в гостях» многомесячную, почти без выходных, а для техников едва ли не круглосуточную, напряженную работу.

И работа пошла. Правда, наша «двойка» — слава богу, заводу и конструкторскому бюро — с самого начала повела себя вполне прилично: некоторые «взбрыки», и то не очень уж сердитые, она выдала лишь под занавес. Но, в общем, на ее характер жаловаться не приходилось.

Постепенно я разбирался в повадках самолета. Конечно, профессиональный летчик-испытатель может сесть на любую машину и самостоятельно, безо всякой «вывозки» с инструктором, «с ходу» полететь на ней. Но для того, чтобы действительно разобраться во всех ее особенностях, капризах, вкусах (да, да — «вкусах»: что она «любит», а чего «не любит»), нужно время, нужны десятки, а то и сотни полетов, нужен тот самый пуд соли, который надлежит съесть хотя бы с завтраками, которые летчики берут с собой, уходя в воздух на несколько часов. И все же едва ли не главное, чему меня научила работа на ТУ-четвертых, было умение работать в составе большого летного экипажа.

Это не так просто, как может показаться с первого взгляда.

Став командиром такого экипажа, я неожиданно столкнулся со многими абсолютно не пилотажными и не техническими проблемами.

Так, в одно прекрасное утро несколько смущенный Аржанов сообщил мне:

— Понимаешь какое дело, пошел враскрутку третий механик.

— Как это — враскрутку? Первый раз слышу, чтобы это случилось не с винтами, а с людьми.

— Да запил он! Понимаешь, запил... Но мы второго механика поставим вместо третьего, а второго заменит...

И Николай Николаевич мгновенно нарисовал столь стройную систему внутрикэкипажной организационной перестройки, что из нее можно было сделать единственный, сам собой напрашивающийся вывод — персона третьего механика в составе экипажа просто не нужна. Без него даже лучше...

Во всех подобных «земных» делах я, грешный, львиную долю своих командирских функций бессовестно перевалил на Аржанова, мысленно оправдывая себя тем, что наша бравая команда состояла из его земляков и в недалеком прошлом прямых подчиненных. Ему, мол, и карты в руки.

Но в полете — тут уж никуда не денешься — приходилось командовать: недаром же в конце концов на больших, многоместных самолетах первый летчик называется командиром корабля! Этому искусству (именно искусству) пришлось учиться.

* * *

Начать хотя бы с пользования самолетной переговорной установкой (СПУ). Чем больше на борту народа, тем неизбежно больше и поводов для разговора, а на ТУ-4 летало, считая вместе с инженерами-экспериментаторами, не менее десятка людей. Всякий словесный «шлак» вроде: «Ах, смотрите, облако — совсем как голова бегемота!» или: «А что у нас вечером идет в клубе?» — удалось ликвидировать довольно быстро. Но и переговоров вполне деловых набегало поначалу гораздо больше, чем я успевал осмыслить и «пропустить» через себя.

А ведь, кроме внутренней связи, приходилось (правда, с помощью бортрадиста) поддерживать и радиосвязь с землей, не говоря уже о том, что надо было и машину вести: должность командира корабля «не освожденная» — надо исполнять все, что положено сидящему за штурвалом пилоту!

Приходилось вертеться порой как белка в колесе...

Кстати, что это вообще значит — работать быстро?

Первые наставления по этому, казалось бы, очевидному вопросу

я получил от инструктора парашютного спорта Виноградова, выпускавшего меня много лет назад в первый прыжок с самолета.

Сейчас парашютистов-«перворазников» вывозят на больших транспортных самолетах, покидать которые в воздухе довольно просто: парашютист подходит к открытой двери, делает шаг наружу — и все!

Для этого надо, конечно, преодолеть некое внутреннее психологическое сопротивление: много миллионов лет назад наш обезьяноподобный предок, овалившись с какой-нибудь скалы, положил начало формированию во всем роде человеческом прочного инстинкта, так сказать, уважения к высоте. Но никаких специальных навыков, никакого особого умения для того, чтобы покинуть самолет через дверь, не требуется.

Другое дело У-2, с которого когда-то прыгали мы. На нем парашютисту приходилось, преодолевая сопротивление встречного потока воздуха (все-таки сто километров в час), встать со своего места, а затем, перехватываясь руками за стойки центроплана, вылезти на крыло и устроиться одной ногой на его задней кромке, а другой — на подножке, укрепленной снизу фюзеляжа. Ко всем этим операциям надо было приспособиться.

Виноградов учил нас этому, держа секундомер в руках. Увидев, с какими отвратительно суетливыми, конвульсивными движениями, принимая последовательно самые нелепые позы, мы выполняем эту операцию, он поморщился и изрек:

— Вы понимаете, что значит быстро вылезти из кабины на крыло? Это значит: делать медленные движения без перерывов между ними...

Впоследствии я оценил всю универсальность этого рецепта, пригодного далеко не для одного лишь парашютизма. Мне кажется, трудно дать лучшую формулировку различия между быстротой и суетливостью.

Поэтому-то не следует верить первому впечатлению, если действия управляющего самолетом летчика кажутся со стороны подчеркнуто медленными, неторопливыми, чуть ли не ленивыми, в отличие, скажем, от действий дамы, в остром цейтноте собирающейся в театр. Медлительность летчика — не та давно известная, классическая обломовская медлительность, проистекающая из принципа «никогда не откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Нет, это рабочая неторопливость опытного ювелира, знающего, какой ценой может обернуться каждое его неосторожное движение, и всем своим профессиональным опытом наученного семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

Вообще летчик не должен, да и не может работать «вне времени». Он должен предвидеть предстоящие ему действия и стараться все, что можно, сделать или по крайней мере подготовить заранее.

Когда по улице или учебному плацу, печатая шаг, идет строй солдат, командир управляет им, четко разделяя каждую команду на «предварительную» и «исполнительную», с обязательной паузой между ними: «нале-во», «напра-во», «кру-гом». Иначе солдаты не успеют воспринять очередную команду и подготовиться к ее четкому, одновременному выполнению.

Летчик обязан уметь чутко улавливать во внешней обстановке все эти — не всегда, к сожалению, очевидные — «нале...», «напра...» и «кру...». В противном случае он будет опаздывать — не успевать за темпом работы, непрекаемо задаваемым обстоятельствами полета.

Я думаю, одна из причин утомительности летного труда и заключается в необходимости в течение всего полета «вписываться» в этот заданный ритм.

Профессиональные навыки летчика (как, наверное, и представителя любой иной профессии) в какой-то мере невольно переносятся им во внеслужебную, бытовую обстановку, причем — увы — не всегда с бесспорной для себя выгодой.

Еще в дни моей летной молодости полеты на истребителях, имевших строго ограниченный запас горючего, но не оборудованных бензиномерами, быстро приучили меня внимательно следить за временем.

Эта потребность — всегда знать, который час, — въелась настолько, что я приобрел прочную привычку, где бы ни находился — на улице, на совещании, в театре и даже в гостях или во время прогулки, — часто поглядывать на часы. По сей день это нередко вызывает сомнения в моей воспитанности, но в те далекие времена, когда означенная злокозненная привычка только выработалась, мне приходилось в расплату за нее выслушивать весьма ехидные реплики вроде: «Я вижу, вы куда-то торопитесь? Может быть, вам просто скучно со мной?..»

Нет, не все полезное в воздухе столь же благотворно на земле!

* * *

В составе большого экипажа существенно не только — что сказать своим подчиненным, но и — как сказать.

Кое в чем я сознательно нарушал узаконенные формулировки внутрисамолетных переговоров.

Так, вместо высокопарного: «Экипаж, взлетаю!» — я перед началом разбега почти всегда говорил: «Поехали!»

Некоторые из моих товарищей издавна упрекали меня за подобную, как им казалось, профанацию высокой терминологии нашего благородного ремесла:

— Что значит: поехали? Что ты, извозчик или вагоновожатый? И вообще вечно у тебя какие-нибудь отсебятины! Вчера опять в кепке летал. Черт знает что!

Действительно, с появлением закрытых кабин я наладился летать в кепке с надетыми поверх нее наушниками, благо сколько-нибудь веских причин стягивать голову тесным шлемом не видел. Однако ни подобные логические доводы, ни даже ссылка на Коккинаки, который тоже нередко летал в «цивильном» головном уборе, мне не помогли.

— Ты просто вольтеррианец, — заключили мои коллеги.

Слово «нигилист» тогда еще не вошло в моду. В противном случае они, конечно, пустили бы в ход и его..

Неприятнь к шикарной фразе «Экипаж, взлетаю!» я почувствовал с тех пор, как однажды услышал ее из уст летчика, который работал только на легкомоторных самолетах и перед взлетом гордо изрекал ее, адресуясь к «экипажу» в составе... одного человека.

Но, конечно, это была не единственная и не главная причина.

Дело в том, что, кроме «текста», с которым командир обращается к экипажу, огромное значение имеет интонация.

Иногда она должна быть подчеркнуту спокойной, размеренной — это если надо снизить тонус нервного напряжения на борту. Иногда, если возникает угроза разнобоя, нечеткости или, еще того хуже, паники, необходима резкая, требовательная интонация, даже окрик. А чаще всего к месту бывает шутка — обычная, добрая, человеческая шутка. Она помогает работать веселей, а хорошо работать можно только весело! Юмор — то, что отличает человека от прочих живых существ и даже таких совершенных созданий человеческого гения, как кибернетические машины будущего (эпитет «совершенный» легче всего прилагать к явлениям будущего). И грешно было бы не использовать столь могучее средство для создания нужной атмосферы на борту самолета в испытательном полете.

По моим наблюдениям, «поехали» отлично снимало то едва уловимое напряжение, которое почти всегда возникает в машине, особенно опытной, перед стартом. Ну, а со временем эта форма информации экипажа о начале взлета, конечно, просто вошла у меня в привычку...

Через много лет после испытаний опытной серии ТУ-четвертых я вздрогнул от неожиданности, услышав от товарищей о том, что происходило, в совсем иной обстановке. Они говорили мне: вдоль серых бетонных стен узкого, с низко нависшим потолком помещения — пультовой комнаты космодрома — сидели операторы в рабочих комбинезонах. Они внимательно следили за мигающими лампочками, движущимися стрелками приборов и всеми прочими атрибутами своего сложного хозяйства. Тишину нарушало шелканье контактов и голоса людей, отрывисто докладывающих о работе элементов пусковой системы. Таких элементов набралось немало, и разноголосые доклады звучали почти непрерывно. Главный конструктор с микрофоном в руках стоял перед динамиком — обычным, комнатного типа ящичком, казалось, случайно попавшим сюда, в царство шелкающей, мигающей, жужжащей электроники, с какого-нибудь столика у тахты в мирной, обжитой квартире.

Шли последние секунды перед стартом космического корабля «Восток».

Осталось тридцать секунд... двадцать... десять... пять... три... две... одна...

Склонившийся к окулярам перископа начальник стартовой команды почти спокойным голосом произнес:

— Пуск!

Даже сюда, сквозь многометровую толщу земли и бетона, донеслись глухие могучие раскаты, будто одновременно разразилось громом множество грозových туч.

И сквозь этот величественный гул из репродуктора послышался бодрый, уверенный голос Гагарина:

— Поехали!

Поверьте, это прозвучало гораздо сильнее, точнее, даже величественнее, чем любые «высокоторжественные» официальные слова, которыми принято начинать официальные доклады.

Да не заподозрит читатель, что я собираюсь сравнивать такие не сравнимые по своим масштабам события, как первый в истории полет человека в космос и будничные очередные вылеты самолета, даже опытного. Но подобное совпадение — одно и то же слово, употребленное при старте в столь различных ситуациях, — все-таки подтверждает предположение, что уставная терминология не всегда наилучшая из всех возможных...

Чтобы, разговаривая по СПУ, избежать путаницы, приходится предусматривать даже такие на первый взгляд совершенно неприципиальные вещи, как, например, именование моторов своего самолета. Казалось бы, совершенно безразлично, как их называть: можно по номерам, а можно и так: «левый внутренний» или «правый внешний». Так вот, последний способ сразу же оказался неприемлемым по той простой причине, что бортовой инженер на ТУ-четвертом сидит лицом к хвосту — «задом наперед». Поэтому то, что для летчиков левое, для бортинженера правое. Отсюда и неизбежность путаницы, уточнений, переспрашиваний в самые для того не подходящие моменты и диалогов вроде ниже следующего:

Б о р т и н ж е н е р: Командир! У левого внутреннего пульсирует давление масла.

Летчик (*довольный своей сообразительностью*): Понял. От тебя левого — значит, от меня правого. Уменьшаю ему наддув. На центральном пульте, приготовиться к флюгированию правого внутреннего.

Бортинженер (*со всей возможной поспешностью*): Нет, нет! Я уже учел, что от тебя будет иначе. На левом — левом от тебя! — пульсирует.

Летчик (*раздражаясь*): Какого же черта ты то учиываешь, то не учиываешь? Кажется, всего полчаса назад из-за этого ругались!

Бортинженер (*обиженно*): Вот я и учел, что надо учиывать, чтобы больше не ругаться.

Летчик (*внезапно утеряв желание выяснять, кто виноват*): Ну, ладно, об этом на земле поговорим. Так на каком же моторе пульсирует давление масла?

Бортинженер (*лебяным голосом*): Ни на каком. Перестало...

* * *

К той же проблеме взаимопонимания членов экипажа относится вопрос о применении вместо слов жестов в тех случаях, когда двое или несколько человек сидят в одной кабине и видят друг друга.

Оказалось, что и жест — вещь опасная.

Одному из моих друзей пришлось однажды «вывозить» на гражданском учебно-тренировочном самолете группу молодых болгарских летчиков. В полете он, как положено, имел двустороннюю связь со своим спутником по СПУ и, кроме того, видел прямо перед собой его затылок. Этого затылок и повергал моего друга в полное смятение каждый раз, когда он задавал своему молодому болгарскому коллеге какой-нибудь более или менее существенный для их общего благополучия вопрос (например: «Шасси выпущено?» — перед заходом на посадку).

Дело в том, что в Болгарии в знак утверждения не кивают головой, как у нас, а покачивают ею из стороны в сторону; кивают же — снова не так, как у нас, — при отрицании.

Не мудрено, что моему товарищу трудно было отделаться от ощущения, что слова и жесты его подопечных противоречат друг другу.

История авиации знает случаи, когда несрабатанность экипажа приводила к последствиям непоправимо тяжким.

Сразу после окончания войны в наш коллектив пришел новый летчик-испытатель — Борис Петрович Осипчук.

Этот человек представлял собой живое подтверждение известной закономерности, согласно которой талантливая личность редко бывает талантлива лишь в чем-то одном. Борис Осипчук был отличным летчиком (особенно славилось его владение «слепым» полетом) и одновременно высококвалифицированным инженером. Он рисовал — чаще всего карикатуры, веселые, выразительные, динамичные, — играл на рояле, даже сочинял — по собственному определению, «скоростным методом» — стишки, конечно, не сверкающие особым поэтическим мастерством, но неизменно забавные. С ним было интересно говорить, притом в любом ключе: от легкого «трёпа», в котором его собеседнику приходилось держать ухо востро, дабы не оказаться «обработанным по первому классу точности», и до глубокого, раздумчивого разговора обо всем, что лежит на дне души человеческой.

Я знал Бориса еще до войны летчиком-испытателем одного из инструкторов Гражданского воздушного флота. Но его молодость нельзя было назвать безоблачной: в тридцать седьмом году он был арестован и объявлен, как тогда водилось, «врагом народа». Более года мы ничего не знали о его судьбе, пока в один прекрасный день он не появился снова

на свободе — начисто оправданным и полностью реабилитированным. Сейчас каждому из нас известно немало людей, безвинно пострадавших в то время, а ныне очищенных от возведенных на них ложных обвинений. Но то сейчас. А в довоенные годы возвращение человека «оттуда» было редчайшим исключением.

Не сразу, но все же Борис рассказал, как ему это удалось:

— Поначалу я на допросах только ругался и категорически никаких обвинений — одно страшнее другого! — не признавал. Тогда они начали «совершенствовать» методы ведения следствия... Ну, думаю, так я довольно быстро «отдам концы» безо всякой пользы для просвещенного человечества. Надо что-то сообразить!

И «сообразил»: признался, что передал иностранной разведке данные автопилота АВП-2. В награду за сговорчивость ему дали «по минимуму» — пять лет. И тут же перестали «воздействовать», стали лучше кормить, даже читать разрешили.

— А как только я попал в лагерь — сразу заявление прокурору. Так, мол, и так: автопилот АВП-2 разработан фирмой «Сперри», у каковой закуплен по лицензии чуть ли не всеми странами мира, в том числе и нами. Следовательно, эти данные никакого секрета не представляют. и состава преступления за мной нет... Результат проявился не после первого, и не после второго, и не после пятого заявления. То ли не доходили они по назначению, то ли внимания на них не обращали — не знаю. Наконец вызывают: «Ах ты такой-сякой! Выходит, ты обманул следствие. Будем тебя за это снова судить». Я им ответил, что, во-первых, не «снова» — пять лет я получил без суда, а заочно от «тройки». А во-вторых, готов предстать перед судом за обман следствия; только я там расскажу, что меня заставило на этот обман пойти... Так и выпустили...

Казалось бы, пережитое должно было изрядно подорвать в Осипчуке веру в людей. Но этого не произошло: разницу между своими следователями и человечеством вообще он видел хорошо.

Войну Борис провел в Авиации дальнего действия и встретил День Победы подполковником.

Утром 17 мая 1947 года Осипчук уходил в испытательный полет на двухмоторном бомбардировщике. Задание было не особенно сложное, кажется, испытание какого-то оборудования. У дверей диспетчерской мы с Борисом столкнулись: я входил в помещение, чтобы расписаться в полетном листе, а он, в кожаном комбинезоне, с парашютом на плече, отправлялся к самолету на вылет.

Мы обменялись несколькими, ничего существенно не значившими фразами и разошлись.

Взлет машины Осипчука начался нормально: зарычали моторы, самолет сдвинулся с места и, набирая скорость, победил по бетонной полосе. Вот он поднял нос, переднее колесо оторвалось от земли, и разбег продолжался на основных колесах шасси. Все шло, как обычно. И лишь буквально за несколько секунд до отрыва началось непонятное: к мощному звуку работающих на полном газу моторов примешался какой-то странный, будто ножом по сковородке, скрежет.

Этот необычный звук заставил всех оглянуться. Самолет резким прыжком — не в обычной манере Осипчука — взмыл от земли метров на пять и, качнувшись с крыла на крыло, полого пошел в набор высоты.

И тут же динамик командного пункта на старте донес сдержанный, но серьезный голос летчика:

— Сильно трясут моторы. Особенно правый...

— Задание не выполняйте. Заходите на посадку, — скомандовали с земли.

Но Осипчук уже сам начал пологий разворот с явным намерением сделать «коробочку» вокруг аэродрома и садиться. При этом он пошел левым кругом, хотя в тот день полагалось делать правый; по-видимому, правый мотор втушал совсем уж мало доверия.

Осипчук летел молча, лишь односложно, подчеркнуто спокойным голосом (он сам по себе втушал тревогу, этот сухой, с на́чисто вытравленными признаками каких бы то ни было эмоций голос!) отвечая на запросы земли.

Мы с тревогой следили за ползущей по небу темной черточкой, которая то скрывалась из виду за деревьями и строениями, то вновь появлялась из-за них. Она ползла непривычно медленно (хотя, может быть, это нам только казалось?). Вот она разворачивается... идет по прямой... снова разворачивается. Ну, кажется, гора с плеч — вышла в плоскость посадочной полосы, приближается к ней, сейчас сядет.

Но не успели мы с облегчением вздохнуть, как опять усилился погасший было шум моторов и самолет, не садясь, прошел над посадочной полосой.

Что он делает?

Еле-еле добрался до посадки — и ушел на второй круг. Почему?

Радио тут же принесло лаконичное объяснение:

— Не вышло шасси...

Да. Посадка с невыпущенным шасси — это гарантированная поломка, трижды досадная (тут летчика легко понять) посреди собственного аэродрома.

Но второй круг давался неисправной — явно неисправной, хотя мы и не понимали, в чем именно, — машине еще труднее, чем первый.

Через минуту Осипчук сообщил:

— Правый мотор совсем отказывает. Добавляю наддув левому...

Но и левый мотор не вытянул. Самолет пошел со снижением и исчез за деревьями. Первую минуту было еще неясно, что это означает: он и на первом круге не раз скрывался из глаз, а потом появлялся снова.

Мы напряженно всматривались в небо — вон в этом просвете между деревьями он вынырнул в прошлый раз.

Но шли секунды, десятки секунд, минуты, а самолет больше не появлялся.

И мы уже чисто механически, без малейшей надежды продолжали смотреть в опустевшее небо, пока не открылось окно диспетчерской и кто-то из него не крикнул:

— Машина упала на краю поселка за железной дорогой. Сейчас от туда звонили...

Причину гибели Бориса Петровича Осипчука, ведущего инженера Сергея Анатольевича Мальмберга и бортмеханика Дмитрия Андреевича Овечкина удалось установить. Все произошло оттого, что раньше времени, еще при разбеге по земле, было убрано шасси. Машина осела вниз, и винты стали бить по бетону взлетной полосы, отчего, естественно, вдребезги разнесло концы их лопастей. Винты как бы уменьшились в диаметре, причем уменьшились изрядно, а главное — неравномерно. Последнее обстоятельство и вызвало тряску, о которой мы узнали из радиопередачи с борта самолета.

Нет необходимости вторгаться сейчас в технические подробности: что именно и в какой последовательности отказывало в трясущихся моторах и изуродованных винтах, какая связь оказалась между преждевременной уборкой шасси и отказом его выпуска, почему прибавка газа левому мотору (после окончательного выхода из строя правого) оказалась для него роковой. Все это было точно установлено и вытекало из одной об-

шей первоначальной причины: уборка шасси была начата ранее отрыва самолета от земли.

С точки зрения чистой техники ни одной неясности не оставалось.

Но этого нам было мало. Нам остро хотелось узнать — почему так получилось?

Никто не мог — и не сможет уже никогда — рассказать о том, что произошло в кабине экипажа во время разбега.

Но я уверен, что правильно представляю себе единственную возможную причину происшествия.

Не могу допустить мысли, что летчик, а тем более такой квалифицированный, как Осипчук, не разобрал, летит ли уже машина или еще бежит по земле, и дал команду убрать шасси преждевременно. Точно так же невозможно представить себе, чтобы старый, опытный, прошедший «огонь, воду и медные трубы» механик Дима Овечкин принял по собственной инициативе, без команды летчика оперировать столь ответственным рычагом, как кран уборки шасси. Поверить ни в то, ни в другое невозможно.

Остается одно — недоразумение... Ошибочно понятый жест, неразборчивое слово, неправильно истолкованный поворот головы... Ничего другого не придумаешь.

Вот какой ценой может обернуться невинная на первый взгляд вещь: неполное взаимопонимание экипажа!..

* * *

С каждым очередным полетом мы увеличивали запас горючего, а следовательно, и продолжительность полета нашей «двойки». Скоро мы перестали укладываться в интервалы времени между завтраком и обедом или обедом и ужином. Это немедленно вызвало появление на борту взятых с собой бутербродов, помидоров, огурцов, термосов с чаем и кофе. Мы с Аржановым угощались поочередно: один крутит штурвал и «командует парадом», а другой в это время, демонстративно не обращая внимания на завистливые взгляды соседа, вкушает пищу телесную. Неожиданно такая чисто бытовая деталь, как еда во время полета, придала ему какой-то очень уютный, домашний тон: посудите сами — разве можно совершать что-нибудь шибко драматическое или тем паче героическое с плотно набитым ртом?

Вскоре на наш аэродром прилетел ТУ-4 № 003 — «тройка».

Командиром этого корабля был заводской летчик-испытатель Александр Григорьевич Васильченко, в будущем Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР.

Принято считать, что работа испытателя на серийном авиазаводе «рангом ниже», чем в научно-исследовательских организациях и опытно-конструкторских бюро. В свое время заводских летчиков даже называли не испытателями, а «сдатчиками». Изо дня в день они летают на машинах одного и того же до последнего винтика изученного и проверенного типа, по одному и тому же сдаточному заданию — и так в течение нескольких лет, пока выпускаемый самолет не устареет и завод не перейдет на изготовление другого.

Действительно, если все происходит таким именно образом — работа летчика не идет ни в какое сравнение с полетами на разных, зачастую необлетанных машинах, по разнообразным, порой весьма нестандартным заданиям.

Но на самом деле летно-испытательная работа на серийных заводах почти никогда не ограничивается одной лишь текущей сдачей выходящих со сборки самолетов. Начать с того, что головные экземпляры оче-

редной серии принято испытывать по программе, мало отличающейся от программы испытаний опытного самолета. Много крови портят заводским летчикам и так называемые «кролики» — серийные машины, внешне ничем не отличающиеся от своих собратьев, но по какой-то неуловимой причине «выпадающие из кондиции». На некоторых особенно зловредных «кролнках» приходится делать не один и не два, а буквально десятки полетов, пока они не будут излечены от своих грехов и благополучно сданы.

Испытательная работа на серийном заводе издавна велась при гораздо более снисходительном отношении к погоде, чем где бы то ни было. Особенно редко признавалась погода нелетной в последних числах каждого месяца: 29-го, 30-го, 31-го и далее — 32-го, 33-го и даже 34-го! Нет, не следует думать, что это какой-то свой, особый календарь, действовавший на серийных заводах в отличие от принятого цивилизованным человечеством уже в течение почти четырехсот лет григорианского. Просто дни работы над доделками продукции — теми же «кроликами», например, — уже «записанной» в счет выполнения плана истекшего месяца, но фактически дорабатываемой в начале следующего (бывало на заводах и такое, и притом не в очень отдаленном прошлом!), получили с легкой руки заводских остряков столь необычное счисление.

Но больше всего достается заводским летчикам-испытателям, когда возникает очередная суматоха. Предсказать ее пока никому не удавалось, а ликвидировать после того, как она стихийно и неотвратимо началась, не так-то просто. Суть дела заключается в том, что внезапно в серии появляется какой-то дефект: не на одиночных экземплярах, а именно в серии, на всех или почти всех машинах подряд. То это какая-нибудь тряска, то недобор скорости, то перегрев двигателя — всего не перечислить!

Заказчик перестает принимать самолеты, не выполняется план, банк зажимает деньги, начальство мечет громы и молнии — словом, начинаются большие неприятности.

Тут-то и требуется от заводских летчиков-испытателей целый комплекс качеств: от высокой технической эрудиции, без чего не разобраться в вызвавших столь стойкий дефект сложных причинах (ибо от простых причин суматохи не возникают — их тогда давят в зародыше), и до физической выносливости, ибо гипотезы о возможной природе указанных хитрых причин сыплются, как из рога изобилия, и каждая такая гипотеза требует проверки в воздухе...

Не мудрено, что в среде заводских испытателей вырастают такие специалисты высшего класса, как Н. Н. Аржанов, Б. К. Галицкий, Л. И. Мищенко, Ю. А. Добровольский, К. К. Рыков и многие другие.

Таким же блестящим летчиком-испытателем был и Александр Григорьевич Васильченко.

Задолго до испытаний опытной серии ТУ-четвертых он уже успел доказать это.

* * *

Как-то раз, еще во время войны, оказавшись пролетом на аэродроме, где работал Васильченко, я обратил внимание на непривычно быстро несущийся над летным полем пикировщик ПЕ-2, из хвоста которого вырывалось ревущее пламя. Я тревожно оглянулся на окружающих — не люблю огня на самолете, — но увидел на их лицах никак не тревогу, а скорее интерес к происходящему, причем интерес нельзя сказать, чтоб очень уж пылкий: по-видимому, они видели этот эффектный номер далеко не в первый раз.

— Кто летит?

— Васильченко.

Оказалось, что он испытывал ракетный ускоритель — небольшой жидкостный реактивный двигатель (ЖРД), установленный в хвосте обычного серийного самолета ПЕ-2. Это должно было дать возможность при необходимости на короткое время резко увеличить скорость и быстро преодолеть зону интенсивного зенитного огня или оторваться от атакующих истребителей противника.

Новинка была очень интересная, и я незамедлительно отправился знакомиться с ней на край аэродрома, куда подрулил успевший приземлиться самолет.

— Кто сделал эту штуку? — спросил я, поздоровавшись с Александром Григорьевичем и выслушав его блицлекцию о ЖРД-ускорителе.

— А вот он, конструктор, — ответил Васильченко и показал мне на плотного, среднего роста человека, одетого в несколько странный, особенно для летнего времени, костюм: куртку и брюки из какого-то черного «подкладочного» сатина.

И в тот же миг я узнал этого человека. Нас познакомили еще за несколько лет до начала войны, но после этого встречаться нам — отнюдь не по нашей воле! — не довелось. Тем не менее я имел полное представление о нем. Больше всего — благодаря рассказам моего друга летчика-испытателя В. П. Федорова, который много поработал с этим конструктором и, в частности, испытывал его «ракетопланер», о котором я уже писал в первой книге своих записок. Федоров говорил о нем очень дружески, тепло, с огромным уважением и нескрываемой болью по поводу его нелегко сложившейся судьбы.

Я подошел к конструктору, мы поздоровались, отошли немного в сторону и сели на какие-то валявшиеся у аэродромной ограды бревна.

В течение всего последующего неторопливого разговора вокруг нас, как привязанный, встревоженно кружился неизвестный мне лейтенант. Он то присаживался рядом с нами, то снова нервно вскакивал, то опять садился, изо всех сил стараясь не упустить ни одного слова из нашего разговора. Судя по всему, бедняга чувствовал, что происходит какое-то «нарушение», но прямых оснований вмешаться не видел, так как к категории «не имеющих отношения» я явно не подходил, держался как только мог неприступно — едва ли не впервые в жизни изо всех сил напуская на себя важность, соответствующую моему тогдашнему майорскому званию, — да и тема нашей беседы не выходила за узкопрофессиональные, прямо касающиеся объекта испытаний пределы. Не выходила по крайней мере внешне, а что касается так называемого подтекста, то он никакими инструкциями не предусмотрен.

Наверное, со стороны вся эта картина выглядела довольно комично, но в тот момент я — в отличие от своего обычного состояния — способность к восприятию смешного утерять полностью.

Я видел перед собой другое: еще одну (сколько их еще?) форму проявления негибачего человеческого мужества. Сквозь сугубо прозаические слова о тягах, расходах, количествах повторных включений передо мной в полный рост вставал внутренний облик человека, творчески нацеленного на всю жизнь в одном определенном направлении. В этом направлении он и шел. Шел вопреки любым препятствиям и с демонстративным пренебрежением (по крайней мере внешним) ко всем невзгодам, которые преподнесла ему недобрая судьба.

Передо мной сидел частоящий Главный конструктор, точно такой, каким он стал известен через полтора с лишним десятка лет — энергичный и дальновидный, умный и нетерпимый, резкий и восприимчивый, вспыльчивый и отходчивый. Большой человек с большим, сложным, про-

тиворечивым, нестандартным характером, которого не смогли деформировать никакие внешние обстоятельства, ломавшие многих других людей, как тростинки...

* * *

С прилетом ТУ-4 № 003 фронт работы заметно расширился.

Это стало заметно даже по такому тонкому психологическому признаку, как более «храброе» обращение начальства с самолетами этого типа. Одна машина уникальна, две — уже не в такой степени, а три — это уже «несколько». Их можно и в более сомнительную погоду выпустить, и не так к каждому ерундовому дефекту придираются, и даже позволить себе роскошь сказать, когда что-то не удастся до конца выяснить на земле:

— Ладно. Полетаем еще — дело само прояснится...

И оно действительно прояснилось. Словом, испытания пошли полным ходом.

Правда, это продолжалось недолго — в испытания вклинился парад: воздушный парад по случаю Дня авиации 1947 года, участвовать в котором были назначены все три наших корабля — «единица», «двойка» и «тройка».

Чуть ли не в тот же самый день, когда это стало известно, на аэродром приехал Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов.

Это был наш основной «заказчик» — самолеты ТУ-4 делались для Дальней авиации, которой он командовал. А посему он счел для себя обязательным лично вести первую тройку тяжелых кораблей на парад. Такое решение было чрезвычайно характерно для Голованова, принадлежавшего к числу очень немногих высших авиационных военачальников, которые сами много и хорошо — не хуже большинства своих летчиков — летают. Кроме Голованова, мне привелось по-настоящему — в воздухе — познакомиться еще лишь с одним из них — генералом (ныне Маршалом авиации) Евгением Яковлевичем Савицким.

Излишне говорить, насколько профессиональное владение искусством полета повышает личный авторитет военачальников такого типа. Впрочем, я думаю, что не это обстоятельство было главным, толкавшим их в воздух: чтобы хорошо летать, надо прежде всего, очень любить летать. Без этого никакие рационалистические соображения, в том числе и соображения «полезности для авторитета», делу не помогут...

Я немного знал Александра Евгеньевича еще с военных лет. Как-то, в те именно времена, выявилась реальная перспектива моего командирования к одной из частей Авиации дальнего действия для участия в боевых вылетах на цели в глубоком тылу противника. Но на пути к этому возникли неожиданные препятствия: дело было уже в сорок третьем году, свернувшиеся было в начале войны летные испытания вновь пошли полным ходом, а посему появилась «установка»: опытных летчиков-испытателей «беречь». Все доводы об огромной, ничем не заменимой ценности боевого опыта для формирования и повышения квалификации того же летчика-испытателя и той конкретной пользе, которую он мог принести в действующей части, «на ходу», в боях осваивающей новую технику, — все эти доводы разбивались о пресловутую «установку». Для ее преодоления требовалась санкция начальников достаточно высокого ранга. Пришлось говорить на эту тему сначала с начальником штаба АДД Марком Ивановичем Шевелевым, а затем и с самим Головановым.

Никто, кроме одной из неизбежных на войне случайностей, не виноват в том, что в полетах на дальние цели мне не очень повезло: в некую прекрасную лунную ночь наша машина была сбита в тылу противника, за сотни километров от линии фронта... Не будь на свете брянских парти-

зан, трудно предсказать, как мы вернулись бы домой и вообще как обернулась бы вся наша дальнейшая (по-видимому, весьма недолгая) судьба. Но это уже другая история, прямого отношения к испытаниям ТУ-четвертых не имеющая.

Так или иначе, увидев меня, Голованов засмеялся:

— А! Старый знакомый!..

И мы начали готовиться к параду.

У большинства читателей это слово, конечно, ассоциируется с блеском воинской амуниции, топотом множества одновременно ударяющих по земле сапог (такой шаг, которым в обычное время никто не ходит, в газетных отчетах принято именовать «чеканным»), бравурными маршами духового оркестра — словом, с чем-то шикарным, внешне эффектным, но не имеющим ни малейшего отношения к трудовой деятельности человека.

А на самом деле парад, особенно воздушный (хотя, я думаю, не только воздушный), — это тяжкий труд, пот, напряженная и даже не всегда безопасная работа. В подтверждение этому достаточно привести, может быть, мелкую, но характерную деталь: легчики «ведомых» самолетов, как правило, самого места парада — Красной площади или летного поля Тушинского аэродрома — заметить просто не успевают и узнают о проходе над ним только из команды ведущего:

— Внимание. Проходим!

Их дело — держать свое место в строю, а глазеть вниз или по сторонам им не только некогда, но даже прямо запрещено. Зевать тут не приходится: рядом летят другие самолеты. «Зевок» грозит столкновением, а при столкновении на малой высоте, как говорится, чихнуть не успеешь, как воткнешься в нашу довольно твердую планету...

Но и на борту ведущего — головного в группе — жизнь тоже далеко не сахарная! Ему надо выйти и вывести всех идущих за ним в заданную точку с точностью, измеряемой от силы десятками секунд. Это, оказывается, очень нелегко.

В первую тренировку по маршруту парада мы пошли все вместе на пассажирском самолете. Каждый из нас работал «за штурмана», ведя прокладку пути по своей карте.

Когда дело дошло до последнего, расчетного разворота, в сущности, определяющего точность выхода к месту парада в заданное время, мнения разделились. Их оказалось ровно столько же, сколько людей на борту:

— Пора!

— Рано. Еще пять секунд!

— Какое там рано! Одиннадцать секунд прохлопали!

— Ребята, не волнуйтесь. Через семь секунд будет в самый раз.

Вскоре мы долетели до Тушина, и там с полной достоверностью выяснилось, кто на сколько секунд и в какую сторону ошибся. И конечно — такова уж природа человеческая, — все «запоздавшие» единодушно утврждали, что сидевший в этом полете за штурвалом Голованов выполнил разворот чересчур вяло и потерял на этом лишние секунды (сколько именно, зависело от того, насколько ошибся данный «запоздавший»; тут их единодушие несколько нарушалось). И наоборот: все «поторопившиеся» клялись, что Голованов развернулся, «как на истребителе», и именно это свело на нет все их безукоризненно точные расчеты...

Полеты по парадному маршруту на тяжелых кораблях оказались, кроме всего прочего, довольно тяжелыми в самом прямом, буквальном смысле этого слова. На высоте нашего полета почти всегда изрядно болтало. Приходилось все время энергично крутить штурвал и «шуровать» педалями. А на таких кораблях, как ТУ-4, подобные упражнения

нельзя отнести ни к какому иному виду спорта, как только к тяжелой атлетике.

Недаром после каждого полета мы вылезали из своих кабин в насквозь мокрых — хоть выжимай — комбинезонах...

В день парада с утра было жарко.

Над летным полем стоял неподвижный горячий воздух. Дальний конец бетонной взлетной полосы расплывался в дрожащем мареве и казался покрытым зеркальной водой — этот мираж можно часто наблюдать на аэродромах в жаркие летние дни.

Предвидя «великую баню», я надел поверх трусов лишь легкий комбинезон, но, несмотря на это, взмок с головы до ног, едва забрался в раскаленную на солнце кабину.

Проверка радиосвязи, доклады экипажа о готовности, запуск моторов — и мы вырुливаем для взлета.

В полете стало еще жарче. К солнечному зною добавилась жара, так сказать, химического происхождения — от несметного количества калорий, сгоравших в наших бранных организмах в результате активных физических упражнений со штурвалами и педалями.

Мы шли по маршруту, заученному за дни тренировочных полетов наизусть. Впрочем, даже если бы мы не знали дороги, сбиться с нее было невозможно: ее четко обозначала пунктирная цепочка ядовито-оранжевых сигнальных дымов и поблескивавших в жаркой дымке «мигалок» — небольших прожекторов, направленных навстречу летящим самолетам.

Где-то слева во мгле промелькнуло Тушино. Мы вернемся к нему с другой стороны — обратным курсом. Контрольные точки проходят, как положено, вовремя. Скоро разворот.

— Пора разворачиваться, — дервно сообщил наш штурман, показывая на летящего как ни в чем не бывало вперед флагмана. — Что они там, заснули, что ли?

Не знаю, какие диспуты велись в это время в кабине флагманского ТУ-4: кто «голосовал» за то, что пора разворачиваться, кто за то, что рано. Потом на земле оказалось, что каждый по отдельности член экипажа головной машины — именно он! — считал, что «пора», но, увы, его спутники, известные путаники и ретрограды, не вняли гласу рассудка и прохлопали время разворота!

Да, разворот был начат с опозданием.

После выхода из него нам полагалось оказаться как раз перед носом всей остальной группы. А той оставалось пристроиться за нами, чтобы так и пройти над Тушином. На тренировках это получалось как по нотам.

А сейчас, еще лежа в развороте, мы увидели, как над тем местом, где нам предстояло выйти на последнюю прямую, уже скользят одна за другой черные черточки: звенья и отряды парадного расчета.

Возникла реальная и притом весьма малопривлекательная перспектива — врезаться сбоку в плотную массу летящих самолетов. Это была бы «та» каша!

И тут наш ведущий принял единственно возможное в создавшейся обстановке решение.

Я увидел, как самолет Голованова, не выходя из разворота, с круто наклоненным к земле левым крылом и высоко задраным в небо правым, энергично пошел на снижение. И в ту же секунду радио донесло его команду:

— «Призма!» «Окунь!» — Это были позывные кораблей Н. С. Рыбко и нашего. — Уменьшить высоту на двести метров, следовать за мной!

И мы нырнули под плотный, аккуратный, действительно «как на параде», строй боевых машин.

Идти пришлось почти на бреющем полете. Последовала команда дать всем моторам полный газ, чтобы развить максимальную скорость. Самолет уже не качает, его буквально бьет о невидимые воздушные ямы и колдобины. Под самым застекленным носом кабины проносятся дергающиеся в такт прыжкам нашей машины деревья, полянки, овраги — замечательный приистринский пейзаж, до которого мне сейчас, впервые в жизни, нет ни малейшего дела.

А сверху, у нас над головой, в ясном голубом небе быстро проплывают звенья летящих выше самолетов. Но проплывают они как-то странно — пятясь, будто раки, задом наперед. Так кажется потому, что наши корабли летят быстрее их. Вот уже видны головные машины строя. Еще минута — и мы обгоним и их.

Но этой-то столь нужной минуты нам как раз и не хватило.

Мы так и прошли над Тушинским аэродромом — в узком промежутке между заполненным москвичами летным полем и летящей над нами армадой двухмоторных самолетов.

— Это новый, еще не описанный в уставах вид авиационного строя — строй «бутербродом», — съязвил кто-то из нашего экипажа, когда, миновав Тушино, мы немного отдышались.

Но, вернувшись на свой аэродром, мы узнали, что, как говорится, «произвели впечатление». Наше необычное появление оказалось с чисто зрелищной точки зрения даже эффектным. В общем, нас причислили к категории победителей, судить каковых не принято.

Бывает, оказывается, что и наши ошибки оборачиваются нам же на пользу...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Испытания ТУ-четвертых продолжаются

Парад прошел — опять начались так называемые трудовые будни. Говорю «так называемые» потому, что будни эти отнюдь не были серы и однообразны. Во всяком случае сюрпризов они преподносили значительно больше, чем хотелось бы.

Не заставило себя ждать и первое серьезное происшествие на ТУ-четвертом.

Всего за несколько дней до него с завода прилетела «четверка», пилотируемая летчиком-испытателем В. П. Маруновым. Но едва успели мы обрадоваться, что нас четверо, как снова нас стало только трое...

Получилось это так. Васильченко на «тройке» гнал площадку: обычную, тихую, невинную площадку, даже не на максимальном режиме работы двигателей. Показания всех приборов были «в полном ажуре» — кто-кто, а такой бортинженер, как сидевший за пультом Н. И. Филизон, «прохлопать» малейшее их отклонение от нормы не мог!

Внезапно эта идиллия нарушилась сообщением из кормового отсека: — Дым и пламя из-под капота третьего мотора.

Поначалу ни с мест летчиков, ни с поста бортинженера пожар виден не был: встречный поток воздуха относил огненный шлейф назад. Тем не менее мотор, конечно, сразу же выключили, перекрыли подачу бензина, пустили в ход противопожарную систему — словом, приняли все меры для ликвидации огня.

Самолет со снижением шел к своему аэродрому из дальнего края испытательной зоны, где, как назло, его застигло происшествие.

— В корме! Как там дела? — спросил Васильченко.

Ответ был неутешителен:

— Пламя увеличивается... До самого хвоста язык...

До хвоста — это добрых два десятка метров! Ничего не скажешь: пожар «полноценный»...

Еще минута — и в СПУ раздался голос Филизона:

— Вот теперь видно...

Доступная взору бортинженера передняя часть мотора, обычно глубоко затененная окружающим ее капотом, светилась мрачным бордово-красным светом, словно только что отлитая из не успевшего остыть металла.

Командир корабля подумал о многих тоннах бензина в крыльевых — прямо за горящим мотором — баках, наглядно представил себе, как все эти тонны (что весьма вероятно) взорвутся, и, вздохнув, дал команду:

— Бортинженеру — разгерметизировать машину. В носовой и кормовой кабинах — открыть люк и дверку. Всему экипажу — покинуть самолет!

И тут же, обернувшись к бортинженеру, бросил на него весьма сложный взгляд, значение которого, если выразить его словами, звучало бы приблизительно так: «В сущности, и тебе, Коля, надо бы прыгать... Тут в ближайшее время может так рвануть, что от нас только разрозненные молекулы останутся... Но я сам еще немного погожу... А без тебя мне как без рук... Мне ведь даже этот подлец — третий мотор — толком не виден... Конечно, смотри сам, но, может быть...»

И сколь, казалось бы, ни сложно было расшифровать значение этого взгляда, Филизон все понял сразу. Он ничего не стал говорить по СПУ, дабы не «вносить элементов дискуссии» в выполнение общей команды, но когда кто-то из готовящихся к прыжку соседей спросил его: «А ты что же?» — кратко буркнул в ответ:

— Никуда я не пойду...

Особенно неприятно было прыгать находившимся в кормовой кабине. Бушевавшее теперь уже всю пламя лизало фюзеляж как раз в том месте, где была расположена дверка. Инженер-наблюдатель, первым сунувшийся было к ней, тут же отпрянул назад: прыгать приходилось прямо в огонь!..

В такие моменты, чтобы пресечь общую растерянность, обязательно нужен один — хотя бы один! — спокойный и решительный человек, способный сохранить полную ясность мышления и действовать не от «хочется», а от «надо». Таким человеком в кормовой кабине «тройки» оказался один из старейших (еще со времен Отдела летных испытаний ЦАГИ) сотрудников нашего коллектива, инженер-летчик Василий Яковлевич Молочаев, выполнявший в этом полете обязанности наблюдателя-экспериментатора. Он отстранил оробевшего наблюдателя и решительно прыгнул первым сам.

В носовой кабине возникла было подобная же ситуация, но ее не менее оперативно ликвидировал борттехник Д. Ф. Гордеев. Он недолго думая (здесь это выражение имело совершенно точное значение: долго думать времени не было). энергично согнул ногу, «наподал» коленом, так сказать, по корпусу замешкавшегося над люком человека и таким, может быть, не очень салонным, но зато весьма эффективным методом помог ему покинуть самолет.

Как и следовало ожидать, пламя не успело обжечь прыгающих: их мгновенно отбрасывало потоком назад и вниз.

Девять белых парашютных куполов распустились в воздухе за хвостом быстро удалявшегося самолета. Девять человек долго — почти до самого своего приземления в мягкую траву приокских лугов — провожали взглядом горящую машину. Теперь горел уже не только мотор — пламя перебралось на крыло, и тянущаяся за «тройкой» полоса

густого черного дыма была за десятки километров видна в ясном голубом небе.

Становилось очевидно, что дойти до аэродрома самолет все-таки не успеет.

Надо было прыгать и двум последним оставшимся в нем людям — Васильченко и Филизону. Но тут снова всплыло то самое неизменно возникающее в подобных случаях соображение: по обломкам брошенной экипажем и, конечно, «в дым» разбившейся машины невозможно будет сколько-нибудь надежно установить причину аварии. Пропадет стоящий многие миллионы самолет, и, главное, пропадет зря...

И они решили сажать горящий корабль. Сажать в поле с убранными шасси. Привязались плотнее ремнями к своим сиденьям, заранее — еще в воздухе — открыли боковой люк (чтобы не оказаться запертыми, как в мышеловке, если от деформации при посадке на фюзеляж люк заклинит) и пошли на посадку...

Все ближе и ближе земля... Вот уже видно, что выбранное поле не такое уж идеально ровное, каким казалось сверху. Но менять решение поздно: каждая лишняя секунда пребывания в воздухе может принести с собой взрыв... Васильченко плавно убирает газ трем исправным моторам, дает команду перекрыть пожарные краны и выключить зажигание, подбирает штурвал на себя...

Все! Машина приземлена и, вздымая клубы пыли, пашет фюзеляжем по мягкому грунту заливного луга...

Причина пожара была найдена. Огромный риск, на который сознательно пошли Александр Григорьевич Васильченко и Николай Ильич Филизон, оправдался.

* * *

И все-таки, несмотря на потерю «тройки», новых кораблей вскоре стало снова четыре, а затем пять, шесть, семь... Серия шла полным ходом, и ТУ-четвертые прибывали с завода один за другим.

Опять, как в дни испытаний первых реактивных самолетов, подтвердилась способность сильного летного коллектива выделить из своей среды нужное количество подходящих людей для выполнения любого задания.

Правда, на сей раз задача осложнялась еще тем, что требовались не одни только летчики (причем не по одному, а по два на каждый корабль), но и бортовые инженеры, и штурманы, и «летающие» механики, и даже некоторые такие специалисты, которых раньше вообще не существовало, — например, бортовые операторы радиолокационных установок. Эти операторы сидели со своей аппаратурой в маленьком затемненном отсеке в хвосте самолета, и именно из их уст я тогда впервые услышал в полете непривычные доселе доклады вроде:

— Впереди по курсу на удалении 200 — гроза.

Или:

— Командир! Проходим Волгу. Саратов остается севернее тридцать пять километров.

Услышав подобные сообщения, невольно хотелось глянуть вниз, даже когда ничего, кроме сплошной, не проницаемой для взора облачности, увидеть при этом было невозможно.

Многое изменилось и в условиях летного труда представителей давно известных, традиционных в авиации специальностей. К некоторым из них приходилось предъявлять новые, существенно более высокие, чем раньше, требования. На ТУ-4, как и на многих последующих типах тяжелых кораблей, обзор летчика весьма ограничен. Из всех частей само-

лета он, в сущности, только и видит, что носки двух левых моторов с их винтами.

Легко понять, как возросла роль кормового наблюдателя в экипаже! Настоящий кормовой — это вторая пара глаз командира. И обгоняющий машину более скоростной самолет, и изменения оставшейся за хвостом погоды (в которую, однако, придется вернуться на обратном заходе), и — самое главное — что делается за моторами (из истории с пожаром на «тройке» очевидно, насколько это существенно!), как ведут себя крыло, шасси, закрылки, хвостовое оперение, — все это командир может «видеть» только глазами кормового.

Кормовой должен знать, какие наблюдения надо доложить незамедлительно, а когда следует сначала прослушать сеть и не прерывать разговор на более важную, чем его сообщение, тему (для этого он обязан, кроме всего прочего, уметь правильно оценить, что важно, а что второстепенно).

Даже такое, казалось бы, относящееся скорее к актерской квалификации, требование, как хорошая дикция, тоже предъявляется — особенно в острых ситуациях — к хорошему кормовому!

Мне доводилось, в разное время и на разных кораблях летать с такими отличными кормовыми наблюдателями, как Григорий Григорьевич Ирлянов, Борис Александрович Балышев, Сергей Александрович Соколов. Одно время в корме управляемого мной самолета летал инженер Владимир Семенович Кузовлев. Машина, которую мы тогда испытывали, была новая, опытная, с четырьмя — также опытными — реактивными двигателями. Легко представить себе, какую большую ценность в подобных условиях представлял квалифицированный, специализировавшийся именно на двигателях инженер в кормовой кабине! Тут «вторые глаза» оказались даже полезнее, чем были бы на их месте «первые»...

Великое дело надежный кормовой!

И все-таки существеннее всего было подобрать на каждый из поступающих один за другим ТУ-четвертых надежных командиров. И такие нашлись. Вскоре приняли новые корабли ТУ-4 Б. Г. Говоров, А. П. Якимов, С. Ф. Машковский, Ф. Ф. Опачий, В. В. Пономаренко, А. Д. Перелет, И. Ш. Вагапов, М. В. Родных...

Корабли залетали. И в массу удачных полетов, в полном соответствии с неумолимыми законами статистики, стали вклиниваться разные «случаи».

Дошла в этом смысле очередь и до нашей «двойки».

По заданию мы должны были в этот день набрать максимальную высоту — потолок — на «номинале», а затем, не уменьшая газа, снизиться с разгоном на триста — четыреста метров и прогнать горизонтальную площадку с максимальной скоростью. В задании было еще много чего написано, но выполнять все последующее нам в этот раз уже не пришлось.

До потолка мы добрались благополучно.

— Вроде больше не лезет, — сказал Аржанов.

— Да, — подтвердил я, — поехали вниз. — И, отжав штурвал от себя вперед, перевалил самолет как бы через вершину невидимой горы.

Машина охотно — гораздо охотнее, чем лезла последние сотни метров вверх, — «посыпалась», набирая скорость, к земле.

Но едва прошло десять — пятнадцать секунд разгона, как в мерный, привычный шум работающих на полном газу моторов примешался новый звук — пронзительный, высокого тона, противный, резко возрастающий с каждым мгновением. Стрелка счетчика оборотов четвертого мотора

сорвалась с места и резво побежала по циферблату: 2450... 2500 (это предельно допустимые обороты)... 3000... 3500...

Последняя цифра на шкале счетчика оборотов — 4500 оборотов в минуту — также быстро осталась позади, после чего взбесившаяся стрелка уткнулась в упор, хотя на слух обороты продолжали расти...

Раскрутка винта! Штука весьма неприятная: сейчас пойдут вразнос подшипники, и тогда будет видно, что случится с мотором раньше — развалится он или загорится.

Убранный газ, перекрытое бензопитание, выключенное зажигание ни в малейшей степени делу не помогли. Я, как только мог, энергично тянул на себя штурвал, чтобы уменьшить скорость, но винт продолжал орать как зарезанный.

Хуже всего, что почему-то не слушалась нас система флюгирования, специально созданная для таких случаев, когда надо принудительно повернуть лопасти винта «по потоку» и таким образом остановить его вращение в воздухе. Это сейчас как раз и требовалось, что называется, до зарезу! Но красная кнопка с надписью «флюгер 4» не реагировала на неоднократные нажатия, будто все происходящее ее ни в малейшей степени не касалось.

В наушниках плеомфона раздался голос кормового Ирлянова:

— Из патрубков четвертого мотора идет густой дым...

Все ясно. Это в моторе, никак не приспособленном для вращения с такой безумной скоростью, горит масло.

Мы многозначительно-невесело переглянулись с Аржановым, и я дал Ирлянову по СПУ «нейтральный», не содержащий сколько-нибудь конкретного анализа событий ответ:

— Хорошо. Вас понял — дым из четвертого. Продолжайте наблюдать.

— Есть. Наблюдаю.

Уменьшать скорость больше нельзя — не хватает нам только в довершение всего еще и свалиться на тяжелом, неманевренном корабле в штопор.

А винт продолжает вить...

Все, что можно было сделать, мы сделали. Остается одно — снижаться, продолжая почти безнадежные попытки загнать раскрутившийся винт во флюгерное положение. Вдруг сменит гнев на милость и послушается.

И он послушался!

Не знаю с какой — двадцатой или тридцатой — попытки, но послушался. Это было как раз вовремя, так как из кормы начали поступать доклады уже не о дыме, а об языках пламени, а также «каких-то предметах», вылетающих из выхлопных патрубков. То, что Ирлянов деликатно назвал «какими-то предметами», было — тут сомнений не оставалось — кусками поршней, колец, клапанов, которых мы не досчитались потом, при разборке мотора на земле.

Но сейчас, в полете, двигатель наконец затих. Виновники беды — четыре огромные лопасти винта — в непривычной неподвижности замерли в поле зрения правого иллюминатора.

Так на трех моторах (по сравнению с только что благополучно закончившимся «цирк» это казалось сущим пустяком) мы вернулись домой и произвели посадку.

— Интересно, что было бы, если бы флюгер так и не сработал? — спросил меня кто-то из инженеров — представителей моторной «фирмы».

Я расценил подобный интерес как безусловно нездоровый, тем более что сколько-нибудь определенно высказаться на затронутую тему не мог.

За меня ответ дала сама жизнь.

Недели через две раскрутка повторилась на другом корабле — у Марунова, причем после нескольких минут безуспешных попыток загнать винт во флюгерное положение он... улетел! Оторвался от мотора и улетел, причем сделал это очень удачно, едва задев крыло и капот соседнего двигателя. А ведь каких дел мог бы наделать!.. Как тут было не сказать снова: «Повезло!» Впрочем, на тему о везении разговор уже был.

* * *

Нам оставался один из последних пунктов программы летных испытаний «двойки»: дальний (по тем, конечно, временам) беспосадочный перелет Москва — Крым — Москва.

Сейчас, когда скоростные реактивные самолеты резко «приблизили» к нам не только Крым или Кавказ, но даже Дальний Восток, наш тогдашний перелет явно «не звучит».

Но в то время — шла осень сорок седьмого года — вылететь из Москвы после завтрака, взглянуть на Черное море и к обеду вернуться обратно выглядело довольно эффектно.

Одновременно с нами по другому маршруту, в сторону Урала, уходила «четверка».

Взлетев, мы пробили нетолстые облака, набрали нужную высоту, установили заданный режим работы моторов и пошли на юг.

Глубоко внизу, где-то на полдороге между нами и землей, рядами аккуратных мелких барашков лежала ровная слоистая облачность.

Через некоторое время на нее легли какие-то легкие, как темные перышки, тени — это мы, продвигаясь вперед, ушли под навес полупрозрачной сетки перистых облаков, закрывших всю южную половину небосклона.

Постепенно облака — и нижние и верхние — уплотнялись, из серебристо-перламутровых стали снежно-белыми, а потом серыми и неуклонно сближались. Все уже делался коридор между ними. Несколько минут полета в мутной мороси — и облака сомкнулись. Начался полет по приборам, «вслепую».

На всякий случай я спросил штурмана:

— Какая температура за бортом?

— Минус семнадцать.

Этот ответ означал, что обледенения нам особенно опасаться не приходится: оно наиболее вероятно при температуре от нуля до минус семи, от силы десяти градусов; в более холодном воздухе оно возникает редко.

Редко! Но все же возникает! В ближайшие минуты мы начали в этом убеждаться.

Слой мороси на гнутых стеклах кабины замер — перестал ползти по ходу воздушного потока. Сомнений быть не могло: морось превратилась в лед. Большого воодушевления среди нас это не вызвало хотя бы потому, что средств борьбы с обледенением на первых экземплярах ТУ-4, в том числе и на нашей «двойке», установлено еще не было.

Но лед на остеклении кабины — полбеда.

Хуже было, что началось обледенение передних кромок крыльев. Это грозило не одним только увеличением веса корабля, но и нарушением его аэродинамических качеств. И действительно, несмотря на неизменный режим работы моторов, сдвинулась с места и медленно поползла влево стрелка указателя скорости.

Лед нарастал. Сотни навалившихся на нас лишних килограммов веса тянули машину вниз.

Из-за выросшего на рулях и элеронах льда стало тяжело работать штурвалом.

Началась тряска — ледяная корка неравномерно налипала на стремительно вращающиеся лопасти винтов, те самые лопасти, которые перед установкой на самолет проходят тщательнейшую — буквально до граммов — балансировку. Сейчас от этой балансировки не осталось и следа. Могучие центробежные силы беспрестанно отрывают с лопастей куски льда и гулко, как по пустой бочке, барабанят ими по фюзеляжу.

Минуты идут, и становится ясно, что проверить в этом полете расход горючего в классических условиях точно заданного режима не удастся. Может быть, разумнее не жечь зря горючее, а развернуться, пока не поздно, на обратный курс — к дому, чтобы повторить задуманный перелет в другой день, при более благоприятной погоде? Говоря откровенно, этого очень не хотелось: все-таки мы были первые, кому поручили прикидку дальности нового корабля. Упускать такую возможность было жалко...

Наконец (это, наверное, следовало бы сделать раньше) я приказал радисту доложить о создавшейся ситуации на наш аэродром и запросить указаний, как нам поступать дальше.

Ответ земли родился, по-видимому, не без дебатов. Во всяком случае он последовал не сразу.

А лед продолжал нарастать. Это обстоятельство заметно подогревало нетерпение всего экипажа. К исходу третьей минуты ожидания кто-то из кормы с неодобрением бросил:

— Ну, что они там, онемели, что ли?

На что последовала рассудительная реплика Аржанова:

— Не торопись. Начальство думает...

То, что начальство в конце концов придумало, звучало несколько неожиданно:

— Полет по маршруту продолжать. Действовать сообразно обстоятельствам, по собственному усмотрению.

Где-то я читал, что на флоте сдвинутая вперед на нос фуражка офицера представляет собой подаваемый для всеобщего сведения сигнал «недоволен начальством». Я не мог подать такой сигнал только потому, что на мне был шлем, а не фуражка.

Но, пораскинув мозгами, определенный резон в решении начальства все же усмотрел: корабль уже в воздухе, сегодняшний день так или иначе потерян — так имеет смысл извлечь из него хотя бы то, что возможно, например, прикинуть дальность полета ТУ-4 в предельно неблагоприятных условиях. В конце концов не будут же эти корабли всегда летать в идеальной лабораторной обстановке испытательной зоны! Нет, определенно, нам дали правильную команду.

И я начал «действовать по собственному усмотрению».

Первая попытка — выйти из обледенения вверх — сразу же потерпела решительное фиаско. Даже при полном газе всех четырех моторов отяжелевшая и потерявшая благородство своих очертаний машина набирать высоту не желала.

Пришлось убрать газ до среднего и идти на снижение, благо этот вариант был воспринят самолетом с явным удовольствием: он «посыпался» вниз так охотно, что только мелькала, отсчитывая обороты, стрелка высотомера!

И лишь потеряв добрых три километра высоты, мы услышали долгожданное сообщение штурмана:

— Снаружи плюс...

В мокрых облаках лед быстро таял. Один за другим отваливались его куски от нашей — я чуть было не написал «с облегчением вздохнувшей» — машины. Ожил и пополз по стеклу мокрый слой мороси.

А еще через пятнадцать — двадцать минут в облаках стали появляться разрывы. Правда, сквозь них еще не было видно ни земли, ни неба, а только другие слои таких же облаков, но по сравнению с условиями полета, из которых мы только что выбрались, это было уже вполне приемлемо.

Вокруг нас, как скалы, стояли (именно стояли — их высота значительно превосходила ширину) могучие, плотные, торжественные кучевые облака бесконечно разнообразных оттенков. Разнообразных, несмотря на то, что все эти оттенки, как в черно-белом кинематографе, представляли собой комбинации только двух цветов: от сахарно-белого до матово-серого, почти черного, казалось, совершенно не отражающего падающих на него лучей света.

Наш самолет медленно поднимался — надо было использовать открывшуюся возможность вернуться на заданную высоту, — пробираясь, как путник в горном ущелье, в узких, извилистых коридорах между облачными стенами. Материальность этих стен такова, что, казалось, задень их крылом — и оно отлетит, как от удара о скалу.

Вдруг над нами мелькнул голубой клочок разрыва. Во мрачные катакомбы облаков ворвались лучи солнца. И все вокруг, не изменив своей окраски, стало из матового неожиданно сверкающим, сияющим, блестящим, будто свет не упал на облака снаружи, а вспыхнул от собственного, силой в миллионы свечей, источника, спрятанного в толще каждого из них.

Еще несколько минут — и мы вырвались в чистое небо. Мощный облачный фронт остался позади.

Снова вокруг нас был разноцветный мир. В первый момент это показалось даже немного лишним, чрезмерным, чуть-чуть безвкусным. Читатели, признающие цветное кино не без некоторых оговорок, поймут это ощущение.

Впрочем, эстетика эстетикой, а лететь в чистом небе было куда проще, чем в «муре». Машина сама, почти не требуя вмешательства летчиков, плыла на своем законном, записанном в нашем полетном задании, режиме. Экипажу оставалось лениво поглядывать на показания приборов, да время от времени заполнять очередные графы планшетов.

* * *

Первая половина полета подходила к концу. Под нами в жаркой дымке — там, внизу, в полном разгаре шел «бархатный сезон» — лежал Крым.

Я включился во внешнюю связь и передал командной радиостанции поворотного пункта нашего маршрута, что нахожусь над ними, прошу зафиксировать пролет. И сразу услышал ответ:

— Вас видим. Приветствуем. Желаем счастливого обратного пути.

Я посмотрел вниз, на то место, где находился мой не зримый с шестикилометровой высоты собеседник, и увидел замечательную в своем роде картину.

Три воды были подо мной!

Три разные, не похожие друг на друга воды. На юг — в сторону неясно проступающих в дымке очертаний Анатолийского нагорья — простиралась темно-зеленая у берегов и еще больше темнеющая над глубинами вода Черного моря. На север от перешейка уходило мутно-желтое, песчаного цвета Азовское мелководье. А между восточным побережьем Крыма и тонкой, едва различимой с высоты Арабатской стрелкой яркой лентой выделялась малахитово-зеленая вода Сиваша.

Три разные воды... Нет, все-таки хорошо, что мир цветной!

Самолет лежит в глубоком развороте. И Крым, и омывающие его разноцветные воды медленно вращаются вокруг конца нашего левого крыла. Штурман, поколдовав над навигационной линейкой, называет двузначную цифру — наш обратный курс.

И вот мы идем этим курсом. Далеко впереди проступают очертания облачных масс — к сожалению, зловредный фронт, так осложнившийся наш полет на юг, никуда деваться не мог. Придется перескатыть его снова.

Издали фронтальная облачность имеет вполне невинный вид — что-то вроде гигантской порции взбитых сливок. Но мы уже ученые — знаем, что делается внутри этих «сливок»! Залезать в них определенно не хочется. А верхняя кромка облаков намного выше нас. Придется обходить фронт вёрхом (нам же было велено действовать «по собственному усмотрению, сообразно обстоятельствам»). И я перевел самолет в набор высоты.

Семь тысяч метров... Восемь... Девять...

Только на десяти с половиной километрах неровные контуры верхней кромки облаков стали проектироваться перед нами точно на линии горизонта — это означало, что мы вышли наконец на их высоту. И, надо сказать, вышли вовремя: фронт был уже под нами.

«Двойка» шла над самыми облаками. Временами она даже врывалась в отдельные выпучившиеся к небу верхушки и тут же, вздрогнув — будто отряхиваясь, — вновь выскакивала наружу. Перед нами бежала, то проваливаясь на сто — двести метров вниз, то приближаясь и даже сливаясь с нами, тень самолета в радужном ободке.

Подумав о том, что творится внутри подпирающей нас необъятной облачной массы, я позволил себе удовлетворенно крикнуть: летим, мол, выше всякой погоды и в ус себе не дуем. На сей раз мы ее, кажется, перехитрили!

Иными словами, я впал в легкомысленное самодовольство, и справедливая судьба позаботилась о том, чтобы оно было достойно и без промедления наказано. Сделать это судьбе было нетрудно — благо далеко не одной лишь плохой погодой исчерпывается перечень возможных в воздухе неприятностей.

Неожиданно наш корабль резко — будто кто-то схватил его за конец крыла — потянуло вправо. Чтобы парировать этот непонятный, а потому особенно внушающий тревогу разворот, я энергично нажал на левую педаль руля направления. Куда там! Всей силы моей ноги оказалось мало.

— Летчики! Что с курсом? — недовольно спросил, обернувшись к нам, штурман.

Ответив ему только не очень ласковым взглядом, я бросил Аржанову: «Помоги держать машину», и стал поспешно крутить влево штурвальчик триммера руля направления. Так втроем — триммер, Аржанов и я — мы наконец прекратили дальнейший заброс корабля с курса.

Но в чем все-таки дело? Кто с такой силой тащит наш самолет в сторону?

Первая мысль: отказал крайний мотор. Но нет, и по показаниям приборов, и на слух все моторы работают исправно.

Неужели что-то с управлением? В памяти еще свежа прошлогодняя история на МиГ-девятом, когда у меня в полете деформировался и разрушился стабилизатор и руль высоты. Может быть, сейчас нечто подобное случилось с килем и рулем направления?

— Экипажу осмотреть видимые части корабля.

Но едва я успел дать эту команду, как в СПУ раздался протяжный, явно раздосадованный голос Беспалова:

— Вон он, сукин сын!

Развернутые комментарии бортинженера по поводу недопустимых действий таинственного «сукиного сына» были прерваны моим вопросом:

— Ладно, Порфирьич, потом доскажете... А сейчас прошу толком: кто и почему — сукин сын?

Сукиным сыном (точнее, сукиными детьми) оказались створки капота четвертого мотора — металлические лепестки, регулирующие поток воздуха сквозь капот. Они самопроизвольно полностью открылись и торчали, как блестящий, красивый, но действующий подобно сильному тормозу нимб вокруг мотогондолы. Впоследствии, на земле, выяснилось, что это произошло из-за случайного замыкания в тумблере управления створками: на его контакты попала своевременно не удаленная производственная стружка. Недаром говорят, что во всей электротехнике, электронике, радио, телевидении, радиолокации существуют всего два возможных дефекта: отсутствие контакта, когда он нужен, и наличие контакта, когда он не нужен. С последним дефектом и пришлось столкнуться нам.

Но бед он наделал немало: мало того, что корабль едва удавалось удержать от самопроизвольного разворота, срыв потока с растопырившихся створок вызывал тряску хвоста, а главное, под действием столь мощного тормоза сильно упала скорость полета. Корабль начал грузно оседать в клубящиеся под нами фронтальные облака. Пришлось перевести с крейсерского режима на полный газ сначала провинившийся четвертый, а за ним и остальные три мотора. От заданного нам режима полета снова не оставалось ничего: ни высоты, ни скорости, ни даже характеристик работы винтомоторной группы! Что поделаешь? Обстоятельства, «сообразно которым» нам было предписано действовать, упорно складывались против нас!

Но на этом поток неприятностей не кончился! Едва скорость перестала падать и начала даже медленно — «ползком», километр за километром — увеличиваться, как самолет вздрогнул, слегка клюнул носом и... вновь стал замедлять свое и без того не бог весть какое стремительное движение вперед!

Что за проклятие! Что там еще стряслось? Не многовато ли «вдруг» для одного полета?

На сей раз долго раздумывать о причинах очередной неприятности не пришлось: и у летчиков, и у штурмана на приборных досках загорелись сигнальные лампочки «люки открыты».

Все попытки штурмана закрыть их оставались безуспешными: по-видимому, где-то замкнулась цепь.

По времени фронт должен был вот-вот кончиться. Оставалось протянуть совсем немного. И многострадальная «двойка» тянула. На минимально допустимой скорости, с ревушими на полном газу двигателями, ошестинившись не ко времени вылезшими створками мотора и торчащими вокруг развернутого брюха люками, то зарываясь в беспокойные облачные верхушки, то натужно выползая из них, но тянула! Мы с Аржановым сидели в каких-то странных, непривычных позах — до отказа отклонив педали и вывернув штурвалы — и ждали, когда можно будет наконец снижаться. Казалось, не машина везет нас в небе, а мы сами, мышцами собственных рук, удерживаем ее от того, что ей, по сугубому неразумию, так хочется сделать: провалиться в глубь облаков, в разрушительную болтанку, обледенение, электрические разряды.

Верхняя крошка облачности, будто отчаявшись проглотить нас, стала полого уходить вниз в тот самый момент, когда стало ясно, что боль-

ше держать высоту невозможно. Впрочем, это ощущение обманчиво: если бы фронт начал таять на десять, двадцать, пятьдесят, сто километров дальше, будьте спокойны, прошли бы и эти километры, не снижаясь!

Но так или иначе облачность — спасибо ей! — стала наконец уходить из-под нас вниз: полоса фронта кончалась. Мы прибрали газ и покатались вниз, как на салазках, с огромной, десятикилометровой невидимой горы.

* * *

Снова мы — в который раз в этот день — на заданной высоте и заданной скорости полета. Продолжаем безуспешные попытки закрыть створки мотора и люков. Бортовой электрик Лосев выдвигает предложение:

— Командир! Давайте я пролезу в бомбовый отсек и посмотрю, может быть, там, в концевых выключателях, заедание...

Подумав немного, я спросил:

— У вас там есть, чем привязаться? Какой-нибудь трос или веревка?

— Есть, командир, здоровенный канат.

— Ну, ладно. Разгерметизируем машину, откройте выход из своей кабины в бомбовый люк, не снимая — смотрите! — парашюта, обвяжитесь канатом и лезьте потихоньку. Кормовому механику обкрутить веревку вокруг стойки и все время выбирать слабинку.

И молодец электрик, обвязавшись канатом, полез в открытый бомбовый отсек. Представьте себе, что это означает: отсек величиной с добрую комнату отличается от нее прежде всего тем, что... не имеет пола! Точнее, его «пол» сейчас, разделившись на две половины, весь раскрылся наружу. Под ногами у человека, медленно пробирающегося лицом к стенке по оставшемуся узкому карнизу, — многокилометровая пустота, за которой где-то глубоко внизу в полупрозрачной дымке лежит земля. Идти трудно — бушующий воздушный вихрь норовит оторвать человека от мелких речек, уголков и вырезов в конструкции, за которые он цепляется. Тянет назад тяжелый парашют; хорошо, конечно, что он есть, но все равно сорваться и полететь вниз очень не хочется! Одно дело тренировочный прыжок. Там заранее настраиваешься на него, да и парашютов два: основной и запасной, и совсем другое дело сейчас!

Наконец концевые выключатели осмотрены и... найдены в полной исправности. Причина не в них.

Она выяснилась лишь после посадки, эта причина.

Буквально накануне вылета нам на корабль посадили «варяга» — специалиста по радиолокации. Поначалу я инстинктивно воспротивился: любые изменения в составе экипажа перед ответственным полетом воспринимаются летчиками без особого восторга. Но эта первая и, как показало дальнейшее, вполне правильная реакция оказалась недостаточно стойкой.

Меня убедили.

Мне сказали, что оператор радиолокационной установки — большой специалист своего дела и будет очень полезен в дальнем перелете; к тому же он будет смирно сидеть в своем отсеке и ничего, кроме специальной радиолокационной аппаратуры, не касаться. Возражать было трудно, да и попросту не было времени — повторяю: до вылета оставалась одна ночь. И я упустил из виду, что в отсеке, о котором шла речь, среди десятков кнопок и тумблеров есть один — один! — имеющий отношение не только к локационной аппаратуре.

Это был, как, наверное, уже догадался читатель, тумблер открытия люков бомбового отсека!

Непривычный к длительным полетам, тем более в атмосфере, временами очень беспокойной, оператор чувствовал себя далеко не блестяще. И, выворачиваясь наизнанку в своей тесной, темной камерке, сам не заметил, как задел злосчастный тумблер...

Сколько уроков получил я сразу!

Надо быть непробиваемо неуступчивым, во всяком случае во всем, что касается полетов.

Надо тщательнейшим образом инструктировать и готовить к выполнению задания каждого члена экипажа в отдельности, ибо никогда невозможно переоценить, сколько может напортить в полете один-единственный человек, даже при безукоризненной работе всего остального экипажа.

Надо детально знать не только свое рабочее место, но и рабочие места всех своих спутников.

Надо активно интересоваться их самочувствием, не дожидаясь собственных признаний «страдающих».

Многое еще надо, чтобы быть настоящим, полноценным, безукоризненным командиром корабля...

Полет «четверки», совершенный в тот же самый день, прошел гораздо более удачно. И погода на восток от Москвы оказалась гораздо лучше, чем в южном направлении. И техника не преподнесла никаких казусов. Не мудрено, что и результаты полетов получились у нас разными.

— В сущности, ваш полет в некотором смысле очень полезен, — деликатно сказал мне Макс Аркадьевич Тайц, руководивший обработкой и анализом результатов прикидки дальности. — По нему мы можем судить, какова будет дальность ГУ-четвертого в самых что ни на есть неблагоприятных условиях. Хуже, чем у вас, они навряд ли у кого будут.

Мне очень хотелось этому верить. Иначе какой смысл было продолжать полет после того, как мы попали в интенсивное обледенение?

* * *

Через несколько дней после полета Москва — Крым — Москва программа испытаний «двойки» была закончена, и мы передали корабль — первым из всей опытной серии — в руки «заказчиков».

После прощального, довольно скромного (времена все-таки были еще «карточные») ужина весь освободившийся экипаж уехал к себе домой, на завод.

Весь, кроме командира.

Но в весьма непродолжительном времени и он последовал в том же направлении. Дело в том, что к моменту окончания испытаний «двойки» еще не сошел с заводских ступеней последний корабль опытной серии — «двадцатка». На нее-то я и был неожиданно назначен командиром, правда, в составе уже другого экипажа.

Душой этого экипажа был хорошо знакомый мне на земле и в воздухе человек — ведущий инженер Д. И. Кантор.

Он пришел в наш коллектив прямо с вузовской скамьи весной сорок первого года и за время войны вырос в одного из сильнейших специалистов своего дела. Особенно много и плодотворно поработал Давид Исаакович по летным испытаниям и доводкам воздушных винтов, в частности флюгерных, представлявших собой в то время крайне нужную нашей авиации новинку.

Как и положено новорожденным, поначалу флюгерные винты изрядно капризничали. Не раз бывало, что винт категорически не желал войти во флюгерное положение или, войдя, отказывался выйти из него.

Однажды — это было на двухмоторном самолете ИЛ-4 — мне вместе с Давидом Исааковичем довелось испытывать винт, который повел себя совсем уж неприличным образом: его лопасти стали в такое промежуточное положение, при котором и дать газ мотору было нельзя (для этого обороты винта оказались недостаточны), и продолжать без снижения полет на втором моторе тоже не получалось (для этого обороты были чрезмерны).

К тому же злодей винт давал такое сильное сопротивление, что не хватало никаких сил, чтобы удержать самолет от разворота. В воздухе, описывая плавную кривую для захода на вынужденную посадку, я с этим еще кое-как справлялся, до отказа накрутив триммер руля направления. Но перед посадкой триммер пришлось вернуть в нейтральное положение, иначе после уборки газа исправному мотору нас над самой землей столь же энергично бросило бы в разворот в обратную сторону, и тут уж аварии (на середине собственного аэродрома) было бы не избежать.

Мне ничего не оставалось, как только пойти по пути бессовестной эксплуатации ведущего инженера, на этот раз не как представителя «мозгового треста», а как обладателя грубой физической силы.

— Жми, Додик, на левую педаль как только можешь! — попросил я. И он нажал.

Это я почувствовал сразу по мгновенно уменьшившейся нагрузке на мою дрожащую от напряжения левую ногу. Посадка получилась удачная.

Знающий и с хорошо развитым здравым смыслом инженер, энергичный организатор, человек чрезвычайно высокой работоспособности — причем работоспособности легкой, веселой, абсолютно не «жертвенной», — Кантор был (и остался по сей день) желанным участником любой, самой сложной работы.

Не менее желанен он и в любой компании на отдыхе: живой, очень подвижный (несмотря на уже в те годы заметную полноту), признанный «лауреат» по любым танцам. Впрочем, вскоре Кантор стал настоящим, без кавычек, лауреатом за заслуги, как легко догадаться, отнюдь не хореографического плана.

В довершение всего Давид смолоду был сугубым, я бы сказал, каким-то «заразительным» оптимистом. В последующие годы это свойство, к сожалению, очень ему понадобилось...

Вторым летчиком на «двадцатку» был назначен один из первых наших реактивных, опытный боевой истребитель, Герой Советского Союза — ныне также и заслуженный летчик-испытатель СССР — Яков Ильич Верников. До того, как сесть за штурвал ТУ-четвертого, он успел поработать испытателем около трех лет, но на тяжелых многомоторных самолетах пока не летал. В этом смысле испытание «двадцатки» было для него чем-то вроде дебюта в новом амплуа. Впоследствии Верников — с легкой руки нашей «двадцатки» — стал одним из виднейших испытателей самолетов всех классов, в том числе и тяжелых, таких, как, например, турбовинтовой четырехдвигательный пассажирский корабль АН-10.

Часто приходится слышать, как про летчиков, даже летчиков-испытателей, говорят: это истребитель, а это бомбардировщик.

По моему глубокому убеждению, такая классификация весьма условна и во всяком случае очень не стабильна.

Есть, конечно, почти у каждого летчика свои личные симпатии к маленьким или, наоборот, большим самолетам. Но одно дело любить, а другое — уметь. Люби, что хочешь, но уметь летать на любом лета-

тельным аппарате — самолете, вертолете, планере — настоящий испытатель обязан.

Нашей компании «доморощенных» летчиков ЦАГИ еще Иван Фролович Козлов — спасибо ему и за это! — с первых шагов самостоятельной испытательской деятельности упорно прививал универсализм. Помню, как одно время я по его заданию вел параллельно две работы: одну на миниатюрном, как «на шиле» вертком, пилотажно-тренировочном одноместном УТ-1, а вторую — на огромном, тяжелом, четырехмоторном бомбардировщике ТБ-3. Бывали дни, когда приходилось летать «вперекидку», пересаживаясь с одного из этих самолетов на другой и обратно. После этого едва ли не любая машина, попадавшая мне в руки, оказывалась где-то «в вилке» между прочно освоенными УТ-1 и ТБ-3.

Может возникнуть вопрос: а нужна ли подобная универсальность? Не будет ли проще, дешевле, наконец надежнее готовить летчиков под летательные аппараты определенного класса, не затрачивая времени, средств и энергии на освоение всего, что этому классу не присуще?

Нет, в испытательном деле без универсальности не обойтись! Не зря считается она одним из важнейших элементов летной культуры испытателя.

Большая часть виднейших наших испытателей — универсалы.

Многие из них, получившие широкую известность как испытатели тяжелых кораблей, начинали с истребителей. Таковы В. К. Коккинаки, Я. И. Верников, А. П. Якимов.

Реже случается обратное. Но все же случается. Когда в наш институт пришел военный летчик-бомбардировщик П. Ф. Муштаев, он сразу заявил о своем желании летать «на всем», в том числе и на истребителях. Начальство отнеслось к этому скептически:

— Что ты, Павел Фомич! Тебе и годков ближе к сорока, чем к тридцати, да и комплекцией бог не обидел; поздновато вроде на истребители...

Так и не дали. И, как показало дальнейшее, не дали напрасно.

Вернувшись в самом начале войны в строй, Муштаев умолчал о том, что на истребителях в жизни не летал, и получил назначение... командиром вновь формируемого истребительного авиационного полка.

Он прошел всю войну во главе этого полка, уверенно летая на своем Яке, в чем могли убедиться все его однополчане, а также многие вражеские летчики, особенно те восемь, которых он сбил лично, не считая уничтоженных в групповых боях. Вот тебе и «поздно на истребителях»...

Нет, что ни говорите, а настоящий летчик-испытатель должен уметь летать на всем!

* * *

И вот я снова на том же заводе, на котором около года назад готовился к вылету на ТУ-4 № 002.

Все знакомое, но в то же время новое.

Новое прежде всего тем, что у меня здесь теперь есть не только коллег или знакомые, но и настоящие друзья, с которыми нас связывает сделанная вместе большая работа: многие часы, проведенные в воздухе на борту «двойки», и — особенно! — некоторые «штучные» минуты из этих часов. Такие вещи забываются не скоро.

Теперь я на заводе «свой».

Впрочем, этим не ограничивается новое. Сама по себе «двадцатка» во многом отличается от «двойки»: у нее легче управление, меньше искажают стекла кабины, на ней установлена наконец противообледенительная система (нам бы эту систему во время перелета в Крым). За прошедший год завод явно времени зря не терял!

И вот мы в воздухе на новом корабле — ТУ-4 № 020.

Большими кругами ходим над заводским аэродромом. Пробуем машину на разных режимах. Так проходит полчаса.

— Ну, что же, вроде все нормально. Будем садиться?

Но стоило кому-то произнести эту фразу, как немедленно, будто в ответ на нее, раздался голос бортинженера:

— Падает давление масла на входе в третий мотор.

С давлением масла шутить нельзя. Так недолго вывести двигатель из строя, и хорошо еще, если дело обойдется без пожара. Ничего не остается, как убрать провинившемуся мотору газ и нажать кнопку флюгирования его винта.

Посадка на ТУ-4 с одним неработающим двигателем — дело сравнительно нехитрое. Не она нас беспокоит. Досадно другое: мы собирались завтра с утра сходить во второй, более продолжительный, контрольный полет, а вечером — перелететь домой, в Москву, ибо, как известно, в гостях хорошо, а дома лучше. А теперь разбирайся, что там с этим маслом стряслось!

Зарулив на стоянку, экипаж не разошелся, как обычно, заполнять документацию, сдавать радиоданные, смотреть расшифровку записей самописцев, а остался в полном составе у корабля, широким полукругом обступив взятый под подозрение мотор. Механики то запускали его, то выключали снова, но сколько они ни повторяли это, все было напрасно: дефект исчез. Таинственно, загадочно исчез, будто его и не было.

На наш вопрос: «Ну, как дела?» — вылезший наконец из кабины бортинженер мрачно ответил:

— Мотор — как часы! Давление — как штык!

Понимать это следовало в том смысле, что мотор работает исправно и давление масла устойчиво держится в пределах нормы. А мрачный тон, которым бортинженер сообщил нам эти, казалось бы, приятные факты, тоже объяснялся просто: нет ничего хуже невыявленного, то возникающего, то без всяких видимых причин исчезающего дефекта.

И действительно, в следующем, втором полете давление масла в третьем моторе вновь упало.

Снова посадка с одним зафлюгированным винтом, снова бесконечные гонки мотора на земле, замена масляного манометра на новый (вдруг дело в самом приборе) — и, несмотря на все это, в следующем полете вся картина повторяется снова!

Только после четвертого полета причину удалось раскрыть: в магистрали между мотором и прибором притаилась воздушная пробка. Вот как иногда самая ерундовая вещь может стать камнем преткновения в полете!

Правда, в оправдание «двадцатки» нужно сказать, что в дальнейшем она поводов жаловаться на себя больше не давала. Испытания ее прошли быстро и без происшествий.

В середине программы у нас сменился второй летчик: Верников быстро освоился с пилотажными особенностями нашего корабля, привык работать в составе большого экипажа и по праву занял место командира на другой машине того же типа.

Вместо него вторым пилотом на «двадцатке» стал летать летчик-испытатель Игорь Владимирович Эйнис — тоже, как большинство из нас, «доморощенный», но уже формации военных лет. Впоследствии он вырос в высококвалифицированного, опытного летчика, особенно много потрудившегося в области испытаний авиационной электронной аппаратуры на самолетах всех существующих классов и назначений. Но во времена, о которых идет речь, полеты в составе нашего экипажа оказались и для него первой школой испытания тяжелых кораблей.

* * *

Продолжавшаяся добрых два года «эпопея» испытаний ТУ-4 приближалась к концу. Я занимался чем-то за столом в комнате летчиков, когда из динамика, связывающего ее с диспетчерской, раздалась команда:

— Всех летчиков, летающих на ТУ-четвертых, немедленно к начальнику летной части!

Таковых на месте оказалось всего двое — В. П. Марунов и я. Прибежав к начальнику летной части Д. С. Зосиму, мы услышали малоприятную новость: на корабле нашего товарища Рафаила Ивановича Капрэляна не выпускалась левая нога шасси.

Р. И. Капрэлян пришел к нам уже в послевоенные годы, имея за плечами большую, интересную, временами очень нелегкую биографию. Окончив в начале тридцатых годов Институт инженеров гражданского воздушного флота в Ленинграде и школу пилотов, он стал одним из первых в нашей стране инженеров-летчиков. Я был аэроклубным планеристом и парашютистом, только мечтающим о настоящей Большой авиации, когда прочитал в газетах о перелете Москва — Ташкент, который Капрэлян выполнил на ХАИ-1 — первом отечественном пассажирском самолете с убирающимся шасси.

Начавшаяся война застала Рафаила Ивановича в Москве одним из известных кадровых пилотов гражданской авиации.

И воевать он начал не на истребителе, не на бомбардировщике и не на штурмовике, а на сравнительно тихоходном, мирном ЛИ-2, отличавшемся от своих пассажирских собратьев только тем, что в его кабине отсутствовали кресла, мягкая обивка стен, буфет — словом, все атрибуты пассажирского летательного аппарата. Их место занимали дополнительные баки с горючим. Такой ЛИ-2 мог лететь чуть ли не в два раза больше и дальше, чем до своей «мобилизации» на военную службу.

Наверное, все читатели этих записок видели кинофильм «Подвиг разведчика». Известно, что его содержание построено на действительных событиях. Трудно найти слова, чтобы в полной мере оценить мужество, самообладание, профессиональную выучку наших разведчиков.

Но стоит при этом подумать и о тех, кто доставлял разведчиков к месту назначения. Доставлял темной ночью, с весьма неточной информацией о ждущей впереди погоде, при бездействующих средствах радионавигации, через линию фронта и многие сотни километров над занятой противником затемненной территорией.

Одним из первых, если не первым, кому довелось вести эту нелегкую боевую работу, был Капрэлян.

Помните первую военную новогоднюю ночь? Всего шесть месяцев войны оставалось тогда позади, и трудно было всерьез поверить, что «еще через несколько месяцев, полгода, годик, наконец, фашистская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений». Фактами во всяком случае подобные надежды никак не подкреплялись. Наступление фашистов на Москву, правда, было уже отбито, но они оставались еще очень близко от нашей столицы — и Смоленск, и Гжатск, и даже Вязьма были в их руках. Война пришла в Подмоскowie, к окраинам Ленинграда, на Украину, в Крым, в Донбасс. Бесконечно далеким, абстрактным, скорее злым символом, чем конкретным географическим пунктом представлялось нам тогда «логово врага» — Берлин.

Всем, но не Капрэлян.

Именно туда — в предместья Берлина и Вены — доставил он своих очередных «пассажиров» в первые же ночи только что наступившего сорок второго года.

Территория третьего рейха, да и вся оккупированная Европа быстро превратились для Капрэляна в поле текущей боевой работы, к которому он соответственен и стал относиться с хозяйской деловитостью.

Из рассказов Капрэляна, неизменно, по ряду причин, очень сдержанных, следовало, что летать ночью в глубоком тылу противника не так уж сложно. Надо только преодолеть линию фронта и сравнительно узкую полосу прифронтовых тылов, где полно зениток и патрулирующих истребителей. А дальше летай себе свободно с зажженными бортовыми огнями по всей Европе — и в жизни никто тебя не собьет.

И его действительно не сбили.

Он упал сам.

Упал, попав на обратном пути после очередного дальнего рейда в обледенение, не предусмотренное метеосводкой, и настолько интенсивное, что выйти из него ни вверх, ни вниз не удавалось. Оставалось лететь, стиснув зубы, пока закованная в тяжелую ледяную броню машина не потеряла окончательно скорость и не сорвалась в беспорядочное падение в черную пустоту, за которой лежала твердая, враждебная сейчас земля.

Очнулся тяжело раненный лётчик в плену.

В плену Капрэляном интересовались. С ним «разговаривало» — с применением полной гаммы средств убеждения — немало колоритных личностей. вроде свободно владеющего русским языком подполковника разведки, в котором Капрэлян с удивлением узнал «старого знакомого» — продавца газированной воды в одном из крупнейших советских аэропортов.

Используя первую же представившуюся возможность, Капрэлян бежал. Но бежал неудачно: его поймали и, не вступая ни в какие объяснения, заперли в камеру смертников. Каждую среду и пятницу ровно в одиннадцать часов — дело велось аккуратно! — из этой камеры брали несколько человек и тут же, на расстоянии буквально нескольких шагов, расстреливали. Через невысокий забор было отлично видно, как это происходило.

Через двадцать два дня и двадцать две ночи Капрэляну сказали:

— Три недели ты ждал смерти. Это наказание за побег. Если попытаешься бежать еще раз — расстреляем сразу же. Понял?

Капрэлян понял. И при первой же возможности бежал снова.

Эта первая возможность представилась, когда из лагеря отправили на запад эшелон пленных — штрафников. На груди и спине каждого из них желтой краской была написана большая, бросающаяся в глаза буква «S» (от слова «sträng» — строгий). Когда людей загоняли в теплушки, Капрэлян обратил внимание, что на каждом вагоне мелом написан пункт назначения эшелона — Освенцим. Он тогда не знал, что это значит. Печи освенцимского лагерного крематория еще не получили в то время своей мрачной всемирной известности.

Но все равно, знай даже Капрэлян, что ожидает его и его товарищей, он не мог бы действовать энергичнее. Выбранный командиром группы, он улучил подходящий момент, выломал ночью доску в стене вагона рядом с забором, размотал контрившую забор проволоку и открыл дверь теплушки.

Тридцать три пленника (из них двадцать девять лётчиков) на полном ходу поезда один за другим попрыгали в темноту. Удар о насыпь, по которой его по инерции проволочило вперед, мелькающие над головой оси, напряженное ожидание — и полная тишина.

Впрочем, тишина ему только почудилась в первый момент — по контрасту с грохотом прошедшего поезда. Как только вернулось обычное восприятие звуков, до слуха лётчика сразу донеслись скрежет

тормозов, крики, выстрелы — побег обнаружили. Но Рафаил Иванович и его товарищи были в это время уже на полдороге к густому лесу, начинавшемуся в нескольких стах метрах от железнодорожного полотна.

На Большую землю он вернулся с помощью летчика Еромасова, специально прилетевшего за ним на партизанскую посадочную площадку в восьмистах километрах от линии фронта. Но на этом история не закончилась. Неожиданно начался, так сказать, второй ее тур. Долго и трудно рассказывать, сколько горького и незаслуженно обидного пришлось выслушать Капрэляну, сколько глухих, бессмысленных барьеров преодолеть, сколько сил и нервов потратить, пока он добился права воевать и получил новое боевое назначение. Но в конце концов он получил его. И до последних дней войны успешно командовал авиационным бомбардировочным полком.

Сейчас, когда пишутся эти строки, заслуженный летчик-испытатель СССР Рафаил Иванович Капрэлян — один из виднейших советских испытателей винтокрылых летательных аппаратов — вертолетов. Едва ли не все новые вертолеты, созданные за последние годы конструкторским бюро, которым руководит М. Л. Миль, были испытаны Капрэляном. Немало заполнено им граф и в таблице мировых вертолетных рекордов. Об этом этапе биографии Рафаила Ивановича можно тоже рассказать немало интересного. Но он — этот этап — относится к временам более поздним.

А в тот день, когда нас с Маруновым срочно вытащили как консультантов к начальнику летной части, Капрэлян ходил большими кругами над аэродромом и пытался выпустить шасси: выпуск, пауза для охлаждения электромоторов, уборка, снова пауза, снова выпуск... Сколько, однако, он ни повторял эти попытки, результат был один: носовая и правая стойки послушно выполняли волю летчика, а левая упорно оставалась неподвижной в своем закрытом створками гнезде.

На истребителе можно было бы попробовать энергично попилотировать — авось от перегрузок заевшая стойка «вытряхнется» (такой способ в свое время успешно применил Чкалов, испытывая истребитель И-16). Но на ТУ-4 ни о каком пилотаже, конечно, не могло быть и речи.

Оставалось решить одно: как поступать с исправными стойками шасси — передней и правой. Убрать их тоже и садиться «на брюхо», как это сделал на горящей «тройке» Васильченко, или выпустить и попробовать пристроить корабль на носовое и правое колеса? В первом случае риск для здоровья и жизни экипажа меньше, но машина будет потеряна наверняка — ее довольно «хлипкий» фюзеляж деформируется так, что отремонтировать его безусловно не удастся; после вынужденной посадки «тройки» сомнений в этом ни у кого не оставалось. А при удачной посадке на одно основное колесо фюзеляж, возможно (наверное никто сказать не мог: опыта подобных посадок на ТУ-4 еще не было), останется цел, но как обернется эта попытка для экипажа — неизвестно.

В конце концов весь наш наземный синклит единодушно пришел к единственно возможному в подобных случаях заключению: предоставить дело на усмотрение летчика. Ему, мол, «сверху видно все» — пусть и решает!

Теперь такой подход, по крайней мере применительно к летчикам-испытателям, узаконен. С земли можно (и даже нужно) давать на борт исчерпывающую информацию, можно что-то советовать, но окончательное решение во всех нестандартных ситуациях должен принимать летчик. Ему действительно виднее. И настоящий испытатель никогда не убоится этого.

Не убоится, конечно, и Капрэлян. Его решение было уже готово:

— Буду садиться на правое и носовое... Только сначала еще похожу, выжгу горячее.

Это правильно: меньше горючего — меньше вес корабля, меньше и его посадочная скорость. Да и опасность пожара в случае неудачного исхода столь рискованной посадки тоже меньше.

Проходит полчаса, час. Это тоже нагрузка на психику экипажа, да и — чего греха таить — всех нас! Человек устроен так, что, решившись на что-то небезопасное, склонен осуществлять задуманное, по возможности, не откладывая. А здесь Каприэлян сознательно откладывал выяснение весьма небезынттересного для него вопроса — удастся или не удастся? — ради того, чтобы повысить шансы на «удастся»...

Старт убран. Шахматно-клетчатая будка руководителя полетов, дежурная полуторка и санитарная машина — все отогнаны на полкилометра в сторону от посадочной полосы. При приземлении корабль почти наверное развернет, и, если все стартовое хозяйство будет на своем обычном месте, может быть наломано немало дров!

У начала полосы, там, где ожидается первое касание машины, стоит маленькая группа людей: Зосим, Марунов и я. Тут же дежурный руководитель полетов с выносным микрофоном стартовой радиостанции в руках.

Капрэлян издалека, строго по прямой, заходит на посадку. Его поло го снижающаяся машина выглядит с носа как-то странно: невыпущенная левая нога нарушает привычную симметрию очертаний самолета.

Я чувствую какое-то непривычное неудобство под курткой и неожиданно обнаруживаю, что это колотится мое собственное, недостаточно дисциплинированное сердце. Мне почти не приходилось до этого смотреть со стороны, как летчик выкручивается из сложного положения. Оказывается, это довольно страшно. Во всяком случае гораздо хуже, чем выкручиваться самому.

Перед самой землей Капрэлян четким, точно дозированным движением накреняет машину в сторону исправной правой тележки шасси и мягко касается ею бетона. Сразу после касания он опускает носовое колесо, и самолет прокатывается мимо нас будто на огромном, странном, каком-то косом велосипеде. По положению элеронов видно, что летчик изо всех сил борется с креном влево, где корабль не поддерживает ничто, кроме угасающей с каждой секундой подъемной силы крыла. Несколько секунд это удастся, но затем левое крыло начинает неотвратно опускаться вниз. Как ножом отрезает шум моторов — они выключены, и выключены вовремя: первый — крайний левый — винт уже задевает землю и, смятая лепестки лопастей, погнутый и искореженный, замирает в неподвижности.

Машина чертит концом левого крыла по земле, описывает плавную дугу и, развернувшись без малого на девяносто градусов, останавливается. Медленно оседает пыль. Со всех сторон к лежащему на боку самолету бежит множество людей. Оказывается, они были все-таки гораздо ближе к полосе, чем было строго-настро го приказано, и, конечно, упрекать их за это не приходится: а вдруг пришлось бы вытаскивать экипаж из загоревшегося корабля? Но сейчас, к всеобщему удвол ьствию, тащить летчика из кабины придется для иной, гораздо более приятной цели — Капрэляна качают.

И качают за дело. Все было выполнено не только ловко, но и очень расчетливо. И штурман, оказывается, был своевременно переправлен со своего опасного при подобной посадке места в носу самолета назад, в центральную кабину. И горючее из левых крыльевых баков перекачано в правые, благодаря чему центр тяжести самолета немного сместился в сторону исправной стойки шасси. В общем, все было сделано «по-испытательски», как надо!

В результате повреждения самолет получил минимальные: пришлось заменить один винт да концевую часть левого крыла — и машина могла летать снова...

* * *

Посадка Капрэляна случилась уже «под занавес».

Испытания ТУ-четвертых заканчивались. Один за другим огромные корабли покидали наш аэродром, делали круг над ним и, покачивая приветственно крыльями, уходили на свое постоянное место службы.

Длинная стоянка, выделенная для них, пустела.

Заканчивалось оформление отчетов, инструкций, методических указаний. Я засел даже за книжку о пилотажных и аэродинамических особенностях нового корабля, надеясь, что она хотя бы немного поможет нашим товарищам — летчикам строевых частей Дальней авиации — в освоении ТУ-четвертого.

За плечами остался еще один немалый кусок наших летных биографий.

Спасибо ТУ-четвертым. Они многому научили нас.

(Окончание следует)



КАРЛО КАЛАДЗЕ

★

А ПРОМЕТЕЙ, СЫН НАШИХ ГОР...

С грузинского

Совсем не ожидал, что здесь
Откроется мне сонм чудес.
Взошел на горный перевал
И на небе заночевал.

Пересекая девять гор,
Светило опускало взор,
И, осветивши девять рек,
Ушло светило на ночлег.

Остались облаков клочки...
И вот уж на небе — ни зги.
И там, за непроглядной мглой,
Мир непонятный, мир ивой.

Осанистость в природе гор.
На землю обращаю взор:
О, как внизу искрится жизнь!
Не скажешь ей: «Угомонись!»

А что такое ночь? Лишь миг
Неведенья очей моих.
А день? Лишь мимолетный взгляд!
И днем он назван не попад.

Я чистым сердцем был ведом
И у Куры построил дом.
Парят над крышею моей
Любовь и доброта людей.

Люблю Куру. Ее полет
В душе моей всегда живет.
И все ж, друзья, клянусь душой,
Кура нам не была межой.

Пестреют доли. как ковры,
И радио гремит с горы.

А если вдруг оно сейчас
О спутнике начнет рассказ?!

Так устремляй свой взгляд в зенит,
Гляди, как по небу летит
Мечта! Недаром в небеса
Полсотни лет глядят глаза.

О вы, читатели мои,
Летающие вокруг земли
Путем космических ракет!
Вы свет! Вы обогнали свет!

Что темень? Крылья воронья.
Нет, тьма не украдет огня.
А Прометей, сын наших гор,
Забрав огонь, зажег костер.

Так устремляйся, друг мой, ввысь
И бурь небесных не страшись.
Но, завершая звездный путь,
Мою Куру не позабудь!

Взгляни, как полны искр живых
Ресницы вечеров моих.
И в дом вношу я свет мечты,
А не тревогу суеты.

Перевел **Вл. Корнилов.**

Ночь во время сбора винограда

О, время сбора винограда!
Соседу помогать — отрада.
И сок, урчащий непокорно,
В глубокий чан вливать по горло.

И ночь сама навеселе,
Когда поют в любом селе.
Как брызги виноградин,
те мгновенья —
Губ и кувшинов соприкосновенья!

И запахи вина во тьме, как в чане,
И в голове гудит мачари,
Когда бредешь один домой
И дерево из тьмы шуршит листвою.

А ветерок, твой добрый провожатый,
Куда-то тянет за рукав помятый,
Хоть сам в ветвях запутался давно,
А ты рукой махнул, тебе смешно...

Перевела **Э. Котляр.**

Фреска

Мне этот миг запомнился недаром —
Ресницы и глаза на камне сером.

Как он писал, художник тот влюбленный,
Ресницы — миг, навек запечатленный?

Как он писал, как мучился и правил?
Как звался он? Где имя? Не оставил!

Кто нам о нем расскажет в наши годы?
Глухи и немые храмовые своды.

Он верил? Не постигнуть никогда мне.
Лишь взмах ресниц, лишь миг ресниц на камне.

Лишь знаю — кисть держал, когда трудился,
В тех пальцах он, которыми крестился.

Лишь знаю — сердце жгут ресницы эти
И в дни, когда
Уж нет его на свете.

О пальцы, пальцы! Кланяюсь их силе.
Они бессмертьем плиты озарили.

А как он жил, в тени иль в вихре блеска...
Не знаю. Все прошло. Осталась фреска.

Перевел Вл. Соколов.

Осень

Так вот она какая — осень!
Я слушаю ее многоголосье.
В саду я слышу под ногою
Стеблей шуршание глухое.

И липы сладкая пыльца
Коснулась моего лица,
И обозначилась невинно
Опавшей розы сердцевина.

А ты, мой добрый виноградник,
Уже затих уборки праздник,
И кистью сочною, сквозной
Ты не поделишься со мной?

И только цитрусы в саду
Еще остались на виду,
Да хвой зеленеет ряд,
Да тополя так медленно горят.

О милая, тебя ишу в саду,
 Как сон мой сбившийся, тебя найду!
 Такой задумчивый ты любишь день,
 Когда идет за солнцем тень.

И платьем шелестящим по траве,
 О, сколько струн ты бередишь во мне!
 Плынешь, скользишь, куда-то глядя вдаль...
 Ах, радость ты моя! Какая ты печаль!

Клянусь тебе, что каждое мгновенье
 Ловлю я сердца твоего биенье.
 А стебли под ногой шуршат слегка.
 Идешь издалека — издалека,

Страницу в книге заложив сухим листом,
 С таким задумчивым лицом.
 Все хорошо, все хорошо, так надо,
 Во всем дыханье осени и сада.

Перевела Э. Котляр.

Зимняя ночь в деревне

Опять зима, опять село,
 Опять работа до рассвета,
 А нам у очага светло,
 Не прерывается беседа.

А кукуруза в подолах
 Переливается, как четки.
 У юношей задор в глазах,
 И улыбаются девчонки.

А юноша в углу — весь бел —
 Взбивает снежно-белый хлопок.
 Он важен, будто мудр и смел
 И тыщу разгадал уловок.

«Обшарил, — говорит, — леса,
 А гор облазил — целых девять!»
 Но тут, смеясь ему в глаза,
 Сосед спросил: «А что там делать?»

Чего зашел так далеко?
 Там души гнезда вьют, как птицы!» —
 «А любопытство завлекло —
 Хотел бессмертия напиться!» —

«А много выпил?» —
 «Так, слегка...
 На сотню лет запас здоровья!»
 И тут брехун сел на конька
 И больше не свернет с дороги...

«Я помнил,— говорит,— про вас,
Я доверху кувшин наполнил,
Но, как назло мне, день угас
И сразу окружила полночь.

Под гору повела тропа
На Чертов мост. Собрался только
Ступать на мост — да не судьба!..
Сюда донес одни осколки».

И вправду видим — черепки...
А в озорных глазах соседа
Лукавинки, как огоньки...
Не прерывается беседа.

«Тьма,— говорит,— была. Глаза
От темноты такой болели.
Три залпа дал я в небеса,
Следы от пуль видны доселе.

От этих трех веселых звезд
Светлее стало человеку...
Но тут родник в ущелье сполз
И влился, закрутившись, в реку.

Теперь светил мне столб огня,
Спешил я к морю по ущелью,
Кричал, но волны от меня
Бежали — точно ошалели!» —

«Потом?» —
«Потом я их догнал.
Сидел, погоды ждал у скал.
Устали ноги и ослабли,
А влаги — не было ни капли!..» —

«Да, где он не был, парень наш!»
И все кругом повеселели.
И вот кончается шабаш
Бессонной зимней канители.

Умолкла сказка и в углу
С веселием сидит бок о бок,
А палка, согнутая в лук,
Усердно разматывает хлопок.

Летают пальцы, как вдоль струн,
Разматывают снег, как повесть.
Небритый трудится брехун,
Работает, как врет,— на совесть!

И хлопок падает, как снег,
И целый мир засыплет скоро.
И за окошком в белизне
Сверкают хлопковые горы.

Перевел Вл. Корнилов.

* * *

О, дня сиянье голубое,
Не уходи из рук моих!
Но есть тбилисское ночное
Огней горение такое,
Как будто разжиганье искр!

Кто горы очертить сумел бы,
Зигзагами разрезать тьму?
Вершины кто отметил мелом
По горизонту по всему?!

И высоко в моем окне
Видны Тбилиси и Мтацминда,
С безмолвием наедине
Огни, сияющие мирно.

И разве это фантастично,
Что посылает свет во тьму
Сиянья своего частицу —
Мой город — сердцу моему?

Как будто любящие очи,
Как будто самый верный друг
Пришел ко мне глубокой ночью
И осветил мне все вокруг.

Перевела Э. Котляр.



ЮРИЙ СМИРНОВ

★

ИЗ ПЕРВЫХ СТИХОВ

Коломенское

Колелясь в синеве нагретой,
Такой прозрачной по утрам,
Многоступенчатой ракетой
Уходит в небо древний храм.

Нет триумфальнее итога,
Чем мастеров его судьба:
Увековечивали бога —
Увековечили себя.

Звезды

В полынье ночного неба
Звезд не часто.
Опустил рога троллейбус.
Спит начальство.

Спит пожарная охрана,
Сдав техминимум.
Князь Пожарский спит у храма
Рядом с Мининым.

Звезды светятся не часто —
Всех не видно.
За невидимых отчасти
Мне обидно.

Очень стоящие звезды
Есть меж ними.
Это мы не знаем просто
Их по имени.

* * *

Не каркай, ворона, не каркай...
 Мне рано еще умирать.
 Я ночью уйду с санитаркой
 В зеленую рощу гулять.

Забуду палату большую
 И двери несмазанной визг.
 Забуду, что в гипсе лежу я,
 Как временный обелиск.

Я встану.
 Воспряну.
 Воздух глотну, как вино...
 Забуду — что больше не встану.
 Забуду — что умер давно.

* * *

Я изучаю микромир.
 Я постигаю макромир.
 Я надеваю полимер
 И оступаюсь в мокрый мир.

И хлещут ветки по лицу.
 Взывает лес к покою дач.
 Я попадаю в полосу
 Моих зеленых неудач.

У станционного буфета,
 Где пьют перцовку под боржом,
 «Канадский бобрик» и «бабетта»
 Стоят и мокнут под дождем.

Их судят все, тем паче мамы.
 Концы сводящие с трудом.
 Им непонятней панчен-ламы
 Вот эти двое под дождем...

* * *

Видать, сегодня подморозило.
 Я в воротник упрятал нос.
 Солдату что — он ест мороженое,
 Солдат сильнее, чем мороз.

Над ним сверхсрочники бывалые...
 Но вот воскресный культпоход.
 Солдата сладким редко балуют,
 А служба тоже ведь не мед.

У парня девичий румянец.
 Смотрю — и не спешу домой.

Вот он — вчерашний новобранец,
Сегодняшний защитник мой.

Не спят чужие генштабисты
(И им зарплата дорога).
Они планируют убийство
Потенциального врага.

У парня был всего полтинник,
А сколько интересных мест!
...Предполагаемый противник
Стоит, мороженое ест.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Я ЗНАЮ ЕЕ

Всё окна и окна. Они как соты:
В них свет вечерами, как в сотах мед.
Я вижу опять этот дом высотный,
Двадцатый этаж, где она живет.

Я вижу: глаза от работы устали.
Расчеты, колонками цифры идут.
До полночи — все о литье, о стали,
А в девять утра — институт.

Еще и сегодня тонка, большеглаза.
Под сорок, а всё не сложилась семья.
Я знаю ее, хоть не встретил ни разу:
Она — читательница моя.

Поди и сейчас — хоть склонилась в работе,
Он с ней,
Возле справочников сухих —
Голубенький, с веткой на переплете
Залистанный томик стихов моих.

Уж за полночь. Тихо. Она в постели.
Неясные шумы внизу далеки.
Уснула, и комнатой завладели
Звезды да сквозняки.

29 янв. 1963 г.



ХУАН ГОЙТИСОЛО

★

ЧАНКА

1

Нам, испанцам, тяжело без Испании. Несколько лет назад, еще студентом, я мечтал пересечь Пиренеи, поехать по Европе, оторваться от всего, что происходит на полуострове. Меня раздражало все испанское, я был сыт по горло. Я не сомневался, что за границей дышится легче. Хотелось забыть все поучения — лекции, проповеди, радио, газеты, — и Европа казалась мне противоядием, которое поможет мне стать самим собой.

Много ночей вынашивал я план бегства. Мне было двадцать лет, и я чувствовал себя чужаком в своей стране. Все твердили, что Испания — лучшая страна в мире, и потому мне казалось, что нет на свете страны хуже. Любая жизнь представлялась разумней той, какой жил я. Я перестал покупать газеты, не ходил на лекции, не слушал радио. Я жил сам по себе, мои соотечественники — сами по себе, ни в чем не пытался разобраться, ничего не хотел понять, я наглухо замкнулся.

И вот сбылись мои мечты, и тогда — постепенно, с трудом — я многое начал постигать. Прошли первые радостные и беспокойные месяцы, и образы всего, что я покинул, — земли, детства, друзей — стали проникать в мои сны с той же настойчивостью, с какой досаждали мне раньше планы побега. Я уже не вспоминал ни о лекциях, ни о проповедях, ни о радио и газетах. Все, что раздражало меня, сгладило расстояние, и я оживал потихоньку, словно больной после долгой, томительной болезни.

Каждое утро, проснувшись, я жадно проглядывал газету. Я научился схватывать все испанское с первого взгляда, и сердце билось сильнее, когда я читал: «Кордова», «Мадрид», «Барселона», «Астурия». В те дни, когда газеты молчали и под серым небом все было спокойно, какой-то голос терзал мою память — голос земли, голос детства, воспоминания о солнечном крае, об озлобленных людях — далекие, почти стершиеся образы, с малых лет волновавшие меня.

Этот голос властно звучал во мне, и казалось, что с ним возвращается мое детство. Я уже не чувствовал себя чужаком, изгоем. В детстве я жил под веселую, напевную музыку; затем, за одну ночь, музыка сменилась какофонией, словно кто-то исцарапал пластинку. Пришли годы ожидания, тревожных мечтаний, годы невесомости. И вдруг, когда я начал отчаиваться, послышались родные звуки, и теперь эта музыка сливалась с голосом моего народа, слилась с ним воедино, и вместе с детством я обрел тридцать миллионов братьев.

Эта музыка и этот голос побудили меня к путешествиям. Европа надоела мне, и я стал выезжать в городки Испании. Мне хотелось

узнать жизнь тех «миллионов людей без истории», о которых говорил нам Унамуно¹, тех, «кто встает вместе с солнцем и идет на поля про-должить свой тяжелый и безгласный повседневный труд».

Однако не всегда я мог путешествовать и часто довольствовался крохами. Иногда, выйдя размять ноги перед работой, я с грустью обнаруживал, что французы не понимают мою французскую речь. Мне становилось трудней дышать, я ничего не мог делать. Я вспоминал ужасный акцент изгнанников — тем ужаснее, чем дольше изгнание — и понимал, что оторванные от родины испанцы обособляются до смешного, потому что инстинктивно боятся ассимиляции. Часами, днями, годами приходилось выдерживать жизнь на чужбине, и, несмотря на это, платформы вокзалов были наводнены испанцами, полны были ночлежки, молчаливые женщины и мужчины стояли у контор по найму.

Я побывал везде: на вокзале Аустерлиц, когда приходит экспресс из Пор-Бу и десятки серолицых невысоких людей жадно ищут глазами хоть одного знакомого среди безучастной толпы; у метро Помп воскресным вечером я видел стайки женщин в черных платьях и переносился от ухоженных газонов Булонского леса на площадь испанского городка... Куда бы ни занесли меня скитания — во Францию, в Швейцарию, в Германию, в Бельгию, — я встречал их: штукатуров, шахтеров, служанок, проституток — и говорил с ними у оцинкованной стойки или за убогими столиками. Все искали здесь только работы, и никто не мыслил себе жизни без Испании. Мы всегда говорили об одном и том же и, помечтав, почертыхавшись, все так же хотели вернуться на родину.

Так — ненадолго — я знакомился с хмурыми испанцами, и они говорили со мной о Вильяльбе и Уэскаре, об Оканье и Санлукаре; нашу дружбу скрепляло вино (или плоское пиво), и всякий раз была с нами женщина, кормящая ребенка, или старуха, сморщенная, как сушеное яблоко, или рано состарившийся мужчина, который отчаянно и тщетно бился на родине за хлеб и свою семью, сражался за Испанию, а теперь бьется на чужбине, все еще тая надежду, а надежда смеется над ним.

В один из таких вечеров — помню, день был пасмурный, и туман чуть увлажнял улицу — зашел разговор об Альмерии; лицом к лицу за столом, покрытым клеенкой, над бутылками вина, колбасой, помидорами и перцем мы говорили о родине моего друга и о тех, кто там живет. Альмериец не был дома с самого конца войны². Если присмотреться, можно было угадать, что каждая морщина на его лице проложена днем безнадежного ожидания. Усталость постепенно наложила на него свой отпечаток, но глаза блестели по-прежнему. Не могу забыть его сухой лоб, дружеское прикосновение его руки. В баре горел неоновый свет, кто-то прилепил к зеркалу этикетки вина «сюз». После первой бутылки мы с Виторино почувствовали себя заброшенными и одинокими, как в катакомбах.

В свое время Виторино любил поговорить о бесправии и нищете и о тройном урожае, который собирает смерть на землях Альмерии. Он был из тех, кто взял винтовку и пошел воевать, чтобы уничтожить несправедливость. Но прошло двадцать лет — и теперь он об этом не говорит. Он просто хочет узнать, цветут ли апельсины в Бенадусе, зреет ли виноград в Канхайре, печет ли солнце? Я говорю «да», и он смотрит на меня влажными глазами. Вино и воспоминания сроднили нас, мы говорим о скалистых пустошах Тавернаса, о белой земле Хергала, о бесконечных полях Улейлы.

¹ Унамуно Мигель — выдающийся испанский писатель и философ.

² Здесь и дальше имеется в виду гражданская война в Испании 1936—1939 годов.

— У меня там родня,— сказал он.— Брат двоюродный, рыбак. Помоложе меня. Его Картахенцем прозвали. Будете в Чанке, навестите его, скажете — от меня. Моя жена письмецо от него получила, давно уже. Мы ответили, а от него ответа нет. Я-то его не видел с той поры, как пришлось перейти границу...

Я обещал ему выполнить просьбу; и на следующее утро — снова был пасмурный день, и газеты молчали,— шаря по карманам, я нашел карточку Виторино Роа Кабреры, на которой грубым неуверенным почерком было выведено: «Антонио Роа, Картахенец, Чанка». Я еще не пришел в себя от вчерашнего вина и сунул карточку в письменный стол, где лежали конверты и бумага.

Несколько месяцев шел дождь и молчали газеты, и в один прекрасный день, когда ни консьержка, ни официант, ни газетчица не поняли моей французской речи, я вспомнил Альмерию и поймал себя на том, что беседую сам с собой посреди улицы. Как и мой приятель — только куда скорей,— я забыл о голоде, бесправии и нищете и увидел палящее солнце, каменистые земли, солнечные блики в окнах домов. Воспоминание было сильнее меня. Я поспешно уложил чемодан и уехал, никому не сказавшись. Альмерия — старый мой грех. Тут я вспомнил о той карточке и перед самым отъездом сунул ее в карман вместе с записной книжкой.

2

Прошло всего шестьдесят два часа — и вот я в Альмерии. Днем раньше, в Валенсии, небо хмурилось с самого утра, и, когда поезд неторопливо подходил к Альмансо, начал было моросить дождь. Такой прием огорчил меня, но я подсчитал, сколько километров отделяют меня от Альмерии, и сердце у меня забилося: будущей ночью я смогу заснуть спокойно. Остались позади серые земли севера, и красоты юга приковали меня к окну. Даже не помню, сколько часов я ехал. Мы миновали пальмовые рощи Эльче; стаи туч затянули горизонт, птицы летали над самой землей. Я уже начал падать духом, но, по счастью, небо очистилось и ближе к Мурсии над желто-красными полями вовсю сияло солнце.

Как всегда, город казался усталым, у автобусной станции я проглотил порцию пресной рыбы, стаканчик хорошей «хумильи» и чашку кофе. Потом до отказа набитый маршрутный автобус отправился в путь по хорошо знакомым местам: Алкантарилья, Тотана, Лорка и Пуэрто-Лумбрерас. В долине густая желтизна сочеталась с зеленью полей, а на юге алела в лучах солнца кромка облаков над горами. Прямое, как нож, шоссе прорезало земли. В просветах придорожных пальм и сосен виднелись огороды и хутора в седловинах гор — белые домики среди редких деревьев миндаля. До жатвы оставался еще почти целый месяц, сейчас начинали сажать скороспелые овощи. Часом позже, когда зашло солнце, в долине стало удивительно тихо. Деревья и горы четко выделялись на гладком, как лист бумаги, бледнеющем небе. Сумерки провожали нас до самого Лос-Гальярдос. Когда стало совсем темно, я заснул. Сквозь сон я слышал монотонный гул разговоров и на мгновение встряхивался от дремоты, когда на остановках сходила какая-нибудь женщина в черном или под шумную возню приятелей садился нагруженный корзинами крестьянин. Сладостный мне говор альмерийцев убаюкивал, как колыбельная. Много месяцев я уже не слышал звонкого смеха девушек и по-арабски гортанного говора мужчин. Автобус огибал лунные горы Тавернаса, и, кроме нас, не было никого на много миль вокруг. Время от времени кто-нибудь сходил у постоянного двора, и тогда в слабом свете фонарей мелькали дети и женщины.

Я снова уснул, а проснулся в Альмерии. Вдоль улиц дул горячий ветер. Я взял извозчика и назвал адрес гостиницы. Еще не наступила полночь, но город казался пустынным; подковы ритмично цокали по асфальту. Извозчик помог мне снять чемодан, коридорный провел меня в номер. Как я и просил, окна выходили на бульвар, ветви фикусов касались балкона. Впервые за долгое время я заснул как убитый. На рассвете я встал, закрыл окно и завалился снова. Когда я проснулся, часы на соборе пробили девять раз.

Такие дни я особенно люблю — синие, сверкающие, сухие. Я умылся, побрился и пошел пить кофе. Альмерия не изменилась, и я чувствовал себя как дома. Кафе на бульваре были полны, а регулировщики на перекрестках красовались в колониальных шлемах. Толпа плотно загромодила тротуар; смуглые худощавые мужчины в модных шляпах и жилетах; замужние женщины парами, под руку; военные, торговцы, чистильщики, продавцы лотерейных билетов. В барах сидели одни мужчины. Я прошел мимо нескольких баров, остановился на одном поменьше и выпил у стойки коктейль. У ворот Пуэрта-Пурчена газетчик выкрикивал «Юго»¹. Я бросил ему шесть реалов и, не посмотрев номер, свернул на Обиспо Орвера.

За углом с полдюжины такси надеялось дожидаться клиентов. Ярмарка тут располагается у рынка, и каждый раз, заглянув туда, видишь одно и то же. Среди ларьков, торгующих тканями и посудой, лоточники расхваливают самые разные товары: сковородки, сахарный тростник, смокву, скобяные изделия, лечебные травы. Розничные торговцы, собираясь группами, договариваются о ценах, зеваки окружают то того, то другого обманщика.

Рынок шумит, как сходка, под ярким солнцем. Торгуют коренастые красивые цыгане, причитают жалкие калеки из трущоб. Продавцы лотерейных билетов, моргая изъеденными трахомой рубцами век, обещают удачу. У каждого номера лотереи свое прозвище; их распевают, как литанию:

— По-ми-доор!

Ко-о-шка!

Мы-ы-шка!

— Пе-е-рец!

Ты-ы-ква!

Сме-е-рты!

Под причитания слепых я обхожу рынок. Около весовой группа мужчин мирно беседует в ожидании случайной работы. Почти все они одеты нищенски; отвороты брюк потрепаны, рубахи сплошь в заплатках. На углу улицы Хуан Лирола какой-то тип, стоя на грузовике, держит речь перед микрофоном, и я подхожу послушать. Это торговец — рыжий детина с напомаженными волосами; он жестикулирует и разглагольствует с мадридским акцентом:

— Я вовсе не заинтересован в сбыте, сеньоры и сеньориты! Вы люди умные, вы меня поймете — я больше ценю популярность...

Помощник подает ему красное шерстяное одеяло. Он разворачивает его так, будто раздевает женщину, и протягивает толпе:

— Смело шупайте его, сеньоры и сеньориты, ему ничего не сделается, а ваши подозрения, если они еще есть, тут же исчезнут! Я, сеньоры и сеньориты, хочу одного: убедить вас, что фирма «Анхель Томас и сын» — это фирма солидная, она печется о своем добром имени. Мой уважаемый отец вот уже два месяца колесит по этой провинции, и — не хочу хвастаться, сеньоры и сеньориты, — он выбился из сил. Он хочет, чтобы я

¹ «Эль Юго» — реакционная газета.

помог ему демонстрировать товары. Мой почтенный отец уже немолод, и хотя, слава богу, он здоров, но удовлетворить спрос ему не под силу. И вот я решил приехать сюда и бескорыстно предложить вам свои услуги. Я уверен, что вы поймете меня. Успеху в столице сопутствует успех в провинции, и я готов на любые жертвы во имя вашего блага. За вашу жизнь вам предложат еще не одно одеяло, весьма привлекательное на вид, но не попадайтесь на эту приманку! Еще немало беспринципных торгашей попытаются всучить вам негодный товар. Но так никогда не поступал ни я, ни мой уважаемый отец. В одеяле ценится не красота, сеньоры и сеньориты. В одеяле ценится — я говорю вам как специалист — мягкость, ворс, ткань!..

Шарлатан трещал как заведенный, а я пошел в угловой бар выпить еще чашечку кофе. Люди у весовой вяло перебрасывались словами. Двое из них теперь гонялись друг за другом, словно дети, сталкивались, боролись. По тротуару проплыли монахини с корзиной овощей. Когда я вернулся на улицу, торговец демонстрировал очередной товар, выводя нараспев:

— ...Это одеяло достойно султана. Это одеяло для жениха и невесты. Это одеяло для брачной ночи!..

По-видимому, зеваки не поддавались рекламе и, когда дело доходило до платы, начинали расходиться.

Обойдя рыночные ряды, я вернулся на бульвар и уселся в открытом кафе, рядом с гостиницей. За соседним столиком трое мужчин в легких костюмах болтали за бутылкой «морилес». По набрильянтиненным волосам я решил, что это либо чиновники, либо банковские служащие. Тот, что сидел ко мне поближе, был маленького роста и изъяснялся штампами. Средний косился на проходящих женщин. Третьему явно уже стукнуло пятьдесят. У его ног, стоя на коленях, орудовал чистильщик; я прислушался.

— Я на все эти ухаживанья времени не трачу. Когда девка не хочет, сразу видно!..

— А другие любят, чтобы их уламывали!..

— Ну и на здоровье. В мои годы не до церемоний. Люблю, чтоб на-верняка.

— Когда я служил в Тенерифе, вот было здорово. Восемнадцатилетние шли по двести песет. Да еще хорошо воспитанные, изящные, не то что здесь!.. Была там одна — из порядочной семьи, на вид прямо не подойти, а такая штучка!..

— В Малаге навещал я один бордель, пальчики оближешь!.. Входишь, а хозяйка тебе сует фотографии — выбирай, какая понравится. И уж если ты девке по вкусу пришелся, ничего она с тебя не возьмет! Так, подаришь какую-нибудь ерунду, чулочки нейлоновые!..

Несколько минут я слышал их хриплый спор. Сидевший посередине уверял, что с незамужними проще, мой сосед возражал, оба приводили доказательства. Пожилой рассказал анекдот и добавил, что главное — подход. Все трое изощрялись в откровенности и, перечислив свои победы, стали ругать женщин Альмерии.

— Гроша ломаного не стоят. Получу отпуск — сразу рвану в Малагу.

— В Малаге — как в Тенерифе: чулочки подаришь, и ладно. А здесь, в Альмерии, им бы все деньги!..

— Да, деньги они любят. А еще швейцару, а еще шоферу!..

— И цветочки подай, и гитариста!..

— Обнаглели. Вчерашняя потребовала сорок дуру.

— Я своей выдал двадцать. Бог подаст. Конечно, умаслить надо, но когда без всякой совести!..

— Бери пример с меня. Я с собой больше двухсот песет не беру.

— И я так. В прошлый раз подцепила меня одна в день полочки, так я сказал, что схожу кой-куда, и там спрятал деньги в ботинок.

— Я всегда в носки прячу.

— Самое надежное место — это обшлага брюк.

Чистильщик кончил свое дело, и, пока пожилой шарил по карманам, собутыльники обсудили, как лучше припрятать деньги, еще раз посетовали на альмерийских женщин, повспоминали о сладостных встречах и пришли к выводу, что самые лучшие женщины на Канарских островах.

Я благонамеренно листал страницы «Юго», а подняв глаза, увидел, что молоденькая девушка с кружкой для пожертвований нагибается ко мне, хочет прикрепить мне в петлицу значок.

— Пожертвуйте на борьбу с раком.

Девушка была тоненькая, красивая; она стояла против света, и солнце золотило ее волосы.

Я засмеялся и спросил, когда будут собирать пожертвования на борьбу с Великой Язвой.

— С великой язвой?

— Вот именно.

Наступило молчание. Она не понимала.

— О какой язве вы говорите?

— А вы ее не видели?

— Как это? Где?

— Везде.

— Когда?

— Каждый день. Вот сейчас, например.

— Я вас не понимаю.

— А вы подумайте. Оглянитесь вокруг.

Девушка оглянулась. У нее были большие удлиненные глаза, длинные ресницы.

— Не вижу...

— Не видите?

— Нет, сеньор.

— Ну, ладно. Неважно. Когда-нибудь увидите и посмеетесь. — Я достал из кармана измятый дуρο и протянул ей. — А пока поборемся с этим.

Девушка взяла деньги и улыбнулась мне на прощанье. Волосы кра-сиво падали ей на плечи, и при ходьбе юбка обтягивала бедра. У нее были смуглые, почти оливковые ноги.

Мои соседи все еще болтали о тайниках, делились планами, и я под-нялся. Мне вдруг стало душно в стоячем воздухе бульвара. Я спросил у официанта счет. Ветер шелестел листвой фикусов, рисуя на тротуаре причудливые узоры, и я устремился прочь от Великой Язвы.

3

Вид на Альмерию из Алькасабы¹ — один из самых пленительных в мире. За три песеты приезжий получает право пройтись безлюдными тер-расами садов и, сидя в тени палисандра, полюбоваться синим безоблач-ным небом. Внутри крепости очень тихо. Бесшумно струится по желобам вода, жужжат опьяненные солнцем пчелы. Кактусы обрамляют дорож-ку, ведущую к минарету. Рабочие сгребают мусор около цистерны. Дорожка вьется меж смоковниц, и приезжий в восхищении останавли-вается перед цветущей агавой. Затем, пересекая артиллерийскую пло-щадку, он поднимается к дозорной башне.

¹ Алькасаба — древняя мавританская крепость.

Район Чанка подобрался к самому ее подножью, отсюда он белый и сверкающий, как мираж. В глубине котловины игральными костями разбросаны домишки. Геологическое буйство, свирепая дикость пейзажа поражают вас. Крошечные прямоугольные хижины, взбираясь по склону, карбункулами вкраплены в развороченный рельеф горы. Пустоши морем простираются вокруг Чанки; скалистые волны плоскогорья переходят в гребень Гадор. С вершины открывается бескрайняя панорама, и невольно вы ощущаете себя Хромым Бесом¹. Обитатели предместья тянут свою лямку, не задумываясь над тем, наблюдают ли за ними с высоты. Слушается, что гид расписывает местные красоты, а туристы, расположившись меж башенных зубцов, расстреливают квартал объективами камер.

Попав сюда впервые, я простоял несколько часов, облокотившись о парапет. Помню, накануне я ночевал в Гренаде, и ослепительная смесь извести и солнца, столь отличная от бурой желтизны, открывающейся с Альгамбры², ошеломила меня. Точно так же суровая красота Алькасабы непохожа на прелесть кипарисов, фонтанов и бассейнов Хенералифе³. Глухой ропот голосов доносился снизу, словно там пыхтел какой-то зверь. Потом солнце ушло, и краски стусhevались во мгле. Возгласы женщин и детей сиротливо терялись в пространстве. Древний страх темноты овладевал предместьем, и люди искали приюта в своих норах.

В это утро я столкнулся на площадке башни с группой туристов. Иностранцев было пять или шесть человек — молодые, высокие, видимо с какого-то торгового судна. Сопровождающего их испанца можно было узнать сразу. Маленький, сухощавый, хитрый, он резко отличался от спокойных, холеных спутников. Когда в рубашке навыпуск, пуская кольца дыма, он проходил мимо меня, я услышал тот странный ломаный английский, каким изъясняются гибралтарские испанцы. Время от времени он прибегал к испанским словам, подкрепляя их быстрыми, выразительными жестами.

— У нас, испанцев, веселье в крови... — Он протягивал волосатую руку, демонстрируя всем свои вены, по которым текло веселье.

Я вновь подумал о Великой Язве, об этих туристах — новой болячке Великой Язвы, и вспомнил барселонский порт, где впервые увидел ее, хотел ее забыть — и не смог. В моем кармане еще лежал номер «Юго», и, спускаясь к дамбе, я вновь и вновь перечитывал заголовки. Полчаса я слонялся по пристани. Муравьиные цепочки грузчиков тащили мешки в трюм судна; рыбаки на берегу чинили сети. На верфи стояло полдюжины баркасов, и я подошел взглянуть. Рабочие конопатили корпус одной баржи, на палубе другой копошились голые ребятишки, как темные дождевые черви, только что выползшие из земли. Они так простодушно показывали друг другу голое пузо и хохотали так заразительно, что у меня отлегло от сердца. Неподалеку на элегантном корте Морского клуба две девушки, рисуясь, играли в теннис.

Я дошел до конца набережной и повернул направо. На площади Павиа, вынюхивая добычу, шныряли ребятишки, и стоило торговцу зазеваться, как они хватали и торопливо запихивали в карман апельсин, хлебец или горсть чечевицы. Я думал о Язве, на душе было скверно, и я зашел в бар выпить.

Он был темный, вдоль стен стояли винные бочки, липучка от мух свисала с потолка и со стен, заклеенных картинками из календарей. За столиками играли в карты. Хозяин, мужчина лет сорока, был в переднике.

¹ Хромой Бес — персонаж одноименного романа Лесажа; путешествуя с автором над Парижем, показывает ему сверху, что происходит в домах.

² Альгамбра — знаменитый дворец в Гренаде.

³ Хенералифе — дворец в Гренаде.

Лысина, густые брови, черные отверстия глаз. Скрестив руки на груди, он сидел за стойкой, рассеянно глядя на залитую солнцем улицу.

— Что вам угодно?

— Стаканчик красного.

Напротив него ушастый человечек читал ту же газету, что была у меня, качал головой, прищелкивал языком — «ничего, мол, не понимаю». То и дело он безуспешно пытался поймать взгляд хозяина, затем, сдавшись, вновь приступал к чтению, демонстрируя недоумение.

— Апельсины экспортируют, — пробормотал он.

Потом повернулся ко мне, увидел пачку «житан»¹, обозрел меня с ног до головы и вытер рукой губы.

— А, черт! — сказал он хозяину. — Давно ты не нюхал таких?

Хозяин расцепил руки и нагнулся, чтобы рассмотреть сигареты. Потом взглянул на меня.

— Столько, сколько ты.

На его лице появилась улыбка, он протянул руку:

— Вы позволите?

— Конечно.

Хозяин держал пачку, словно хрупкую чашечку или драгоценность, и ласково поглаживал обертку.

— Помнишь?..

— Как не помнить... Сколько мы с тобой ночей коротали за такой вот, черт бы ее побрал, пачечкой...

— Последнюю, помню, выкурил на вокзале в Барселоне.

— А я пустую коробку привез. Племяннику отдал, сыну Энкарны... Знал бы — оставил бы себе на память...

Хозяин хотел вернуть мне пачку, но я сказал, что он может оставить ее себе.

— У меня еще есть, — добавил я.

— Что ж, не откажусь. — Он достал из кармана зажигалку, протянул пачку приятелю и с наслаждением затянулся. — Где достали, если не секрет?

— Привез из Франции.

— А, вы оттуда! — Хозяин снова смотрел на улицу. — Как там дела?

Я ответил, что примерно так же, как тут, разве что люди зарабатывают больше.

— Да, — подтвердил хозяин. — Друзья мне говорили...

Ушастый человечек вмешался и сказал, что я так говорю потому, что сам-то живу за границей.

— Послушайся я брата, так жил бы я в Тулузе, работал бы в каком-нибудь гараже. До сих пор в толк не возьму, отчего я там работу бросил и вернулся.

— Земля тянет, — сказал хозяин. — Таким людям, как мы с тобой, там не привыкнуть.

— А голод? К голоду ты привык? С самой среды брать в лавке в долг привык?² А сорок дура платить за лачугу, где крысам жить тошно?

— Ты меня не понял, — возразил хозяин. — Я говорю: оттого, что мы за границу уедем, здесь лучше не станет. Наоборот, хуже будет.

Некоторые из посетителей, прежде игравшие за столиками, услышав разговор, подошли к нам и стояли, не решаясь вступить в беседу. Это были механики или рыбаки, видимо, из этого же квартала — все знали хозяина и молчали с явным одобрением. Самый молодой из них — русский парень с грубыми чертами лица — следил за движениями его губ, и я

¹ «Житан» — марка крепких французских сигарет из черного табака.

² Заработная плата в Испании выдается рабочим каждую неделю.

догадался, что он глухонемой. Один из товарищей что-то объяснил ему быстрыми знаками. Немой возбужденно ответил. Хозяин говорил, что ничего не решить, если не действовать всем заодно, и его товарищей наконец прорвало:

— Трясут нас, как сито... Тебе говорят — белое, и ты говоришь — белое... Черное, и ты — черное... И никто пальцем не пошевелит.

— А ты чего хочешь? Синицу в небе?

— Не знаю. Надо что-то делать...

— От бедных все святые отвернулись.

— Если бы мы были все заодно...

— А, надоело все если бы, да если бы...

— Не мы виноваты...

— Виноваты все... Каждый тянет в свою сторону, вот и бродим, как коровы без колокольчика.

Люди дали волю словам, проклинают судьбу, а хозяин подал мне стаканчик вина из Альбуньоля. Это годовалый кларет, очень терпкий, и пить его приятно.

— У нас вино не спиртуют и сахару в него не кладут, не то что где-нибудь, — сказал он.

Я медленно смаковал вино, потом попросил еще. В таверну ворвались певцы, и разговор пошел на убыль. Хозяину хотелось узнать, откуда я родом и где живу сейчас; его приятели подошли ко мне, я ответил возможно обстоятельнее, а он заговорил об Аржелесе и Сен-Сиприене¹, о Чинчилье и Оканье².

— При немцах я пошел в маки. В моей группе трое были из Альбокса. Хорошие ребята. Одного расстреляли в Гренобле.

Те, что пришли, били в ладоши без передышки, и я простился с товарищами. Снаружи рыжим козлом дыбилось солнце. Его лучи отражались от белых стен, и утомленные глаза ломило. Казалось, что ты попал в известковую печь.

Сперва я шел, куда вели ноги. Сиротливая литания жалоб гудела в мозгу. Потом я вспомнил о поручении Виторино и зашагал по набережной к Чанке.

4

Широкое ущелье Чанки пересекает бульвар Малекон и кончается в порту, неподалеку от сквера Морского клуба. Когда смотришь снизу, дома, расположенные на переднем плане, стыдливо скрывают от туристов, направляющихся по шоссе к побережью Малаги, этот удивительный квартал, забытый агентствами и гидами, где сгрудилось около двадцати тысяч человек. Декорация состоит из таверны «Радость порта», сберегательной кассы — так по крайней мере гласит надпись на фасаде — и широкой лестницы, сбегаящей к пристани, с какой-то мемориальной доской. Как правило, автомобилисты продолжают свой путь, не останавливаясь, и не заглядывают за декорацию. Но если любознательный человек отважится пройти вверх по улочке, он рискует увидеть такое, чего никогда не забудет. Незримая граница отделяет этот район от остальных кварталов, и, переступая ее, ты словноходишь в запретную зону. Чанка — мир обособленный, мир, в котором пришелец ощущает себя иностранцем. Что общего у него с этими женщинами, стариками и мальчишками, копошащимися в грудах отбросов? Одетый, обутый, защищенный от атаки солнца темными очками, — чем связан он с этими людьми?

Я думал об этом и о многом другом и не находил ответа, сколько ни

¹ Аржелес и Сен-Сиприен — французские лагеря для республиканцев.

² Чинчилья и Оканья — испанские города, где в тюрьмах томилась республиканцы.

старался. Неприятный осадок не исчезал, несмотря на все мои разумные доводы. Мне было и досадно и неловко, я чувствовал себя лишним, и, подходя к ночлежкам, я не раз был готов вернуться. Но не вернулся, остановился и стал наблюдать за плетельщиками дрока, работавшими на земле. Несколько мужчин в соломенных шляпах сидели за пряжей, намотанной на бабины, а мальчик лет восьми вращал колесо станка. Нити дрока тянулись, как электрические провода, и ложились на гребень машины. Женщина перебирала у стены расчесанный дрок и подавала пучок прядильщику, сидевшему за веретенном.

Величественная громада Алькасабы закрывала от меня все, и я направился вверх по склону неровной, избитой дороги. Навстречу спускались женщины, неся дымящиеся кастрюли. Они шли гуськом, молча, как автоматы, накрыв головы от солнца накидками и платками.

Ослы умело выбирали дорогу, я поднимался за ними к группе белых домиков. Помои тут выливали прямо на улицу, и дождь превратил ее в сточную канаву. Пахло отвратительно. Я шел быстро и у самых домиков поравнялся с девочкой, которая несла на голове кувшин, подсунув под него тряпку. В тени, под стеной, мужчина укладывал в плетенку яйца; я подошел к нему.

— Простите... Вы случайно не знаете такого Антонио Роа? Картахенца?

— Как, как?

— Антонио Роа, Картахенец... Он, кажется, рыбак.

— Где он живет?

— Не знаю. У меня к нему поручение. Мне сказали, что он из Чанки.

— Есть тут один из Картахены, только он не рыбак,— сказал мужчина, выпрямляясь.— Этот ваш Картахенец женат?

— Кажется, да.

— Тогда не он. Этот еще парень холостой. Может, он подскажет...

— А где он живет?

— Видите вон там свинарник?

— Вижу.

— Повернете от него направо и идите по улице святого Хоакина. Все время прямо.

— Понятно.

— Спросите там Галеру. Его все так зовут. Сейчас он, наверное, дома.

— Большое спасибо.

— Не за что. Ступайте с богом.

Он приподнял шляпу и снова присел у плетенки. Дорога, которую он мне указал, завалена отбросами. Мои шаги вспугивают мух, и кажется, что сама земля, ежась, пытается стряхнуть их с себя. Покрытый жидкой грязью косогор похож на огромный ослиный бок.

Наверху солнце отсвечивает от стекол. Я сворачиваю в первый проулок. Посреди улицы женщины развесили белье. Здесь стиранные-перестиранные простыни, детские рубашонки, убогие и перелатанные рабочие брюки. Мутная от соды вода течет по канаве вместе с очистками и рыбьей чешуей. Приходится нагибаться на каждом шагу; люди, беседующие у дверей, замолкают, завидев меня.

Сквозь окна и двери можно разглядеть внутренность домов. Стены тщательно выбелены. Я вижу цветы на тумбочках, буфеты, календари, фотографии. Какая-то девушка согнулась над швейной машинкой. На углу, в тени, сидят два старика. Оба подперли подбородки рукоятками пошковых и застыли, словно изваяния. Когда я пришел на улицу святого Хоакина, целая ватага детишек окружила тележку с надписью «Мороженое «Фиалка». Ребятишки наперебой протягивают грязные ручонки к

мороженщику, а счастливые обладатели песеты или двух реалов удаляются, обсаживая маковку мороженого в вафельном кулке. Немного подалее чешут языки две женщины, и я спрашиваю у них адрес Галеры.

— Он из Картахены, холостой... Говорят, живет где-то здесь...

Я оттираю мокрый лоб. Женщины переглядываются.

— Ты знаешь такого?

— Это, видно, сын Дамианы. Ну, хромой...

— Нет, что ты... Того я знаю.

— А его родня разве не из Картахены?

— Нет. Андрес родился здесь. В Канхаяре.

— Значит, вы говорите, он живет на этой улице?

— Да, сеньора.

— Тогда это, видно, сын Курносой, монтер...

— Они из Картахены? — спрашивает ее подруга.

— Точно не скажу... Но раз вы говорите, он холостой — другого нету.

Женщины спорят. Та, что помоложе, втиснута в очень узкую бумажную кофту и все время машинально поглаживает юбку.

— Вы нас извините, — говорит она. — Мы только недавно тут живем, а народу здесь столько, запутаться можно.

Ее подруга пальцем указывает мне дом, где живет Курносая.

— Вон тот розовый домик видите?

— Вижу, сеньора.

— Так вот, в этом доме.

Я благодарю женщин и отправляюсь туда. По улице бежит мальчик, теща за собой самодельный змей — бумажный шестиугольник на нитке. Дверь домика полуоткрыта, и я останавливаюсь у порога.

— Простите! — кричу я. — Есть здесь кто-нибудь?

В доме одна квадратная комната, очень низкая. Я вижу три стула, стол, табурет, комод. На стенах гирлянды чеснока и гроздья винограда.

— Кто там?

Голос раздается из-за занавески, звучат шаги. Наконец Курносая становится в проеме двери и смотрит на меня, щурясь от света.

— Что вам нужно?

Она низкорослая, сильная, как мужчина. волосы стянуты в пучок, густые брови, жесткий рот.

— Здесь живет парень из Картахены, по прозвищу Галера?

Курносая в упор разглядывает меня и, видимо, остается недовольна, потому что лицо ее мгновенно становится злым.

— А на что он вам?

— Я ищу Картахенца. Он живет в Чанке, но я его адреса не знаю. Мне показали ваш дом, говорят, может, ваш сын знает, где он живет...

— Очень жаль, — обрывает Курносая. — сына нет дома.

— А вы не знаете такого — Антонио Роа?

— Нет, сеньор. Никого я не знаю.

Женщина неприветливо глядит на меня, считая разговор законченным. Я собираюсь уйти, но тут кто-то зовет из глубины дома:

— Мать! Кто там?

Голос мужской, сиплый. Курносая делает вид, что ничего не слышит.

— Вы бы в таверне спросили, — говорит она.

Я не успеваю дослушать ее, как чья-то рука раздвигает занавеску, и, высунув голову, нас разглядывает белокурый парень.

— Что там стряслось?

— Ничего. Этот сеньор ищет какого-то из Картахены. Ты такого знаешь?

— Как его зовут?

— Антонио Роа. Он рыбак.

— Роа, Роа... Что-то не припомню... Вам сказали, что он живет где-то здесь?

— У меня нет его адреса. Знаю только, что он из Чанки.

— У нас его наверняка нет, а то я бы знал. Рыбаки вообще-то живут в другом конце.

— Это где?

— Если обождете малость, так я провожу. Мне как раз надо кое-что отнести приятелю...

Галера одет в измазанный синий комбинезон. Курносовая, ворча, скрывается за занавеской, а он открывает верхний ящик комода и копается в жестяной банке, пока не находит отвертку и плоскогубцы. Потом достает из кармана кожаный футлярчик и быстро причесывается перед зеркалом.

— Ну вот, — говорит он, — я к вашим услугам.

Парень кричит матери «до свиданья», и несколько секунд мы шагаем молча. Он немного ниже меня и, слегка ссутулясь, смотрит в землю. Я предложил ему закурить, он бормочет «спасибо». Потом шарит по карманам и дает мне прикурить, заслоня рукой пламя зажигалки.

— На этом краю я один из Картахены. А по ту сторону наверняка найдутся и другие. Там все на море промышляют.

Галера крагчайшим путем ведет меня к ручью. Около помойки бегают голый ребенок, голова его черна от мух, живот вздут. В свинарнике хрюкают свиньи. По дороге идут женщины и девочки с кувшинами молока. Склон очень крут, и мы маневрируем, чтобы не поскользнуться.

От канавы несет отхожим местом и содой, и, пока мы переходим поток, мой попутчик рассказывает, что после ливней вода разливается и сносит все на своем пути.

— В последний раз несколько мулов уволокло до самого Морского клуба. Хозяин их в овраге оставил — пошел выпить с друзьями. Говорят, потом с горя повесился.

Галера рассказывает монотонно, словно исполняя тяжкий долг, и вскоре умолкает. Женщин и девочек с кувшинами все больше, и около стены я вижу довольно длинную очередь. Все они держат что-то, и Галера информирует меня, что это контрольные талоны. Каждая семья получает молоко в зависимости от дохода и числа ртов.

— А кто его раздает? — говорю я.

— Американцы, — отвечает он. — Привозят из Соединенных Штатов.

Парень избегает моего взгляда, и больше я его не спрашиваю. Впереди черепашым шагом бредет старуха. Ей лет восемьдесят пять, а то и девяносто, она согнулась чуть ли не пополам, опирается на палку. Когда мы поравнялись с ней, я заметил, что она несет круглую жестяную банку, на которой черной краской выведен номер. В банке немного молока.

— Ну вот и пришли, — говорит мой провожатый. — Спросите в любом доме, а если его здесь не знают, шагайте дальше — к Кобаррону или к Старому оврагу. Мне в другую сторону.

По-видимому, он рад, что избавился от меня, и удаляется большими шагами. Оставшись один, я остановился и отер пот. Солнце знойным ма-ревом затуманило окрестности. Неподалеку собака отбивается хвостом от мух. Старуха шажками плетется к горе, и я подхожу к стайке женщин

— Простите, пожалуйста...

Все оторопело поворачиваются ко мне, лица — настороженные. Я спрашиваю их о Картахенце, они переглядываются. Наконец одна отвечает мне. Видимо, в молодости она была красавица; теперь щеки ее запали, но глаза ярко светятся на изрезанном морщинами лице.

— У нас таких нет, сеньор. Муж мой тоже рыбак, но такого я не знаю.

— У Авроры зять из Картахены, — говорит одна.

— Что ты, того уже нет,— обрывает другая,— его забрали в солдаты, в Каталонию.

Пока женщины перечисляли своих знакомых, подошли любопытные дети. Почти все голозадые, кланчат у меня папиросы.

— Ох, наказанье! — кричит та, что ответила первой.— Покою от вас нет!

Ее товарки вспоминают, что какой-то Филипе ездит по торговым делам в Картахену, я вижу, что разговор грозит совсем уйти в дебри, благодарю и прощаюсь.

Когда я сворачиваю за угол, меня встречает один из тех мальчишек, что кланчили папиросы. Этот черный поросенок скачет вокруг меня, скаля белые зубы. Его тактика заключается в том, чтобы истощить терпение жертвы — так делают чистильщики в южных городах. Я упорно молчу, но он не падает духом и протягивает руку, растопыренную, как морская звезда.

— Дай денежку, англичанин...

Выхода нет, приходится сдаться, и он исчезает, не сказав «спасибо». Как и в барселонских предместьях, дети здесь развращаются быстро. В десять лет они плутуют не хуже взрослых, и, судя по рассказам, большинство из них попадает в исправительную колонию.

Спасаясь от нового нападения, я сворачиваю в первый попавшийся переулок и сразу беру влево. Сам того не замечая, я обошел квартал кругом и оказался там, откуда вышел. Женщин уже нет, но собака все еще отмахивается хвостом.

Прежде чем продолжить понски, я поднимаю глаза и вижу старуху с жестяной банкой. Она идет уже больше десяти минут, но время словно остановилось, и ее сторбленный силуэт едва продвинулся вверх по склону.

Солнце — наглый золотой туз¹ — красит все вокруг белым и рыжим, как истинный хозяин и сеньор Чанки.

5

Спустившись по улице Каньядас, приезжий попадает на широкую дорогу, и взгляду становится просторнее. По склону огромным пчельником лепятся хижины, а выше разинуты темные, беззубые пасти пещер. Дико чернеют против света выветрившиеся скалы над обрывом. Голый желтый пейзаж без единого клочка зелени встает перед вами. Пустынная крутизна почти отвесно вздымается над хижинами, скалы и глыбы угрожают предместью и время от времени рушатся, сея смерть на своем пути.

Плетельщики работают даже там, и поблизости виден ларек с вывеской «Прохладительные напитки».

Трое мужчин беседуют, облокотившись на прилавок. В нескольких метрах левее цыган вращает примитивную карусель. На ней катаются две девочки в белых передничках, важные и счастливые; они кружатся еще и еще. Вокруг столпились мальчишки и глядят с нескрываемой завистью. В высохшем русле стоит телега, ее хозяин разливает в кувшины фруктовую воду.

Дорога полого поднимается в гору, и я иду наверх. На здешних улицах, как и во всех селениях провинции Альмерия, слоняются без дела десятки молодых людей. Парикмахерская набита битком. В тени стоит здоровенный парень, дожидаясь своей очереди. Несколько поодаль муниципалитет соорудил общественную уборную, и, по-видимому, ее

¹ В испанских картах изображением туза служит золотая монета.

усердно посещают. Воздух становится смрадным, мухи досаждают невыносимо. Дальше дорога разветвляется, и я останавливаюсь у ларька с напитками, чтобы порасспросить людей.

— Стаканчик красного, пожалуйста.

Хозяин подает мне густое вино и, прежде чем ответить, разжигает окуроч, который держит в углу рта.

— Картахенец, говорите? Нет, такого не знаю. Родственник ваш будет?

— Нет.

— Дружок, значит?

— Вот именно, друг.

Хозяин, видимо, человек неприветливый, искоса рассматривает меня.

— Все равно, что искать иголку в сене... У рыбаков не были?

— Нет еще.

— Попрошайте там. Может, скажут. А то зря ноги обобьете.

— Большое спасибо.

— На той неделе тут один его спрашивал,— говорит хозяин, понижая голос.

— Спрашивал?

— Такой, вроде вас.

Хозяин шарит в ящике, подыскивает сдачу; я чувствую, что он не намерен распространяться, и не настаиваю. По дороге, покачивая бедрами, идет цыганочка с накрашенными губами, в ожерелье из стеклянных капель. Ей лет десять, на ней длинное платье в сборку и туфли на высоких каблуках. Ее пышный наряд не вяжется в худом телом, с детскими грязными руками. Когда мы поравнялись, я заметил, что она несет пустой кувшин и талон на американское молоко.

Чем выше, тем резче проступают заброшенные отводные каналы старой плавильни. Склон буравят отверстия пещер, похожие на гноящиеся глазки. Жители развешивают белье на скалах, и склон горы белеет рубашками и тряпками. Поодаль галдят прачки. На фасаде домишки кто-то вывел дегтем: «Прадаеца».

Обойдя размытый дождями овраг, попадаешь в более спокойный квартал. Улицы тут прямые, домики просторней и чище. Время от времени приезжому попадают на глаза прибитые к стенам дощечки с надписями:

«Министерство просвещения»,

«Комиссия по распространению культуры»,

«Социальный план Чанки (Зона I)».

На дверях домов висят занавески из сетей, ивовые верши и связки рыбы. Женщина несет охалку шепок для растопки и, когда я обращаюсь к ней с расспросами, убегает, бормоча извинения.

Мне остается продолжать расспросы, но, хотя я остановил еще нескольких жителей, никто ничего не знает о Картахенце. Четверть часа я кружу по улочкам со странными названиями: «Бутылка», «Водолаз», «Лодка», «Компас». Голая девочка завернулась в кусок сети и волочит по земле походивый на фату хвост. Старухи сушат на солнце виноград, женщина размешивает похлебку в миске. Здесь жарко, как на сковородке. В тени, прямо на земле, обнимается какая-то пара, рядом — старик лет семидесяти и ребенок в корзине.

— Добрый день.

— Добрый день.

Молодые люди и старик молча рассматривают меня. На обоих мужчинах поношенные штаны и рубашки, молодой поглаживает волосатую грудь. На женщине халатик в горошек. Она красивая, смуглая, с чувственным ртом и, кажется; только что из парикмахерской. На мгновение

мой взгляд задерживается на линиях ее бедер. Ребенок безмятежно спит в колыбели.

Уже без особой надежды я повторяю свой вопрос, и парень, сдвинув кепку на затылок, довольно тупо смотрит на меня.

— Антонио Роа, говорите?

— Да.

— Который рыбачил без разрешения?

— Наверное, он. Вы знаете, где он живет?

— Знать-то я знаю... Только вы его не застанете...

— Это неважно... Его семья здесь?

— Жена здесь, сеньор... и теща, и зять...

— Где же это?

— Погодите. Мальчик вас проводит.

Парень встает и бредет к хижине медленно и вяло. Я жду, а женщина и старик стараются не смотреть на меня. Наконец появляются парень и очень красивый мальчик — белокурый, с матовой кожей и огромными карими глазами.

— Пако, проводи сеньора к Луисо.

Мальчик обалдело смотрит на меня, и мужчина нетерпеливо добавляет:

— Ну, давай живее!

Я благодарю их за любезность и направляюсь с Пако вниз по склону по грязной, в лужах, дороге. На мальчике пиджак со взрослого, он свисает до колен. Волосы курчавятся над ушами.

— Ты знаешь Антонио? — спрашиваю я дорогой.

— Нет, сеньор. — Пако шагает быстро, опустив голову.

— А его семью?

— Тоже не знаю.

— Давно они тут живут?

— Ничего я не знаю, — говорит он.

Люди стряпают под открытым небом на сложенных из камня очагах. Старуха нарезает зелень для салата. Женщины, хлопая тряпками, отгоняют мух. У дверей своей хижины цыган чеканит посуду.

Мы быстро взбираемся на крутой склон. Пако останавливается и тычет пальцем в полуголого мужчину, намазывающего лицо и руки над брезентовой посудиной.

— Вон тот — Луисо, — говорит он и, повернувшись, пускается наутек.

Зять Антонио — смуглый, крепкий, небольшого роста, лицо выдублено солнцем. Наверное, он пришел с работы, потому что на нем еще широкий пояс и сапоги. Когда я подошел, он начал окатывать голову водой, покрывая от удовольствия.

— Простите, — говорю я, — здесь живет Антонио Роа из Картахены?

Луисо внимательно смотрит на меня и неторопливо вытирает лицо, прежде чем ответить.

— Да, сеньор. Это его дом.

— Могу я с ним поговорить?

В дверях показалась немолодая печальная женщина. Ее темные глаза блестят.

— На что он вам сдался?

— Я друг его кузена Виторино.

— Мужа нету дома.

— Когда он вернется?

Женщина меняется в лице и становится против меня.

— Уж это вам виднее...

Она хотела еще что-то добавить, но передумала и только покачала головой. Луисо отбросил полотенце и подошел ко мне.

— Говорите, вы друг Виторино?

— Да, мы познакомились в Париже, а когда он узнал, что я собираюсь сюда, он дал мне карточку с адресом.

— А карточка с вами?

— Кажется, да.

Я шарю в карманах. Женщина и Луисо обмениваются взглядом.

— Вот.

— Разрешите?

Луисо берет карточку и скрывается в хижине. Оставшись наедине со мной, женщина с ног до головы мерит меня взглядом. На ее лице — отпечаток большого горя.

— Вы из Парижа приехали?

— Да.

— И работаете там?

Я киваю, и ее суровый взгляд несколько смягчается. Тут появляется Луисо с мсей карточкой и с конвертом, на котором от руки написан адрес.

— Почерк тот самый,— говорит он.

Недоверие на его лице сменилось радушием, и он по-братски кладет руку на мое плечо.

— Ну, заходите.

Я вхожу за ним в крохотную столовую, увешенную календарями и фотографиями, и не успеваю перешагнуть порог, как женщина раздражается рыданиями:

— Десять дней как забрали, и ничего мы с тех пор не знаем... Как сквозь землю провалился.

6

Сразу все стало понятно: недоверие Курносой, скрытность Галеры, двусмысленные вопросы хозяина ларька, страх и беспокойство, отражавшиеся на лицах всех, кого я спрашивал. В ушах загудело, я почувствовал, как кровь приливает к щекам.

— Вы уж извините нас,— говорит Луисо,— мы подумали, что вы из тех... Ну, сами понимаете...

— Да.

— Сюда одни священники ходят, да живодеры, за налогами, да эти... На днях явился один, вроде вас одет, говорит: «Я приятель Антонио». Ну, я воробей стрелный...

— Одно слово — гад,— вмешалась женщина.— Только явился — сразу понес: мол, то, что случилось с вашим мужем, нетерпимо, и мы должны ре-а-ги-ро-вать, то да се, голову мне морочил, чтобы я проговорилась, сказала бы, кто хотел ему помочь. А я говорю: «Вы друг моего Антонио и сами не знаете? Хорош друг!»

— Я человек тихий, а этот тип меня довел. Я его еще раньше приметил, когда он вынюхивал что-то на пристани, и прямо ему сказал: «Тут у нас даже рыбы грамотные, не проведешь Или вы оставите Исавель в поксе, или я так вам вмажу, всю жизнь меня помнить будете...»

Потом женщина и Луисо рассказывают, как Антонио поругался с хозяином. Исавель плачет и утирает слезы углом передника.

— Если уж навалются на кого черные дни, ничем не поможешь.

— Успокойся, послушаем, что адвокат скажет...

— Человек из кожи лезет, чтобы своих прокормить, а эти сволочи пришли, с постели его подняли, руки ему связали, как будто он какой уголовник...

Луисо говорит, что форма у них разная, а сами все одинаковые — и голубые, и серые, и зеленые, и черные¹. Маленькая, с земляным полом столовая неожиданно наполняется женщинами и ребятишками. Это жена Луисо — сестра Исавель, ее мать — теща Луисо и Картахенца, и трое мальчиков, которых Исавель называет «мой Пепе», «мой Канделин», «мой Герман».

— Это приятель Виторино, — объясняет Луисо. — Только приехал из Франции.

— Хотел передать весточку моему Антонио, — всхлипнула Исавель.

— Он уже знает?

— Да, мы ему рассказали...

— Большая беда, — просто говорит бабушка.

— А Виторино, — говорит Луисо, — как там у него дела?

— Очень хорошо.

— Ждет?

— Да. Все ждет.

Бабушка усаживается на стул без спинки и кротко улыбается.

— Месяцев десять назад получили мы от него письмо. Пишет, пришлет карточки — и жену и деток. Видно, позабыл...

Дети стоят, вцепившись в занавеску. Самый маленький порывисто бросается к Исавель и хватается за ее юбку.

— Ах ты баловник! Дал бы дяде ручку.

Малыш прячет лицо в ее коленях, и мать вздыхает.

— Он у нас трусишка. Как чужого увидит — пугается.

— Средний самый озорной, — говорит Луисо. — Канделин и черта не испугается.

— Не испугаюсь, — подтверждает мальчик.

— Вы бы посмотрели, как он дерется. В отца... Кому хочешь задаст трепку.

— Они, бедные, только и спрашивают про моего Антонио. Где папа? Когда папа придет?

Исавель смотрит на них, Пепе и Герман смущенно опускают головы.

— Хотите отца видеть, а?

Дети не отвечают, бабушка гладит космы Канделина Молчание.

— Может, с нами пообедаете? — говорит Луисо. — У нас, правда, угощать нечем...

Я пытаюсь отказаться, говорю, что помешаю, но женщины настаивают так радушно, что я соглашаюсь.

— Ничего особенного у нас нет. Каша, перец, сардины... Так уж едим, рабочие люди.

— Спасибо.

— Мария, принеси вино и стаканы. Усаживайтесь поудобнее.

Пока мы говорим, Луисо снимает пояс и старуха протягивает ему синюю рубашку. Исавель и дети скрываются за занавеской.

— Дорогу мостим. Там, у Вента-де-ла-Сена. Прямо подышаем от жары, — говорит Луисо.

— Раньше он работал на пристани, да с этими кризисами выбросили его на улицу.

— Сейчас у всех у нас с деньгами туго, беремся за любое дело.

— Сверхурочной оплаты нет, на семью не прибавляют... Хоть эмигрируй.

— В деревнях молодые соберут монатки — и во Францию. Гни тут спину восемь часов — и на харчи не заработаешь.

¹ Голубая форма гражданских гвардейцев, серыми называют агентов тайной полиции, зеленая форма полицейских и черные сутаны попов.

Мария подает нам вино и идет на кухню помогать сестре. Бабушка принесла глиняную миску с маринованным перцем. Дети нетерпеливо толкуют около нее.

— После обеда, если захотите, я познакомлю вас с друзьями Виторино,— говорит Луисо.— На Старой дороге живет один, вместе воевали.

— Если вам нетрудно...

— Трудно? Что вы!.. Мы в субботний вечер гуляем.

Исавель принесла миску с кашей, а бабушка нарезает хлеб детям. Мария кладет на стол ложки. Дети хватают их и, по знаку матери, жадно набрасываются на еду.

— Мы по-казарменному,— оправдывается Луисо.

— Хотите, я дам тарелку...— предлагает Мария.

— Нет. Спасибо.

— Может, вы не привыкли...

— Нет, нет,— протестую я.

— Давай, Пепе, чего ждешь?

— Не хочу есть,— говорит мальчик.

— Стесняется при вас.

— Сегодня утром один целую краюшку умял,— говорит бабушка.

— Любят они у меня хлеб, все трое,— вздыхает Исавель.— Утром два кило купила — и даже птицам не осталось.

У бабушки нет зубов, и она ест медленно, искоса поглядывая за детьми.

— Мой сынок работал в Гренобле на заводе. Вы не бывали в Гренобле?

— Нет, сеньора.

— Так ведь Гренобль во Франции?

— Да, сеньора, но я живу в Париже.

— Для бабушки Франция все равно что Альмерия,— говорит Луисо.— Она думает, там все друг друга знают.

— Вот с месяц назад поднялись к нам какие-то сеньоры французы с аппаратом для снимков... Я, конечно, не понимаю по-ихнему, но как сказала им: «Гренобль», так они головами и закивали.

— Они, видно, подумали, что вы у них карточку просите,— иронизирует Луисо.

— Аппаратик-то маленький, а раз сто нас всех засняли. Я хотела, чтоб внучата принарядились немножко, а они говорят: не надо, так, мол, лучше. Чумадые были все трое, прямо цыганята.

— Мой Канделин был совсем голый,— говорит Исавель.

— Был бы я здесь, я бы их самих раздел,— говорит Луисо.— Вот свиньи!

— Я всегда Францию любила. Поехал мой Хуан туда работу искать, его сразу наняли, ну, я письмо президенту и написала, и карточки ему отослала всех моих детей.

— Ничего вы не понимаете, бабушка. Дали ему работу — значит, нужен был. И мне бы там работу дали. Там и мавра возьмут.

— Здесь, бедный, без дела полгода ходил, прямо смотреть страшно было... Целый день — от дома до пристани, от пристани в бар... Денег совсем не было. Все в долг жил.

— А я говорю, во Франции его эксплуатировали так же, как здесь. Только там рук не хватает.

— Вырасту, тоже во Францию поеду,— говорит Канделин.

— С самых малых лет ему уехать хочется. Такой уж он непоседа,— говорит мать.

Мария идет на кухню за перцем, а бабушка улыбается и еще рассказывает о французах, посетивших Чанку.

— Сеньора была миленькая. Прямо влюбилась в моего Канделина.. Я их в дом пригласила, даже столовую засняли... и на прощание с ней поцеловались.

— Очень вы добрая,— говорит Луисо.— Все мы тут добренькие, прямо цветочки, вот и живем так.

Голос у него низкий, густой — кажется, что в нем рокошет ненависть.

Столовая рядом с кухней, Мария идет за банкой с оливковым маслом. Бабушка поглядывает на меня, но я молчу.

— А ваш сын,— спрашиваю я немного погодя,— он еще в Гренобле?

Мария поставила сковороду на огонь, а Луисо смотрит на залитую солнцем улицу. Дети сидят неподвижно, как в театре. Бабушка тихо улыбается.

— Он умер,— говорит она.

— Умер?

Бабушка спокойно смотрит на меня. Ее голос едва изменился.

— Котел взорвался. Там никто не хотел работать.

Заколело в груди — какая-то тревожная, глухая боль.

— Где, в Альмерии?

Она отвечает не сразу.

— Нет, в Гренобле... Получили мы посылку от его жены, а там его вещи... Один месяц прошел, как поженились.

7

Бабушка открывает ящик стола, достает оттуда помятую пачку бумаг и дрожащей рукой протягивает ее мне.

— Посмотрите,— говорит она.— Вот что от моего сына осталось.

Тут рабочая карточка, справка от предприятия «Эдуар Манэ-сын» в Гренобле, цветная семейная фотография и полдюжины писем, адресованных Хуану Рамосу Васкесу, написанных корявым сельским почерком.

— Это наш Хуан со своей женой в день свадьбы,— поясняет Исавель.

Я хочу вернуть письма бабушке, но она не берет и, отводя глаза, просит, чтобы я прочитал их вслух.

— Я зятю диктовала, Антонио, а он писал. А вон крестик в конце я сама поставила.

— Да он, может, и не разберет ничего,— говорит Луисо.— Уж мы напишем, прямо.

— Нет, он поймет, поймет,— протестует Исавель.— Сеньор не будет придирааться.

— Читайте, читайте,— вторит бабушка.

— Бабушка, не торопите его... Еще сардин?

— Нет, большое спасибо.

Когда я достаю письмо из конверта, даже дети перестают жевать. Все настораживаются.

«Альмерия, 15 мая 1953 года.

Получила я из Гренобля открыточку от своего любимого сына и прямо сказать не могу какое мне счастье когда ты пишешь дорогая мама а я тебе отвечаю ты мой дорогой сыночек.

Потому что мой сынок для меня очень дорогой и как я узнала что ты живешь хорошо очень я обрадовалась так вот сыночек это письмо идет из Альмерии прямо в Гренобль чтоб ты там привет передал всем сыновьям из иностранных держав которые там находятся так же как и ты и крепкий поцелуй французским сыновьям которые тебя любят потому что обрадовали мать дали тебе в Гренобле работу.

Каждый раз когда спать ложусь думаю о тебе и вижу во сне и очень

часто утром говорю моему дорогому сыну чтобы он шел на работу хотя ты в Гренобле а я в Альмерии.

Вот пишу я тебе в Гренобль где находится мой сын и я знаю что ему хорошо и больше я не горюю а радуюсь и ты знай сыночек что твоя мать очень любит тебя а о себе скажу что я жива и здорова и тебе того желаю.

На том и остаюсь крепко обнимает тебя целует твоя мать

Тереса».

Когда я кончил, воцарилось долгое молчание. Глаза у бабушки покраснели, и Мария неуклюже утирала слезы. Луисо барабанил пальцами по краю стола. Несколько секунд было слышно усыпляющее жужжание улицы.

— Бедным все плохо.

— Тут не обжулишь — пропадешь, — добавляет Луисо.

— Двадцать шесть лет, — говорит бабушка. — Ему еще двадцать шесть не стукнуло.

— Не мучайте вы себя, мама. Что было, то прошло.

— Видели его на карточке? Одно слово — дубок...

— Слезами горю не поможешь, — говорит Луисо. — У нас и без того надо еще многое расхлебывать.

— И я так думаю, — поддерживает его золовка. — Кто еще сардин хочет?

Никто не отвечает, Исавель дает детям по початку кукурузы. Потом берет пустой противень и опускает его отмокать в ведро.

— Ну и кончен бал, — говорит она.

Я предлагаю Луисо сигареты, и он шелкает зажигалкой. Герман взбирается к нему на колени и тербит за шею.

— Этот самый балованный, — говорит бабушка. — Никакого сладу...

— Отца очень любил. Как другого приласкает — господи, какая тут ревность начиналась!

Канделин и Пепе едва сдерживают смех. Пристыженный Герман прячет лицо на груди Луисо.

— Не смейтесь над ним, — говорит мать. — Он еще маленький.

Женщины снуют взад-вперед с посудой в руках, а Луисо, докурив сигарету, встает и приглашает меня пройтись.

— К кому вы собрались? — тревожно спрашивает Мария.

— Я его с приятелями Виторино познакомлю... Если хочешь с нами...

— Нет, я останусь, присмотрю за ребятами.

— А Исавель?

— Ей на работу к четверем.

Я прощаюсь с женщинами и ребяташками. Бабушка предлагает мне остановиться у них, и все наперебой поддерживают ее.

— Ты смотри, поосторожней там, — шепчет мужу Мария, когда мы выходим.

— Смотрю, смотрю.

— Как Антонио увели, мне покою нет... Если что будут спрашивать, ты придержи язык.

На улице жара немного спала, но солнце все еще сверкает, и земля пахнет стиральной содой и шелоком. Пока мы шагаем по спуску, Луисо поясняет мне, что в Чанке нет ни врачей, ни больницы, ни водопровода, ни рынка, даже электричества нет почти ни у кого. Воду приходится брать за сотни метров от дома, квартирная плата — тридцать—сорок дуро, а за место на мостиках надо платить по реалу с каждого килограмма белья.

— Дорого у нас бедным быть... — заключает он.

Впереди нас тяжело передвигается на костылях женщина. У колонки несколько мальчишек с бутылками и кувшинами стоят в очереди за водой.

Козы щиплют придорожную травку, и пастушонок — смуглый и хилый парнишка — вертится вокруг, подталкивая их к загону.

Мы приближаемся к Куэста-Сан-Роке, и район постепенно меняется. Пошли приличные улицы с тротуарами вдоль домов, время от времени слышится песня Эалы Фитцджеральд, посвященная друзьям радио в Альмерии. Стайки детей бродят возле детской столовой святого Индалесно. Луисо показывает мне скромное здание церкви; мы сворачиваем и идем по направлению к Барранко-Креспи.

— Сабля прошел с Виторино всю войну, а когда все кончилось, их вместе засадили во Франции¹. Если мы его застанем, он будет рад повидаться с вами. Сейчас он отошел от всего, но не разменялся, как многие. Очень честный парень.

Мальчик ворошит палкой мусорную кучу. Мы снова в царстве нищеты, отбросов и мух. Здесь опять нет ни электричества, ни тротуаров — нет элементарных удобств, которые в Чанке олицетворяют зажиточность. Хижины огибают скалистый выступ горы, и с одного из поворотов дороги открывается вид на порт и Рыбный рынок. Море в этот час густо-синее. В открытом море, почти на линии горизонта, маячат суденышки. Темно-желтый склон горы изъеден ветром. Нет ни деревьев, ни клочка посевов. Одни агавы да изредка рахитичная, словно замученная, смоковница.

Теперь Луисо идет неспешно, стараясь сориентироваться среди домишек; наконец он останавливается, чтобы расспросить корзинщицу.

— Извините... Вы не знаете такого — Саблю?

— Ступайте все время вверх, — отвечает женщина, не глядя на нас, — почти что до самого конца.

Мой приятель благодарит ее, и, пока мы осиливаем подъем, я изучаю внутреннее убранство домов. Люди живут скученно, у них нет ни кроватей, ни матрацев, ни уборных, даже циновки они делят с осликами и козами. Куры свободно разгуливают по комнатам, а в одной из хижин расположились свиньи.

Навстречу идет белокурый парень; он узнает Луисо, останавливается и приветствует его взмахом руки.

— Земляк! Какими судьбами?

Мой спутник треплет его по щеке и смеется, показывая зубы.

— Да вот, отца твоего ищем... Этот парень от его приятеля, ну, знаешь, который во Франции. Хочет приветы передать.

Тэт жмет мне руку, бросает наземь окурочек и похлопывает Луисо по плечу.

— Ну, ну... Значит, в гости собрались...

— Заскучали дома... Решили проветриться немножко.

— Слыхал я про твоего зятя. Третьего дня один приятель рассказывал... Ну, узнали что-нибудь?

— Ни черта мы не знаем.

— Терпение, брат, нужно.

— Да, терпение.

— Последние будут последними даже в царствии небесном.

Парень сам смеется своей остроте и ведет нас к домику побольше и крепче остальных. У порога на стуле сидит мужчина, совсем старый на вид.

— Отец, — говорит парень, — вот здесь товарищи пришли тебя проводить.

¹ В 1939 году французское правительство бросило в концлагеря испанских республиканцев, искавших убежища во Франции. После нападения Германии на Францию бывшие узники этих лагерей поднялись на защиту Франции.

Старик поднимает глаза, и его взгляд встречается с моим. Потом он поворачивается к Луисо и медленно облизывает губы.

— Рад тебя видеть,— говорит он.

— И я рад,— тихо говорит Луисо.

Пальцы у старика скрючены, руки сильно дрожат. Стараясь скрыть эту дрожь, он пытается сцепить пальцы на коленях. Его лицо застыло, как мертвое. Луисо глядит на него в замешательстве:

— Что с вами, Сабля?

— Он с самого рождества такой,— поясняет парень.

— А я и не знал. Никто мне ничего не сказал.

— Как схватило его, так и трясет... Наверное, от нервов.

— То-то я удивлялся, что его не видно.

— Он теперь из дому не выходит... Доктор говорит: уколы помогут... Нет, ты взгляни, что с пальцами у него...

Сабля отрешенно слушает. Оживление встречи прошло, и кажется, наше присутствие утомляет его.

— Мой приятель — друг Виторино,— говорит Луисо,— хотел вас поведать. На несколько дней приехал, скоро обратно во Францию. Я и подумал, что вам будет приятно с ним поговорить...

Старик снова посмотрел на меня. Его лицо не выражало никаких чувств.

— Увидите Виторино, передайте от меня привет,— говорит он.

— Передам.

Сабля говорит очень медленно, он добавляет еще что-то, но я не понимаю.

— Ночью спит, и то трясется,— рассказывает сын.

— Какие уколы ему делают?

— Очень дорогие, из Германии! Хозяин пока что ничего. И врача оплачивает, и лекарства...

За несколько минут темы беседы истощились: говорить не о чем. Луисо достает пачку «идеалес» и пускает по рукам. Очередь доходит до Сабля, тот отрицательно качает головой. Наступает тягостное молчание.

— Разве вы не курите?— почти умоляюще говорит мой приятель.

Старик взглянул на него, и с убийственной ясностью я понимаю, что он уже по ту сторону.

— Больше не курю, Луисо,— говорит он.— Не курю.

8

На обратном пути Луисо рассказывает, что в молодости Сабля был здесь одним из самых сильных людей.

— Даже когда из тюрьмы вышел, всем молодым дуки гнул: как упрет локоть в стол — и хоть ты гресни. Ну, а говорил — одно удовольствие! Мастер был спорить, кого хочешь забьет. На пристани все хозяева его боялись...

Солнце понемногу садится, и дышится как будто легче. Сверканье лучей больше не убивает разнообразия красок, дома уже не такие белые, а синева неба сгущается.

— Мы все тут поспорить горазды, а Сабля всех перешибал. Помню, заключили мы контракт, а хозяин нас обжулить хотел, так Сабля как пошел его честить, как пошел — тот сразу на попятную...

Луисо явно подавлен; я передаю ему свою пачку «житан», он закуривает и молча глотает дым. Его мавританские глаза поблескивают, вверх и вниз ходит на шее кадык.

— Да, не глядила его жизнь,— говорит он.— До войны они с женой держали ларек позади почты, а потом он эмигрировал, пришлось жене продать все задарма...

Мы бесцельно бредем среди мусора и мух, потом мой приятель останавливается и предлагает пройтись по верхним кварталам.

— Как посмотрите на них — решите, что в Индию попали. Мы те места называем Голодная горка.

— Неужели там беднее, чем здесь?

— Слава тебе господи! Мы перед ними прямо попы.

Луисо говорит не без гордости, а я думаю: гостеприимные хозяева в Мадриде или Барселоне показывают свои мешанские, уютненькие квартирки; альмерийцу же нечем похвастаться, кроме как нищетой и запустением. И там и тут повод один, только декорации разные.

Весь вечер мой спутник водит меня по владениям голода и рахита, трахомы и болячек, и голос его дрожит, а лицо светится каким-то странным удовольствием, дикой, отчаянной бесшабашностью. На земле, которая в прошлые века видела цветущую цивилизацию, на земле, где не более восьмидесяти лет назад были фабрики, плавильни и шахты, сейчас царит нищета, и альмериец живет, как раб, как житель угнетенных колоний. За последние пятьдесят лет население Испании удвоилось, но в Альмерии — несмотря на то, что здесь самая высокая рождаемость, — оно сократилось на 0,46 процента. За эти годы двести семь тысяч альмерийцев эмигрировали в Каталонию, во Францию, в Америку, во все пять частей света. По официальным статистическим данным, которые приводит Перес Лосано, из восьмидесяти тысяч жителей города Альмерии десять тысяч «крайне бедных» и семнадцать тысяч «нуждающихся», то есть тридцать четыре процента бедняков.

Луисо ведет меня по лабиринту дорог, и, когда мы поднимаемся до гребня горы, хижины сменяются пещерами, вырытыми в крутом обрыве, — норами без дверей и окон. Играет пустой соской слепой малыш, и кажется, что его выведенные трахомой глаза следят за нами. Каждый год родители вместе с сотнями других калек ведут его к святым местам в Торре Гарсия, чтобы молить об исцелении чудотворный образ святой покровительницы моря. На каменной глыбе кто-то написал: «Гибралтар для Испании!» — и, поймав мой взгляд, Луисо опережает мои мысли:

— А Испания для кого?

Внутри пещер видны искореженные, уродливые тела стариков, женщин, детей. Здесь свирепствуют шизофрения и туберкулез. У обочины дороги, прямо на земле, сидит человек в солдатской рубашке и поглаживает заросшие многодневной щетиной щеки. Волосы завитками свисают на лоб, остекленевшие глаза бессмысленно уставились на нас.

— Наркоман, — доверительно сообщает Луисо. — Только заведется в кармане реал, раздобудет петарду¹ — и сидит вот так целый день. Прошлый месяц шел по улице, поскользнулся и так приложился, что ему потом швы накладывали. Погибает, бедняга, от наркотика...

Тропинка огибает пустующие пещеры, и мой спутник рассказывает, что в предместье очень много курильщиков-наркоманов.

— Будем спускаться, покажу тебе ихний бар, — добавил он, переходя на «ты». — Мы его зовем «Клуб доходяг». Туда и мои дружки ходят.

Мы сворачиваем к овражку и не успеваем пройти несколько шагов, как я замечаю ту старуху, что утром шла с молоком. Она отдыхает на раскладной скамеечке и то ли кого-то проклинает, то ли кого-то тихо зовет.

— Не в себе, — говорит Луисо. — У нее двое сыновей было и обоих в войну потеряла, когда бомбили.

Я вспоминаю копилки для пожертвований, висящие во всех магази-

¹ Так в народе называют сигареты с опиумом и другими наркотиками.

нах и барах Альмерии, надписи: «...из милосердия для бесприютных стариков» — и недоумеваю, почему старуху не устроили в богадельню.

— Монахины берут только тех, кто получает пенсию. Помрет она в своей пещере, никто и знать не будет.

Солнце становится пурпурным, и предместье оживает. Все еще оцепенелая от жары, Чанка начинает понемногу шевелиться. Над башнями Алькасабы выются птицы, улицы полны людей, говора.

Мы вприпрыжку спускаемся по круче, и в низине шум импровизированной толкучки напоминает любое селение Альмерии. Появляются на ослах торговцы-цыгане; но люди не дают себя надуть, и, поторговавшись, цыгане уходят, ничего не выручив. Неподалеку двое мужчин разводят краску, белят глинобитный домик, и Луисо останавливается поболтать.

— Это приятель, из Франции приехал, — объясняет он.

Маляры пожимают мне руку и глядят на меня с завистью и любопытством.

— Да, Франция! — говорят они. — Пожить бы там.

Один сообщает мне, что недавно он подал ходатайство о заграничном паспорте. Лицо у него монгольское, скуластое, а говор напевный, как в Куэвас или Гарруче.

— Я здесь гнить не останусь. Это как пить дать.

— А что Картахенец?

— Ничего не знаем пока.

— Я бы на твоём месте ходил к священнику. Говорят, он здорово помог Луисину мужу.

— Завтра адвокат приедет. Поглядим, что скажет.

— У этих чертей разговор короткий. Я им ни в жизнь не поверю. Когда со мной несчастный случай был, тоже обещали: «Завтра к вам приедет эксперт...» Так и жду до сих пор.

Пока течет наша беседа, шныряющие вокруг ребятишки предместья группой располагаются около нас — послушать, о чем речь, и чирикают, словно стая птиц.

— Это француз, — слышу я. — Французишка...

Луисо и маляры говорят о каком-то Матео, который еще недавно был такой же, как они, а сейчас неожиданно назначен подрядчиком.

— В рубашке родился, — говорит маляр, ходатайствующий о паспорте. — Прошлым летом работы у него было завались!

— Он мне всегда не нравился, — замечает Луисо.

— Что-то, а уж устроиться он умеет. Ты видел, какой у него мотороллер?

— Если Матео там — значит, неспроста. От таких хорошего не жди.

— Я с ним говорил, так он сказал, что сам удивляется.

— А ты больше уши развешивай... Матео всю жизнь норовил на чужом горбу проехаться. Таким рано или поздно узнаешь цену. Сейчас он еще так-сяк, а дальше себя покажет.

— Да, он сейчас — не подойди! — соглашается тот, что ждет паспорта.

— Лет шесть назад с ним Габриэль поцапался... С тех пор они в контрах.

— Я вот что скажу: если человек живет так же поганно, как все, и за одну ночь господином становится — значит, совесть нечиста. Так уж повелось.

Оба маляра смолкают, мой приятель прощается с ними, и мы снова пожимаем друг другу руки. Солнце вот-вот скроется, темно-желтая гора становится бурой. Дети пуляют друг в друга из рогаток. Трусят собаки, что-то вынюхивая. Подгоняемые ветром, мы спускаемся в овраг. Луисо останавливается перед одним из домиков и стучит в дверь.

— Эмилио! Ты дома?

Никто не отвечает, и, нажав ручку, он застывает на пороге. Мужской голос внутри дома торопливо произносит:

— Иду, иду.

Появляется неприятный с виду паренек, он подтягивает брюки.

— А-а! — ворчит он. — Это ты?

— Мне Эмилио нужен, — говорит мой приятель.

— Он в баре. Что-нибудь передать?

— Нет. Зайду к нему в бар.

Луисо резко поворачивается, и, заметив, что он хмурится, я спрашиваю, в чем дело.

— А, черт... — раздражается он. — Понесло меня... Видел?

— Что?

— Эмилио нету, а этот лежит с его женой... — рывкает Луисо. — Так его эдак!

— А кто такой Эмилио?

— Да брат этого. Лежит, понимаешь... Вхожу я, а она простыней закрылась...

9

«Альмерия, — писал арабский географ Мухамед-Аль-Адриси, — была главным городом мусульман во времена господства альморавидов. Ремесла тут были развиты, и среди прочего здесь насчитывалось восемьсот шелкоткацких станков... До нашего времени город славится также изделиями из меди и железа и другими товарами. Прилегающая к городу долина давала большие урожаи фруктов, которые продавались за бесценок. Долина та называется Печиною и находится в четырех милях от Альмерии. Порт этого города принимал корабли из Александрии и Сирии. И не было во всей Испании людей более искусных в ремеслах и торговле, чем здешние жители, приверженные то к роскоши и расточительству, то к стяжательству».

С тех пор прошло девять веков, и история Альмерии свелась к постоянному оскудению — все меньше становилось фабрик, лесов, шахт, людей, — да еще нашествия и катастрофы. Через пять лет после захвата города католическими королями Изабеллой и Фердинандом Иероним Мюнцер, описав его былую славу, замечает, что «большая часть города разрушена и необитаема». Позже Хинес Перес де Ита в «Гражданских войнах Гренады» рассказал о разрушениях и опустошениях, последовавших за восстанием мавров, и о декрете Филиппа III, приказавшего изгнать морисков... Вот почему эта провинция в таком состоянии. Начиная с XVIII века Альмерия превращается в колонию испанских монархов. Редкие попытки восстановительных работ — как, например, проект облесения склонов Сьерра-Кабрера в царствование Карла II — ни к чему не привели. Как свидетельствует «Путевой дневник» доктора Франсиско Переса Баер, конец XVIII века ознаменовался новыми опустошениями. Вырубили леса, а потом английские и французские компании начали планомерно истощать шахты. В XIX веке эмиграция стала обычным явлением. Сорок тысяч альмерийцев поселяются на севере Африки. В 1860 году некий французский географ объехал провинцию, описал ее жалкий образ жизни и заключил так: «Равенство граждан, установленное законом, еще не проникло в отношения людей, и народ Альмерии по-прежнему попирают те немногие, которые по своему богатству или святым в Мадриде оказались истинными хозяевами провинции».

Луисо идет рядом со мной, он погружен в себя. Потом, словно угадав мои мысли, он берет меня за руку и смотрит в глаза.

— Ну вот, ты все повидал. Теперь знаешь, как мы живем.

Он говорит это значительно и печально, а я киваю в ответ. На крутой улице дети швыряют в кошку камнями. Белые стены укрывают от ветра, и мы пользуемся этим, чтобы закутить.

— А французы ходят, фотографируют. А, чтоб их всех!..

Луисо ведет меня той же дорогой, которой я шел утром. Цыган все еще крутит карусель, и мы останавливаемся у киоска выпить пива. Хозяин киоска худощав и смугл, ему лет тридцать. Подавая нам, он спорит с клиентами о футболе и уверяет, что всегда будет болеть за барселонцев.

— В этом «Реале» они все зажирили. Прямо ООН!

— Одна только стоящая команда — «Бильбао», — говорит молодой парень. — Там по крайней мере хоть одни испанцы.

— Был я как-то на барселонском стадионе, — продолжает хозяин. — У моего зятя сезонный абонемент. Ну, команда, доложу я вам, красота!

Они беседуют долго, потом клиенты расплачиваются и расходятся в разные стороны, договорившись встретиться на завтра в баре и послушать трансляцию финального матча на кубок Франко.

— Ну и ну, — говорит Луисо. — Значит, в болельщики записался?

Хозяин зажигает окурок, который был заложен за ухом, и хитро улыбается.

— Надо угождать публике, брат... По долгу службы.

— В Альмерии много болельщиков, — поясняет мой приятель. — Люди мы темные, но Пушкаша или там Ди Стефано каждая собака знает.

— Все газеты виноваты, — говорит хозяин киоска. — Только про футбол и пишут...

— Приманка. Отвлечь нас хотят, а мы ррраз — и на крючке.

— А что ты хочешь? Все люди такие.

— Раньше все шло по-другому...

— Раньше, раньше... Теперь все идем в ногу.

— Вот и я ему говорил. У нас тут не то что во Франции...

— Да, сеньор, да... Про футбол или там бой быков — это пожалуйста, а про что другое...

Хозяин делает многозначительный жест и улыбается.

— Вы из Франции приехали?

— Да.

— У меня там два младших брата и сестра замужем. В городе живут, Нарбонн называется.

— Он живет в Париже.

— Сами-то работаете?

— Да.

— Один мой друг поехал в Париж, чернорабочим нанялся. Ничего у него там не вышло. Сейчас плавает на норвежском танкере.

Видимо, один из тех альмерийцев, что обходят таверны Гамбурга, Амстердама и Гавра. Шумные, живые, низкорослые, горячие. «На нас не потратятся, — сказала мне, смеясь, одна проститутка, — все женам берегут».

— Ну, как у него дела?

— Очень хорошо. Я недавно написал ему, просил меня известить, если найдется свободное место...

— А как же твоя невеста? — спрашивает Луисо. — Куда ее денешь?

— Не знаю. Тоска тут одна...

— Тебе-то еще хорошо, у тебя дом есть.

— Хоть сейчас бери за десять тысяч.

— Ты лучше скажи — за десять миллионов. — Луисо кладет руку мне на плечо. — У нас тут за всю зиму никто тысячной и в глаза не видел.

— Хочешь, пскажу? У меня одна есть.

— Что ты... Я потом не засну, всю ночь проворочаюсь.

— А чего? Жена обрадуется...

— Женись, сам попробуй... Сколько с меня?

— Шесть, а можешь и больше.

— Как же, жди!

— Я заплачу,— вмешиваюсь я,— сейчас моя очередь.

— Согласен,— говорит Луисо.— Пошли домой. По дороге прихватим пару бутылок.

Солнце только что село, и небо чистое, голубое. Птицы летают, пикируют на землю, проносятся над придорожным мусором и вновь взмывают в небо, унося в клюве зерно кукурузы или червяка. Девочка, сидя на земле, грызет кочерыжку. Залатанные штаны и здесь висят посреди улицы. Луисо останавливается у таверны.

— Сюда,— говорит он.— Возьмем красненького литра два, разопьем, так сказать, в кругу семьи.

Несколько человек болтают у стойки. На всех выгоревшая одежда моряков или рыбаков. Один — низенький, русский — говорит горячо, то и дело хватаясь за берет, точно боится его потерять:

— Дождется, доведет он меня...

— А ты поговори с хозяином. Тут криком не поможешь...

— Сегодня утром жена говорит: «Смотри, он опять за свое. Тетя Елена видела, он выливал ведро».

— А может, он ненарочно?

— Да, как же! Ему дом нужен для зятьев. Сам всюду трезвонит: «Не съедут — без крови не обойдется».

— Это верно. Жена слыхала на рынке.

— Пускай не торопится. Может, кровь и прольется, только не моя... Я человек терпеливый, что сам святой, только тут никакого терпения не хватит...

Хозяин слушает его, разинув рот, и, когда мой приятель заказывает вино, он с видимой неохотой идет открывать кран бочки.

— Это мы про Легионера,— поясняет он.

— Вижу.

— Как жена Хуана повесит белье, он на него помой — р-р-раз!

Хозяин опять вступает в беседу, а Луисо берет бутылки и идет к двери.

— Сколько с нас? — спрашиваю я.

— Нисколько. Мы тут платим в конце месяца. Если хочешь, можешь колбасы купить напротив.

Мы так и сделали. и на улице Луисо рассказывает мне трагедию Эмилио. Вечерний свет скрашивает потрепанное лицо Чанки. Ветер установился, и в небе плывет флотилия облачков. Часы показывают половину девятого.

— Умел бы я писать — тысячу страниц исписал бы вот такими историями,— заключил мой приятель, подходя к дому.

10

Дети устраивают нам триумфальный прием. Завидев нас, Канделин и Герман бросаются навстречу и жадно разглядывают свертки.

— А это что? — спрашивает Канделин.— Бобы?

— У нас дети игрушки не любят,— говорит Луисо.— Им бы пожрать.

— Пожрать...— вторит Канделин.

— На Новый год сварили в похлебке три с лишним кило мяса, так они одни кастрюлю уплели.

Пепе ждет нас у дверей хижины, рядом с бабушкой. Он читает.

— Колбас накупил на целый полк,— говорит Луисо.— Где моя Мария?

— Пошла насчет Педро узнать. Скоро будет.

— Я не хотел больше вас тревожить, но Луисо меня просил, и...

— Вот и хорошо. Пепе, дай свой стул сеньору. Садитесь сюда.

Пепе повинуется и, не поднимая глаз, устраивается на полу. Пока нас не было, парикмахер остриг ему кудри, падавшие на лоб, и теперь волосы, как щетка.

— Жить не может без этих рассказней,— говорит бабушка.— Весь день-деньской в них устает и сидит... Господи, что ж у него в голове творится?!

— Что ты читаешь? — спрашиваю я.

Мальчик с видимой неохотой протягивает мне свой комикс:

— Приключения Роберто Алькасара и Педрина...

— Ерунда какая-то,— говорит Луисо.— Ты бы лучше таблицу умножения выучил.

— А я ее знаю.

— Ну, конечно, прямо родился ученый! А как учитель тебя спросит, так ты опять и засыплешься.

— Это все Пакито, он и сам не знал, и меня спутал,— защищается мальчик.

Луисо кладет покупки на стол, берет табурет и садится с нами на свежем воздухе.

— Ну, кого вы видели? — спрашивает бабушка.

— В Риме побывали, а папу не видали,— отвечает Луисо.— Знаешь, у Сабли беда.

— У Сабли? Что с ним?

— Трясучка схватила, прямо подскакивает. Вроде как Виторино, когда силикозом болел.

— А какой сильный был...— вздыхает бабушка

— Смотреть тяжело. Еле языком ворочает.

— А Эмилио? Видели Эмилио?

— Нет. Не застали его.

— Где же вы тогда были?

— На Голодной горке.

— Бедно там живут,— говорит бабушка.

— Да уж, хватает.

— Видно, бог про них позабыл...

Приходит Мария, я поднимаюсь и приветствую ее. Луисо помогает ей снести свертки на кухню.

— Принеси-ка нам пару стаканов, жена,— просит он.

Над Чанкой огромным вороновым крылом спускается ночь. Бесшумно, как домовые, проходят в темноте дети. Пепе все еще читает, почти уткнувшись в книжку, а в хижинах зажигаются первые огоньки.

— На, выпей,— говорит Луисо.— Это здешнее вино, из нашей провинции. Вино хорошее.

Оно красное, терпкое, и я медленно смакую его. Луисо курит, прислонясь к стене.

— Эй, ты,— окликает он мальчика.— Да брось ты этот хлам в конце концов!

— Погоди, сейчас дочитаю.

— Увидел бы твой отец, надавал бы тебе по шее.

Мария засветила на кухне огонь, и Пепе, собрав книжки, идет читать туда.

— Совсем сдурил с этими книжками,— говорит Канделин.

— А ты заткнись. Когда тебя не порят, штаны не снимай.

Канделин смеется и прячет лицо в коленях Луисо.

— Ну, ну, ладно. Пошел бы тете помог.

— Я есть хочу,— пищит малыш.

— Раньше пойдешь — раньше сядем кушать.

Канделин и Герман бегут накрывать на стол, и, потягивая вино, я вижу в слабом свете фонарей семьи, подобно нам расположившиеся в холодке.

— Я вам про мужа своего не говорила? — вдруг спрашивает бабушка.

Глаза ее поблескивают в полумраке, она виновато улыбается.

— Нет, сеньора.

— Его Забиякой прозвали, у них в городе всем смолоду дают прозвища. Наверное, слыхали, место есть такое — Вильярикос.

— Слышал, сеньора.

— Он там и родился. Плавал он, у него и отец был матрос, и братья, царствие им небесное... Не любил он разговаривать, и думали — он дикарь какой, а добрей его на свете не было. Все раздаст. У самого ни гроша, а если кто нуждается, всегда к нему шли. Все отдавал, ничего у него не было...

Бабушка говорит медленно, словно, рассказывая историю Забияки, не столько хочет показать его, сколько нравственно укрепить себя. Улицей проходит водонос.

— Он совсем был неграмотный и в церковь ни разу не сходил... Пришел ко мне как-то дон Фелисиано и говорит: «Ваш муж — еретик, будет после смерти мучаться, вы его убедите, чтоб молился богу и исповедовался...» А сам-то хапуга хапугой, ради богачей на части разорвется, а про нас и слышать не хотел. Я ему и сказала: «Чем тут проповеди проповедовать, брали бы с него пример, потому что мой муж самый христианин и есть, а другие только хвалятся, и если уж кто душу погубит, так это вы с вашими этими латынями, а мой муж — он справедливый и живет по-божески...» Помнишь, Мария?

— Помню, мама.

— Уж я ему наговорила! Ну, больше он к нам не заживал, а на улице вроде бы меня не видел — это, значит, чтобы не здороваться...

Приходит Исавель, бабушка встает, и мы переходим в столовую. Жена Картахенца весь день мыла полы. Дети прыгают вокруг нее, а Герман в конце концов влезает на колени.

— Ой, замучалась! — вздыхает она.

— Мы тут про отца вспоминали,— говорит бабушка.

— Что-то вы сегодня разохались,— замечает Луисо.— Соскучится наш гость.

— Ну что вы! — протестую я.

— Ладно, усаживайтесь,— приглашает Мария,— сейчас несу колбасу.

— Наш друг кое-что принес для детей,— объясняет свояченице Луисо.— Пятнадцать дура потратил, а то и больше.

— Господи! — ужасается она.— Разоритесь тут на нас, во Францию не на что будет вернуться.

Мария подает миску с ужином и повторяет обеденный разговор: как мне будет удобнее есть — на отдельной тарелке или со всеми? Я говорю, что мне по душе общий котел, и в конце концов они соглашаются.

— Муж никогда в политику не мешался.— снова начинает бабушка.

Она сидит с нами, но мысли ее далеко, и краем глаза она следит — слушаю ли я.

— В тридцать шестом году собрали они тут комитет, пришли его звать, а он говорит: «Я на попов не в обиде и зла не хочу». Потом войска

приходят. из комитета этих всех постреляли — и тоже к нему, чтобы, значит, он пошел в фалангисты, а он не хочет. «Уголовники вы», говорит, и все. Помните?

— Да, мама.

— Захотел — тоже бы в гору полез, как другие, а он руду грузил, домой придет — еле дышит. Прямо как нищие жили...

— Вы были в Испании в ту засуху? — спрашивает Мария.

— Был, сеньора.

— А жили где?

— В Барселоне.

— А, в Барселоне... Ну, там дожди. работа есть. В Альмерии мы с голоду пухли.

— Да, тяжкие были годы, — говорит Исавель. — Масло по шестьдесят за литр, а рис двадцать с лишним... В городе половина людей траву ела. Помните, отец в горы ходил с мешком и серпом?

— Помним, мать.

— Дрок собирал, смокву — все, что в наших горах растет... Помню, заболел мой Хуан, так он залез в огород к дону Армандо и накопал картошки две арробы¹. «Откуда ты взял?» — спрашиваю. «Украл», говорит. И как заплачет. Первый раз увидела, как он плачет.

— В жизни так не ела, — говорит Мария. — Мы целое ведро сварили, и даже очистков не осталось.

— Потом наш Хуан поправился, и пошли мы обивать пороги, — говорит Исавель. — Никому не сказали и пошли. Пятнадцать дней обходили хутора, в поле ночевали. все милостыню просили. Другие хозяева как услышат, что мы милостыню просим, так на нас: «Пошли вон, нам лодырей не надо!» Ну, а как увидят, что мы готовы за еду работать, замолчат, корку дадут...

— А мы тут с мужем убивались. всю жизнь ради вас бился, бедняга. Ночью, помню, ворочается, а то на дорогу выйдет посмотреть, не идете ли... Пока вы там ходили, ни минуты спокойно не спал, правда, Мария?

— Да, мать.

— Ну, а вернулись, господи, какое счастье было! У нас с отцом от радости все из рук валилось. Мы уж думали, вы пропали или умерли, а тут прямо чудо — бог вас воскресил...

Бабушкино лицо оживилось от воспоминаний, ребята с любопытством смотрят на нее. Канделин и Герман жадно поедают колбаски. Пепе пользуется тем, что на него не обращают внимания, и читает свой комикс.

— Идем мы с Хуаном в город, а на мосту гражданская гвардия стоит. Думала, так нас обоих и заберут, а они глянули на наши руки, видят, одни мозоли и ссадины — и отпустили нас. Я после узнала: если у кого руки чистые — они их за воров считали. Прикладами лупили, чтобы, значит, сознались, где что украл.

— Да, натерпелись мы тут, — говорит Луисо. — Через день ели. И спереть негде, прямо хоть садись на поезд и поезжай в Гуадис или там в Бенадус...

— В Вильярикосе у детишек у всех животы раздуло, а ножки словно спички, — говорит Мария. — Кто не приторговывал чем на черном рынке, тот и помирал.

— Сколько недель одни апельсины лопали, — говорит Исавель.

— А весной солодковый корень да сахарный тростник... А летом смокву и виноград...

¹ Арроба — 11,5 килограмма.

Луисо перетряхивает свои воспоминания, а бабушка, слушая его, нетерпеливо ерзает на стуле и покашливает, прочищая горло, перед тем как заговорить. Наконец Луисо умолкает, и бабушка тотчас обращается ко мне.

— Муж мой всю жизнь думал: кто как следует трудится, всегда семью прокормит,— говорит она.

Наступает тишина, слышен скрип телеги и голос водоноса.

— Он в себя верил до самого голода, ну, а заболел мой Хуан, он и понял, что не прав... Есть было нечего, сынок наш помирал. Как все, так и он. Только стар он был, не мог себя переделать, ворует, а мучается... Ну, донесли на него, пришли за ним эти самые гвардейцы, а он с ними пошел безо всякого, ничего оправдываться не стал. Говорит, они в своем праве...

Бабушка смотрит на фотографию, висящую на перегородке. Это стертый, пожелтевший снимок: Баталья стоит, скрестив руки, высоко подняв голову, лицо у него робкое и вместе с тем гордое.

— Подержали они его часа два и отпустили. Только он совсем другой стал. Я как его увидела, сразу поняла: подменили, и все. Был такой сильный, смелый, а тут прямо старик. Потом пить начал...— Бабушка показывает пальцем на буфет и быстро оборачивается ко мне: — Видите вон ту бутылку?

— Вижу, сеньора.

— Таких семь штук за полдня выпивал. Сядет к себе в угол и потихонечку, потихонечку...

— Смотреть было больно,— говорит Мария.— Небритый, грязный, прямо нищий...

— Я ему не мешала. Я сразу поняла, он умереть хочет. Пришлось ему воровать, чтоб детей прокормить, испортил он свою жизнь, и больше он жить не хотел; понимаете?

Голос у бабушки дрожит. Пламя свечи колеблет на стене наши гигантские силуэты. На улице мальчишеский голосок выводит слова гимна юных фалангистов.

— Вы уж меня извините... Не хотела я вам надоедать, только вы человек ученый, больше нас знаете, думала: может, объясните...

Бабушка замолчала, словно стесняясь своих слов. Ветер колышет язычок оплывающей свечи.

— Мой муж никогда мне ничего не объяснял. Смолоду все учил меня, как правильно жить, а пришлось ему украсть, и решил он, что лучше ему уйти, а понял ли он чего про эту жизнь — это он с собой в могилу унес...

Бабушка смотрит на меня, и я замечаю, что Луисо, Исавель и Мария тоже смотрят на меня.

— Вот вы много учились, много объездили, так скажите: если кто добрый, порядочный — это мало?

Свеча вот-вот погаснет, и Мария идет на кухню за огнем. Вопрос бабушки несколько минут висит в воздухе — никто на него не отвечает, напряжение спадает, и в конце концов все делают вид, что забыли о нем.

— Ладно,— говорит Луисо, нарушая тишину.— Мы пойдем пройдемся. Захотите выйти — мы до одиннадцати в баре у Луисана.

II

«Клуб доходяг» — суматошное, грязное и темное заведение, — на первый взгляд, ничем не отличается от прочих забегаловок Андалузии. Сюда ходят только поденщики, а то и вовсе безработные, чтобы скоротать время за стаканом или в невеселой беседе. Большинство из них весь день подпирает стены, ожидая нечаянной работенки. Иные разносят пач-

ки рыжего турецкого табака или выкрикивают лотерейные билеты. Все побежденные судьбой обитатели Чанки неизбежно попадают сюда. От нищеты они все на одно лицо, глаза тусклые.

Когда мы вошли, Эмилио рассказывал историю, которую я уже знал от Луисо. Его приятели слушают, не глядя на него,— видно, они уже знают все наизусть. На дружке Луисо драные брюки и сильно поношенная, перекрашенная черная рубаша. Он сухощав, мал ростом, говорит горячо и сильно жестикулирует.

— Говорит, понимаете, что мы с женой живем не в законном браке, и девочку нашу незаконнорожденной признали, и вот уволили меня, я подождал, пока он из дому выйдет, и говорю: «Вы, сеньор Кордона, хуже болячки. Разбили вы мне жизнь, только так это вам не пройдет...» Чтоб меня бог покарал, богородица и все святые — так не пройдет!

Эмилио бьет кулаком по ладони другой руки, бьет раз, другой, третий... На лоб ему падает русая прядь, он резко ее откидывает. Собеседники молча сочувствуют ему.

— Поймаю — на месте уложу... Никуда он от меня не денется...

Эмилио складывает крестом большой и указательный пальцы и страстно целует крест. Мало-помалу слушатели расходятся. Те, что остались, молчат, глядя в пол. Подметая обшлагами брюк землю, подходит молодой парень и протягивает скомканный дуρο.

— Дай-ка мне утешителя...

Эмилио обводит всех безумным взглядом, с трудом приходит в себя и, пошарив в карманах, достает очень тонкую сигарету из коричневой бумаги. Луисо берет меня под руку и тянет в бар.

— Жалко парня,— говорит он.— После этой истории с девочкой его прямо подменили.

За столиками спорят и играют в домино завсегдатаи. Кости раздражающе шелкают о мрамор. Мой приятель ведет меня в единственный свободный уголок, и мы усаживаемся рядом с коротконогим плутоватым человечком, которого Луисо называет Свистком.

— Познакомься с моим приятелем,— предлагает Луисо.

Человечек протягивает мне руку и интересуется, как меня зовут, откуда я прибыл и есть ли у меня родственники в Альмерии. Я машинально отвечаю, и, услышав, что я из Парижа, он загорается и говорит мне, что его друг привез из Франции иллюстрированный журнал.

— Девки все голышом, д-да... Денек бы там пожить!

Свисток — человек веселый и, когда смеется, скалит желтые искрошенные зубы. Луисо заказывает бутылку на тронх, и, когда официант возвращается, мне приходится пустить в ход руки, чтобы удержать Луисо и заплатить самому. Вдруг мне становится грустно, хочется бить кулаком, как Эмилио.

Вино старое, подкисшее; я пью его жадно, чтобы забыться. Дым, крики, стук костей — все смешалось в голове. Потом в бар входит хорошенькая женщина, и Свисток подталкивает меня локтем.

— Видел? Порох, а не баба!

— Кто это? — спрашиваю я.

— Мы ее называем Вдова,— отвечает Луисо.— Ее муж в порту работал.

— Все хорошеет, шельма. Моя жена ее терпеть не может. Ревнует, что я к ней лезу.

— Ты к пугалу полезешь.

— Да нет, довела она меня.. Вот сколочу денжат, покажу ей, что к чему.

— Она баба тертая,— объясняет Луисо.— За двадцать дуро — что твоей душе угодно.

— А, чтоб ее. Родился бы я американским миллионером, как в кино показывают... Или там, к примеру, Кларком Гэйблом¹. Сидел бы, курил сигару. А бабы сами бы звонили: не зайдешь, мол? Не успел повесить трубку, другая звонит, потом третья — и так всю жизнь и наслаждаешься...

— Уж ты выдумаешь, прямо как цыган, — обрывает его Луисо. — Нигде так не живут — ни в Альмерии, ни в Америке, ни в Кохинхине.

— Ах, черт, — не слушая его, гнет свое Свисток. — и чего я не король, или там мавр какой, или султан с гаремом? Рабыни, понимаешь, и Мария Монтеc² для меня одного танцует!

— Тебе кто нужен, Вдова или Мария Монтеc?

— Ей-богу, эта баба мне всю жизнь отравит...

— Чем разговоры разговаривать, дал бы ей сорок дуру.

— Да я сорок тысяч дал бы, только нету... Видал, как смеется? Эх, дай мне только до нее добраться!..

Свисток сиплым фальцетом прохаживается насчет Вдовы, а она перебивается и спорит с мужчинами у стойки. Бутылка кончилась, Луисо заказывает другую. За соседним столиком игроки передают друг другу коричневую сигарету и затягиваются неторопливо, истово, словно причащаясь. Лица острее и потрешанней в тусклом свете лампы.

Я не заметил, как в бар вошла маленькая белокурая женщина. Заметив Свистка, она подходит к нам и хлопает его по плечу.

— Ну-ка, пошел... Спать пора.

Свисток поднимает голову и бессмысленно смотрит на жену.

— Погоди, мать. Я сейчас.

— Ладно, ладно, слышала. Пошли.

— Вот приятель меня утешает. Пять минут посижу...

— Ну, так я обожду тебя здесь.

— Господи, вот Фома неверующий! Не могу же я другу отказать.

— Другу или там бабе паршивой — это я не знаю. Совести у тебя нет, вот что...

— Ох, мать, вечно ты все обостряешь.

Она обращается к нам, призывая нас в свидетели:

— Думает, он барин, а я у него служанка... Ну, нет. Хочешь гулять — гуляй со мной!

— Слушай, мать, иди-ка ты портить людям кровь в другое место.

— Хватит тебе «мать» да «мать». Тоже мне, важная птица... А есть попросишь... Так пойди хлеба купи. У меня денег нету.

Свисток качает головой и, покоряясь судьбе, достает из кармана потрешанный бумажник.

— Бумаг-то, бумаг, прямо министр! — едко комментирует она. — Министр без портфеля.

— Сколько тебе?

— Нет уж, не уйду, не надейся. С места не сдвинусь, пока ты не пойдешь.

Свисток протестует, грозит, но все бесполезно. Она упорно стоит на своем и, как он ни божится и ни клянется в супружеской верности, ему не верит.

— У меня муженек что надо... Вы только подумайте, другие нет-нет да выйдут с женой погулять, а от него жди! Куда мне с таким-то баринном! А для чужих баб все отдаст. Сиди тут, штаны ему чичи, чтоб с голым задом не ходил, а он разным бабам стихи сочиняет: и такие они, и сякие, прямо раскрасавицы...

¹ Кларк Гэйбл — известный американский киноактер.

² Мария Монтеc — известная танцовщица.

В конце концов Свистку приходится уступить, и, не переставая пререкаться, чета скрывается в темноте. За соседним столом все так же ходит по кругу коричневая сигарета, и я понимаю, что в этом темном царстве люди прибегают к наркотикам, чтобы уйти от реальности. Испокон веков одержимые искали средство, которое освободило бы их и перенесло в другой мир. Аптекари, легенды, обряды в какой-то степени помогают хотя бы на время уйти от действительности. А теперь люди Чанки причащаются наркотику. На несколько часов курильщик забывает о том, что ему платят тридцать шесть песет, забывает о ненависти к ближнему, о своих голодных детях. Мало-помалу смягчается его лицо, враждебность сменяется приветливостью, и он улыбается вам ослепительно и дружелюбно.

Мне тоже хотелось затануться, вино было слабое, я выпил залпом стакан. Все, что я видел за день, кошмарным видением всплывало в мозгу. Невысказанные слова жгли губы. Память о неоплаченных обидах не оставляла меня. Альмерия воплощала Великую Язву, и я хотел постичь, почему все так глупо. Кровь у меня кипела, и не от радости. Небо сомкнулось с землей, жизнь казалась безысходной, как тоска после бессонной ночи, я ничего не мог сделать и многое бы отдал за то, чтобы сосредоточиться и понять причины стольких бесполезных страданий, стольких загубленных лет; за то, чтобы взять мой школьный учебник географии и резануть ножом по фразе: «Альмерия — провинция Испании».

Альмерия не провинция Испании. Альмерия — это испанская колония, оккупированная гражданской гвардией. Порабощенный на своей маленькой родине, альмериец эмигрирует, и его эксплуатируют даже в других индустриальных областях самой Испании. Экономическая дискриминация преследует его всюду, где бы он ни искал сносной жизни. Перес Ласано приводит цифры: в Гипускуа средний доход составляет двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь песет; в Альмерии — пять тысяч девятьсот девяносто восемь.

Я думал об этом и о многом другом, когда Луисо поднялся и предложил пройтись... Я тоже хотел на воздух, но в Альмерии мне его уже не хватало. Все мы задыхались, и никто этого не замечал.

12

Несколько минут мы шагали по улицам, которые я уже обошел утром. Луисо хотел познакомить меня с неким Лусиано, которому, по его словам, можно было доверять, и я безвольно ташился за ним, целиком поглощенный мыслями о Великой Язве. Я понял, что до причин не доищешься, если не начать с азав. Чанка — один из тысячи примеров мучительной, давящей действительности. Бешенство мое сменилось недоумением: Луисо проклинал свою и мою судьбу и судьбы наших ближних, а мне казалось, что все это пьяная галлюцинация, чудовищный кошмар.

Таверна показалась мне чем-то знакомой и родной, а когда мы вошли, я узнал в хозяине того лысого густобрового человека, что сражался за республиканцев и которому я отдал пачку «житан».

Он стоял, облокотившись о стойку, в той же позе, в какой я его оставил, и смотрел на меня темными, очень живыми глазами.

— Ну, как погуляли?

Мне показалось, что он рад меня видеть, и по удивленному лицу Луисо я понял, что это и есть его друг.

— ...А, дьявол,— сказал Луисо.— Вы что же, знакомы?

Лусиано достал пачку «житан» и протянул мне зажигалку.

— Он был здесь сегодня утром.

— Вы разговаривали?

— Да, побеседовали малость.

Луисо рассказал ему, как я искал Картахенца, и, усевшись втроем вокруг графина с «альбуньодем», мы обсуждали все, что творится в Испании. Глаза Лусиано блестели, когда он говорил, что такого на свете еще не бывало.

— Вы мне одно скажите,— тихо сказал он, пристально глядя на меня.— Есть еще такая страна, как наша?

Я двинуться не мог от усталости и молчал. Пришли Мария и бабушка, Лусиано встал и повел всех к угловому столику. Женщины улыбались мне как старому другу, а мне хотелось кричать.

— Хорошо погуляли?

— Очень хорошо,— ответил я.

Бабушка смотрела на меня спокойными, ясными глазами, и, вспомнив о письме в Гренобль и о французах, фотографировавших ее, я жадно осушил стакан.

— Который год думаю и что ни день — меньше понимаю,— сказал Лусиано.

Он хотел еще что-то добавить, но передумал и опустил голову.

— Раньше слова что-то значили... Были слова хорошие, были плохие... Ты хоть знал, чего держаться...— Он уставился в пол и, глубоко задумавшись, глотнул слюну.— Теперь не так Читаешь, читаешь — и ничего не разберешь. Теперь плохих слов нету. Одни хорошие.

Лусиано изъяснялся с трудом, и, когда остановился перевести дух, я увидел, что щеки у него в морщинах. Я знал эти следы несбывшихся надежд, ненужной и безнадежной любви. В каждом городе Альмерии есть мужчины и женщины с такими морщинами. Я подумал о Виторино, и мне стало совсем тоскливо.

— Сам знаю, что глупо, только очень мне хочется, чтобы кто-нибудь объяснил мне это. Верили мы во всякие слова, а теперь им грош цена. Слушаешь их каждый день — и не узнаешь...

Лусиано пристально глядел на меня, я увидел боль в его глазах и кивнул головой.

— Вот, например, «мы»... Кто это «мы»? Я читаю: «Мы существуем», «Мы имеем», «Мы делаем», «Мы хотим». А «я»? Меня вроде и чету, я ничего не имею, ничего не могу делать, не хочу я всех этих штук. Есть они. Это ихнее «мы», не наше.

— Так что же нам делать? — спрашивает Луисо.

— В том-то и дело.— Лусиано явно смущен.— С чего начать?

Бабушка наострила уши, но, как и тогда, в полдень, не вмешалась.

— Здесь нельзя рубить плеча,— сказал Луисо.

— Дело нелегкое,— согласился Лусиано.— Нас вроде бы не в чем упрекнуть, а вот каждый виноват.

Понизив голос, он объяснил, что мало быть честным. Я, Луисо, он сам — все мы слишком добрые. Нас бьют, а мы подставляем другую щеку. Спасти нас может только ненависть.

— Не знаю уж, правильно ли я говорю,— добавил он.

Бабушка покачала головой и сказала, что ей такого не понять. Конечно, она мало что видела, кроме своего корыта, всю свою жизнь положила на то, чтобы достать хлеб детям. И всегда старалась помочь ближнему. Бедняки не зря стучались в ее дверь.

— Ненависть? — прошептала она.— На что ж она вам, ненависть?

Нетерпеливо заерзав на стуле, Лусиано сказал, что альмерийцы заслужили свою беду, раз они ее терпят. Он тоже сначала думал, что достаточно быть хорошим мужем, отцом и другом, но теперь решил, что одной порядочности мало.

— Мало мы сделали. Думаем, то да се, а сделали-то пшик... Надо дальше идти.

Луисо поддержал его. Он сказал, что французы в Гренобле тоже виноваты в том, что умер Хуан, а альмерийцы виноваты в том, что случилось с Антонио. Виноваты все, сказал он, и никто не виноват. И тут неожиданно для всех бабушка заплакала.

Это было так внезапно, что, увидев слезы, благородно струившиеся по ее щекам, я не сразу понял, чем они вызваны. Прекрасное лицо бабушки не выражало душевной боли, вообще не выражало страдания. Напротив, оно светилось чудесным спокойствием, но сверкающие и безудержные слезы текли, и никто не решился кощунственно протянуть платок.

Я думал о Чанке, о населяющих Чанку обездоленных, и немые слезы бабушки капали на мою душу. Непользованная сила жила в нас и, может быть, помогла бы нам подняться до героизма. Луисиано и Луисо говорили об этой силе, не называя ее. А имя ей — единство.

Еще довольно долго — пока я накачивался «альбуньодем» — говорили об Альмерии и ее жителях, о голоде и несправии, о страхе и несправии, о страданиях и несправии, о смерти и несправии, и Луисиано зло пил вино и повторял:

— Нету деревьев, понимаете? Деревьев нету...

Я пришел в себя, когда бабушка неумело вытерла слезы и обратилась ко мне:

— Помните, французы приходили, снимали нас на карточку?

Я посмотрел в ее голубые, почти детские глаза. Бабушка глядела прямо перед собой, и лицо ее светилось по-новому.

— Помню, — ответил я.

— Порой сама не ведаешь, что творишь... Пришли бы они сейчас, в глаза бы им плюнула.

13

В темноте Чанка — настоящее волчье логово. Взбираться по склону опасно, фонарей все меньше, а угрожающая тишина дрожит и вибрирует в воздухе. В ту ночь тоскливо гудел ветер. Луна скрылась за тучами, и приходилось двигаться ошупью. Вино сразило меня. Я смутно понимал, что ноги отказываются мне служить. В голове вертелись трое сердцеведов с бульвара, и гид, в чьих жилах текло веселье, и слезы бабушки, и заголовки газет. Слова моего друга доносились откуда-то издалека, и мне казалось, что я сам их выдумываю.

— Виторино, — позвал я. — Ты меня слышишь?

— Да, — ответил он.

— В Альмерии больше нет ни солнца, ни воздуха...

— Да.

— Мне страшно, слышишь. Виторино...

— Да.

— Я больше не хочу ее видеть... Надо вернуть ей воздух.

— Да.

— Нет деревьев, понимаешь? Нету деревьев..

Виторино все понимал и помог мне лечь в постель. Он сел рядом и, кажется, смотрел на меня с любовью.

— Спи, — сказал он.

Я послушался, а когда проснулся, уже занималась заря. Никакого Виторино не было. не было и гостиницы. Луисо с женой крепко спали на полу, и солнце нового дня золотило небо Чанки.

Перевел с испанского А. Макаров



В. РАДКЕВИЧ

★

ТРАКТОРИСТКА

Девчонкою испуганной и тоненькой
Она была, когда ее портрет
Я увидел впервые в кинохронике
Тех памятных послевоенных лет.

Тогда в селе невесты не невестились,
И русской обескровленной земли
Мужичьи тревоги и профессии
Всей тяжестью на женщин легли.

Ее в то время выдвигали, видимо.
И вот, попав однажды в колею,
Она, еще робея, шла в президиум
И для газет давала интервью.

Чья голова от славы не закружится?
Она ж — совсем девчонкою была!
А после — неудачное замужество.
Бессрочные домашние дела.

— Эй, делегатка! — муж гогочет, гешится.—
Слетай за водкой... сала, што ль, поджарь... —
Не для нее пред выступленьем тезисы
Теперь писал партийный секретарь.

Она сроднилась с бедностью, как с гордостью.
И так, по той утоптанной стезе,
Прошли года. И списан за негодностью
Друг молодости — трактор ХТЗ.

Но как-то раз весною у околицы.
Когда прохожих ливень гнал в жилье,
Мне встретились две ясноглазых школьницы,
Две возрожденных юности ее.

Как листья, липли к телу платья влажные.
Но, видно, все им было нипочем!
Они с землею этой были связаны
Рождением, детством, радугой, дождем.

Ну, а земля дымилась, плодородная.
И жизнь бродила в каждом стебельке.
И первый гром, как слава всенародная,
Опять искал кого-то вдалеке.

П О У Б Л И Ц И С Т И К А

НАЧАЛО ПУТИ

Автобиографические высказывания В. И. Ленина

(1886—1893)

Юность Владимира Ильича — это юность нашей Коммунистической партии, крепнувшей и зревшей в могучем резонансе с ходом его великой жизни.

Г. Кржижановский.

Жизненному и революционному пути В. И. Ленина посвящена обширная научная и мемуарная литература. Однако еще никогда не сводились воедино автобиографические высказывания Владимира Ильича. Между тем, пусть во фрагментах, отрывках, набросках, а подчас и отдельных строках или лаконичных записях Ленин не раз вспоминает характерные эпизоды своего жизненного пути. Автобиографические высказывания Владимира Ильича мы находим в его книгах и статьях, докладах и речах, письмах к родным и официальных документах, беседах с близкими и друзьями. Эти высказывания охватывают ленинскую революционную деятельность — от первого ареста в 1887 году до начала 1923 года, когда уже тяжело больной Владимир Ильич диктует последние заветы товарищам по партии...

Чтобы обилие и многообразие автобиографических высказываний Ленина было, по его выражению, «доказано документально и показано наглядно», мы приведем далее все или по крайней мере все основные из них в возможном более полном виде. Только тогда читатель составит себе самостоятельное представление и об этой немаловажной части ленинского наследия. Она значительно более широка и многообразна, чем принято думать. Ведь даже такой осведомленный биограф Ленина, как Б. М. Волин, считал, что лишь одно-единственное, по его характеристике, «незаконченное письмо — в сущности, почти все, что известно из написанного самим Владимиром Ильичем о раннем периоде его жизни» (Б. Волин. Студент Владимир Ульянов, М. 1958).

За последние годы опубликовано столько новых материалов о Ленине, что, даже ограничив данный исторический период лишь 1886—1893 годами, мы насчитаем свыше ста пятидесяти самых разнообразных — документальных и устных — ленинских автобиографических высказываний и свидетельств. Это рассказы Ленина о себе, о своем прошлом, о своих впечатлениях и переживаниях родным — жене, матери, сестрам и брату, — друзьям детства и юности или товарищам по революционной борьбе. Это и беседы с менее близкими ему собеседниками и корреспондентами, порой даже не единомышленниками, а идейными противниками. Устными рассказами Владимира Ильича, воспроизведенными мемуаристами, достоверность свидетельств которых не вызывает сомнений, дополняются аутентичные ленинские записи в его собственных воспоминаниях, дневниках, письмах и различных документах.

Задача данного обзора — в отличие от других общих и специальных биографических работ — ограничена хронологической систематизацией и кратким комментированием автобиографических ленинских высказываний, разбросанных по множеству самых разнообразных источников, не всегда доступных читателю-неспециалисту. Комментарий опирается на научную биографию В. И. Ленина, изданную Институтом марксизма-ленинизма¹. Составлен обзор Б. Яковлевым.

¹ П. Н. Поспелов, В. Е. Евграфов, В. Я. Зевин, Л. Ф. Ильичев, Ф. В. Константинов, А. П. Косульников, З. А. Лёвина, Г. Д. Обичкин, П. Н. Федосеев. Владимир Ильич Ленин. Биография. Изд. 2-е. М. 1963.

НЕЗАКОНЧЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Двадцать дней спустя после возвращения Ленина в Россию весной семнадцатого года солдаты Восьмой конно-артиллерийской батареи действующей армии ввиду того, что, по их выражению, «происходит много трений» относительно вождя большевиков, запрашивают от Петроградского Совета ответ на волнующие их вопросы. Письмо пересылают Владимиру Ильичу. Он тотчас же отвечает:

— Товарищи! Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов переслал мне Ваше письмо от 24 апреля 1917 г. Вы спрашиваете в этом письме, «какого я происхождения, где я был; если был сослан, то за что? Каким образом я вернулся в Россию и какие действия я проявляю в настоящий момент, т. е. полезны они (эти действия) вам или вредны».

Отвечаю на все эти вопросы, кроме последнего, ибо только вы сами можете судить, полезны вам мои действия или нет.

Зовут меня Владимир Ильич Ульянов.

Родился я в Симбирске 10 апреля 1870 года. Весной 1887 г. мой старший брат, Александр, казнен Александром III за покушение (1 марта 1887 г.) на его жизнь. В декабре 1887 г. я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения; затем выслан из Казани.

В декабре 1895 г. арестован второй раз за социал-демократическую пропаганду среди рабочих в Питере...

На этом незаконченная автобиография Ленина, лишь в 1962 году включенная в текст Полного собрания его сочинений, обрывается. «По-видимому,— как говорится во вступительной заметке к первой публикации,— недостаток времени не позволил Владимиру Ильичу закончить его запись о самом себе» («Правда», 16 апреля 1927 года)¹.

Другие ленинские документы как бы продолжают оставшийся незаконченным набросок. Особое место среди них занимают различные анкеты. Свыше десяти из них Ленин заполняет в 1917—1922 годы. И все они содержат интереснейшие подробности. Вот 7 марта 1921 года Владимир Ильич, делегат X съезда партии, отвечает на вопрос:

— Какие местности России знаете хорошо и сколько лет там прожили?

— Лучше других Поволжье, где родился и жил до 17 лет.

В другой анкете — «для перерегистрации членов Московской организации РКП(б)», — отвечая на аналогичный вопрос, Ленин пишет: «Жил только на Волге и в столицах».

«Личное дело» члена РКП(б) В. И. Ульянова (Ленина).
М.—Л. 1926.

Владимир Ильич имеет в виду лишь жизнь в Симбирске, который он покидает в 1887 году. Ведь Самару — после Казани, Кокшетаки и Алакаевки — он оставит осенью 1893 года и проведет, таким образом, на Волге в общей сложности не семнадцать лет, а около двадцати четырех. Но особенно интересны в той же анкете записи об участии в революционном движении — с 1892 года вплоть до возвращения в Россию из эмиграции:

1892—1893 Самара
1894—1895 Петербург
1895—1897 Тюрьма
1898²—1900 Сибирь ..
1900—1905 за границей
1905—1907 Петербург
1908—1917 за границей...

«Ленинский сборник» XX М 1932.

«Поволжье», «Самара», «Петербург», «Тюрьма», «Сибирь»... Перед нами словно названия основных глав автобиографии Владимира Ильича. Воспользуемся его периодизацией и расчленим наш обзор по этапам, на которые он подразделяет тридцатилетие между 1887 и 1917 годами.

¹ Здесь и далее ссылки даются как правило на первые публикации источников, дающие появление того или иного документа в научном обиходе.

² Описание: следует — 1897.

ПОВОЛЖЬЕ

Статья Н. К. Крупской «Детство и ранняя юность Ильича» — главный источник фактивных автобиографических высказываний Ленина о симбирском периоде его жизни. Надежда Константиновна записала в общей сложности более двадцати его рассказов об отрочестве и юности. Она прямо заявляет, что пересказывает главным образом то, что слышала от самого Владимира Ильича «Правда,— замечает она,— поглощенный революционной деятельностью, он мало пускался в воспоминания,— так, при случае что-нибудь расскажет. Но мы были с ним люди одного поколения (я на год старше его), росли приблизительно в одной и той же среде... так называемой «разночинной интеллигенции». Поэтому его воспоминания, хотя и отрывочные, мне говорили об очень многом». Приведем несколько записей Крупской:

...Ильич вспоминал, как волновался Илья Николаевич, когда пришла весть об убийстве Александра II, надел мундир и пошел в собор на панихиду. Ильичу было тогда только одиннадцать лет, но такие события, как убийство Александра II, о котором все кругом говорили, которое все обсуждали, не могло не волновать и подростков. Ильич, по его словам, стал после этого внимательно вслушиваться во все политические разговоры...

Ильич рассказывал, что, когда ему было лет пятнадцать, у отца раз сидел какой-то педагог, с которым Илья Николаевич говорил о том, что дети его плохо посещают церковь... Ильича, присутствовавшего при начале разговора, отец услад с каким-то поручением. И когда, выполнив его, Ильич проходил потом мимо, гость с улыбкой посмотрел на Ильича и сказал: «Сечь, сечь надо». Возмущенный Ильич решил порвать с религией, порвать окончательно; выбежав во двор, он сорвал с шеи крест, который носил еще, и бросил его на землю...¹

...Ильичу ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить о тех мыслях, которые зародились у него. В гимназии он не находил никого, с кем бы можно было поговорить об этом. Он рассказывал как-то: показалось ему, что один из его одноклассников революционно настроен, решил поговорить с ним, сговорились идти на Свяягу. Но разговор не состоялся. Гимназист начал говорить о выборе профессии, говорил о том, что надо выбрать ту профессию, которая поможет лучше устроиться, сделать карьеру. Ильич рассказывал: «Подумал я: карьерист какой-то, а не революционер» — и не стал с ним ни о чем говорить...

...Ильич всегда очень любил мать, но особенно ценил он ее в годы ее тяжелых переживаний. В 1886 году умер Илья Николаевич, и Ильич рассказывал мне, как мужественно она переносила смерть мужа, которого так любила, так уважала. Но особенно стал Илья вглядываться в мать, понимать ее после гибели брата.

...Ильич не раз говорил о матери, о том, какая громадная была у нее сила воли, говорил как-то: «Хорошо, что отец умер до ареста брата, если бы был жив отец, просто не знаю, что и было бы».

«Большевик», 1938, № 12.

Аналогичные рассказы Ильича о его юности воспроизведены Крупской и в ее «Воспоминаниях о Ленине»:

...когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось «общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы... Эта всеобщая трусливость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатле-

¹ В сокращенной форме этот же рассказ передает и Г. М. Кржижановский: «Он говорил мне, что уже в пятом классе гимназии он резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в мусор» (Г. М. Кржижановский. О Владимире Ильиче. М. 1924) В анкете Всероссийской переписи членов РКП(б), проводившейся в 1922 году, Владимир Ильич на вопрос: «Если Вы неверующий, то с какого возраста?» — пишет: «с 16 лет», датируя, таким образом, эпизод, рассказанный им Н. К. Крупской и Г. М. Кржижановскому 1886 годом, то есть не пятым, а седьмым классом симбирской гимназии (см. «Личное дело» члена РКП(б) В. И. Ульянова (Ленина)». М.—Л. 1926, приложение 2).

ние... Юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к «обществу», к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни...

Владимир Ильич очень любил брата... Вот, что рассказывал Владимир Ильич:

Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. «Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда. — рассказывал Владимир Ильич. — революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей». Скоро он увидел, как он ошибся.

Н. К. Крупская. Воспоминания. М. 1925.

О своей беседе с Лениным об Александре Ильиче рассказывает и участник самарских марксистских кружков начала девяностых годов И. Х. Лалаянц:

...в единственном в Самаре разговоре Владимира Ильича со мной на тему об участии его брата в деле 1 марта 1887 года он мне говорил, что для него, как и для всей их семьи, это участие явилось полнейшей неожиданностью, тем более что брат, как студент-естественник, всецело ушел в свои научные и практические занятия по естествознанию. — к тому же по своим социально-политическим взглядам считал себя марксистом.

И. Х. Лалаянц О моих встречах с В. И. Лениным за время 1893--1900 гг. «Пролетарская революция», 1929. № 1.

Автобиографичны заключительные строки книги «Что делать?», в которых Ленин характеризует свое поколение революционных социал-демократов:

— Многие из них начинали революционно мыслить как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными Народной воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали.

В. И. Ленин Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Штуттгарт. 1902.

— Этот абзац — кусок биографии Владимира Ильича, — отмечает Надежда Константиновна.

Н. К. Крупская. Воспоминания.

Особенно много рассказов Ильича о своей юности Н. К. Крупская слышит в дни сибирской ссылки:

— И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича. «Сначала отец нас обыгрывал, — рассказывал Владимир Ильич, — потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз — мы наверху жили — встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел... «Одно время, — рассказывал другой раз Владимир Ильич, — я очень увлекался латынью». — «Латынью?» — удивилась я. — «Да, только мешать стало другим занятиям, бросил».

Т а м же.

Одно из воспоминаний Ленина о его жизни в Поволжье еще до ареста Александра Ильича, то есть, видимо, в 1885—1886 годах, записывает И. Ф. Попов, представлявший ЦК нашей партии при Международном Социалистическом Бюро в Брюсселе. Приведенные в записи ленинские высказывания датируются январем 1914 года:

— Вы на Волге бывали? Знаете Волгу?.. Широка! Необъяснимая ширь... Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке, далеко, очень далеко уезжали...

и над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня... И песни же у нас в России!¹

«Октябрь», 1959, № 3.

Уже в юности формируются ленинские интернационалистские взгляды, непримиримые ко всем формам национальной вражды. Воспоминаниями о быте и нравах тех лет Владимир Ильич делится с партией в своем известном политическом завещании. 31 декабря 1922 года он диктует:

...стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, — как «кавказский человек».

«Коммунист», 1956, № 9².

К симбирским воспоминаниям Ленин обращается и в Сибири. 15 ноября 1898 года он пишет из Шувенского матери, а 26 января 1899 года младшему брату:

...по случаю наступления зимы я вместо охоты начинаю заниматься коньками: вспомнил старину, и оказалось, что не разучился, хотя не катался уже лет с десяток...

На коньках я катаюсь с превеликим усердием... Старое умение все же не забывается...

«Пролетарская революция», 1929, №№ 5 и 6.

Двадцать четвертого февраля 1913 года из Кракова Ленин сообщает Марии Александровне:

— У нас чудесная зимняя погода без снега. Я купил коньки и катаюсь с большим увлечением: Симбирск вспоминаю и Сибирь. За границей никогда не катался...³

Там же, 1930, № 4.

Один из самых ранних рассказов Владимира Ильича воспроизводит двоюродный брат Ленина — Н. И. Веретенников:

— Повествуя о гимназии, Володя рассказал мне такой случай

На уроках новых языков соединяли основной и параллельный классы в один, и вот первый ученик параллельного класса (кажется, Пьеро) просит у него списать слова к немецкому переводу.

— И что же, — спрашиваю, — ты дал?

— Конечно, дал... Но только какой же это первый ученик?

¹ Эти ленинские высказывания следует сопоставить с воспоминаниями И. Я. Яковлева — близкого друга И. Н. Ульянова, с 1876 года инспектора чувашских школ и директора чувашской учительской семинарии в Симбирске. «Когда наступали летние каникулы, Саша Ульянов... устраивал особые прогулки вниз по Волге... В пути пели волжские песни. Подобные путешествия, в которых принимал деятельное участие и Володя Ульянов, длились с неделю, а иногда и более. В конце их лодка продавалась. Путешественники на пароходе возвращались в Симбирск с запасом новых впечатлений и воспоминаний» (запись воспоминаний И. Я. Яковлева, сделанная А. В. Жиркевичем. Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске. См. «Молодые годы В. И. Ленина», М. 1960).

² «Волжские» воспоминания в данном случае означают симбирские. Это подтверждает Н. К. Крупская: «.. Владимир рассказывал мне как-то об отношении симбирских обывателей к нацменам. «начнут говорить о татарине, скажут презрительно «князь», говорят об еврее — непременно скажут «жид», о поляке — «полячишко», об армянине — «армяшка» («Большевик», 1938, № 12).

³ В последнем случае Владимир Ильич не совсем точен. За границей он однажды катался на коньках и до зимы 1913 года. По воспоминаниям делегата Пражской конференции Е. П. Онуфриева, поселившегося в Праге на одной конспиративной квартире с Лениным, он, глубоко тоскуя «по России, по родной русской природе... любил вспоминать о Волге, о русской зиме, о трескучих русских морозах». После одного из заседаний конференции Владимир Ильич отправился на каток и очень простудился (см. Е. Онуфриев Встречи с Лениным. Воспоминания делегата Пражской партийной конференции. М. 1959).

— Так неужели,— спрашиваю,— с тобой никогда не бывало, что ты урока не приготовил?

— Никогда не бывало и не будет! — отрезал Володя. (Ему вообще были свойственны подобные короткие и решительные формулировки.)

Записи Н. И. Веретенникова сохраняют и другие рассказы юного Владимира Ильича. Они дают представление о круге его чтения и отношении к симбирским педагогам:

...Володя сказал мне как-то, что среди литературных типов он особенно ценит тех, кто обладает твердостью и непоколебимостью характера. Так, он обратил мое внимание на рассказ Тургенева «Часы», тогда мне еще не известный. Прочитав этот рассказ, я понял, что Володе должен был понравиться герой рассказа Давид, причем именно за характер его.

Когда, кажется, на следующее лето, я спросил Володю, потому ли нравится ему этот рассказ, он мне ответил утвердительно, говоря, что такие люди, как Давид, достигают всего, к чему стремятся¹.

...В другой раз я высказал недовольство моим старшим братом Александром, преподавателем древних языков, находя, что дико заниматься таким делом, как древние языки. Но Володя заступился за Александра, сказав, что как-то случайно, в Симбирске, в его классе, вместо их заболевшего преподавателя латыни, давал уроки мой брат и эти уроки были очень интересны.

Рассказывал Володя и о других симбирских преподавателях, например: об учителе математики Степанове, который не выговаривал букву «р», и когда ученик не знал урока, то попрекал: «Что, бьятец, учёка ты не знаешь. Видно. «по Свяяге я пойду, юки в боки подопью» — очевидно, намекая на прогулки по берегу реки Свяяги и по симбирским бульварам.

Очень хвалил Володя учителя немецкого языка Штейнгауэра и бранил учителя французского языка — Пору².

Н. И. Веретенников. Детские годы В. И. Ульянова (Ленина) в Кокушкине. «Красная новь», 1938, № 5.

В «Списке учеников VIII класса Симбирской гимназии... подвергавшихся испытанию зрелости в 1887 году и имевших желание поступить в какой-нибудь университет или факультет или высшее училище по факультетам» к Владимиру Ульянову относится такая запись:

— Желаю поступить в Казанский Университет в юридический факультет.

В. Д. Бонч-Бруевич. Документы о юношеских годах В. И. Ульянова (Ленина). «Молодая гвардия», 1924, № 1.

Семнадцатилетний Владимир Ильич объясняет, почему он избрал для продолжения образования именно юридический, а, скажем, не математический или историко-филологический факультет:

— Теперь такое время, нужно изучать науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал бы другие науки...

Н. Веретенников. Володя Ульянов. Воспоминания о детских и юношеских годах В. И. Ленина в Кокушкине. М. 1960.

¹ Другая запись принадлежит Н. К. Крупской: «Когда Ильичу было 14—15 лет, он много и с увлечением читал Тургенева. Он мне рассказывал, что тогда ему очень нравился рассказ Тургенева «Андрей Колосов», где ставился вопрос об искренности в любви» («Большевик», 1938, № 12).

² Об отношении брата к этому преподавателю симбирской гимназии рассказывает и Анна Ильинична (А. И. Елизарова. О жизни Владимира Ильича Ульянова Ленина в Казани (1887—89гг.). «Молодая гвардия», 1924, № 2—3).

КАЗАНЬ

В середине августа 1887 года Ленин поступает на юридический факультет Казанского университета, а три месяца спустя — 5 декабря того же года — исключается из числа его студентов вместе с другими наиболее активными участниками студенческих волнений:

— 1887 арест — так весной 1921 года в уже приводившейся анкете Владимир Ильич начинает ответ на вопрос: «Подвергались ли репрессиям за революционную деятельность?»

В анкете Всероссийской переписи членов РКП(б), заполняя графу об участии в студенческих движениях, он пишет: «(1887)».

«Личное дело» члена РКП(б) В. И. Ульянова (Ленина).

Об участии Ленина в революционном выступлении студентов Казанского университета мы уже знаем из скупых строк незаконченной автобиографии:

— В декабре 1887 г. я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения; затем выслан из Казани...

«Правда», 16 апреля 1927 года.

Напомним, что, не дожидаясь исключения, Владимир Ильич, протестуя против жандармской расправы над революционным студенчеством, полагает ректору Казанского университета такое «Прошение», которое скорее следует назвать обвинительным актом:

— Не признавая возможным продолжать мое образование в Университете¹ при настоящих условиях университетской жизни, имею честь... просить... сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов...

Студент 1-го семестра
юридического факультета
В л а д и м и р У л ь я н о в.

Казань. 5 декабря 1887 года.

«Известия», 24 сентября 1946 года.

К сожалению, не сохранился принадлежавший самому Ленину подробный очерк событий. Его содержание освещают лишь воспоминания Анны Ильиничны, сосланиной после казни Александра Ульянова в Кокушкино, неподалеку от Казани. По ее рассказу, Владимир Ильич однажды написал письмо товарищу по гимназии, поступившему в один из южных университетов. В письме этом — «с очень резкими... выпадами по адресу инспектора и других властей предержавших» — излагалась вся история казанских студенческих «беспорядков». Анна Ильинична доказывает младшему брату, как опасен бесплодный риск новых репрессий, которые он чуть было не навлек не только на себя, но и на своего товарища. Он «призадумався, а потом довольно быстро согласился с этим последним соображением, пошел в кухню и вынул, хотя и с видимым сожалением, злополучное письмо»².

Несколько месяцев спустя Владимир Ильич уничтожает недостаточно конспиративное письмо, а вместе с ним и увлекательные страницы своих юношеских воспоминаний.

Весной 1905 года, после восьмимесячной работы в подпольном Казанском комитете РСДРП, В. В. Адоратский добирается до Женевы и несколько раз беседует с Ильичем.

— Во время разговора, узнав, что я окончил юридический факультет Казанского университета, Владимир Ильич стал расспрашивать о профессорах, читавших там еще в те времена, когда он в осенний семестр 1887 г. был в Казанском университете. Некоторые из этих профессоров читали лекции еще и в начале 900-х годов («Помнится, он вспоминал Н. П. Загоскина (профессор истории русского права), а также Рейнгардта — присяжного поверенного и редактора казанской газеты «Волжский Вестник», — пишет мемуарист в дополнительном примечании к отдельному изданию своих воспоминаний).

В. Адоратский. К вопросу о научной биографии Ленина. М. 1933

¹ Ошибка первой публикации исправлена по тексту первого тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина (см. стр. 551).

² А. И. Елизарова. О жизни Владимира Ильича Ульянова Ленина в Казани (1887—89 гг.). «Молодая гвардия», 1924, № 2—3.

Владимир Ильич вспомнил, между прочим, один случай в связи со студенческими беспорядками, случившимися в конце 1887 г. ...Он помнил один разговор с арестованным его приставом, который вез его на извозчике. Владимир Ильич так живо рассказал мне этот разговор, что он мне врезался в память. Видимо, приставу, судившему по наружности молодого студента, которому было тогда всего 17 лет, показалось, что этот молодой человек попал в историю случайно, благодаря «дурным» влияниям товарищей. Пристав заговорил: «Ну что вы бунтуете, молодой человек, — ведь стена!» Ответ, однако, получился совершенно неожиданный: «Стена, да гнилая, — трни, и развалится!» — отвечал Владимир Ильич. Приставу оставалось только ужаснуться такой нераскаивности и закоренелости...

В. В. Адоратский. За 18 лет (Встречи с Владимиром Ильичем). «Пролетарская революция», 1924, № 3.

Диалог Ленина с приставом широко известен. Его следует дополнить записью беседы в тюремной камере, где арестованные студенты обсуждали свои планы после освобождения или высылки из Казани. По рассказу одного из них, Ленин, снова вспоминая о судьбе Александра Ильича, сказал:

— Мне что ж думать... Мне дорожка проторена старшим братом...

Стихли шум и смех, вспомнили, что всего ведь полгода назад старший Ульянов погиб на виселице за покушение на Александра III... И жутко и неловко стало всем от этого простого, без всякой аффектации ответа.

Б. Волин. Студент Владимир Ульянов. М. 1958.

КОКУШКИНО

В Кокушкино Ленина высылают через три дня после сходки — 7 декабря 1887 года. На этот раз воспоминания Владимира Ильича о кокушкинской зиме, да и последовавших за ней лето и осени, которым принадлежит такая большая роль в его духовном развитии, сохраняет запись В. В. Воровского, сделанная после беседы Ленина с ним, С. И. Гусевым и Н. Валентиновым в Женеве зимой 1904 года. Запись эта, которую мы воспроизводим полностью, представляет собой едва ли не самое красноречивое и обширное из всех ленинских автобиографических высказываний о 1886—1893 годах:

— Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве и литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, и так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал замечательные по глубине мысли обзоры многосторонней жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашником» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический галант — меня

покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти. Чернышевский, подавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных инносказательно, в полунамеках. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, пронизательностью и силой, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма.

В бывших у меня в руках журналах, возможно, находились статьи и о марксизме, например, статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать — читал ли я их или нет. Одно только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это нагнали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее, влияние имел на меня только Чернышевский и началось оно с «Что делать?». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского, как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили, как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода». Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было.

Н. Валентинов. Встречи с В. И. Лениным. Нью-Йорк. 1953.
«Вопросы литературы», 1957, № 8.

Художественные произведения Чернышевского юный Владимир Ильич ценит не меньше его философских и публицистических трудов. Другой участник той же беседы — Н. Валентинов — записывает такой примечательный диалог Ленина с ним самим — будущим меньшевиком и махистом:

— ...«Что делать?» Чернышевского? — Диву даешься, — сказал я, — как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же самое время претенциозное...

Ленин до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул закрипел...

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил он мне. — Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным

произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса? Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать?» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал, — сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делали революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что делать?»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

Н. Валентинов. Встречи с В. И. Лениным. Нью-Йорк. 1953. «Вопросы литературы», 1957, № 8.

Беседует тогда Ленин и с М. М. Эссен. Возвращаясь все к тем же кокушкинским воспоминаниям, он сообщает:

— Я роман «Что делать?» перечитал за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли.

М. Эссен. Встречи с Лениным. М. 1959.

В 1930 году Надежда Константиновна посвящает большую речь громадному, по ее выражению, влиянию Чернышевского на Ленина:

— В своих статьях и книжках Владимир Ильич никогда прямо не говорил об этом влиянии, но каждый раз, когда он говорил о Чернышевском, его речь вспыхивала страстностью. Когда просматриваешь сочинения Владимира Ильича, то видишь, что те места, в которых он говорит о Чернышевском, написаны как-то особенно горячо... В этой характеристике есть автобиографический момент.

Как личность, Чернышевский повлиял на Владимира Ильича своей непримиримостью, своей выдержанностью, тем, с каким достоинством, с какой гордостью переносил он свою неслыханно тяжелую судьбу. И все то, что сказано о Чернышевском Владимиром Ильичем, дышит особым уважением к его памяти... В примере Чернышевского черпал он силу и повторял очень часто, что революционный марксист должен быть готов всегда на все.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Вып. I. М. 1930.

АЛАКАЕВКА

Из Казани Ульяновы уезжают в начале мая 1889 года. О 1889—1893 годах Ленин пишет, по его выражению, «из проклятого далека, из постылой эмигрантской «заграницы». 26 февраля 1902 года в письме М. А. Ульяновой в Самару из Мюнхена он поручает младшей сестре:

— Пусть передаст от меня большущий привет обитателю «соседнего хуторка», очень я рад, что нашелся старый знакомый, с которым мы, бывало, много хороших вечеров провели. Надеюсь вскоре написать ему обстоятельное письмо.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Второго апреля по тому же адресу отправляется новый запрос:

— Передала ли Маняша мой большой привет «старому знакомому», которого я навещал в хуторке? Очень был я рад вести о нем.

Т а м ж е.

Проходит еще восемь лет. 2 мая 1910 года Ленин просит на этот раз старшую сестру:

— Алакаевскому соседу передай мой большой привет, если тебе удастся его увидеть. Жаль, что он такой абсолютный враг переписки, а то приятно было бы хоть изредка иметь весть «из глубины России» про то, что делается в новой деревне. Сведений об этом мало и просто побеседовать даже с знающим человеком было бы очень приятно.

«Пролетарская революция», 1930, № 4.

Кем же был этот, из конспиративных соображений не названный в ленинских письмах, поселившийся, по крылатому слову Некрасова, «во глубине России», обитатель «соседнего хуторка», «старый знакомый». «алакаевский сосед», «абсолютный враг переписки» и «знающий человек»? Это — А. А. Преображенский, которому весной 1905 года адресует еще одно ленинское письмо:

— Дорогой товарищ! Получили Ваше письмо и очень рады были весточке... Крепко жму руку. Ваш Ленин, бывший сосед по хутору.

Жив ли тот радикал-крестьянин, которого Вы водили ко мне? (В черновой редакции письма Ильич запрашивает: «Как он живет?») Чем он стал теперь? Отчего не даете нам связей с крестьянами?

«Ленинский сборник» V. 1926.

Эти ленинские письма воскрешают эпизоды жизни Ильича в Алакаевке в 1891—1893 годах. «Радикал-крестьянин» — Дмитрий Яковлевич Кисликов, крестьянин села Гвардейцы. Он, как сообщает А. А. Преображенский, читал Ильичу автобиографию в стихах, раскрывающих неизбывное мужицкое горе. В годы первой русской революции поэт-крестьянин вел среди односельчан социалистическую пропаганду. Скопчался он уже в дни гражданской войны. А. А. Преображенский в 1922 году, по предложению Ильича, стал управляющим совхозом «Горки-Ленинские». Его мемуары, опубликованные лишь в 1960 году, показывают, как точны даже, казалось бы, совсем беглые ленинские воспоминания:

— Летом, живя в Алакаевке, Владимир Ильич часто в 6—7 часов вечера приходил ко мне на хутор Шорнеля (принадлежавший коммуне «севших на землю» народников и описанный В. Петропавловским-Карониным в № 1 «Русской мысли» за 1890 год.— Б. Я.). Мы вели с ним продолжительные споры, иногда затягивавшиеся до утра... Наши споры касались главным образом крестьянства. Я отстаивал ту мысль, что капитализм мало или вовсе не захватил крестьянство, и, считая, что с крестьянами революции не сделаешь, находил положение безвыходным. Владимир Ильич доказывал мне, что только рабочий класс может стоять во главе революционного движения, а не крестьянство... Спорили мы с цифрами в руках, с ссылками на книги, с продолжением споров на другой день. Как только, бывало, я в споре с Владимиром Ильичем допушу какой-нибудь промах, у него сейчас же заблестит зеленый огонек в глазах: «Ну, ну, брат, поправься...»

А. А. Преображенский. О пребывании В. И. Ленина в Самарской губернии (Из воспоминаний). «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 3. М. 1960.

«Вечера на хуторе близ Алакаевки» становятся для Ленина вечерами страстных политических дискуссий. В них оттачивается и закаляется его георетическое мышление и полемическое искусство.

В Кокушкине Ленин, судя по его воспоминаниям, преимущественно читает. В Алакаевке и в соседних селах он встречается с передовыми крестьянами, изучает безотрадную мужицкую жизнь, типичную для русской пореформенной деревни того времени. Младшая сестра Ленина сообщает: «Покушая это именье, мать надеялась, что Владимир Ильич заинтересуется сельским хозяйством. Но склонности у Владимира Ильича к последнему не было...»¹.

Позднее, уже в Шушенском, Ленин вспоминает об этом замысле Марии Александровны и его результатах.

¹ М. Ульянова. В деревне и в городе. Д. И. и М. И. Ульяновы. О Ленине М. 1934.

— Рассказывал Ильич раз: «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал, было, да вижу нельзя, отношения к мужикам ненормальные становятся».

Н. К. Крупская. Воспоминания.

Зимой 1922¹ года Ленин отправляет такую телефонограмму А. С. Енукидзе:

— Прошу оказать содействие по покупке и получению хлеба для деревни Самарской губернии Алакаевки представителю ее крестьянину Сергею Фролову... Так как я был с этой деревней знаком лично, то считал бы политически полезным, чтобы крестьяне не уехали без какой-либо помощи наверняка...

«Правда», 21 января 1930 года.

В письмах из Сибири Владимир Ильич не раз вспоминает и об алакаевских музыкальных вечерах в семье Ульяновых. 4 января и 7 февраля 1898 года он после приезда в Шушенское Г. М. Кржижановского пишет матери.

...Глеб стал теперь великим охотником до пенья, так что мои молчаливые комнаты сильно повеселели с его приездом и опять затихли с отъездом. Но у него не имеется нот и песен. У нас ведь немало было, кажись, этой дряни (от тех времен, когда мы, бывало, тоже «кричали»). Если они теперь никому не нужны, то хорошо бы их послать ему: он был бы рад. Базиль—музыкант (на гитаре) и стал бы ему перекладывать песни...

На вопросы Маняши: какой у Глеба голос?.. Гм, гм! Должно быть баритон — что ли. Да он те же вещи поет, что и мы, бывало, с Марком «кричали» (как няня выражалась).

«Пролетарская революция», 1929, № 4.

«Музыкант» Базиль—это В. В. Старков, соратник Ленина по петербургскому «Союзу борьбы». Няня, на которую ссылается Владимир Ильич,— Варвара Григорьевна Сарбатова, прожившая в семье Ульяновых двадцать лет.

По известным воспоминаниям Д. И. и М. И. Ульяновых, Ленин в Алакаевке, как впоследствии и в Сибири, в эмиграции, да и в послеоктябрьские годы,

«очень любил музыку и пение, охотно пел сам... слушал пение других» и «очень жалел, что не научился играть на рояле или на скрипке».

Д. И. и М. И. Ульяковы. О Ленине, и «Правда», 21 января 1941 года.

САМАРА

1892—1893... Самара... нелегальные кружки с.-д. — отвечает Ленин в 1921 году на вопрос: «Принимали ли участие в революционном движении до 1917 года?»

«Ленинский сборник» XX.

Началом своей профессиональной революционной деятельности он, таким образом, считает 1892 год, проведенный в Самаре.

В уже приводившихся воспоминаниях В. В. Адоратский пишет:

— Узнав, что я ходил по Швейцарии пешком, руководясь Бедкером, Владимир Ильич очень сочувственно к этому отнесся. По его словам, такие пешие прогулки по новым местам доставляли ему громадное удовольствие. Он рассказал мне, как он, живя в Самаре, совершал так называемую «кругосветку» — путешествие по Волге в лодке вниз до конца Самарской луки, переправа с лодкой в речонку, которая течет на север, сплав по ней до Волги, принимающей в себя эту речку у начала Жигулей, и возвращение обратно в Самару опять-таки вниз по течению.

В. В. Адоратский. За 18 лет.

В путешествии, состоявшемся 8—11 мая 1890 года вместе с Лениным участвуют А. А. Беляков, А. В. Склиренко, А. П. Нечаев, И. А. Кузнецов, Н. Я. Полежаев и В. В. Савицкий, одновременно с Лениным исключенный в 1887 году из Казанского университета. Спутники посетили села Екатериновку, Переволоки, Жигули, Царевщину. Ильич долго беседует там с сельским торговцем Павлом Нечаевым о деревенской бедноте. С молодыми крестьянами-штундистами — о полчищеских и половских преследованиях сектантов. С передовыми, революционно настроенными крестьянами Васи-

¹ Дата и текст исправлены по «Ленинскому сборнику» XXXV. 1945.

лием Князевым, Амосом Прокопьевичем и Ерфилицем — об учении Толстого и законах развития жизни¹. Самарская «кругосветка» для Ильича — еще один круг познания русской социальной действительности тех лет...

Три года жизни в Самаре навсегда запечатлеваются в памяти Ленина. Почти десятилетие спустя — 24 марта 1902 года — он пишет матери, снова поселившейся тогда там:

— В Самаре, должно быть, снег теперь распустило, — начинается непролазная грязьца или скрытые под снегом лужи...

Какие у вас виды на лето? Хорошо бы было выбраться хоть в Жигули, если уже не удастся двинуться подальше... летом надо выбираться из Самары — я не могу и сейчас забыть, какая она пакостная в жару.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Несколько ранее — 26 января 1899 года — он сообщает А. Н. Потресову:

— Если не очень стесняться в средствах для выписки книг, то можно, я думаю, и в глуши работать. — я сижу, по крайней мере, по себе, сравнивая свою жизнь в Самаре лет 7 тому назад, когда я читал почти исключительно чужие книги, и теперь, когда я начал заводить привычку выписывать книги.

«Ленинский сборник» IV. 1925.

О круге чтения Ленина в самарский период его жизни рассказывают воспоминания И. Х. Лалаянца, М. И. Семенова (Блана) и публикация А. Кухарского «В. И. Ленин — читатель Самарской Центральной библиотеки»². На ряд отмеченных в этих источниках книг Владимир Ильич ссылается в работах, подготовленных именно в Самаре, — в статье «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» и в реферате «По поводу так называемого вопроса о рынках». Сделанные в то время пометки на книге В. Е. Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство» впервые опубликованы полностью лишь в 1958 году в разделе «Подготовительные материалы» первого тома пятого издания Сочинений В. И. Ленина.

Не располагая, за немногими исключениями, своими книгами, Владимир Ильич тщательно конспектирует прочитанное. А. А. Преображенский по этому поводу пишет:

— Во время одного из споров Владимир Ильич спросил меня: читал ли я Николая — она, кажется, «Экономическое развитие России» (видимо, «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства». — Б. Я.). Эту книгу я только просмотривал, но не читал. «Чтобы прочесть ее, — говорю Владимиру Ильичу, — нужен целый год».

Владимир Ильич ответил, что он прочитал ее в шесть недель. «Я принесу ее тебе со своими выписками», — добавил он. Вскоре Владимир Ильич принес мне эту книгу. Она была без переплета. Заметки и выписки Владимира Ильича были сделаны карандашом на листах курительной бумаги № 7, сложенных пополам и сшитых в тетрадь обыкновенного формата. Вся тетрадь была исписана очень мелким, но четким почерком.

«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 3.

Летом 1889 года Ленин помещает в «Самарской газете» такое объявление:

БЫВШИЙ СТУДЕНТ

желает иметь урок. Согласен в отъезд.

Адрес: Вознесенская ул., д. Саушкиной.

Елизарову, для передачи В. У. письменно.

«Самарская газета», 18, 21, 24, 26, 28 мая и 1, 3, 6, 8, 10 июня 1889 года.

Объявление публикуется десять раз — так настойчиво ищет Ленин заработка. Несколько не преувеличивают крайне трудного материального положения семьи Ульяновых и официальные прошения, адресованные министрам внутренних дел и народного просвещения:

¹ См. А. Беляков. Юность вождя. Воспоминания современника В. И. Ленина. Изд. 2-е. М. 1960.

² См. сборник «Ленин в Самаре». М. 1933, и «Книгоноша», 1924, № 13.

³ В «Датах жизни и деятельности В. И. Ленина» за 1870 — 1894 годы, заключающих первый том Полного собрания сочинений, эта публикация объявления в № 121 «Самарской газеты» не отмечена.

— Для добывания средств к существованию и для поддержки своей семьи имею настоятельную надобность в получении высшего образования, а потому, не имея возможности получить его в России, имею честь... просить... разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет.

Бывший студент Владимир Ульянов.

...Сентября 6 дня 1888 года...

«Молодые годы В. И. Ленина. По воспоминаниям современников и документам». М. 1957.

...В течение двух лет, прошедших по окончании мною курса гимназии, я имел полную возможность убедиться в громадной трудности, если не в невозможности, найти занятие человеку, не получившему специального образования. Ввиду этого я, крайне нуждаясь в каком-либо занятии, которое дало бы мне возможность поддерживать своим трудом семью, состоящую из престарелой матери и малолетних¹ брата и сестры, имею честь... просить... разрешить мне держать экзамен на кандидата юридических наук экстерном при каком-либо высшем учебном заведении.

Бывший студент Императорского Казанского Университета

Владимир Ульянов.

Г. Самара. Октября 28 дня 1889 года.

«Красная летопись», 1925, № 1.

Двадцать три года спустя, 15 июля 1912 года, «в целях выяснения личности и происхождения Владимира Ильича Ульянова», как прибывшего на территорию Австро-Венгрии иностранца, его допрашивают в «императорско-королевском комиссарнате полиции Пулвса». Так называется район Кракова, в котором он поселяется. В подписанном Владимиром Ильичем польском оригинале протокола допроса говорится:

...зовут меня Владимир Ульянов, сорока двух лет, родился я в городе Симбирске, той же губернии, сын Ильи и Марии... женат, детей не имею, по профессии литератор и журналист, постоянный житель гор. Симбирска, русский подданный. Отец мой умер, был директором народных школ в Симбирске. Мать жива и проживает в Саратове и брат Дмитрий — окружной врач в Крыму. Гимназию окончил в Симбирске. Университет, а именно: юридический факультет в Петербурге, где сдал докторский экзамен... У меня имеется... диплом доктора прав, выданный Петербургским университетом 14/II-1892 г. Так я показал.

Владимир Ульянов.

«Ленинский сборник» II. 1924.

За двенадцать лет до этого на допросе у другого полицейского чина — на сей раз начальника петербургской охранки жандармского полковника Пирамидова — Ильич отвечает на вопросы, связанные с его образовательным цензом:

— Воспитывался в Симбирской гимназии, затем слушал лекции в Казанском университете и сдал государственный экзамен при С.-Петербургском университете.

«Красная летопись», 1924, № 1.

— Экстерном сдал университетский экзамен в 1891 г. по юридическому факультету.

«Личное дело» члена РКП(б) В. И. Ульянова (Ленина).

Так пишет Ленин о своем образовании в анкете 1920 года.

Для того чтобы сдать эти экзамены, он трижды приезжает из Самары в Петербург — в 1890 году и весной и осенью 1891 года. Об этих поездках Владимир Ильич вспоминает 2 марта 1897 года в письме к матери со станции Обь:

...прежде, бывало, какие-нибудь 3 суток от Самары до С.-Петербурга и то измают.

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Петербургский экзамен — настоящий трудовой подвиг юного Владимира Ильича. Из тридцати трех экзаменующихся вместе с ним только он получает диплом первой степени с высшими оценками по всем предметам.

¹ Исправлено по тексту первого тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина (см. стр. 554).

— Журналист 1893—1917, — определяет Ленин свой профессиональный трудовой стаж, заполняя 24 мая 1921 года анкету делегата X Всероссийской партийной конференции.

«Ленинский сборник» XXXVI. 1959.

Началом своей журналистской деятельности он считает, следовательно, свою сохранившуюся работу — «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Написанная весной 1893 года по поводу уже упоминавшейся выше книги В. Е. Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство», ленинская статья, обнаруженная в архиве Московской судебной палаты, увидит свет лишь десятилетия спустя. Впоследствии, при еще более неожиданных обстоятельствах, будут найдены письма Ленина П. Маслову. Из них выяснится, что редакция либерального журнала, лицемерно кичащаяся своим свободомыслием, отвергла ленинскую статью. В 1894 году Ленин вспоминает:

— Я даже имел наивность посылать ее в «Русскую Мысль», откуда получил, конечно, отказ: вполне понятно мне это стало, когда я прочитал в № 2 «Русской Мысли» статью о Постникове «нашего известного» либерального пошляка, г. В. В. Нужно же ведь иметь такое искусство, чтобы совершенно изуродовать прекрасный материал и замазать все факты фразерством!

«Ленинский сборник» XXXIII. 1940.

«Несколько слов о Н. Е. Федосееве» — озаглавлены написанные в 1922 году ленинские воспоминания, предназначенные для сборника, посвященного памяти этого выдающегося теоретика и пропагандиста марксизма. Приведем лишь ту их часть, которая непосредственно связана с самарским периодом жизни Владимира Ильича:

— Мои воспоминания о Николае Евграфовиче Федосееве относятся к периоду начала 90-х годов. На точность их я не полагаюсь.

В то время я жил в провинции — именно, в Казани и в Самаре. Я слышал о Федосееве в бытность мою в Казани, но лично не встречался с ним. Весной 1889 года я уехал в Самарскую губернию, где услышал в конце лета 1889 года об аресте Федосеева и других членов казанских кружков, — между прочим, и того, где я принимал участие. Думаю, что легко мог бы также быть арестован, если бы остался тем летом в Казани. Вскоре после этого марксизм, как направление, стал шириться, идя навстречу социал-демократическому направлению, значительно раньше провозглашенному в Западной Европе группой «Освобождение Труда».

Н. Е. Федосеев был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению. Помню, что на этой почве началась его полемика с Н. К. Михайловским, который отвечал ему в «Русском Богатстве» на одно из его нелегальных писем. На этой почве началась моя переписка с Н. Е. Федосеевым... Насколько я помню, моя переписка с Федосеевым касалась возникших тогда вопросов марксистского или с.-д. мировоззрения. Особенно осталось в моей памяти, что Федосеев пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, как тип революционера старых времен, всецело преданного своему делу...

Возможно, что у меня где-либо остались некоторые обрывки писем или рукописей Федосеева, но сохранились ли они и можно ли их разыскать — на этот счет я не в состоянии сказать ничего определенного.

Во всяком случае, для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера.

Л е н и н.

6. XII. 1922.

«Федосеев Николай Евграфович. Один из пионеров революционного марксизма в России (Сборник воспоминаний)». М. — П. 1923.

Воспоминания Ленина можно дополнить его устными рассказами старшей сестре о Федосееве и казанских марксистских кружках, относящимися к зиме 1888 года, проведенной Ульяновыми в Казани:

— Помню, как по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать, он с большим жаром и воодушевлением рассказывал мне об основах теории Маркса и тех новых горизонтах, которые она открывала... Из фамилий, упоминаемых им, помню лишь две: Четверговой, пожилой народолюбки, о которой Володя отзывался с большой симпатией, и студента, — не помню уже, исключенного ли. — Чирикова, будущего писателя-беллетриста, отошедшего потом от революции и даже перешедшего, кажется, в другой лагерь. Говорил Володя мне о рефератах, которые читались у них, о некоторых собраниях рассказывал с большим оживлением... Исключенный еще из последнего класса гимназии, Федосеев повел энергичную революционную работу. При центральном кружке имелась библиотека нелегальных и неразрешенных книг, а с весны стала налаживаться техника для воспроизведения местных изданий и для перепечатки редких нелегальных. Владимир Ильич слышал об этих планах, но сам в этот кружок не входил. И самого Федосеева он лично не знал, а лишь слышал о нем. Но все же он говорил мне, услышав об аресте, происшедшем в Казани в июле 1889 года, что он влетел бы, вероятно, также: был арестован Федосеев, разгромлен его кружок, а также забраны некоторые члены того кружка, в котором состоял Владимир Ильич... Спас тогда Ильича переезд всей нашей семьи в мае 1889 года в Самарскую губернию...

А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче. М. 1926.

Ленин томится в Самаре. Он не находит здесь сколько-нибудь широкого поля для применения своих сил. Только желание смягчить новое горе матери, потерявшей весной 1891 года дочь Ольгу, обязывает его остаться в Самаре еще на год. Анна Ильинична, не раз беседовавшая в те дни с братом, рассказывает:

— Остался у меня в памяти разговор с Володей о появившейся в ту зиму в одном из журналов новой повести А. Чехова «Палата № 6». Говоря о талантливости этого рассказа, о сильном впечатлении, произведенном им, Володя вообще любил Чехова — он определил всего лучше это впечатление следующими словами: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6». Это было поздно вечером, все разошлись по своим углам или уже спали. Перемолвиться ему было не с кем.

Эти слова Володи приоткрыли мне завесу над его душевным состоянием; для него Самара стала уже такой «Палатой № 6», он рвался из нее почти так же, как несчастный больной Чехова. И он твердо решил, что уедет из нее следующей же осенью.

Т а м ж е.

Чеховский рассказ впервые опубликован в одиннадцатом номере «Русской мысли» за 1892 год. Ленин прочитал его, видимо, в декабре. 16 августа 1893 года он подает председателю Самарского окружного суда такое прошение:

— Намереваясь перечислиться в помощника присяжного поверенного в округ Санкт-Петербургской Судебной Палаты, я имею честь... просить... выдать мне удостоверение о том, что я состою помощником присяжного поверенного при Самарском Окружном Суде и что я получал в 1892 и в 1893 гг. свидетельство на право ведения чужих дел.

Помощник присяжного поверенного В. У л ь я н о в.

Опубликовано впервые в первом томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина (М. 1958).

Во второй половине августа Ленин навсегда покидает Самару и — после кратких остановок в Казани, Нижнем Новгороде и Москве — 31 августа приезжает в Петербург. Начинается новый — петербургский — период жизни Владимира Ильича, который он датирует 1894—1895 годами.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

ВПЕРЕДИ — МОРЕ

БАРСА-ГЕЛЬМЕЗ

Вертолет отрывается от земли и уходит навстречу пыльной поземке. Все вокруг растворилось в клубящейся пыли. Потонули в ней и черная лента асфальта, протянутая от аэродрома к Небит-Дагу, и голые вершины хребта Большой Балхан.

Рокочет мотор, вращаются над головой длинные лопасти винта. Где-то под нами идут по шоссе автомашины. Оттуда пробиваются тусклые огоньки зажженных среди бела дня фар. Но здесь, в маленькой кабине, поднятой на высоту пятисот метров, кажется, будто никто, кроме пилота МИ-1, не отважился вступить в единоборство с пыльной бурей. Он приложил к горлу пластинки ларингофона. Шум мотора мешает услышать его голос. Может быть, он сказал диспетчеру: «Я — двести пятый. Не могу следовать по курсу. Возвращаюсь на базу». Пилот потянул к себе полукружье штурвала. Повернули назад? Нет, набираем высоту. Вертолет идет по курсу, в Барса-Гельмез. В переводе с туркменского это название звучит не очень обнадеживающе: «Пойдешь — не вернешься».

— Вы увидите там наше прошлое, — сказали мне в геологическом отделе «Туркменнефти». — У каждого из нас был свой Барса-Гельмез. И у того, кто первым пришел в Небит-Даг, и у тех, кто проник в пески Котур-Тепе. Вы увидите сотворение мира. Если можно так назвать создание еще одного нефтяного оазиса в Каракумах.

Город Небит-Даг вырос в пустыне, его вызвала к жизни нефть точно так же, как и поселок Котур-Тепе, где недавно ударили из недр мощные фонтаны. Разведчики пошли дальше. Если ничто не заставит нас повернуть назад, можно будет увидеть сегодня то, о чем говорили геологи...

Минут через двадцать после вылета из Небит-Дага в кабину внезапно хлынуло солнце. Вырвались мы из пыльной поземки или она сама сгнула, но теперь виден был внизу каждый след, оставленный человеком на пути в Барса-Гельмез.

Бушуют пыльные бури. Двигутся, все погребая под собой, барханы. Но тракторная колея нет-нет да и прочертит песок, напоминая, что здесь прошли разведчики. Это они оставили хорошо заметные вехи: на равном расстоянии зияют отверстия, похожие на воронки от бомб. Здесь работал отряд сейсмиков, взрывал заряды тола, чтобы заглянуть в недра с помощью взрывных волн. Черный круг автомобильной шины отчетливо выделяется на белом полотнище солончака. Даже сюда удалось, видимо, протолкнуть грузовую машину. И снова упрямо вьется неистребимый след тракторных колонн.

За день до этого полета я ехал с утренней сменой рабочих в Котур-Тепе. Автобус катился по отличному, прямому, как натянутая струна, шоссе. Внезапно — так же, как и нынче, — горячий ветер поднял в воздух тучи песка. Некоторое время машина еще двигалась, замедляя ход, когда нужно было одолеть желтые сугробы. С каждой минутой они становились более высокими. Песчаная пурга захлестывала дорогу. Песок переваливался через камышовые изгородь,

захватывая все новые участки шоссе. В одном месте, возле бархана, дорога вовсе пропала. Перед нами вырос дымящийся на ветру холм. Автобус остановился.

Меня удивило, что пассажиры не проявили беспокойства. Кто развернул газету, кто задремал, подперев ладонью голову. Я не хотел обнаружить свою неопытность в таких делах и молча ждал, что же будет дальше. Ветер дул с неослабевающей силой. Колеса автобуса погружались все глубже — песок шел навстречу, как волна в час прилива.

Послышался вдруг шум мотора, из серой мглы вынырнул бульдозер и величаво проследовал мимо, срезая песчаный барьер. Мы свернули на левую сторону шоссе и помчались с прежней скоростью.

Все это длилось считанные минуты. Превосходство над стихией человека, вооруженного современной техникой, было продемонстрировано с убедительностью, которая, как говорится, не нуждалась в комментариях.

Сейчас, глядя из кабины вертолета на след тракторных колонн, я еще более ошутимо, чем тогда, на котур-тепинском шоссе, представил себе, что значит пойти в пустыню и утвердиться на завоеванном рубеже. Вероятно, случилось так потому, что эта рубчатая полузасыпанная колея вела к Барса-Гельмезу, и в памяти возникло: «Пойдешь — не вернешься». А может, и оттого, что впереди показались барса-гельмезские барханы.

Огромной подковой охватили они котловину, похожую на лунный кратер. Резкие тени песчаных холмов легли на землю, и можно было заметить издали, как высок этот зубчатый барьер, отрезавший от остального мира Барса-Гельмез.

Мы перевалили через гряду барханов и на дне глубокого кратера увидели буровую вышку. Она выглядела совершенно безжизненной, как и все вокруг до самого горизонта.

Вертолет опустился на песок, и сразу то, что казалось лишенным малейшего признака жизни, обрело знакомый, обычный облик геологоразведочной экспедиции. Вышка маячила неподалеку, оттуда донесся гул дизелей. Из дощатого барака — он стоял между двумя барханами и поэтому нельзя было разглядеть его сверху — вышел и направился к нам пассажир. Он залез в кабину, спросил:

— Чего так поздно притопал?

— Успеешь отгулять свой срок, — ответил пилот, запуская мотор.

Подбежал начальник участка бурения Сурен Арташесович Тертеров — я познакомился с ним в Небит-Даге, где он «отгуливал» выходные дни после двухнедельной вахты в пустыне.

— Игорь! — крикнул он. — Где колонна? Не видел?

Пилот высунулся из кабины, отрицательно покачал головой.

— Идем с утра, — сказал Тертеров. — Пройди над трассой, посмотри.

— Много машин вышло к вам?

— Восемь. Обязательно пройди над трассой. Слышишь?

Вертолет отправился в обратный путь. Начальник участка проводил его долгим взглядом и поспешил в барак. Я увязался за ним, но не мог так же, как он, быстро шагать по рыхлому песку и вошел в барак, когда Тертеров уже разговаривал по радио с базой.

Окно в его тесной конторке было замазано густым слоем синьки, но это не спасало от обжигающих лучей солнца. На столе возле походной радиостанции жужжал вентилятор. Он предупредительно поворачивался вправо и влево, посылая в обе стороны горячую струю воздуха, будто с каждым поворотом все больше накалялись его жестяные крыльшки.

Тертеров монотонно повторял, пригнувшись к микрофону:

— База! База!

Диспетчер базы наконец откликнулся:

— Пришла колонна?

— Нет.

Диспетчер немного помолчал. Кто-то воспользовался паузой и стал вызывать базу. Его не очень деликатно оборвали.

— Игорь сейчас проходит над трассой,— сказал Тертеров.— Свяжитесь с аэропортом, узнайте, что он сообщил.

— Понятно.— ответил диспетчер.— Выйдите на связь через час. Может.. к тому времени встретите колонну...

— Хорошо бы,— вздохнул Тертеров, вытирая платком вспотевшее лицо.

Все, что необходимо здесь людям, везут из Котур-Тепе, и нельзя ни на один день остановить конвейер, связывающий отряд разведчиков с тыловой базой. Тракторы вышли оттуда на рассвете. Всего лишь тридцать километров от базы до Барса-Гельмеза. Но каждый рейс — это сражение с пустыней. Вчера колонна прошла через барханы за восемь часов. Сегодня ветер передвинул пески, и нужно заново прокладывать трассу. Кто знает, не заночуют ли трактористы в пути...

— Вот так и живем.— сказал, выключив микрофон, начальник участка.

В его голосе не послышалось ни малейшей горечи. Расшифровать сказанное им можно было так: «Забрались мы туда, где не выживают даже фаланги и скорпионы. Бурим скважину на три с половиной тысячи метров. Скоро увидим нефть. Придет дорога в Барса-Гельмез. Потечет по трубам вода. На этом месте, где стоит барак, построим дом, и, наверно, ляжет на окно спасительная тень чинары и карагача».

Отворилась дверь, в ослепительно ярком прямоугольнике я увидел бурового мастера Агойли Едыева — он возвратился из «отгула» тем же вертолетом, что доставил меня сюда.

— Идут! — крикнул он с порога.

— Все? — обрадовался Тертеров.

— Спускаются с бархана только пять.

Мы вышли из барака. Далеко, в седловине между двумя высокими барханами, медленно сползали по рыжему склону крохотные, словно игрушечные, тракторы.

Начальник участка перехватил взгляд Едыева, видимо, надеясь услышать: «Остальные тоже пробьются». Но мастер не промолвил ни слова. С минуту они молча смотрели на поредевшую колонну. Потом Едыев зашагал к вышке. Яковылял за ним, опять с досадой убеждаясь, что не умею экономно расходовать силы, если нужно пройги пятьсот — шестьсот метров по рыхлому, ускользящему из-под ног песку. К тому времени, когда я доплелся до буровой вышки и отдышался в тени, возле грохочущих дизелей, еще три машины появились на гребне бархана. Теперь вся запоздавшая колонна спускалась в барса-гельмезский кратер.

Люди поблились сюда, привезли воду, продукты, горючее, бурильные трубы, чтобы можно было день и ночь сверлить землю. Вся техника, двинутая в эти мертвые пески, все усилия отряда разведчиков направлены, можно сказать, в одну гочку — вот к этой вышке. Сменяют друг друга бурильщики, «верховые», мотористы, буровые рабочие, и каждый в часы своей вахты сокращает на несколько метров расстояние, отделяющее его от нефтяного пласта.

Я видел, как ищут нефть среди топких болот и бесчисленных озер Западно-Сибирской низменности, в тундре и снегах Приполярья, на штормовом берегу Охотского моря, в сахалинской тайге. Вот где, казалось, самые трудные маршруты из всех, какие прокладывают искатели сокровищ. Сейчас, поднимаясь на вышку Агойли Едыева, я подумал, что никто из сибиряков, сахалинцев или полярников, наверно, не захотел бы поменяться с ним местами. Можно прорубить дорогу в тайге, одолеть болотную хлябь — настелить бревна для трактора и грузовика. После вахты на морозе согреешься у пылающей печки.

За барханами Барса-Гельмеза негде спастись от зноя. Даже ночью в бараке тридцатиградусная жара. Весь долгий день — с той минуты, когда белый диск солнца всплывает над горизонтом, и до самого заката — люди работают, обливаясь потом.

На вахте у бурильной лебедки — Исмагул Тюлькибаев. Ему под пятьдесят. Густая борода и усы делают его еще старше. Это самый опытный человек бригады Едыева. Мастер говорит о нем:

— Исмагул может бурить с закрытыми глазами.

Тюлькибаев безошибочно определяет все, что происходит в скважине, на глубине трех тысяч метров. Вот и сейчас позвал рабочих, приказал сменить долото. Можно не сомневаться: его стальные зубья выкрошились на крепких породах.

— Дней десять еще покрутим, — говорит мастер, наблюдая за тем, как извлекают из скважины бурильные трубы, — и вскроем нефтяной пласт.

Агойли Едыев уверен, что первая разведочная скважина в Барса-Гельмезе даст нефтяной фонтан. Он показал мне последние керны — образцы пород, поднятые из скважины. Положишь такой осколок глубинного пласта на бумагу — и под ним расплывается жирное пятно.

— Под этими песками, — продолжает мастер, — много нефти... Теперь главное — пройти до нижнего горизонта, не споткнуться у самого финиша.

Агойли Едыев стоит у лебедки, разглядывая долото, повисшее над устьем скважины. Тюлькибаев шагнул к нему, снял рукавицу и потрогал пальцами сталь, как бы желая убедиться, что новый инструмент достаточно крепок и не подведет бригаду там, в недрах земли. Прикоснулись к нему и мастер и помощник бурильщика.

Часом позже я наблюдал, как снаряжались трактористы в обратный путь. Они запустили моторы и долго ощупывали какие-то, видимо важные, детали. Песок проникает всюду. Не доглядишь — и самая надежная машина выйдет из строя. Поэтому машинист буровой вышки Мухамед Бекмамедов вновь и вновь протирает дизель. Станина и все медные части сверкают, будто привезли их только что с завода.

— Человек все переможет, — рассуждает Бекмамедов, снимая тряпкой невидимые песчинки с разогретого металла. — А машина в пустыне чувствует себя плохо. Там, за барханами, тебя не зарежет какая-нибудь деталька. И склад и мастерская под боком. В этом некле быстро никто не выручит.

Бекмамедов зачерпнул немного воды из ведра, напился и остаток, чуть помедлив, плеснул из кружки на лицо.

Солнце опускается над гребнями барханов. Мимо вышки проходит тракторная колонна, оставляя на песке еще одну глубокую колею. Завтра трактористы возвратятся в раскаленную котловину, которой дали имя Барса-Гельмез, «Пойдешь — не вернешься».

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Нефть позвала разведчиков недр в пустыню. Здесь, на трудных маршрутах, в безводных песках прикаспийской низменности, открыты богатые месторождения. Карта юго-западных районов Туркмении испещрена крохотными, нарисованными черной тушью буровыми вышками. Вчера они столпились в Кум-Даге, Котур-Тепе, сегодня возникают в Чекишляре, Барса-Гельмезе, Окареме. Можно предвидеть, куда шагнут они завтра.

Подземные напластования, в которых хранится нефть, простираются в сторону моря. Самые большие сокровища недр спрятаны, вероятно, под волнами Каспия.

В этом давно убедились бакинцы, выйдя в открытое море. Далеко от Баку, возле скалистой гряды, где высадился когда-то маленький отряд разведчиков, создан чудо-город нефтяников Каспия. На искусственных островах стоят вышки и двухэтажные дома. Во все стороны протянулись стальные дороги-мосты. Каждый день получают отсюда тысячи тонн нефти.

Новые нефтяные месторождения Туркмении очень богаты, надолго хватит здесь работы и буровым бригадам, и промысловикам. Но это не позволяет откладывать поход за морской нефтью. Неразумно было бы ждать, пока состарятся молодые промыслы, и лишь тогда пойти в море.

Конечно, нелегко строить свайные островки для вышек, бороться с каспийскими штормами. Зато как щедро вознаграждает «золотое дно» Каспия отважных

людей, идущих навстречу всем опасностям, не отступающих перед любыми препятствиями! Это известно каждому, кто побывал у бакинцев, добывающих миллионы тонн нефти со дна моря в ста километрах от берега.

Туркменские разведчики недр готовятся к морскому походу. Нельзя сказать, что у них совсем нет опыта в освоении подводных залежей нефти. Кое-что в этой области уже сделано. На Челекене построена небольшая эстакада. Она протянулась на полтора километра от каменистого обрывистого берега. Ее первые фонтаны убеждают в том, что и здесь, так же как у побережья Азербайджана, сохранились «запечатанные» в толще дна нефтеносные пласты.

А что ждет разведчиков чуть подальше от берега? Найдут ли там такие же богатства, какие открыты бакинцами?

На этот вопрос должны ответить геофизики, они отправились на тральщике «Академик Гамбурцев» в Туркменский залив. Если придерживаться более точной терминологии, то надо сказать, что эта сейсмическая партия морской экспедиции Всесоюзного научно-исследовательского института геофизики занята предварительным исследованием геологических структур.

На борту «Гамбурцева» нет бурового станка, не увидишь здесь образцов породы, поднятой из далеких глубин. Но участники экспедиции могут заглянуть в такие уголки земной коры, куда в состоянии проникнуть только мощный бурильный инструмент.

И день за днем экспедиция приносит геологам новые вести о подводном царстве, о том, как залегают там различные пласты, в каком месте они образовали «поднятия» или «прогибы», на какой глубине лежат плотные породы или пористые, в которых обычно скопляется нефть.

Такие сведения необходимо получить прежде, чем выйдут в море строители искусственных островков, буровые бригады, монтажники, плотники, такелажники, водолазы — весь многолюдный отряд искателей каспийской нефти. «Гамбурцев» послан в рекогносцировку перед широким наступлением.

Мне повезло: как раз в тот день, когда я прилетел в Красноводск, сюда пришел вспомогательный катер экспедиции «Метеор». Если бы я опоздал на несколько часов, пришлось бы добираться до «Гамбурцева» на перекладных, да и то еще с риском надолго застрять где-нибудь в пути.

Экспедиция находится в северо-западном районе Туркменского залива, возле острова Огурчинского. Не появившись в красноводском порту «Метеор», я вынужден был бы полететь на Челекен и ждать там какой-нибудь оказии, чтобы попасть на борт «Гамбурцева».

Капитан «Метеора» торопил грузчиков: ему приказали вернуться в район расположения экспедиции засветло, а береговая база экспедиции не перебросила в порт все, что нужно было взять для «Гамбурцева». Несколько раз капитан звонил на базу, требуя поскорее доставить какую-то косу.

— Не могу же я уйти без нее! Вы что, не понимаете?

Заинтригованный этим странным обстоятельством (к чему, спрашивается, морским разведчикам коса?), я отправился с попутной машиной на базу экспедиции. Хорошо, что мне пришло в голову поинтересоваться, как выглядит понадобившаяся капитану коса. Если бы не побывал на базе экспедиции, когда здесь сплетали ее, не увидеть бы мне ни сейсмографов, которые улавливают взрывную волну, ни тонких электрических проводов, передающих на сейсмостанцию сигналы, полученные из земных недр.

Теперь мне было понятно, почему капитан не мог вернуться из Красноводска без такой косы. Экспедиция геофизиков не бурит скважины. Для того, чтобы заглянуть в недра, пользуются вот этими сейсмографами. Но там, в море, их уже не увидишь. Вплетенные в косу, они спрятались под непроницаемым для воды плотным чехлом из хлорвинила. В таком виде, похожую на толстый изолированный кабель, свернутую в кольца, ее погрузили на палубу «Метеора». Здесь уже разместили несколько ящиков со взрывчаткой, мешки с мукой, крупой, консервами.

На рассвете следующего дня я увидел вдали знакомый светло-серый корпус тральщика с невысокой, косо срезанной трубой. Десять лет тому назад «Гамбурцев» совершал регулярные рейсы из Баку к причалам города нефтяников Каспия.

В старой записной книжке у меня отмечено: «Возвращаемся с Нефтяных каменной поздно вечером. Сильный порывистый ветер. Баллов семь, не меньше. Маленькие катера спрятались в бухте. «Гамбурцеву» разрешили выйти в очередной рейс. Этот тральщик часто выручает нас. Не выпускают его только в те дни, когда даже крупные танкеры отстаиваются в бакинском порту. Прошли остров Жилой, зыбь увеличивается. Все пассажиры сгрудились у штурманской рубки, где качает меньше, чем на корме, в душном кубрике».

В том рейсе я познакомился с Энвером Назаровичем Мамедовым, опытным моряком, одним из тех, кто участвовал с первых дней в походе бакинцев за каспийской нефтью.

«Метеор» подошел к флагману экспедиции, стоявшему на якоре невдалеке от плоского пустынного берега острова Огурчинского. Прежде всего сняли с палубы вспомогательного катера взрывчатку, потом перебросили за борт «Гамбурцева» косу и продовольствие.

На ходовой мостик поднялся капитан Мамедов. Он совсем не изменился за десять лет. Разве что прибавилось седины на висках да чуть приметнее стали две глубоко врезанные морщины в уголках рта.

Мы вспомнили, какой несбыточной казалась встреча бакинцев с нефтяниками Туркмении на морском просторе. Кто бы поверил, что о ней вскоре заговорят как о вполне достижимой цели. И самым убедительным доказательством реальности предстоящей в недалеком будущем встречи двух отрядов покорителей Каспия является вот этот корабль, хорошо потрудившийся у берегов Азербайджана и теперь показавший свой вымпел у туркменского побережья.

Тем временем «Гамбурцев» выбрал якорь и полным ходом направился к северу от острова Огурчинского. За кормой исчез, словно растаял в утренней дымке, песчаный берег с белой каймой прибоя. Некоторое время «Гамбурцев», не сбавляя хода, шел прежним курсом. «Метеор» следовал за ним. Вероятно, его старенькая машина работала с предельной нагрузкой, чтобы катер не отставал от своего быстрого флагмана.

На борту «Гамбурцева» в это время готовились возобновить исследование морских недр. Два матроса под наблюдением боцмана наматывали на большой барабан косу, которую доставил «Метеор». Руководитель морской сейсморазведки на Каспии Яков Петрович Маловицкий и оператор Георгий Владимирович Шишаков — оба немалого роста, широкоплечие — втиснулись в крохотную каюту сейсмостанции, проверяя аппаратуру, предназначенную для улавливания сейсмических колебаний, порожденных взрывной волной. Бригадир взрывников Иван Семенович Сотниченко вынул из жестяных ящиков круглые, похожие на толстые восковые свечи заряды тротила, связал их по несколько штук вместе и уложил в шлюпку.

Капитан стоял окло рулевого, прислушиваясь к голосу, доносившемуся на мостик из раскрытой двери штурманской рубки. Время от времени оттуда приказывали:

— Два градуса влево... Один градус вправо... Так держать...

Иногда Мамедов спрашивал:

— Геннадий, сколько до профиля?

Тот же голос отвечал:

— Шесть миль... Четыре с половиной мили...

Я слутился в штурманскую рубку. Геннадий Осипов вел нас к намеченному месту, не утруждая себя сложными расчетами и выкладками. Циркуль, угольник, карандаш лежали на штурманской карте. Он не пользовался ими, направляя судно к той незримой точке, где нужно было начать «профиль» — глубокое зондирование морских недр.

Молодой человек, сидевший в штурманской рубке, целиком доверился трем

радиостанциям, которые стоят на противоположных берегах Каспийского моря — в Баку, Красноводске, Ленкорани. Радиоволны этих станций скрестились, как лучи прожекторов, в небольшом, тихо пощелкивавшем аппарате. Из него вылезла узкая бумажная лента, покрываясь ровными столбиками цифр. Стоило лишь внимательно следить за ними — и в любую минуту можно было ответить на вопрос капитана, сказать, сколько осталось до «профиля», и — что еще важнее — с предельной точностью вести судно по заданному курсу.

Может быть, куда интереснее самостоятельно прокладывать курс, отсчитывать милю за милей пройденное расстояние, сверять свои выкладки с таблицами. Всему этому Геннадий научился в институте и мог бы, наверно, отлично управиться с таким делом. Но радиодальноммерная установка не только избавила его от кропотливых расчетов, но к тому же и оберегает от возможных ошибок.

Эта штурманская рубка, где взяла на себя главную роль совершенная техника, как бы предварила мое знакомство с работой экспедиции. В дальнейшем я не раз убеждался, что здесь, в море, современные достижения науки и техники дают возможность решать самые сложные задачи.

Тихо пощелкивал аппарат РДУ, сворачивалась в рулон полоска бумаги, выстраивались четкими рядами цифры. Глядя на них, Геннадий то и дело обращался к рулевому:

— Еще градус влево.. Так держать... Три градуса вправо...

Потом он выключил аппарат, сделал пометку на карте и сообщил капитану:

— Вышли на профиль. Энвер Назарович.

Звякнул машинный телеграф. Сразу наступила тишина, и можно было услышать, как шелестит волна, пробегая вдоль борта от носа к корме: «Гамбурцев» еще двигался немного с застопоренной машиной. Через минуту-другую остановился. Прозвучала команда:

— Вытравить косу!

На корме возле лебедки с намотанной на барабан косой стояли наготове матросы. Осторожно, стараясь не повредить сейсмографы, вляпанные в провода, они опустили ее в воду.

Снова прозвонил машинный телеграф, капитан поставил рукоятку на «самый малый», и «Гамбурцев» медленно тронулся вперед. За ним потянулась, сползая с лебедки, длинная коса. Теперь мы шли над тем участком, где будут исследовать геологическое строение морского дна. Из штурманской рубки опять послышалось:

— Два градуса вправо... Полтора влево...

Геннадий не отрываясь смотрел на цифры, возникавшие перед ним в аппарате РДУ. Нужно было вести судно с максимальной точностью над «профилем». Иначе не удастся получить добротный материал и нанести потом на карту то, что расскажут взрывные волны.

— Стоп! — донеслось из штурманской рубки.

Все, что происходило до этой минуты на борту «Гамбурцева», предназначалось для того, чтобы четыре участника экспедиции могли отправиться на «огневой рубеж». Когда Геннадий вывел судно точно на указанное место и за кормой вытянулась почти на полкилометра столь оберегаемая коса, можно было спустить шлюпку, нагруженную связками тротильных «свечей».

Бригадир взрывников Иван Семенович Сотниченко окинул прощальным взглядом палубу (не забыл ли чего?) и велел отчаливать. Все на борту «Гамбурцева» молча следили за тем, как удаляется шлюпка, потянув за собой телефонный провод, одетый в пробковые поплавки.

Оператор сейсмостанции проверил связь с бригадой взрывников.

— Как меня слышите, Иван Семенович? — спросил он, подняв телефонную трубку.

Зычный бас бригадира, усиленный репродуктором, вырвался из тесной каморки:

— Слышу вас хорошо!

— Погодка славная, Иван Семенович. Перекроем вчерашний рекорд?

— Попробуем!

— Ну, ни пуха ни пера...

Шлюпка отошла на такое расстояние, что без бинокля уже нельзя было разглядеть фигуры людей, сидевших на веслах. Вслед за шлюпкой взрывников двинулся «Метеор». Мне еще неизвестно было, какую роль выполняет вспомогательный катер во время исследования морского дна. Вскоре я узнал, что ему поручено не только возить грузы из Красноводска.

Сохраняя последовательность в изложении событий, происходивших на борту «Гамбурцева» и на маленькой шлюпке, связанной с ним телефонным проводом, я должен снова войти в штурманскую рубку. Теперь Геннадий сосредоточил все внимание на шлюпке. Ничто уже так его не занимало, как это суденышко. Он непрерывно поддерживал связь с бригадиром взрывников, наблюдая за тем, чтобы шлюпка держалась справа от косы, погрузившейся на дно моря, спрашивал, все ли готово для «пристрелки».

В переговоры с экипажем шлюпки часто вступал оператор сейсмостанции. Его голос слышен был и в штурманской рубке, и на шлюпке. По всему чувствовалось, что приближается ответственная минута, ради которой вышла в море экспедиция и день за днем совершает такие рейсы у берегов Туркмении.

Руководитель экспедиции переходил из рубки в сейсмостанцию, следя за тем, как выводят «Гамбурцева» на заданную точку, сверялся с картой, где были отмечены участки морского дна, исследованные накануне, и соседние, куда сейчас пошлют взрывную волну-разведчицу.

— Начнем. Яков Петрович? — спросил оператор.

Маловицкий утвердительно кивнул головой.

— Приготовимся сделать несколько пристрелочных, — сказал оператор.

— Я готов, — откликнулся по телефону из штурманской рубки Геннадий.

— Передай на мостик, чтоб не делали «стопа». Понятно?

— Понял. Будем стрелять без «стопа».

Прошло несколько минут. Оператор сейсмостанции сообщил в рубку:

— Можно начинать.

Выйдя на мостик, я отыскал в бинокль шлюпку. Там готовились к «пристрелке». Бригадир вынул из кармана детонатор и вставил его в отверстие тротилового заряда. Потом привязал к нему надутую футбольную камеру. Я вспомнил, что вместе с продовольствием и взрывчаткой почему-то принесли на палубу «Метеора» целый ящик этих камер. «Ни одной не оставил во всем Красноводске, — сказал кладовщик береговой базы экспедиции. — Никто не догадается, что мы с ними собираемся делать».

Покончив с одной связкой тротила, Сотниченко принялся за вторую. С борта «Гамбурцева» спросили:

— На шлюпке! Вы готовы?

— Готовы! — ответил бригадир.

— Ждите сигнала!

Сотниченко продолжал связывать тонким проводом тротильные заряды. Шлюпка чуть-чуть покачивалась на тихой волне. Со стороны могло показаться, что сюда забралась рыбаки, перебирают сеть прежде, чем опустить ее за борт.

«Метеор» застопорил машину вблизи шлюпки. Повариха вынесла из камбуза кастрюлю, тарелки, поставила их под тентом, натянутым над палубой.

— На шлюпке! — прозвучал голос оператора сейсмостанции. — Даю разрешение!

Бригадир взрывников поднял над бортом связку тротила. Перед тем как он выпустил ее из рук, я успел заметить: двое взрывников взялись за весла. В следующий момент взрывчатка погрузилась в воду. Черный шар футбольной камеры отлетел место, где опустили заряд.

Выбросив за борт первую связку тротила, бригадир выждал, пока шлюпка отошла метров на пятьдесят. Он держал в руке телефонную трубку, и на «Гам-

бурце» слышали каждое слово, произнесенное там, на маленькой шлюпке, возле которой сейчас легли на дно десять килограммов взрывчатки.

— Хватит, ребята, суши весла! — сказал бригадир.

Шлюпка остановилась. Сотниченко, выпрямившись, сидел на корме, возле красного флажка.

— Контакт! — громко произнес он, нажав на рукоятку взрывной машинки.

Огромный серебристый гейзер взлетел над морем и вмиг рассыпался в воздухе, словно подхваченный порывистым ветром. Через секунду донесся к нам грохот взрыва. Мы не только услышали его. Палуба под ногами вздрогнула, словно кто-то нанес удар тяжелой кувалдой по железному корпусу тральщика.

Не знаю, выполнил ли бригадир в точности все, что полагается сделать в таких случаях, отвел ли шлюпку на должное расстояние, — думаю, что никакого нарушения правил и предписаний не было допущено. Но крутая волна подхватила шлюпку, окатив водой весь ее экипаж. Кажется, никого это особенно не огорчило. По телефонному проводу донеслись к нам смех, веселые шутки. Нельзя было предположить, что бригада взрывников умышленно подставила себя и свое суденышко под холодный душ с риском опрокинуться. И стало понятно, зачем сопровождает их «Метеор». На «огневом рубеже» всякое может случиться. Нужно вовремя поспеть на выручку.

Я слишком долго наблюдал за шлюпкой, и, когда спустился с мостика в сейсмостанцию, здесь уже были выключены приборы, дверь раскрыта настежь, оператор сидел на пороге, ожидая, пока лаборантка проявит сейсмограмму. Скажу по секрету: я прозевал самое важное из всего, что делает экспедиция на «Гамбурце».

Как ни эффектен взрыв на море, как ни стараются матросы, вытравляя со всей мыслимой осторожностью косу, как ни бы молодцом ни был Геннадий, сидящий в штурманской рубке, и как бы ни рисковали в своей скорлупе отважные взрывники — все это оказалось бы ни к чему, если бы вдруг не сработали приборы сейсмостанции. Они включаются только перед взрывом и действуют, вернее говоря, ведут запись, считанные секунды. И вот эти-то секунды приносят геофизикам то, что еще не так давно доставалось ценой огромных усилий.

Не скрывая своего огорчения, я хотел уже было уйти, но оператор, не получив еще проявленную сейсмограмму, вернулся в аппаратную — его позвал Геннадий:

— Сделаем еще одну пристрелку?

— Не возражаю, — согласился оператор.

Я примостился рядом с ним на складном стуле. Дверь захлопнулась, и в плотной темноте перед нами возникли на щите приборов голубые светлячки циферблатов.

В репродукторе громко прозвучал голос бригадира взрывников:

— Контакт!

Вздрогнула палуба под ногами. Сейчас удар показался не таким сильным, вероятно, потому, что не виден был отсюда гейзер. Голубая молния вспыхнула в стеклянном окошечке осциллографа. Пять секунд отсчитала стрелка на светящемся циферблате. Оператор вынул кассету с лентой сейсмограммы, отдал ее лаборантке, сидевшей позади нас в затемненной кабине.

Вот и все, что произошло здесь с того мгновенья, когда Сотниченко бросил за борт шлюпки связку тротила.

Пять секунд понадобилось взрывной волне, чтобы проникнуть в глубины недр и вернуться оттуда с обстоятельным донесением о встретившихся на ее пути породах. Эти сведения приняли сейсмографы и послали по проводам в аппаратную сейсмостанции. Каждый сигнал усилился здесь в десятки тысяч раз. Только поэтому можно сейчас расшифровать рассказ волны-разведчицы. Отраженная на разных глубинах различными пластами, она успела за пять секунд пройти огромное расстояние.

«Пристрелка» закончилась. Все приборы были испытаны, и настало время

возобновить исследования, ради которых снаряжена экспедиция к берегам Туркмении.

Я упомянул, что «Гамбурцев» отправился в рекогносцировку перед наступлением. задуманным еще до того, как ударили первые фонтаны в полутора километрах от побережья Челекена. Можно надеяться, что и вдали от берега разведчики найдут богатые нефтяные месторождения. Эту надежду подкрепляет экспедиция на борту «Гамбурцева».

В каюте Маловицкого хранятся рулоны фотобумаги, на которой запечатлены донесения взрывных волн. Яков Петрович развернул несколько листов, покрытых извилистыми линиями. Они образовали густую сетку, в которой лишь опытный глаз мог бы увидеть то, о чем стал рассказывать руководитель экспедиции:

— Два месяца мы работали в этом районе. И не встретили ничего интересного. Часто так случается. Отстреливаешь профиль за профилем — и кажется, что зря тратишь время. Но нужно набраться терпения. Честно говоря, не очень-то приятно месяцами утюжить море и не поймать ни одной чего-либо стоящей геологической структуры. Неужели так и вернешься с пустыми руками? Однажды мы вынули из проявителя вот этот лист. Еще один, третий, десятый... Идем над превосходной структурой! Такую всюду ищут нефтяники. Продолжаем исследовать район, пересекаем его вдоль и поперек. Отстреляли сотни точек. Сомнений нет — нашли громадную геологическую складку. Длина семьдесят километров, ширина тридцать. Очень спокойная структура, без нарушений, идеальное хранилище для нефти. Если найдут здесь ее — а в это хочется верить. — будет открыто уникальное месторождение. Глубина моря в этом месте всего лишь десять метров, вполне доступная для строителей свайных островков и эстакад.

Маловицкий заговорил о будущем, о нефтяных промыслах, которые возникнут не только здесь, в Туркменском заливе, но и вдоль всего Балхано-Апшеронского подводного «порога», соединившего полуостров Апшерон в Азербайджане с прикаспийской низменностью Туркмении. В недрах морского дна между двумя берегами Каспия обнаружен такой «порог», состоящий из геологических структур, благоприятных для скопления нефти.

— Наш старина «Гамбурцев» поработает еще там, на морском просторе.

А пока что он тянет за собой шлюпку к северной оконечности острова Огурчинского по маршруту, который проложили не далеко, над Балхано-Апшеронским «порогом», а всего лишь в пятнадцать километрах от побережья.

Вскипают над морем гейзеры, и в промежутках между взрывами проявляется очередная сейсмограмма. Маловицкий нетерпеливо разворачивает мокрый рулон фотобумаги, всматривается в бесчисленные, причудливо изогнутые линии, возникшие за пять секунд. Сегодня Яков Петрович в отличном настроении. Волна-разведчица приносит отрадные вести.

— Смотрите, — говорит он, соединяя несколько сейсмограмм в одну длинную ленту, — как отчетливо вырисовывается купол. В этом месте пласты приподняты. Нефть выбирает для себя такие антиклиналы. Вот здесь, в самой верхней части, в куполе, скопляется газ, а чуть пониже, на крыльях и на сводах, возникает нефтяная залежь. Да, хорошо бы здесь пробурить скважину...

Придут сюда строители свайных островков, буровые бригады. Кому-то посчастливилось увидеть морскую нефть возле северной оконечности острова Огурчинского. Может быть, ему даже неизвестно будет, кто именно привел его в это место. Но, когда забурлит нефтяной поток, разведчики недр Каспия скажут добрые слова о всех, кто отыскал эту «купола» и «крылья» — о геофизиках экспедиции на борту тральщика «Академик Гамбурцев».

Вскоре после полудня северный ветер развел зыбь. Маловицкий помрачнел. В его расчеты не входило внезапное изменение погоды. Не так уж досадно было бы, случись это после того, как успели «отстрелять» дневную норму, а не сейчас, в самый разгар работы. Да еще над «куполом».

Метеосводка не обещала ничего утешительного. «Ветер северный, пять баллов, с усилением во второй половине дня до шести». Теперь уже нечего было

и думать о повторении вчерашнего рекорда. С утра до заката солнца вчера прошли около восьмидесяти километров. За один день исследовали большой район. Успеть бы сегодня пройти километров сорок.

В штурманской рубке раздался голос бригадира взрывников:

— Сколько отсчитали?

— Двадцать четыре километра за кормой.

— Маловато.

— Как у вас там — сильно болтает?

— Да не так чтобы очень. Терпимо.

На «Гамбурцеве» уже нельзя было перебраться от кормы до мостика, не держась руками за леерные ограждения. А шлюпку швыряло из стороны в сторону, и видно было, как четверо взрывников вычерпывают из нее воду.

В репродукторе сейсмостанции по-прежнему через равные интервалы слышалось:

— Приготовиться! Контакт!

Взлетали и рассыпались в воздухе высокие гейзеры, грохотали взрывы, работа продолжалась, и ленты сейсмограмм, высушенные на ветру, свернутые в рулоны, приносили все новые сведения о каспийских недрах.

Время от времени руководитель экспедиции спрашивал по телефону бригадира взрывников:

— Как себя чувствуете?

— Все в порядке! — докладывал Сотниченко.

Наша повариха давно приготовила ужин, но всем неохота было садиться за стол, не дождавшись взрывников. Они, видимо, решили работать до той поры, когда ветер и зыбь заставят возвратиться на борт «Гамбурцева».

Наконец Маловицкий приказал:

— Вернуть шлюпку!

Оператор передал Сотниченко приказание начальника экспедиции:

— Отбой, Иван Семенович. Сматывайте удочки.

— Можно еще немного отстрелять.

— Ничего, завтра доберем то, что не успели сегодня.

Медленно приближалась шлюпка, проваливаясь между пенными гребнями и обнажая киль, когда ее подбрасывала волна. Ветер усилился, и, вероятно, совсем немного осталось до предсказанных метеосводкой шести баллов.

Весь экипаж «Гамбурцева» собрался у правого борта. Быстро подняли шлюпку, промокшие до нитки взрывники спустились в кубрик, переоделись и поужинали. Никто не расспрашивал их, не хвалил за мужество, проявленное в трудные часы на «огневом рубеже». Это был обычный, ничем не примечательный день экспедиции. Жаль, конечно, что не удалось еще немного поработать. Но «купол» надували, завтра не ускользнет он от взрывной волны.

Стемнело. «Гамбурцев» стал на якорь. Неподалеку зажглись огни «Метеора». Маловицкий сидел в своей каюте, заполняя судовую журнал. Потом снова развернул листы сейсмограмм, внимательно всматриваясь в каждую линию.

Можно позавидовать руководителю экспедиции. Первым видит он сейчас пути, по которым пойдут разведчики морских недр. Именно здесь, где день за днем утюжит море «Гамбурцев», наверно, вырастут большие нефтяные промыслы, зажгутся огни вышек, поднятых над водой.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ЧЕЛЕКЕНА

Полуостров Челекен можно назвать родоначальником нефтяной промышленности Туркмении. Еще в ту пору, когда Челекен был островом — в начале прошлого века, — здесь уже рыли колодцы, вычерпывали из них ведрами нефть, везли ее через Каспий в Баку, Иран. Отечественные и иностранные предприниматели наживались на челекенской нефти. Голый, каменистый клочок земли, где не было воды и не могла выжить самая неприхотливая растительность, приносила им огром-

ные барышни. В 1838 году на острове было вырыто почти три с половиной тысячи колодезцев, давших сто тридцать шесть тысяч пудов нефти.

Когда миновала пора примитивной, колодезной добычи нефти и нужно было бурить глубокие скважины, слава Челекена стала увядать. И не только потому, что хозяева нефтяных участков хищнически вели дело в погоне за легкой наживой. Сама природа как бы воспротивилась людям, стремившимся добыть спрятанные в недрах острова сокровища. Нигде в ином месте не встречались такие изломанные, перебитые, ускользающие от разведчиков подземные пласты. «Тектоника разбитой тарелки» — так называли геологическое строение Челекена. На поверхности здесь можно увидеть породы, которые обычно залегают на большой глубине. В двух шагах от скважины, которая дала нефть, получали только воду.

Шли годы, в Туркмении открыли несколько крупных нефтяных месторождений, выростали вышки в Небит-Даге, Кум-Даге. Челекен оставался в тени. Не было веских оснований ожидать, что здесь еще найдут большую нефть. На полуострове бурили скважины, получали воду с йодом и бромом, добывали озокерит — горный воск. Челекен уже не числился в ряду перспективных нефтеносных районов.

Но геологи Туркмении не отвернулись от «разбитой тарелки». Они закладывали новые и новые скважины, переходя с восточной площади на западную, с одного подземного горизонта на другой, и все эти попытки «поймать» челекенскую нефть не приносили успеха.

Затраты возрастали, а «отдачи» не было. Кое-где получили немного нефти — она не окупила расходов на бурение скважин в сложных геологических условиях.

Однажды разведчикам Челекена сказали:

— Вы бросили в пустые скважины миллионы рублей. И ничего не вернули государству. Пора прекратить бесполезную работу.

Это случилось в 1952 году, в те дни, когда заканчивалось бурение четырех скважин. Было подготовлено решение — свернуть челекенскую разведку, перебросить в другие районы буровые станки.

Казалось, ничто уже не избавит Челекен от уготованной ему участи. И вдруг зафонтанировала одна скважина, хлынула нефть — восемьсот тонн в сутки! — из другой. На глубине более двух с половиной тысяч метров было открыто большое месторождение.

Эти фонтаны спасли, можно сказать, Челекен. Во всяком случае позволили не остановить на неопределенный срок разведку. Теперь никто не возражал против расширения фронта изысканий. Патриоты Челекена воспрянули духом и с новыми силами продолжали бурить скважины. На протяжении трех лет они открыли две новые нефтяные площади — Дагаджик и Алигул.

Наступила вторая молодость Челекена. По соседству с ветхими, уцелевшими с давних времен промышленными сооружениями поднялись новые вышки, построены котельные, мастерские, белеют огромные цистерны, течет по трубам нефть, и этот поток увеличивается по мере того, как вступают в строй десятки глубоких скважин.

На Челекене разрастается город — самый молодой в Туркмении. Его дома сложены из светлой «гюши» — ракушечника, отличного материала для строительства в здешних климатических условиях.

В недалеком будущем Челекен может выйти на одно из первых мест среди нефтяных районов. Порукой тому и найденные в его недрах богатства, и успехи, достигнутые геологами в исследовании челекенской «разбитой тарелки».

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

Сегодня в Небит-Даге похолодало: солнце давно всплыло над пепельными вершинами Балханского хребта, а ртуть в термометре не поднялась еще выше тридцати пяти градусов.

Вчера в этот час я позвонил на метеостанцию.

— В тени сорок три, — ответил спокойный женский голос.

— А на солнцепеке?

После небольшой паузы — слышно было, как жужжит вентилятор, — девушка так же невозмутимо произнесла:

— Шестьдесят.

Достаточно прожить хоть один июльский день в Небит-Даге, чтобы проникнуться глубокой признательностью к человеку, который подарил столице туркменских нефтяников спасительную тень карагача, тутовника, акации.

Часто писали об этом городе, о его широких, прямых улицах, о том, как хорошо построен и строится Небит-Даг.

В описаниях города похвальные слова адресованы садоводу Нуйкину. Беру наугад из целой кипы очерков один, самый давний. «Профессия Емельяна Евдокимовича Нуйкина, — писала «Туркменская искра» в 1949 году, — казалось бы, ничего общего не имеет с нефтью. Он — садовод. Однако имя его нередко упоминается в числе передовых строителей самого молодого города нашей республики — Небит-Дага».

Вот о ком я должен поведать, и не моя вина, что сегодня в рассказе о нем прозвучит не только хвала труду человека, чье имя, можно сказать, вписано золотыми буквами в историю Небит-Дага...

Совсем нетрудно представить себе, как выглядел бы этот город, если бы вдруг исчез его зеленый заслон. Стоит лишь побывать в новом двести шестом квартале Небит-Дага. Такие же белые трехэтажные дома, такие же просторные улицы. Все дома, дворы, каждый пешеход, устало пересекающий из конца в конец этот городской район, ничем не защищены от шестидесяти градусов выше нуля. Ничто еще не оберегает здесь от песчаной бури, часто атакующей город.

Придет время — окрепнут, оденутся в густую листву хворостинки, высаженные вдоль тротуаров, станут деревьями, поднимутся вровень с крышами, так же, как и на Первомайской, на улице Махтумкули. Но сегодня новые кварталы — это зной, асфальт и камень.

Таким же был в раннюю пору весь Небит-Даг, рассказывают старожилы, но вскоре тысячи деревьев сомкнутым строем встали на защиту города. Случилось нечто непостижимое: там, где едва хватало воды для людей, каким-то образом выжили все деревья, они разрослись, и можно было присесть в тени, отдышаться, спрятаться от палящего солнца.

«Энтузиасты озеленения, — писали «Известия» в декабре 1950 года, — возглавляемые инженером Нуйкиным, привезли деревья и кустарники из далекого Мары и Ашхабада, из Фирюзы и Кызыл-Атрека...»

Не только. добавим, привезли, но и уберегли от всяких бед, создали в центре города густой парк, щедро раздавали жителям саженцы, и во многих дворах можно сейчас увидеть сады, с головой укрывшие дома. Тридцать тысяч деревьев посадил в Небит-Даге Емельян Евдокимович Нуйкин только в 1950 году. Он умело подбирал растения, которые могли бы прижиться там, где воды было в обрез. По утрам он делал смотр своему зеленому воинству, подмечая самый малый урон, причиненный пустыней. Заполняя брешь, немедленно становился в строй более выносливый воин, его крепкий ствол принимал на себя удары песчаной бури и прикрывал стены домов от изнуряющего зноя.

Вот почему Емельян Евдокимович Нуйкин почетно упоминался при жизни «в числе передовых строителей молодого города».

Нуйкин отличался завидным здоровьем, работал в преклонном возрасте, не ушел на пенсию. 16 апреля 1962 года Емельян Евдокимович почувствовал себя плохо. Навестивший его врач прописал лекарства. Уходя, сочувственно развел руками, сказав жене: «Восьмой десяток, что поделаешь...» Через несколько дней старика поместили в больницу.

Двадцать седьмого апреля Нуйкин скончался, и никто в Небит-Даге — горько писать про это — словно бы и не заметил, что ушел из жизни человек, так много

сделавший для города. Никто не произнес над могилой слово признательности за его плодотворный труд.

У карагача и чинары долгий век. А вот кое у кого из работников горисполкома Небит-Дага короткая память. Забыли они человека, которым еще недавно так гордились. Никому и в голову не пришло назвать именем «передового строителя молодого города» улицу или парк, чтобы жизнь, отданная благородному делу, всегда служила примером юному поколению небитдаговцев.

БЕРЕГ И МОРЕ

Вернемся на борт «Академика Гамбурцева» — теперь уже не для того, чтобы посмотреть, как ищут геологические структуры под волнами Каспия. Эта работа завершается, тральщик скоро уйдет, и здесь, севернее острова Огурчинского, встанут на вахту буровые бригады. Пожелаем удачи разведчикам морских недр! Пусть хлынет нефтяной поток из первой же скважины!

Но могут спросить: не слишком ли дорогой ценой достанется эта каспийская нефть? Ведь для каждой вышки будут строить искусственный островок, бросят сюда тысячи тонн металла, пошлют целую флотилию для разведчиков, а затем для промысловиков — плавучие краны, буксиры, баржи, катера. Придется тратить большие средства на такие дела, от которых освобождены нефтяники на суше.

Когда началось бурение скважин в ста километрах от Баку, кое-кто сомневался в экономической целесообразности похода за морской нефтью. Эти опасения не подтвердились. Каспийская нефть дешевле той, которую добывают во многих местах, где нет нужды строить свайные фундаменты высотой с пятиэтажный дом для каждой вышки, бороться со штормами, бурить скважины сквозь толщу морской воды. Произошло так потому, что в недрах Каспия найдена отличная нефть, с очень малой примесью серы, парафина, смолы. Переработка ее не требует значительных затрат, в ней много «светлых» продуктов — бензина, дизельного топлива, различных масел для промышленности. Подводные пласты оказались необычайно мощными, скважины здесь долго фонтанируют.

Вот что в конечном итоге определило себестоимость каспийской нефти — она недорога, хотя и потребовала очень больших затрат.

Готовясь к морскому походу, туркменские нефтяники изучают экономику промыслов, созданных бакинцами далеко от берега, в районе Нефтяных камней. Полезно узнать заранее, сколько будет стоить тонна нефти, добытой со дна моря.

Придет день, когда из Челекенской бухты отправится судно с первым фундаментом морской вышки. Для того чтобы приблизить этот день, не задержать на долгий срок разведку нефтяных месторождений у берегов Туркмении, нужно позаботиться о многом. И в первую очередь о тыловой базе.

Берег играет решающую роль в морской нефтедобыче. Если на берегу удастся выполнить, и притом безукоризненно, большую часть работы, быстрее, успешнее подвигается дело в море. Берег должен обеспечить морской разведке — а впоследствии и промыслу — все, что позволяет пробурить скважину, получить нефть и отправить ее в ближайший порт. Создать на берегу такую крепкую, хорошо оснащенную базу, заготовлять здесь металлоконструкции, необходимые для морского бурения, — к этому пора приступить уже сегодня. И можно рассчитывать, конечно, на дружескую помощь бакинцев, опытных разведчиков морских недр.

«Академик Гамбурцев» скоро потянет за собой взрывную шлюпку в другом районе. Рекогносцировка севернее острова Огурчинского заканчивается. Наступает время выйти по маршруту, который зовет нефтяников Туркмении на морской простор, навстречу бакинцам.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

С. ИВАНОВ

★

ТРУД, ТЕХНИКА, ЭСТЕТИКА

1

Специалистам — операторам или конструкторам — объяснять, что такое пульт управления, нет нужды. Неспециалистам тоже: раз пульт — значит, автоматизированное производство, где работают «умные» машины, а человек, поглядывая на «дрожащие» стрелки приборов и на разноцветные лампочки («мерцающие» и даже «подмигивающие»), нажимает на кнопки и рычажки. Не то что тяжелого, а вообще никакого физического труда на таком производстве, понятно, нет. Один умственный.

Все правильно. На автоматизированном производстве тяжелого физического труда нет. Там никто не гаскает тяжести. Там нажимают на кнопки, а то и просто следят за приборами.

Но так ли уж легко нажимать на кнопки?

Как ни странно, иногда нажимать на кнопки труднее, чем таскать пудовые детали, а только наблюдать за «дрожащими» стрелками и «мерцающими» лампочками еще труднее.

Вот парадокс, за которым кроется множество проблем — технических, научных, экономических, социальных — и новых направлений в исследованиях, на первый взгляд никак не сопрягающихся друг с другом.

Обычный рельсопрокатный стан. Всю работу выполняют машины. Ими управляет оператор. Перед оператором пульт с кнопками, рычагами, педалями. Сидя за пультом, он совершает за час шесть тысяч движений руками и ногами. Таково количество информации, которое ему нужно переработать.

И ведь он не механически проделывает эту работу. Он знает, что каждая ошибка чревата серьезной аварией или порчей продукции. Знает, волнуется и — ошибается.

Диспетчеру крупного аэропорта как будто бы легче: за час он перерабатывает не шесть тысяч, а сто восемьдесят сигналов. Но зато какая ответственность! И случается, что у диспетчера за день ухудшается состав крови, повышается содержание сахара. Ему нужен особый отдых.

Техника избавляет человека от изнурительного физического труда, ликвидирует связанные с ним профессии и порождает новые. А с ними, увы, и новые формы утомления. От человека автоматизированное производство требует не силы, а внимательности, сообразительности, быстроты реакции. Время же реакции человека на сигнал складывается из вполне определенных величин — из скорости распространения сигнала по нервным волокнам, скорости сокращения мышц, обдумывания. А технике это не устраивает: ускоряются технологические процессы, увеличивается количество параметров, о которых нужно срочно сигнализировать на пост управления. Технике нет дела до того, что человек утомляется, нервничает, ошибается, что он в конце концов не машина.

Выход один — заставить нажимать на кнопки машину. На металлургических заводах это уже делается: машина управляет станом, а оператор следит за ней. Но и тому, кто просто следит, порою нелегко.

Ситуацию, в которой люди только следят за приборами, мы встречаем и в других областях техники, например в энергетике. Машины управляют машинами, а люди «просто» ждут чрезвычайных происшествий, отказа управляющей техники. Но они постоянно напряжены, и для них поэтому создан особый режим рабочего дня и отдыха. Их профессия не считается легкой.

И здесь выход тот же: заставить машину следить за теми машинами, которые следят за машинами.

Специалисты по кибернетике вспоминают такой анекдот.

На совете американской фирмы рассматривали проект управляющей машины. «Машина хороша, — сказал ее конструктор, — но, чтобы она была надежной, нужны еще десятка два устройств. Одни будут страховать машину, если откажут ее элементы, другие помогут ей справиться с непредвиденной ситуацией. Устройства не будут ни дешевы, ни компактны. Но это полбеды. Беда в том, что я не представляю себе их конструкцию. Может, кто-нибудь подскажет мне ее?» Молодой инженер попросил слова. «Вес конструкции?» — нетерпеливо спросил автор машины. «Килограммов восемьдесят». — «Отлично. Потребляемая мощность?» — «Ватт шестьсот». — «Превосходно! Время отладки?» — «Полгода». — «Что же это за чудо?» — «Человек, сэр!»

Директор Института автоматки и телемеханики академик В. А. Трапезников, крупнейший авторитет в этих вопросах, оценивает положение так: «В большинстве случаев современные системы управления представляют собой системы «человек и автомат», в которых человек... продолжает играть роль командира, принимающего окончательные решения. Такое положение, видимо, сохранится до тех пор, пока машины во всех отношениях не превзойдут человека в его способности управлять».

Но превзойти или даже догнать человека машина сможет лишь тогда, когда специалисты по второму звену системы «человек и автомат» обратятся за помощью к специалистам по первому звену — к психологам. Психологи должны объяснить инженерам и механизм распознавания образов, и суть ассоциаций, и природу творчества, объяснить и помочь описать все это математически, на языке, понятном машине. И тогда будут созданы устройства, о которых мечтал американский конструктор, — обучаемые и самообучающиеся автоматы.

Руководитель лаборатории Института автоматки А. Я. Лернер, рассказывая о первых встречах с психологами, не может сдержать улыбку. Инженер и психолог не понимают друг друга. Первый ищет математической однозначности, второй склонен к прозаическим описаниям. Диалог напоминает рассказ Чапека «Июэт»: те же «свободные образы», за которыми глубоко запрятан смысл. Полицейский у Чапека все-таки получает разгадку: «О шея лебеда, о грудь, о барабан и эти палочки — трагедии знаменье» превращаются в номер машины, сбившей старуху: 235. Разгадка приходит и к инженерам — образы уступают место формулам. Психология и кибернетика находят общий язык. Машины, воспроизводящие высшие функции психики, будут созданы. Следить за техникой и управлять ею придется все-таки им.

Вырисовывается первое направление в совершенствовании системы «человек и автомат» — расширение функций и повышение надежности автоматов. Каждый успех в этом направлении раздвигает сферу автоматизации и облегчает работу человека.

Но ведь система состоит из двух звеньев, двух элементов: человеческого и машинного. И функции их переплетаются так густо, что решать задачи управления, ограничиваясь только техническим аспектом и не беря в расчет психику, уже нельзя. Проблему надежности называют сегодня в технике проблемой номер один. И очевидно: надежность системы — это надежность всех ее звеньев.

2

Есть сколько угодно одинаковых машин, но нет двух одинаковых людей. Психологи и инженеры приходят к единодушному заключению: прежде чем приступить к управлению техникой, человек должен подвергнуться придирчивому отбору и тренировке. Как космонавт.

Психолог сознает, что одного участия в конструировании, где все-таки тон задают инженеры, ему уже мало, что его место не только в лаборатории, но прежде всего в отделе кадров.

Психолог знает, что есть два типа нервной системы — сильная и слабая, что человеку со слабыми нервами делать в сложной автоматизированной системе нечего — в аварийной ситуации он растеряется и наделает бед. Такие случаи бывали. Отбор и еще раз отбор.

Затем психолог берет ученика за руку и ведет его в классы, где стоят разные хитрые приборы для тренировок.

А тренировка способна привести в действие поразительные резервы. Всем известно, что опытные сталевары различают сотни оттенков красного цвета, а текстильщики — десятки оттенков черного. Тренировать можно любые ощущения. Когда кливлендских железнодорожников научили правильно ощущать расстояние и скорость, число катастроф снизилось наполовину.

Лет тридцать назад советские психологи изучили признаки, по которым сталевар различает оттенки цвета у стенок печи (то есть температуру плавки), сконструировали тренировочный прибор, воспроизводящий эти признаки, и помогли ученицу выпустить таких сталеваров, которые своей чуткостью к цвету потрясли стариков.

То было время расцвета психологии труда, иначе психотехники, время славы ЦНИИа — Центрального института труда, возглавлявшегося ученым, инженером и поэтом Гастевым, — время психологических лабораторий, создававших для промышленности методы отбора и тренировок. Уже в 1923 году научной организацией труда, которая, по выражению В. И. Ленина, является самым главным, коренным и злободневным вопросом всей общественной жизни, занималось около шестидесяти учреждений.

В годы культа личности психотехника была ликвидирована. С 1956 года несколько разбогатевших кафедр и лабораторий продолжают прерванные исследования. Работа не легка, ибо развитие техники не прерывалось. Но первые успехи уже есть. Сотрудники лаборатории психологии труда, которой руководит профессор Д. А. Ошанин, главный инициатор сотрудничества инженеров и психологов, наблюдают, например, как контролеры на ЗИЛе определяют качество мотора по слуху. Ученые улавливают природу технического слуха, разрабатывают способы его тренировки. Теперь контролера можно быстро научить, а не полагаться, как прежде, на авось.

Психологи вместе с физиологами изучают труд рабочих у конвейеров. С точки зрения организации труда, конвейер — не проблема, обучить человека однообразным операциям легко. Но в том-то и беда, что однообразным. Ничто не сравнится с конвейером по монотонности; происходит, как говорил И. П. Павлов, «долбление в одну клетку». Монотонность усыпляет, раздражает, портит нервы. Физиологи и психологи придумывают десятки лекарств от монотонности: ритм конвейера становится волнообразным, подчиняется «графику» утомления; рабочие получают дополнительные перерывы; сборщики овладевают несколькими профессиями — в одной преобладают зрительные функции, в другой — двигательные и т. д. Чередование операций вносит желанное разнообразие.

Но конвейеры — это все-таки вчерашний день техники. Постепенно сборщиков заменяют автоматы. За температурой плавки начинают следить приборы. Определяют качество моторов тоже приборы. Машины мало-помалу освобождают человека от непосредственного воздействия на изделие или продукт. Центральным объектом изучения психологов становится оператор — человек, управляющий машинами, первое звено системы «человек и автомат», системы, которая определяет облик сегодняшней и завтрашней техники (вспомним высказывание В. А. Трапезникова).

Именно поэтому мы и начали свой рассказ об одном из путей облегчения труда с тех трудностей, которые еще сопровождают работу оператора. В этой работе, как в фокусе, собраны и преимущества и недостатки нынешних взаимоотношений человека и машины.

Итак, оператор. Он проходит отбор. Это самое легкое для психолога: сильные или слабые нервы, быстрота реакции, сообразительность, внимание. Затем тренировки. Они

могут состоять в многократном воспроизведении аварийных ситуаций. Речь идет не о натаскивании, хотя без него и не обойтись. Психологам известны удивительные вещи: прибор еще молчит, а опытный оператор уже знает, что через миг раздастся сигнал. Читая книгу, мы не осмысливаем каждую букву подряд, перескакиваем, угадываем, схватываем текст «по диагонали». Опыт помогает нам отбирать главное, предвосхищать события. Наша медлительность возмещается воображением и обобщением.

Установить разумный объем информации, рационально распределить обязанности между человеком и автоматом, точно зная, что лучше сделает первый, а что второй, отбирать и тренировать людей — вот, помимо совершенствования самой техники, путь к повышению надежности системы. В отношении человеческих возможностей последнее слово еще не сказано, недостатки способностей человека как машины, говорят психологи, можно частично уравновесить его способностями как человека.

Частично, но далеко не полностью. Совершенствование техники и человека — это еще не все. Как бы мы ни натренировались читать «по диагонали», как бы ни был внимателен текст, ничего у нас не получится, если буквы будут разного шрифта, строчки напечатаны вверх ногами, типографская краска окажется блеклой, книга будет лежать далеко, лампа светить в полнакала — словом, если мы вздумаем читать непримлемо изданную книгу в неподходящих условиях.

На языке техники это требование формулируется как создание благоприятной рабочей обстановки и оптимальных способов подачи информации.

3

Благоприятная рабочая обстановка — это и есть тема нашего рассказа. О создании «умных» машин и научном подборе людей, управляющих машинами, мы упомянули лишь постольку, поскольку проблема улучшения условий труда включает в себя и эти два важнейших направления. Нас же интересует третье направление — обстановка для работы.

Еще раз подчеркнем, что, начав с пультов, мы вовсе не забрались в кибернетические дали. Пульт действительно олицетворяет собою комплексную автоматизацию, а она уже идет, и пульта есть и в энергетике, и в химии, и в металлургии, и на транспорте. И в конце рассказа мы опять обратимся к пультам, чтобы посмотреть, как ликвидируются противоречия, чтобы увидеть рабочее место центральной фигуры завтрашнего производства.

Но средства для борьбы с утомлением всякого рода, для облегчения труда создаются не только в кибернетических лабораториях, а в более простой обстановке. Ведь система «человек и автомат» рождается из системы «человек и машина». На тысячах заводов пока нет постов управления. Там человек нажимает на кнопки и рычаги не на пульте, а на самой машине, физическое напряжение преобладает над нервным, и там много, очень много значат хорошие условия для работы. Да, и там перемены зависят в первую очередь от техники, от механизации и автоматизации. Но не от одной только техники, а еще и от разнообразных обстоятельств, находящихся в ведении людей, которые еще недавно были от техники далеки.

На этих обычных заводах и в институтах, работающих для обычных заводов, из отдельных элементов, из мелких и крупных усовершенствований создается новая обстановка для рабочего 1963 года и закладываются принципы обстановки для рабочего 1980 года.

Вот что происходит, например, на «Автогенмаше» — на заводе, который одесситы сегодня показывают всем наравне с Приморским бульваром, знаменитой лестницей и другими достопримечательностями.

Директор «Автогенмаша» С. А. Мезенцев любил живопись. В 1945 году ему, молодому инженеру, посчастливилось стать свидетелем спасения дрезденских сокровищ. С тех пор он собирает картины и репродукции. Он пишет сам. Искусство помогает ему жить — пусть же оно помогает всем. Как хорошо было бы работать, наслаждаясь симфонией красок, красотою, которую можно создать своими руками. На производстве

должно быть красиво. Тогда у людей будет радостное настроение, к ним придет вдохновение. Но как же должна выглядеть эта красота?

Завод еще строится. Рядом с развороченными котлованами — цехи, где уже делают машины. Какая уж тут симфония! Завод на окраине, автобусы ходят редко и в часы пик набиты битком. Покуда человек доберется до завода, от его бодрости и хорошего настроения не останется и следа. Директор добивается, чтобы дали больше автобусов. В цехах устраивают душевые: приехал — ступай освежись.

Наш завод — наш дом. Мезенцев напоминает рабочим слова их знаменитых сограждан: «Хватит бороться за чистоту, надо взять метлу и подметать». Люди смеются и берутся за метлу. Все плакаты о соблюдении чистоты с негодованием сорваны: дома же не висят плакаты.

Открывается заводская сапожная мастерская, прачечная, аптека, парикмахерская. Люди хлопочут, благоустраиваются, люди веселятся. Создается служба красоты, создается сад. Директор распоряжается огородить все котлованы, отвести строителям особые пути. Стройка отделана, расчищены дорожки, привезена земля, посажены сирень, яблони и черешни.

В обед Мезенцев обходит цехи: не застряли ли там курильщики. Люди роются на клумбах, танцуют, мастерят велосипедную стоянку, толпятся у карты, которую нарицал заводской художник Орлов. Это не обычная карта: завод, соединенный путями с кружочками-городами, куда идет продукция. Завод у Орлова соединен с картинками: фиорд — Норвегия, готические башенки — Швеция, тростниковая плантация — Куба, страусы — Судан, Парфенон — Греция, оперный театр — Австрия. Даже гейзеры — Новая Зеландия.

«Наш завод — наша гордость!» Этот лозунг висит у входа. И это не просто красивые слова. Вы подъезжаете к «Автогенмашу» и видите легкую ограду (никаких серых заборов!), видите карту, сад и чувствуете, что здесь думают о людях непрерывно, начиная с того, чтобы не было окурков и выбитых стекол. И вы понимаете, как забота переходит во всеобщую привычку и равнодушие уступает место горделивому любованию.

Но чем же любоваться, когда два цеха втиснуты в одну «коробку»? Однако зайдите в арматурный. Это очень тесный цех. И он занимает первое место по чистоте. А за первое место дают премию. И в арматурке звучит музыка — купили приемник.

Завод-сад движется по пятам за заводом-котлованом. Сверкают стены из бетона и ракушечника. Надо ставить мачты-столбы и развешивать прожекторы. Обычные столбы? Ну, нет! Мезенцев чертит эскиз перевернутого конуса, на широкой площадке, которая окажется наверху, поместится больше прожекторов. Мачты окрашивают во все цвета солнечного спектра. Так веселее и интереснее.

Однако люди понимают: завод-сад — это еще не все. Сегодня этого уже мало. Вокруг — цветы, красота, а в цехах грязно-серые стены, грязно-серые станки. Это и безобразно и вредно. От серого темно, горят сотни ламп, рабочие напрягают зрение. Но в какие же цвета окрасить цехи?

Стремлением к красоте Мезенцев заразил всех. Но теперь и рабочие, и инженеры, и он, умный администратор, инженер с жилкой художника, отличный психолог, — все они останавливаются в решительности.

Нечто похожее происходит и в Таллине, на экскаваторном. Там уже несколько лет без конца перекрашивают цехи, чтобы, как выразился один из энтузиастов, «иметь сменяемость колеров». Но и «сменяемость» приедается. Нужна какая-то постоянная гамма цветов. Какая же?

Этот же вопрос задают на московском «Калибре», на Киевском заводе реле и автоматики — везде, где культура и благоустройство прошли через элементарные стадии чистоты и озеленения. Этим озабочены и инженеры московского института «Оргстанкинпром», и их руководитель В. А. Нижегородцев. Они хотят создать для заводов типовой проект окраски цехов и дать ответ одесситам, таллинцам, москвичам.

За границей давно занимаются цветом на производстве. Американцы и англичане приводят ошеломляющие цифры, подтверждающие связь рациональной окраски с рабо-

тоспособностью и настроением, точностью и травматизмом Чехи говорят: «экономичный» серый цвет обходится нам в двадцать раз дороже разумно подобранных сочетаний. Но единых сочетаний нет нигде.

Нижегородцев едет к руководителю лаборатории цветового зрения Е. Б. Рабкину и погружается в историю восприятия цвета. Технолог становится физиологом и психологом.

Полтора года назад о том же удивительно писал Гёте: каждый цвет рождает особое настроение — желтый возбуждает радость, синий навеивает грусть, зеленый умиротворяет. Свою идею Гёте «внедряет в жизнь» — окрашивает комнаты в разные цвета отводя каждой особую эмоциональную роль.

Гёте, вероятно, не удивился бы, если бы узнал, что через много лет русский психиатр В. М. Бехтерев будет мечтать о больнице, в которой людей лечили бы цветом, а потом английские психиатры начнут доказывать, что манию преследования надо лечить синим, а раздвоение личности желтым.

Покуда физики обосновывают трехкомпонентную теорию цветового зрения, провозглашенную еще М. В. Ломоносовым, и приходят к выводу о наличии фотохимического распада светочувствительных веществ в глазных колбочках (разные пропорции распада дают ощущение разных цветов), физиологи и психологи обнаруживают, что цвет влияет на физиологические и психологические функции, на настроение и работоспособность. Прав был Ломоносов: «Много утех и прохлада в жизни нашей от цветов зависит».

Неизвестно, радовался ли Гёте в желтой комнате. Английские психологи полагают, что нет: если человека перекормить желтым, его охватит приступ морской болезни. Какая-то загадочная связь между колбочками и вестибулярным аппаратом. Но насчет синего Гёте не ошибся — синий в большом количестве даже угнетает. Не ошибся Гёте и насчет зеленого. Физиолог С. В. Кравков доказывает, что зеленый цвет понижает внутриглазное давление, уменьшает слепое пятно сетчатки, обостряет слух, способствует нормальному кровообращению, улучшает мускульно-двигательную способность. Красный же, напротив, настораживает, встряхивает, будоражит и быстро утомляет.

Но как перенести все это на производство, в обстановку цеха? В цехах ведь люди не созерцают цвет. Они его почти не замечают. И функции у предметов в цехе различны. Зеленый, видимо, лучше всех, но нельзя же все окрасить в зеленый. Да и зеленых десятки....

Нижегородцев узнаёт о чудаковатом английском фабриканте, окрасившем все на кожевенной фабрике в «экономичный» черный цвет, и о нервных заболеваниях, постигших рабочих. Узнает об опыте с ящиками: рабочим предложили таскать одинаковые по весу черные и белые ящики. В один голос рабочие заявили, что черные тяжелее. Подсознательная ассоциация: черное — темное — массивное — тяжелое. Узнает о случае с «легким» белым цветом. На одном чикагском заводе служащие утверждали, что в новом кафетерии кормят невкусно — белизна кафетерия напоминала им о больнице. Узнает о том, что при одинаковой температуре в голубой комнате кажется холоднее, чем в оранжевой. Те же ассоциации...

Человек не равнодушен к цвету. Он сознательно или бессознательно различает тяжелые и легкие, теплые и холодные, веселые и мрачные цвета. Все, что могли сказать психологи и физиологи о цвете, они сказали Нижегородцеву. Можно попытаться нарисовать себе будущий цех.

Нет, еще нельзя. Нужно подумать об отражательной способности цвета, о правильном соотношении цвета и света. Чтобы глаз видел отчетливо, нужны контрасты. Но контраст контрасту рознь. Если станочник хоть раз в минуту перенесет взгляд с блестящей детали, поглощающей пять процентов света, или с белой стены на черный пол или даже на грязно-серый станок, поглощающие девяносто процентов, ему придется пять секунд приспособлять свое зрение к детали — терять за смену полчаса. Один станочник — полчаса. Полмиллиона — тридцать пять тысяч рабочих дней. За смену! Нужен умеренный контраст. Он поможет различать каждый цвет, а из всех цветов составит приятную и неутомительную гамму. Потолок будет, как обычно, белым, верхняя часть стен гоже, нижняя часть, панель, должна отражать процентов сорок — шестьдесят света (это дает светло-зеленый тон), оборудование — чуть меньше.

Светло-зеленый — основа. И президент медицинской Академии Н. Н. Блохин подтверждает: «Даже мы, медики, считавшие долгое время белый цвет классическим цветом медицины, стали теперь перекрашивать операционные в светло-зеленые тона... меньше чувствуешь усталость». Меньше потому, что после светло-зеленого глаз скорее приспособляется к другому цвету.

За основой следуют вариации. В механическом цехе стены потемнее, в инструментальном посветлее. Опасные части машин должны обращать на себя внимание и выделяться: неподвижные будут светло-зелеными, а подвижные — желтыми. Опасное должно кричать о себе. В эскизе цеха появляется черно-желтый крюк крана, электрокары с красным ободком. Чем горячее цех, тем прохладнее тона, чем тяжелее машины, тем легче их цвет. На чертеже возникают голубые прессы, белые печи.

Так рождается первый в Советском Союзе проект — «Культура машиностроительного предприятия».

Рождается в муках. В институте все за Нижегородцева и его группу. Но проект не для института, а для промышленности. А между институтом и промышленностью — инстанции. Для инстанций затея в диковинку. Одни встречают проект иронически, другие — в штывы. Жили без окраски и проживем без окраски. На сером не видно грязи, а светлое требует ухода. Кто будет этим заниматься?

Им отвечают: рабочие и инженеры занимаются культурой производства? Занимаются. А это и есть культура, соединенная с гигиеной, с техникой безопасности. Важен результат. А результат будет. Глаза будут меньше утомляться — улучшится освещенность, исчезнут черные и серые тона, окажет свое воздействие зеленый цвет. Приятная окраска поднимет настроение и работоспособность. Любителям чистой экономии доказывают, что повысится производительность труда, уменьшится расход электроэнергии, что реже станут ломать оборудование — за светлыми станками будут лучше следить. Вы думаете, заводам не нужен этот проект? Но почему тогда им нужны цветы в цехах? На заводах люди хотят, чтобы было красиво. А проект красив.

Проект размножен, получен, внедрен. Заводы голосуют за него. И заменяют длинное, невыразительное его название кратким: «Проект красоты».

Некоторое время Мезенцева и его единомышленников называют в Одессе чудаками, а завод — показухой. Но затеей увлечены рабочие, какая же это показуха! Затеей оборачивается двадцатипроцентным увеличением производительности. Секретарь горкома привозит на «Автогенмаш» партактив: «Учитесь — вот вам облик завода будущего».

Не везде такие директора, как Мезенцев. Новое требует энтузиастов. На рижском ВЭФе окраской занялись молодые инженеры Неля Комарова, Неля Балодэ, Юрий Понс, на «Саркана звайгзне» — не очень молодой, но решительный главный механик В. Я. Лакшевиц. Проект воплощается в жизнь на десятках заводов.

4

Расправившись с серым цветом, заводы объявляют войну шуму. «Знаете ли вы, что такое шум? — говорит руководитель общественного конструкторского бюро на ВЭФе Владислав Ждан. — Бойкие репортажи по радио с заранее записанной «симфонией труда» — это издевательство над трудом. От шума кружится голова, портится слух, ухудшается сон...»

Шум, скрежет, лязг и их родная сестра вибрация чрезвычайно вредны. Но что делать с машинами, которые шумят? С ткацкими станками, чья скорость измеряется чудовищной единицей — количеством ударов челнока? Со станками, которые расшатывают стены здания и нервы ткачих? С паровоздушными молотами, чье уханье слышно далеко по заводу?

С шумом борется сама техника: сварка вытеснила клепку, вместо молотов ставят прессы. Вибрирующие детали штампуют из пластмасс, и они перестают вибрировать. В машинах используют шумопоглощающие покрытия — руберойд, битум, войлок.

На заводах тоже воюют с шумом. Есть токарные станки, которые грохочут, как пулеметы: по трубе ползет прут, резец обрабатывает его, и прут бьется в трубе. Кон-

структуры ВЭФа надевают на трубу чехол из полихлорвинила, обкладывают ее песком. На «Саркана звайгзне» таким же способом укрощают галтовочный барабан, где со страшным скрежетом трется друг об друга поковки. Есть еще пылеотсос. Он визжит так, что барабан кажется райской музыкой. В отсос ставят лабиринт из ребер — воздух с пылью петляет по лабиринту и затихает.

Инженеры и рабочие пытаются укротить шум. Кое-где (больше всего в сборочных цехах) даже работают под музыку — тишина хороша не для всякой работы. Это на заводах. А в кибернетических лабораториях уже создается прибор, генерирующий ритмичные звуки. Инженер А. И. Прохоров увлеченно рассказывает: «Представьте себе цех. Сигнал перерыва, и стены освещаются цветовыми пятнами. Слышится бодрящая мелодия. Ритмы цвета и звука подобраны так, чтобы человек быстро и хорошо отдохнул. Перерыв окончен, но музыка продолжается, человек работает в лад, и работается ему хорошо и весело. Мы называем этот ритмический аппарат генератором настроения».

Кроме цвета и звука, нас еще окружают запахи. Это тоже компонент рабочей обстановки, о нем нельзя забывать. Применительно к производству обоняние, как зрение и слух, очень часто имеет дело с гигиеной и техникой безопасности. Есть вредные запахи, есть пыль. С ними борются элементарной вентиляцией, ставят ионизаторы. Ионизатор выбирает из воздуха тяжелые ионы, вызывающие сердцебиение и головную боль, и посылает нам легкие ионы, помогающие усваивать кислород. Следующая ступень — кондиционеры, искусственный климат. Есть предприятия, где без кондиционирования воздуха не обойтись: производство точных приборов, полупроводников, синтетических тканей, горячие цехи. А в общем искусственный климат хорош в любом цехе. Здесь лучшее не враг хорошего.

В лабораториях же создается кое-что еще лучшее. Физическая теория запахов (которая очень занимала молодого А. Ф. Иоффе) гласит, что запах, как и свет, рождается из тех же электромагнитных колебаний. А раз так, то можно создать генератор запахов и наполнить цехи ароматом цветов, сосен, моря. Сегодня мы записываем на магнитную ленту изображение и звук, завтра запишем и запах. Природа у них одна, и функции могут быть сходными.

Генераторы ритмов и запахов пока в стадии эксперимента. Рабочих же и инженеров занимают проблемы попроще. На заводах перекрашивают цехи и оборудование, укрощают шум. Но как поддерживать чистоту и красоту? Пыль, грязь и стружка способны за неделю свести на нет все усилия.

Мыть окна в цехах — дело трудное и неприятное. За месяц прозрачность стекол в заготовительных цехах снижается наполовину. Стекла покрываются пленкой, с которой в состоянии справиться только химические растворители. И заводы получают второй выпуск проекта «Оргстанкинпрома»: чертежи простых механизмов для мытья окон, машин для мытья и уборки полов.

Но чтобы пол можно было мыть, надо избавиться от асфальта, вбирающего, как губка, грязь и масло. На ВЭФе настилают пластик релин, на Втором часовом в Москве — мраморную крошку. Прочно, красиво, гигиенично. На стружку тоже находят управу: «Оргстанкинпром» и сами заводы конструируют необходимые механизмы.

Обычно рабочее место — неуклюжая коробка, именуемая инструментальным шкафом, и несуразное сооружение из досок — стеллаж. Ни гигиены, ни безопасности, ни красоты.

Теперь для каждого вида производства и для каждой профессии разработан свой вариант рабочей мебели, удобной и изящной. Рекомендации института дополнены потоком предложений, вызванных всеобщим конкурсом. Вот, например, предложение ташкентского инженера М. П. Егорова — рабочее место раздатчика инструмента. Инструмент все хранят в ящиках и на полках большими комплектами, к ним даже трудно подобраться. Инженер предлагает вам стеллаж, похожий на вертящийся выставочный стенд. Инструмент хранится в гнездах на двенадцати «страницах» стенда. Остроумно, удобно и красиво. Но самое, пожалуй, замечательное — это комплект стандартизованных (то есть дешевых и приспособленных к массовому выпуску) деталей, разработанный московскими инженерами. Из комплекта, как из детского конструктора, можно сделать удобное и красивое место для рабочего любой профессии.

Оборудовав по-новому рабочие места, используя все рекомендации «Оргстанкин-прома» (а там еще один выпуск — красивая, удобная и гигиеничная одежда для рабочих, одежда, которой давным-давно пора прийти на смену ватникам, почерневшим майкам, неудобным халатам и промасленным курткам), любой завод уже сегодня может создать обстановку, отвечающую всем требованиям гигиены, техники безопасности, культуры, физиологии. Всем требованиям технической эстетики.

Авторы этого термина понимают, что цех, окрашенный по новым правилам, вовсе не так уж красив: эстетический вкус подчинен физиологии и психологии. Конструкцию рабочей мебели диктуют технологические требования. Производственная красота воздействует на работающих не непосредственно, а через ликвидацию утомления, через удовлетворение работой, которая становится легче и приятнее.

5

Но разве не может красота существовать в цехе сама по себе, быть не следствием, а причиной? Может ли, например, машина быть произведением искусства?

Этот вопрос пытаются сегодня решить художники — представители еще одной профессии, связывающей свою судьбу с производством. Создание благоприятной рабочей обстановки требует вмешательства самых разнообразных специалистов.

Машина и искусство? «Передо мной было не только замечательное произведение техники, но и впечатляющее произведение искусства». Это говорит Ю. А. Гагарин о космическом корабле. Машина, на которой ему предстоит работать, вызывает у него восторг и эстетические ассоциации («Прекраснее локомотива, парохода, самолета...») не только своим техническим совершенством, но и пропорциями, формой, цветом, выражающими назначение машины и смысл события. Форма корабля, продиктованная суровыми законами аэродинамики, вырывается из функциональных рамок и делается источником наслаждения, становится как бы предметом искусства.

Как родственное искусству воспринимаем мы и реактивные лайнеры, и корабли на подводных крыльях.

Стремление повысить скорость самолетов заставляло убирать и убирать все лишнее, и форма нынешнего самолета, подчиняясь аэродинамике, выражает скорость с первого же взгляда. И не случайно над самолетами (как и над судами на подводных крыльях, и над автомобилями) работают наравне с конструкторами художники. И тогда, как говорит известный авиаконструктор О. Антонов, первоначальные формы самолета «постепенно улучшаются, гармонизируются и, уточненные расчетами, испытаниями... облагораживаются, приобретают стремительность, элегантную законченность и даже... певучесть».

Художник, обращаясь к технике, вынужден подчиняться ее требованиям. В расцветке цехов он подчинен физиологам и психологам, подчинен интересам производства. Но он знает о свойствах цветов не только то, что говорит ему физиолог, а и то, что говорят живопись и архитектура. Пользуясь общими рекомендациями об окраске цехов, он может предложить тысячи вариантов, сообразуясь с формами интерьера и оборудования. Он выступает не как покорный исполнитель, а как активный и равноправный участник. Так вместе с конструктором он формирует облик предметов, учитывая и их назначение и вкус эпохи.

Он помогает подобрать цвет для станка. Но может ли он изменить его форму, да и нужно ли делать это? Телевизор, автомобиль — тут все ясно. А при чем здесь станок?

Когда-то это не было предметом дискуссии. Станок знаменитого Нартова восхищает и специалистов и неспециалистов: первые видят в нем прообраз копировального полуавтомата, вторые — произведение искусства. Тогда, в XVIII веке, красота машин носила декоративный характер. Станок мог быть похож на клавесин. Но лишь только он стал массовым орудием производства, его убранство исчезло: оно бы выглядело нелепо.

К предметам массового обихода красота является не как дополнительный элемент, а как облик самого предмета. Она проступает в его пропорциях, в ритме его частей, в целесообразном расположении всех элементов. Художник может привести конструктора

и наилучшему решению механизма, конструктор поправит художника, чей талант открывает великолепные модуляции форм, линий, переходов плоскостей. Содружество двух способов познания может дать отличный результат.

Так считают, например, в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище. И в Московском — бывшем Строгановском. Так говорят преподаватели этих училищ — И. А. Вакс и А. Е. Короткевич. А их ученики блестяще оправдывают надежды своих учителей.

Тот, кто был в 1961 году на выставке дипломных работ студентов в Академии художеств, помнит работу ленинградца Степана Булатова. Он помог новосибирским конструкторам (сейчас он работает вместе с ними) упростить конструкцию пресса и сделать его компактным и изящным. На той же выставке можно было увидеть станки москвичей Григория Рессина и Вячеслава Шпака. Художники конструировали (именно конструировали) их вместе с инженерами, перебирая десятки вариантов на пластилиновых, гипсовых и деревянных моделях. Они помогли инженерам упростить и обобщить форму станка, убрать угловатость, смягчить переходы от света к тени, отбросить лишнее, сделать так, чтобы линии направляли глаз рабочего к месту действия. Станки стали удобнее, красивее, современнее прежних.

Инженеры все внимательнее прислушиваются к художникам. Безупречная форма сбережет материал, облегчит работу и уход, делает машину спокойной и приятной. Станок — это архитектурное сооружение, а значит, в нем есть нечто от искусства.

Глядя, как инженер и художник работают над станком, присутствуешь при синтезе искусства и науки, при взаимодействии двух форм мышления, пытающихся создать новую технику — высокопроизводительную и прекрасную, с которой человеку будет работать легко и радостно. Этот синтез приведет к великолепным результатам. «Искусство... обязано сказать свое решительное слово в промышленной эстетике, — пишет С. Т. Коненков. — Внешний облик завода, формы и цвет станков, одежда рабочего, устройство цеховых интерьеров — все должно... даже неукосного и незнакомого с производством привлекать, восхищать с первого взгляда. Работа художников над эстетическим осмыслением промышленного предприятия, по моему твердому убеждению, прибавит нашим рабочим не один год жизни».

К этому можно добавить, что труд у нас приобретает все больше творческих черт. Автоматизация побуждает людей к размышлениям и, избавляя их от тяжелого физического труда, дает возможность направлять силы на техническое творчество. Постоянное общение человека труда с гармонией форм, линий, красок воспитает у него хороший вкус, пробудит интерес к искусству, научит понимать и ценить красоту. А человек, причастный к искусству, становится способным на более глубокое обобщение и проникновение в суть вещей. Искусство, стремящееся к той же цели, что и наука, — к познанию и упорядочению мира, развивает способности синтеза, поднимает мышление на высшую ступень, обогащает новыми средствами познания и созидания, помогает думать. В Программе КПСС об этом сказано так: «Художественное начало еще более одухотворит труд, украсит быт и облагородит человека».

Представим себе цех, где воплощены все рекомендации «Оргстанкипрома», где работают станки, созданные конструкторами и художниками. Но на нем лежит печать незавершенности. Красота втиснута в старую «коробку» цеха, не имеющую ничего общего с архитектурой. «Коробку» (полуофициальный строительный термин, такой же дикий, как единица скорости ткацкого станка — удар) соорудили, чтобы прикрыть машины и людей. И только.

Промышленная архитектура плелась в хвосте у строительства. В начале тридцатых годов о ней было думать некогда. Потом красота если и проникала в промышленность, то в сомнительном облике лепных украшений и дорических колонн. И все-таки промышленная архитектура существовала. Был ДнепрогЭС, который проектировали братья Веснины. На Каховской и Куйбышевской ГЭС появились удачные цветовые решения. А затем вступила в строй Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, где благородные пропорции и цветовые решения удачно сочетаются с монументальной живописью. Архитекторы и художники, участвовавшие в проектировании ГЭС, воспользовались и данными физио-

логии, и достижениями светотехники, и новейшими синтетическими материалами, и, главное, стилем, отвечающим эпохе и назначению сооружения.

Завод, разумеется, не гидростанция. На заводе больше машин и еще больше людей. И все-таки сделать можно многое. Можно потому, что покончено с нелепыми представлениями о красоте, что появились новые материалы — пластики, железобетон, силикалит, стекло, алюминий. И широчайшее поле деятельности — двадцатилетка.

Лет пять назад институту «Гипростанок» поручили разработать проект завода 1975 года. Тогда он казался проектом завода будущего. Сегодня это вчерашний день не только для «Гипростанка», но и для промышленности — в проекте было все, чем может похвалиться сегодня тот же «Автогенмаш». «Гипростанок» занялся реконструкцией действующих заводов — вильнюсского «Жальгириса», ЗИЛа, шлифовальных станков. Новые цехи этих заводов будут похожи на одно предприятие, о котором стоит рассказать подробнее.

«...Очень многие заводские здания и сооружения даже разного назначения могут быть типовыми, одинаковыми,— говорил Н. С. Хрущев на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.— Например, корпуса машиностроительных, приборостроительных и текстильных предприятий ничем практически не отличаются и могут строиться по одним и тем же проектам».

Вот перед нами один из таких проектов. Его создают инженеры института «Промстройпроект» во главе с А. С. Шевелевым. Инженерам помогают архитекторы, художники, светотехники, психологи, физиологи.

Проектировщикам хорошо известны все камни преткновения. Закончишь проект, рассчитанный на новейшее оборудование и самую совершенную технологию, построен завод, а оборудование и технология устарели. Приходится реконструировать здание, тратить силы и средства. Здание, которому надо стоять десятки лет, тормозит технический прогресс.

Проектировщики решают создать универсальное здание, готовое ко всем сюрпризам технологии, да еще разместить в нем два предприятия — текстильную фабрику и завод электротехнических изделий.

Как же выполнить эту задачу?

Все изменения технологии упираются обычно в так называемую сетку колонн: 6×9 метров, 6×12 метров. Сетку нужно раздвинуть, а здание собрать из элементов только шести основных типоразмеров. В цехе просторно — расстояние между ближайшими колоннами увеличено в пять раз. Цеху нужны электричество, пар, вода, сжатый воздух. Сложная сеть энерго- и трубопроводов обычно проходит под полом и соединяется со станками снизу. Надо изменить технологию и передвинуть станки — ломать пол, перетаскивать трубы, ставить новый фундамент. Здесь же все «коммуникации» подводятся сверху. Оборудование можно двигать как угодно.

Мы неспроста углубились в технику постройки. Отказ от разнотипности промышленных зданий, переход на единые типовые проекты экономит огромные средства, индустриализирует строительство, позволяет широко применять новые конструкции и материалы. Мы не говорим уже о громадной экономии, которую дает совмещение вспомогательных служб для двух предприятий, расположенных в одном здании, — одна столовая, одна котельная, одна телефонная станция, одно электроснабжение...

Как же выглядит предприятие?

Проектировщики решили изобрести рабочих от возни с окнами и крышами — «фонарями», от которых проку мало. Окон нет совсем. Люминесцентные лампы дневного света дают ровную и постоянную освещенность. С вентиляцией тоже никаких хлопот: шесть кондиционеров поддерживают постоянную влажность, температуру и чистоту воздуха. Воздух в цехе обновляется каждые пять минут. Летом кондиционеры питаются холодной артезианской водой, зимой — теплой водой от ТЭЦ. А шум? Станки, конечно, шумят, но шум как бы втягивается в отверстия перфорированных алюминиевых листов на потолке и пропадает в звукопоглощающих матах — плитах из минеральной ваты, обернутой в полиамидную пленку. Станки выкрашены по всем правилам физиологии цветового зрения.

Чудесные цехи. Они расположены в светлом здании, похожем на спортивный зал, в здании без труб и забора, отлично «вписанном» в архитектурный ансамбль нового жилого района. Великолепный замысел: находки «Оргстанкинпрома», «Авгогенмаша», ВЭФа — все собралось в этой сокровищнице производственной культуры, гигиены, эстетики.

Но самое ценное в этом проекте, в этом до мелочей гуманном и целесообразном замысле — это то, что он уже воплощен. Предприятие будущего стало предприятием настоящего. Это ткацкая фабрика в Новых Черемушках. Рабочую обстановку предприятия коммунистического труда можно, что называется, потрогать руками. Ею уже пользуются сотни человек.

Тропинки отдельных опытов и исследований слились в дорогу. И на этой дороге построено первое здание, где для рабочего обычного, сегодняшнего производства созданы самые благоприятные условия.

Проектным институтам остается перенимать опыт. И они перенимают. И создают еще более удивительные проекты. А строители изготовляют по ним рабочие чертежи и приступают к делу.

6

Так происходит преобразование сегодняшнего завода. А завод будущего? Завод, которому, может быть, и вовсе не потребуется здание, не потребуется потому, что машины, которые будут обрабатывать продукцию, и машины, которые будут следить за этими машинами, лучше разместить под землей или в особых чехлах, как это сделано уже сегодня на Кременчугской ГЭС или на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Как быть с заводом, где человек станет работать только у пульта управления? И так ли он уж далеко от нас, этот завод?

Он не далек, он совсем рядом, как чудо в Новых Черемушках. И о рабочей обстановке на этом заводе надо позаботиться как можно скорее. И когда к психологам приходят конструкторы и просят помочь им создать «умные» машины, психологи напоминают им не только о подготовке людей, но и о благоприятном оформлении автоматической техники. Рождается новая наука, разрабатывающая проблемы оптимальной подачи информации, — инженерная психология.

Инженеры соглашаются с тем, что пост управления (то есть рабочее место на заводе будущего) должен вобрать в себя все, что может сегодня предложить физиология и психология, промышленное искусство и техническая эстетика, весь опыт нынешних заводов — от ВЭФа, которому десятки лет, до нового предприятия в Черемушках.

Итак, подумаем о панели информации, о такой простой вещи, как шкала прибора. До сих пор приборы делали без психофизиологического обоснования. Оператор должен, например, следить за тем, чтобы стрелки прибора не отклонялись от «нормы». Но у приборов разные «нормы», и каждый приходится читать в отдельности.

Психологи установили, что на большом расстоянии человек точнее воспринимает на приборе белые линии на черном фоне, а на маленьком — черные на белом. Нужна оптимальная форма шкалы. Вертикальная шкала, оказывается, дает больше всего ошибок, горизонтальная — меньше, круглая еще меньше, а шкала в форме окна — совсем мало. Очевидный вывод еще подкрепляется американскими психологами, которые утверждают, что семьдесят процентов авиационных катастроф происходит не из-за отказа моторов, а из-за того, что пилот ошибся, читая показания прибора.

На Английской выставке в Москве показывали осциллограф. Над его оформлением добросовестно поработали художники. Каждый элемент оформлен изящно, прибор сделан в приятных голубых и кремовых тонах. Но психологи придираются: прибор так красив, что его невольно приходится созерцать. А это отвлекает внимание. В конструировании приборов красоте ставятся определенные ограничения. Д. А. Ошанин даже говорит: некрасивое читается лучше. Зато художники могут заняться органами управления. Человек лучше воспринимает пространственный сигнал, а не цветовой. Форме рукоятки пластическими средствами можно придать определенное значение.

Нужно подумать и о том, например, как выделять группы приборов — по частоте употребления или по смысловой общности. Конечно, основные приборы и рукоятки должны быть ближе к оператору, а второстепенные дальше, чтобы переход от одной рукоятки к другой исключал повторы, чтобы рука не чертила зигзаги. Все это кажется элементарным, но что поделаешь — этим никто не занимался!

Пульт оформлен «оптимально». Приборы и переключатели расположены отчетливо. Человек готов к приему информации. Чем же он воспринимает сигналы? Глазами. Но ему может помочь и слух. «Электронное ухо», слушая шумы предприятия, будет анализировать изменения в их ритме и громкости, вызванные неисправностью в машине, и преобразовывать их в световые сигналы. Тут оператор по-прежнему воспринимает информацию зрением. Но возможен и другой вариант: преобразование цвета в звук — цветовой сигнал сопровождается звуковым. Оператор воспринимает информацию и зрением и слухом.

Вариант этот напрашивается сам собой. Но инженеры и психологи еще относятся к нему осторожно. Может быть, не подкреплять цветовой сигнал слуховым, а подхватывать то звуковой, то цветовой: нельзя перекармливать человека информацией...

Требования к оформлению постов управления конкретизируются, пора применить их на практике. И Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, которому поручено оборудовать ТЭЦ № 21, приглашает психологов и художников оформить пост управления тепловыми агрегатами.

Этот пост необычен прежде всего в техническом отношении. До сих пор между оператором и машинами стояла система автоматического регулирования — САР. Регуляторы делали все что нужно, и человек редко вмешивался в их работу. Но САР не слишком надежна, и теперь ее функции переданы управляющей вычислительной машине — УВМ. Машина будет запускать агрегаты, поддерживать наилучший режим, предупреждать и ликвидировать аварии, выдавать технико-экономические показатели и даже сигнализировать о собственной неисправности. Второе звено системы «человек и автомат» станет еще надежнее. А первое?

ТЭЦ № 21 вступит в строй в 1964 году. Она будет давать электроэнергию новому московскому району Химки—Ховрино. ТЭЦ почти готова, но панель и пульт еще отлаживают на опытном производстве института. Там, в механическом цехе, рядом с техникой сегодняшнего дня стоит как олицетворение техники завтрашней новый пост управления. Его ведущий конструктор молодой инженер В. Ф. Венда объясняет, что здесь сделано для первого звена.

На бледно-кремовом фоне — цвет фона должен быть нейтральным, чуть-чуть мажорным — мнемосхема: штриховые символы агрегатов, шкалы, сигнальные кружки. Цвет всех элементов подобран по рекомендациям Е. Б. Рабкина, сами же элементы сгруппированы в лаборатории Д. А. Ошанна по принципам инженерной психологии. Обращает на себя внимание непривычное, «некрасивое» начертание цифр (на то и некрасиво и непривычно, чтобы обращало внимание!). Яркость свечения лампочек, их направление, их величина — все обосновано психологически и оформлено со вкусом. Описать это трудно. Это надо видеть. И надо знать, как нескладны были предшественницы новой мнемосхемы. Пусть читатель поверит: оператору будет работать здесь приятно и легко.

Но психологи озабочены. Они включились в работу над постом, когда инженеры уже создали проект, а лучше было бы работать вместе с самого начала, тогда многое можно было бы сделать иначе.

Оператор будет получать много информации — и о работе машин, и о работе УВМ. Но ответных действий от него не потребуются никаких — до тех пор, пока УВМ не просигнализирует об аварии и о собственной беспомощности. Недели бездействия притупят бдительность оператора, и надежность первого звена может в критический момент оказаться никудышной. Как же быть?

Можно время от времени отключать УВМ — устраивать ложные тревоги. Способов много. Но проблема надежности всей системы решится не только тогда, когда будет выбран наилучший способ держать человека в неутомительной готовности, но и когда человек сможет получать информацию не об одной лишь аварии, а и об ее угрозе.

Мы в лаборатории, похожей на электромеханическую мастерскую — катушки, схемы, лампы, моторчики, — и покуда вильнюсский психолог А. Пянкаускас возится с моделью мнемосхемы, на разный лад располагая лампочки и пытаясь найти оптимальную для оператора плотность расположения световых элементов (это изумительная модель, скоро к ней подключат вычислительную машину, и психологи как следует изучат и плотность, и размеры элементов и найдут наилучшее расстояние от человека до схемы), — покуда идут эксперименты, Ошанин набрасывает эскиз панели завтрашнего дня: оператор видит не сигнал аварии, а сигнал о том, что, «если так будет продолжаться», может произойти авария. Процесс управления или, точнее, наблюдения становится увлекательным. Человек успевает увидеть ручеек и поставить запруду прежде, чем ручеек превратится в реку.

Такую панель можно снабдить звуковой сигнализацией. Красные огоньки молча вызывают: параметры идут к критической черте. Но человек не видит — он углубился в книгу. Еще секунда — и та-та-та-та: слышатся тревожные сигналы. Человек поднимает голову. Сигналы продолжают звучать. Мнемосхема затухает, выделяется лишь яркое пятно — элементы, относящиеся к определенному агрегату. УВМ молит о помощи. И человек приходит на помощь машине.

Инженеры и психологи не видят в такой картине ничего фантастического. Подобный пост управления можно создать. И человек не будет знать, что такое утомление и нервное напряжение. Его труд лишится последних остатков автоматизма, станет настоящему интеллектуальным, увлекательным и радостным.

Так из отдельных экспериментов и исследований, наблюдений и расчетов складывается замечательное направление в организации труда, вбирающее в себя достижения и технической эстетики, и инженерной психологии, и промышленного искусства, направление, создающее — будем говорить языком техники — оптимальные условия труда, построенные по высоким законам заботы о человеке.

7

Забота о человеке требует увлеченности, она не терпит равнодушия, формального выполнения циркуляров. А равнодушных еще немало. Много даже тех, кому все, о чем здесь говорилось, кажется выдумкой бездельников. Как-то мне пришлось беседовать с главным конструктором одного уважаемого института. Институт создает технически безупречные станки, но их цвет и форма не заботят главного конструктора. «Меня называют консерватором, — говорит он не без рисовки. — Я и есть консерватор. Это я ввел серый цвет в наше станкостроение. Я и до сих пор за него. Серый практичен. А форма? Да, у нас тут молодежь что-то лепит из глины. Игрушки все это, пустяки. Художник не нужен конструктору».

Таких, как этот главный конструктор, все меньше и меньше. И скоро они наверняка поймут, в чем их заблуждение. Понять нужно всем: впереди огромная работа. Нужно объединить усилия физиологов, психологов, инженеров, художников и направить их по общему руслу, распространить по всей промышленности.

И вот первая радостная весть: по предложению рижских комсомольцев, Латвийский совнархоз решает сделать двадцать три предприятия образцом высокой культуры, и художественно-промышленная секция технико-экономического совета разрабатывает на этот счет рекомендации. В них не забыты ни механизмы для уборки, ни рабочая мебель, ни фасоны рабочей одежды, ни рецепты красок. За выполнением рекомендаций следит проектно-технологическое и конструкторское бюро совнархоза. В Вильнюсе, Таллине, Свердловске — то же самое.

«Оргстанкинпром» вместе с институтами строительной физики, новых строительных материалов и архитектурным разработал ГОСТ на окраску, а комитеты по автоматизации и по делам строительства утвердили его. В ГОСТе есть одно важное новшество, которого не было в проекте: рекомендации дифференцированы в зависимости от климата. Южанам предлагаются цвета попрохладней, северянам — потеплее.

Давно ли Я. Н. Лукин, ректор Ленинградского художественно-промышленного училища, на Первой всесоюзной конференции по технической эстетике сетовал на то,

что некоторые директора заводов ограничивают художников рисованием досок почета и спохватываются лишь тогда, когда новую машину бракуют на выставке за уродство? Спыхватываются и бегут к художникам: «Братцы, выручайте!» «Братцы», конечно, выручают, но им обидно: оформлены в штате чуть ли не снабженцами. Заводские конструкторы к ним не прислушиваются. Союз художников их не признает.

Но директора и конструкторы начинают понимать, что без художника нынче как без рук. Наши машины лучше многих зарубежных, но некрасивы. За границей давно занимаются эстетизацией техники: в США около двухсот художественно-конструкторских бюро, в Англию работу нескольких тысяч художников-конструкторов направляет особый Совет и герцог Эдинбургский вручает призы за «элегантную конструкцию». А наши не элегантны, хоть и производительны. И в художественные училища приходят теперь заявки на выпускников, вдесятеро превышающие число студентов. Строгановка завалена просьбами: ВНИИстройдормаш просит «художественно оформить» кран (эти красавцы уже строят дома в Москве), Калининский вагоностроительный завод — оформить вагон, СКФ-6 — автоматическую линию.

Но жизнь требует более решительных мер. И как ответ на коренные нужды развития промышленности и эстетической культуры приходит постановление Совета Министров СССР об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения методами художественного конструирования.

Теперь в каждом совнархозе создано либо художественно-конструкторское бюро, либо секция. Главный конструктор проекта получает заместителя по художественному проектированию. Художественной культурой в промышленности занимается ВНИИТЭ — Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики.

Нельзя, конечно, думать, что этим все исчерпывается. Химики еще не создали хорошие краски. Их надо поторопить. Еще не придумали, как лучше наводить красоту на заводах — силами ли предприятия или межзаводских фирм. Не централизовано изготовление рабочей мебели и одежды. Еще не завершена дискуссия о том, как лучше готовить художников в училищах, дискуссия, в которой участвуют и сами художники, и инженеры (главный конструктор самолетов О. Антонов считает, например, что нам нужно пятьдесят — сто тысяч художников-конструкторов), и, естественно, философы, для которых понятие «эстетика» приобрело еще одно вполне конкретное содержание.

Биофизики полагают, что проект «Оргстанкинпрома» хотя и весьма ценен, но наивен: цветовое зрение еще надо изучать на «кибернетическом уровне». Художники тоже вносят в проект поправки. Сделан первый опыт, его надо развивать.

Многое еще не решено организационно. Для художников промышленность находит «штатные единицы». Теперь надо подумать и о психологах: в институтах, конструирующих технику, и на заводах их почти нет. Д. А. Ошанин руководит лабораторией в Институте психологии, а институт принадлежит Академии педагогических наук, и педагогическая Академия может гордиться участием в оборудовании электростанций. Тому же Д. А. Ошанину вверен отдел инженерной психологии и физиологии во ВНИИТЭ, отдел, который уже работает, ведет интересные, многообещающие исследования...

Директор ВНИИТЭ Ю. Б. Соловьев рассказывает: «Нам дано право запрещать выпуск некрасивых вещей и машин, и мы будем запрещать... Через несколько лет дело развернется пошире, чем в Англии, не может не развернуться — речь идет о человеке, о его нуждах... Я делал доклад о технической эстетике, в зале сидело шестьсот инженеров, половина улыбалась, но половина слушала серьезно, а завтра все будут слушать серьезно!»

Институт сформулирует требования к промышленной продукции и передаст их художественно-конструкторским бюро, снимет с производства плохие товары и машины и создаст образцы новых. Начнется координация работ институтов и КБ, смотры изделий в совнархозах... Отделы института разработают методы художественного конструирования, проверят их на опытном производстве и покажут в демонстрационном зале. Самые квалифицированные специалисты войдут в межведомственный художественно-технический совет, который станет высшим авторитетом в стране в области эстетики конструкций. **Советский стиль вещей будет создан.**

Речь идет о человеке, о его нуждах, о научной организации его труда, о единой политике в этой организации, необходимость в которой после ноябрьского Пленума ЦК так очевидна. И над этим думают конструкторы, архитекторы, строители, художники, психологи. Этим занимаются сами рабочие. Об этом заботятся партия и правительство.

Вот рассказ о том, что сделано за три года и что будет делаться дальше. Очень беглый рассказ, хотя и не короткий.

Но напоследок хочется все-таки привести еще один эпизод. Однажды киевские психологи проделали такой опыт. Рабочим под гипнозом внушали «положительные эмоции», после чего производительность их труда выростала.

После всего сказанного ясно, что этот эксперимент так и останется экспериментом. Он пригодится только сочинителям брошюр о могуществе гипноза.

Автоматизация и сокращенный рабочий день, великолепные условия работы и отдыха, красота и творческая работа создадут изобилие «положительных» эмоций естественным путем. Радость не придет извне. Источником радости, как говорит Программа партии, станет сам труд.



А. КОНДРАТОВ

★

ЛЮДИ И ЗНАКИ

ЧИСЛО И МЫСЛЬ

«Цифры не управляют миром, но они показывают, как управляется мир», — писал Гёте. Первобытный человек в основном руководствовался инстинктом: слепым, хотя во многом и мудрым. Но с каждым поколением инстинкт медленно, постепенно, из столетия в столетие превращался в з н а н и е. Знание самого себя, знание трав, животных, гор, рек — словом, знание окружающего мира.

Долгие века пробуждалось человеческое сознание, освобождаясь от первичных мифов, от оков религии, магии, анимистического обожествления природы. Труд создал человека; труд и мысль создали науку — совершеннейшее средство ориентировки в окружающем мире. Знание стало научным знанием. И это научное, «доказанное» и «проверенное» опытом знание по мере развития науки становилось точным. Показания приборов, вычисления, точные и однозначные формулировки, экспериментальная доказуемость — вот требования, которые предъявляются ныне к точным наукам. Именно требования, диктуемые, вопервых, общественной практикой, во-вторых, внутренней логикой самой науки, ибо всякая «наука только тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой» — эти пророческие слова Карла Маркса, приведенные Полем Лафаргом в воспоминаниях, как никогда, современны именно в наш век.

Необходимость безошибочно водить корабли, знать сроки разливов рек, мерить землю, надежно строить дома и крепости — вот что было практической, общественной причиной, в силу чего астрономия, геометрия, физика из наук «описательных» стали науками точными. Без учета объективных свойств окружающего мира не будет пользы и практике — точные науки, правильно отражая законы этого мира, кроме своей практической пользы, стали средством познания.

Астрономия, геометрия, физика. Науки о «мертвой природе», которая неизмеримо проще, чем живые организмы, не говоря уж о такой высокоорганизованной материи, как человеческий мозг. А могут ли быть точные науки о «живой природе» и даже о «природе мыслящей»? Этот вопрос сейчас уже звучит риторически. Ныне на наших глазах происходит настоящий переворот в науках о жизни и мышлении. Как и в математизации наук о «мертвой природе», так и здесь есть на это две причины: практическая и логическая.

И Маркс, основатель науки о человеческом обществе, и Павлов, основатель науки о мышлении человека, и многие другие великие ученые мечтали о том времени, когда гуманитарные и общественные науки станут науками точными. На первом этапе любая наука накапливает факты и по возможности наиболее полно и достоверно описывает их. Затем эти факты начинают объясняться теорией, все более доказательной, с помощью измерений и чисел. Описательная наука превращается в точную.

Этот исторический процесс продиктован не только логикой развития науки, развития человеческого познания вообще. Он обусловлен задачами общественными, задачами практики. Разумное планирование с помощью расчетов, а не «приблизительных решений»; активное преобразование живой природы, выведение новых сортов растений, новых пород животных; расчеты космических трасс; инженерные задачи, требующие точного знания человека, его возможностей и способностей; необходимость владения иностранными языками и — шире — процесс обучения вообще — это задачи, которые нельзя решать «на глазок». Все это проблемы государственного масштаба, проблемы социальные, практические.

Рождение вычислительной техники, рождение кибернетики было тем необходимым ответом на запросы, которые поставил перед учеными современное общество. Утомительнейшие, кропотливые расчеты, требовавшие прежде многих месяцев и даже лет упорного труда, «электронные математики» могут проделать за часы и минуты: ведь скорость действия современных вычислительных машин поистине фантастическая — двадцать тысяч, сто тысяч, миллион операций за одну секунду!

Кто-то из кибернетиков метко назвал современные вычислительные машины «идиотами, наделенными феноменальной способностью к счету». В самом деле, кибернетическая машина удивительно «тупа» по сравнению с самым отъявленным глупцом; ей нужно долго и настойчиво «разъяснять» на ее, машинном, языке чисел и логических команд вещи, для человека само собой разумеющиеся. Но «тупость» вычислительной машины компенсируется чудовищным темпом ее работы. Скорость нервных процессов, протекающих в мозге, не превышает ста двадцати метров в секунду, в то время как в машине электрический ток бежит со скоростью, близкой к тремстам миллионам метров в секунду.

Чтобы дать задание машине, нужно перевести его на «язык чисел». Но как? Математические, физические, астрономические задачи можно «формализовать», выразить в числах. Как же быть с другими областями знания — биологической, гуманитарной, общественной?

И современная наука и техника сумели выразить их на машинном языке чисел и четких логических команд, сумели дать задания «умным машинам». Применение математических методов в экономике позволяет с помощью «электронных экономистов» давать миллионы рублей экономии. Биохимики и генетики уже разгадали «шифр жизни» — код белка. Не так уж далеко то время, когда с помощью вычислительных машин люди будут рассчитывать структуру будущих растений и животных, в буквальном смысле этого слова совершая «перedelку природы». Союз автоматки и инженерной психологии позволяет освободить, где это возможно, человека от утомительного и однообразного труда, заменив его педантичным и неумимым роботом. В нашей стране все шире применяется кибернетика, электронные счетно-решающие и управляющие устройства в производственных процессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управления.

Итак, общество поставило перед наукой ряд задач, ответом на которые было рождение кибернетики. Но кибернетика в свою очередь поставила задачи перед другими науками — задачи создания машинного языка, перевода человеческого языка и языка науки на однозначный и ограниченный язык машин. Ответ на эти требования кибернетики должна дать новая наука — семнотика.

АЗБУКА ТЕОРИИ ЗНАКОВ

Слово «семнотика» образовано от греческого слова «семиос», что означает знак. Несмотря на молодость новой науки, предмет ее изучения — любые знаковые системы, употребляющиеся в человеческом обществе, — столь же стар, как и само человечество. Общество невозможно без общения, без средств связи.

Тарзан, Маугли, разумные и мудрые «дети джунглей», быстро овладевшие человеческой культурой и разочаровавшиеся в ней, — это прежде всего плод писательской фантазии. Но наука знает не придуманных, а настоящих «детей джунглей», людей, вскормленных дикими животными: волками, леопардами, павианами, медведями и даже овцой. Когда эти выросшие среди животных люди попадали в человеческое общество, они ничем не отличались от вскормивших их зверей. У них были нормальные голосовые связи, но вместо человеческой речи они издавали нечленораздельный звериный вой; у них были две ноги, но они предпочитали ходить на четвереньках; их психология, поведение, образ жизни также были не человеческими, а звериными. Оторванные от общества людей, «дети джунглей» стали животными. Человеческого происхождения оказалось недостаточно, чтобы стать человеком, — для этого нужны другие люди.

Средства связи цементируют общество, без них люди не смогли бы ни совместно трудиться, ни совместно осознать свой опыт, отражать, или, как говорят кибернетики, моделировать окружающий мир. Общение людей, как и моделирование мира, происходит с помощью знаковых систем. Число этих систем, степень их сложности, их способность моделировать мир возрастает по мере развития человеческого общества.

Средства общения, системы сигнализации существуют не только у людей. Работы последних лет неопровержимо доказали, что самые различные животные, от примитивных до высокоорганизованных, пользуются «языками», если понимать термин «язык» более широко, зачисляя в разряд «языков» не только наш обычный естественный язык, но и искусственные языки дорожной сигнализации, химической и математической символики, язык жестов, искусства, науки и другие знаковые системы.

У муравьев и других насекомых существует особый «язык запахов», с помощью которого они передают информацию друг другу. Язык кур насчитывает десять элементарных слов-сигналов, из которых строится около двадцати более сложных знаков («сигнал опасности», «категорический призыв» и т. д.). У пчел средством связи являются их «танцы»: исследования показали, что это не хаотические и бессмысленные движения, а довольно сложная и определенная система сигнализации. У павианов насчитывают до восемнадцати сигналов-слов. У шимпанзе «словарный запас» гораздо богаче: он достигает более тридцати сигналов-криков.

Но как бы ни была разработана система сигнализации у животных, сколько бы знаков-слов ни входило в нее, она коренным образом отличается от человеческих средств связи. У животных нет осознания знака. Знак и то, что этот знак обозначает, неразрывно связаны и для кошки, имеющей очень примитивный язык (мяуканье и мурлыканье), и для «словоохотливого» по сравнению с другими животными шимпанзе. Уже само слово «знак» говорит о том, что знак есть знак чего-то, условный сигнал, обозначающий нечто вне этого сигнала. Различные оттенки в кудахтанье курицы могут означать «опасность близко», «опасность далеко», «опасность — человек», «опасность — ястреб». Это условные знаки, смысл которых — события, происходящие во внешнем мире. Но курица этого не осознает, для нее реальная опасность и сигнал об опасности неразличимы. Знаки воспринимаются животными конкретно, не отрываются от ситуации, которую они обозначают.

Недавние работы американских ученых показали, что у ворон существуют различные «языки», различные системы сигналов для ворон городских и ворон сельских. У бродячих ворон существует свой, особый «язык», но они могут «разговаривать» с воронами городскими и воронами сельскими на их «городском» и «сельском» языках! Однако какими бы лингвистическими способностями ни обладали вороны-полиглоты, они могут говорить только о событиях, непосредственно связанных с ситуацией, о событиях, которые происходят только в данное время и в данной обстановке. Курица может сказать «опасность далеко» и «опасность близко», но она никогда не сумеет сказать своим детям о том, что опасность

может быть завтра или была в прошлом и вообще о «возможности опасности». Этого не позволит ей сделать ее конкретный язык, на котором можно сказать «беги! опасность!» только в данный момент.

Оторвавшись от конкретной ситуации, став независимой системой знаков, язык получает огромные возможности, ибо с его помощью можно выражать не только то, что происходит сейчас, теперь, но и говорить о будущем, прошлом, возможном и даже заведомо невозможном, говорить об абстрактных вещах и ситуациях. Ни один «язык» животных не может сделать этого; таким языком обладает единственное мыслящее существо на нашей планете — человек.

Впрочем, точнее было бы сказать, что человек имеет не язык, а языки, если понимать этот термин достаточно широко. Наш обычный естественный язык («язык» в узком смысле этого слова) — это, как определял его Ленин, «важнейшее средство человеческого общения», «в котором выражается жизнь мысли» (К. Маркс), с ним имеет дело каждый человек как в обществе других людей, так и наедине с самим собой. Это самая гибкая, самая надежная, самая универсальная знаковая система, которую имеет в своем распоряжении человечество. Но, кроме него, в нашей жизни все большее место начинают занимать и другие, неязыковые системы знаков. Иллюстрации в книгах, вывески, цифры, чертежи, карты, схемы, диаграммы — все больше информации получаем мы от них. Создание специальной, неязыковой символики позволило математике, логике, физике, химии добиться той точности, которую было бы необычайно трудно достигнуть с помощью обычного языка. Стоит хотя бы только сравнить легкость вычислений, делаемых с помощью знаков-цифр, и трудности вычислений, которые возникают, если числа записать словами. Попробуйте-ка вычислить, не прибегая к цифрам, чему равно «два в девятой степени».

К неязыковым системам общения относятся и различные искусства: живопись, скульптура, музыка, пантомима. Как о многом умеет рассказать, не говоря ни единого слова, знаменитый французский мим Марсель Марсо!

Семиотика различает «естественные» и «искусственные» системы знаков. К первым принадлежит человеческий язык. Мы не в силах изменить в нем слова «по своему хотению», он возник вместе с мышлением, вместе с обществом и развивается вместе с ним органически. К «искусственным» системам знаков принадлежат знаковые системы современной химии, физики, математики и т. д.: «классическим» примером подобного рода систем может служить дорожная сигнализация. Эти системы знаков рождаются в уже сложившемся обществе и могут быть в любое время изменены этим обществом. Ученый может предложить свою собственную систему обозначений (например, в математической логике есть разные системы символики, предложенные Булем, Пирсом, Расселом и другими учеными). ГАИ может ввести новую систему дорожной сигнализации, более совершенную, чем существующая. Но даже самый гениальный ученый, даже самая полномочная администрация не может «заменить» целиком и полностью тот язык, на котором говорит народ, и предложить ему другой язык, «более совершенный». (Заметим, кстати, что наш естественный язык характерен тем, что на нем можно изложить смысл любой другой системы знаков.)

АЛГЕБРА МЫСЛИ

Число знаковых систем, которыми пользуется современное общество, неуклонно возрастает. Средства массового общения — пресса, телевидение, радиовещание — делают широко доступными такие системы знаков, которыми раньше могли пользоваться только отдельные члены общества. Стоит только сравнить небольшой круг лиц, который мог наслаждаться концертной музыкой до изобретения грамзаписи, и современные средства распространения музыки: грампластинки, радиопередачи, телепередачи, магнитофонные записи и т. д.

Наряду с развитием знаковых систем постепенно рождалась и наука о зна-

ках — семиотика. Логические основы теории знаков заложил американский ученый Чарльз Пирс (1839—1914), автор работ по математике, физике, геодезии, метеорологии, астрономии, математической логике. Но приписывать ему всецело заслугу создания новой науки нельзя; он первым сформулировал те идеи и методы, которые были «на уме» у представителей самых различных наук, от математики до психологии, подобно тому, как Норберт Винер, которого называют «отцом кибернетики», не создал эту науку, а только дал ей название. Не будь работ фон Неймана в области теории автоматов, не будь работ Колмогорова по теории вероятностей, не будь теории информации, созданной Клодом Шенноном, не будь работ Павлова в области рефлексологии, не будь бурного развития вычислительной техники — кибернетика не была бы рождена.

Первыми, кто ощутил необходимость осознать «знаковый» аспект своей науки, подвергнуть анализу фундаментальные понятия и правила, были математики прошлого века. Академик А. Я. Хинчин образно описывает ситуацию, сложившуюся в математике к началу XIX века: «Это была своеобразная картина: ни одно из самых основных понятий анализа не было определено сколько-нибудь точно, вопрос о том, что такое бесконечно малая величина, подвергался бесчисленным дискуссиям... совершенно бесплодным, так как в большинстве случаев ни одна из спорящих сторон не могла предложить ничего, кроме смутных, ни к чему не обязывающих образов».

«Смутные образы» в самой точной науке! К середине прошлого века необходимость создать логический фундамент математики стала очевидной.

Логическая математика... Но для этого сама логика должна стать математически точной, иначе мы одни «смутные образы» будем объяснять посредством других «смутных образов». Математическая логика и логическая математика — эти две науки рождались почти одновременно, логика и математика шли рука об руку в решении общих задач.

В 1847 году в Лондоне появилась книга ирландского математика Джона Буля (кстати сказать, отца писательницы Э. Войнич, автора «Овода») под названием «Математический анализ логики». Законы логики, сформулированные Аристотелем, правила построения рассуждений Буль выражает в математической форме, строит «алгебру высказываний»; логические доказательства могут быть вычисляемы, логические проблемы сводятся к арифметическим!

Работы Буля продолжили немецкий математик Э. Шредер и замечательный русский ученый, математик, логик и астроном Платон Сергеевич Порецкий. «В основании метода Буля, — пишет он в 1884 году, — лежит гипотеза о тесной связи между алгеброй и логикой, связи, в силу которой при известных условиях формулы и приемы алгебры могут быть переносимы в логику и обратно». Другими словами, всякое суждение может быть выражено в виде уравнения.

Вслед за созданием «алгебры логики» начинается новый этап — логическое обоснование математики. Его начинают работы Г. Фреге и Ч. Пирса и завершает фундаментальный труд Бертрانا Рассела и А. Н. Уайтхеда «Принципы математики». Основные понятия геометрии и арифметики, математического анализа и теории вероятностей подвергаются строгой проверке. Выдающийся немецкий математик Георг Кантор создает теорию множеств; «бесконечность», «число», «натуральный ряд чисел» и другие основные понятия математики впервые за тысячи лет получают логическое обоснование.

На первом этапе Буль, Шредер и их последователи пытались сделать логику математикой; в начале XX века Бертран Рассел предпринимает попытку свести математику к логике.

Взять набор аксиом, а затем вывести из него чисто логическим путем все содержание математики — таков был замысел. Но в 1930—1931 годах австрийский математик и логик Курт Гёдель доказал, что этот замысел невыполним. Чтобы обосновать — даже чисто логически — арифметику, нужно знать, что такое число, понимать смысл действий над числами. «Содержание» должно предше-

ствовать «форме»; процесс логического вывода невозможно формализовать полностью.

Начинается новый этап семиотики: от чисто формальных изысканий, где «мы никогда не знаем, ни о чем мы говорим, ни верно ли то, что мы говорим» (так определял математику Рассел), ученые переходят к содержанию, к смыслу, к семантике.

Первыми начали исследование семантических проблем польские логики С. Лесневский, Т. Котарбинский, А. Тарский. Польским ученым принадлежит и честь создания системы логики, отличной от классической.

«Суждение может быть либо истинным, либо ложным» — «я говорю либо правду, либо ложь; третьего быть не может...» Две тысячи лет это положение было непоколебимо. «Или — или», «истина — ложь». Но как быть с такими суждениями: «18 ноября 1968 года в Варшаве будет дождь»? Что это — истина или ложь? 18 ноября 1968 года мы можем это узнать, а пока эта дата не наступила, как быть?

Анализируя подобного рода высказывания, польский логик Ян Лукасевич пришел к выводу, что логики «истинно — ложно», двузначной оценки для них недостаточно. Необходимо ввести еще одну категорию: возможность. 1) Истинные, 2) ложные, 3) возможные — такова трехзначная оценка суждений в новой логике. Но ведь понятие «возможность» можно приравнять к «вероятности». Последнее имеет численные значения. События, которые произойдут наверняка, имеют вероятность, равную единице; события, заведомо невозможные, имеют вероятность нуль. Между нулем и единицей лежит бесконечный ряд чисел меньше единицы и больше нуля; значит, и логика может быть трехзначной, четырехзначной, многозначной, иметь бесконечное множество значений!

К анализу значения подошли не только логики и математики. Революция в физике заставила ученых пересмотреть многие «самоочевидные» истины, обратиться к логическому анализу не только абстрактных, математических наук, но и наук, непосредственно говорящих об окружающем мире: физики, химии, биологии.

«Описывая язык, мы делаем это на том же самом языке» — эта простая истина не мешала лингвистам прошлого века; нетрудно было описать на английском (или русском, немецком, французском) языке закономерности древней латыни или современного итальянского. Но в XX веке языковеды столкнулись с большой трудностью. Описание языков индоевропейских, имеющих общего прародителя, нетрудно сделать на одном из индоевропейских языков — французском, английском или русском. Но почти невозможно описать языки, не принадлежащие к этой группе. Законы языка эскимосов или индейцев Амазонки непохожи на законы индоевропейских языков. Как быть лингвисту? Очевидно, нужно создать «язык о языке», метаязык, на котором можно говорить о всех языках мира...

Основная единица языка — слово. Слово имеет значение. Как объективно описать его? Слова обозначают вещи, понятия, чувства; если даже в математике не обойтись без содержания, то тем более не обойтись без него лингвистике. Но кроме того, что слова обозначают в реальном мире, имеется еще одна, самая важная для нас черта языка — его социальность. Язык, как и все остальные системы знаков, создан в обществе и для общества. Знак имеет значение. Но оно мертво без того, кто пользуется знаками — без человека, без общества; «сигнал сигналов», как назвал слово академик Павлов, не существует сам по себе.

Знак и человек, знак и общество — под таким девизом идет нынешний этап развития семиотики. На этом же этапе произошло «крещение» новой науки: его сделал американский ученый Чарльз Моррис в 1938 году в книге «Основы теории знаков». Начав с наук абстрактных — математики и формальной логики, — семиотика неизбежно пришла к проблемам значения, к проблемам смысла знаков. И с той же неизбежностью семиотика пришла к обществу и человеку, которыми и для которых знаковые системы созданы. Учение Маркса еще раз получило доказательство своей правоты.

ЗНАКИ, ЯЗЫК И ПОВЕДЕНИЕ

Синтактика, семантика, прагматика — так называются три раздела современной семиотики. Знак немислим без системы знаков; он входит в «язык» (трактуемый как система знаков), соотносится с другими знаками, комбинируется в сочетания, в «высказывания» на «языке». Отношение знака к знаку изучает синтактика. Ее не занимает смысл, значение знаков — важно знать только формальные правила. При анализе некоторых знаковых систем этого достаточно. Например, в шахматной игре (игры также относят к семиотическим системам) имеется набор шахматных фигур («элементарных знаков»). Есть правила шахматной игры («правила комбинации знаков»). Расположение шахматных фигур в начале игры также задано правилами; исходя из них, мы можем вывести чисто логически все новые и новые сочетания знаков. Эти знаки имеют значение, но только то, которое задано им правилами игры. Шахматный конь ничего не обозначает, не имеет никакого другого содержания, кроме того, что он шахматный конь, определенная фигура, которой разрешено делать определенные ходы, и только.

Математическая логика почти целиком и полностью занимается синтактикой; математические формулы, логические высказывания рассматриваются аналогично позициям на шахматной доске. Содержание высказываний не учитывается, и выражение «Если снег черен, то вороны пьют квас» столь же правомерно, как и «Если ты посеешь ветер, то пожнешь бурю».

Но работы многих ученых неопровержимо показали, что даже в таких абстрактных науках, как математика и логика, нельзя обойтись без содержания, без значения, без семантики. У шахматной фигуры имеется одно значение — то, которое предписано игрой. Для большинства знаковых систем, которыми пользуются люди, чисто знакового значения недостаточно. Необходимо еще знать, что знак обозначает в реальном мире. Для шахмат есть двусторонняя связь: «знак — значение», «выражение — содержание». В большинстве знаковых систем к ним присоединяется еще «обозначаемое». Связь становится тройной, получается «семантический треугольник»: «знак — значение — обозначаемое». Необходимость провести различие между «обозначаемым», то есть предметом или явлением реального мира, и «значением» в системе знаков стала очевидной уже в первых работах по семантике. Во фразах «Венера — утренняя звезда» и «Венера — вечерняя звезда» обозначаемый предмет один и тот же — планета Венера. Но смысл разный, разное значение.

В приводимом примере разные значения («вечерняя звезда» и «утренняя звезда») — явление языка. Но значение зависит также от отношения людей к тому предмету или явлению, о котором они говорят. Пожалуй, самый яркий пример дают газетные заголовки.

В городе Лондоне 25 мая 19... года осужден на один год тюремного заключения некий лорд Икс. Различные английские газеты освещают этот случай поразному. Их отношение сказывается в заголовках: «Дело Р.М.С.П.» («Таймс»), «Приговор лорду Икс внесен» («Ньюс кроникл»), «Лорд Икс заключен в тюрьму сроком на один год» («Дейли геральд»), «Лорд Икс приговорен к 12 месяцам тюрьмы» («Дейли миррор»), «Приговор лорду Икс поразили Лондон» («Дейли мейл»), «Лорд Икс получил 12 месяцев» («Дейли уоркер»).

Как нетрудно увидеть, значение всех этих высказываний зависит от отношения говорящих. Здесь мы имеем дело не только с семантикой, со смыслом, но и с социальной обусловленностью этого смысла, или, говоря на языке семиотики, с прагматикой.

Анализ шахмат может быть проделан целиком в рамках чисто формальной части теории знаков — синтактики. Для математики, логики, естественных наук необходим еще и семантический анализ — смысловая, содержательная интерпретация знаковой системы, анализ значения.

«Дважды два — четыре» и в Соединенных Штатах, и в Бельгии, и в Австралии. Скорость свега и в районе Туманности Андромеды, и в районе нашей Земли

не превысит трехсот тысяч километров в секунду. Содержание точных наук объективно, их семантика не зависит от людей, которые ими пользуются. Но значение большинства знаковых систем, будь это естественный язык, искусство, философия, общественные науки, моральные и правовые нормы, неразрывно и органично связано с обществом, с теми людьми, которые пользуются знаками (пример с газетными заголовками может служить хорошей иллюстрацией этому). И эти знаковые системы нельзя научно и полно изучить, если не учитывать прагматику, то есть общества и людей, этими знаками пользующихся. Нельзя понять творчество Гойи, не зная истории Испании, нельзя изучить русскую иконопись, не зная истории православной церкви, истории христианства в России, истории Киевского княжества, не зная социальных причин и условий, порождавших эти явления.

Точные науки начинают с простого и переходят к сложному. На современном уровне развития семиотики основные достижения относятся к области синтактики — формальному анализу знаковых систем. Но форму нельзя понять без содержания. Поэтому интерес к проблемам значения, интерес к семантике нарастает из года в год, будь это проблема структурной лингвистики или математической логики, семиотический анализ мифов или статистическое описание ритмики стиха. Начинают ставиться и прагматические вопросы. Ведь понять значение основных «человеческих знаков» нельзя без прагматики, без знания того, как живет и развивается общество, пользующееся этими знаками. Проблемы теории знаков в последнее время начинают привлекать «обществоведов» — антропологов, этнографов, историков, социологов.

АВТОМАТЫ И ЗНАКИ

Альфред Норт Уайтхед, один из пионеров семиотики, сравнил науку с рекой, которая имеет два источника: практику и теорию. Иногда эти источники имеют равную мощность, иногда нет. Вряд ли кто из ученых XIX века думал о том, что математическая логика будет иметь какую-либо практическую пользу. Наоборот, именно она считалась многими совершенно ненужным, абсолютно оторванным от жизненной практики занятием, чем-то вроде научных изысканий лапутянской Академии, так зло высмеянной Свифтом. Наука «внутренняя», занятая обслуживанием других наук, — таков был ее статус.

Напротив, причинами сугубо практическими было обусловлено рождение и расцвет теории вычислительных и счетных машин. Миллионы вычислений, неизбежно связанные с точными науками, будь это астронавтика или метеорология, экономический учет или ядерная физика, потребовали помощи машин. Академик Берг, председатель Научного совета по кибернетике АН СССР, в одном из своих выступлений привел следующий пример. Сейчас на земном шаре девяносто девять процентов всей физической работы выполняется машинами. А каких-нибудь сто лет тому назад люди и животные выполняли девяносто шесть процентов, а машины — четыре процента «мускульного» труда. В XX веке стала ясной необходимость механизации умственного труда в сфере статистики, управления, учета. Задача неотложная, едва ли не первостепенная.

И тут оказалось, что достижения самой из абстрактных наук — математической логики, имеют самое непосредственное отношение к неотложным задачам практики. Советский ученый В. И. Шестаков, американский математик Клод Шеннон заметили, что структура электрической переключательной цепи поразительно похожа на структуру математической логики. Формальный аппарат «синтактики» может с успехом применяться для анализа и синтеза релейных, электронных, переключательных схем и сетей автоматов.

Аналогия между процессами формального логического вывода и вычислительными процессами была замечена еще в работах Буля. Прошло столетие — и эта аналогия из теоретической, научной стала практической, технической. Ученые конца XIX — начала XX века, занятые логическим обоснованием математики,

сочли бы насмешкой слова о том, что через полстолетия их работы могут быть повторены... машинами! Однако именно так произошло.

Математик Ван Хао, работающий в США, не так давно предпринял попытку доказать с помощью вычислительной машины ИБМ-704 теоремы из книги «Принципы математики», написанной Расселом и Уайтхедом в 1910 году. Двести двадцать теорем этого капитального труда по математической логике были доказаны машиной менее чем за три минуты! Более того, машина сумела найти целый ряд теорем, которые не указывались в книге, но которые, однако, было возможно вывести, исходя из основных аксиом. «На пути к механической математике» — так назвал Ван Хао отчет о своей работе. «Формализация сулит возможность возложить на машину большую часть той работы, которая занимает сейчас основное время математиков... — пишет он в этой работе. — Стремление к нечеловеческой точности перестает быть ненужным и бессмысленным, а получает большую определенность и оправдание».

Первоначально машины только помогали в вычислениях; как видно из работ Ван Хао, а также других кибернетиков, машины могут оказать существенную помощь и самим математикам в их науке.

Язык точных символов — единственный понятный машине язык. Она не реагирует на интонацию или улыбку, «не понимает» приблизительных сигналов и команд. Четкость, однозначность, ясность — таковы требования «умных» машин, у которых нет ни воображения, ни интуиции, ни «собственного мнения». Все задания, даваемые машине, должны быть формализованы, сведены к точным инструкциям и командам.

Сделать это необычайно трудно, если мы обратимся к таким языкам, как язык науки или наш обычный разговорный язык. Трудно, но необходимо. Человечество накопило колоссальное количество сведений, записанных в виде печатных текстов. Сто миллионов названий — таково количество этих текстов на сегодняшний день, и их число неудержимо возрастает из года в год, из месяца в месяц. Если человек посвятит всю свою жизнь чтению и будет читать по двенадцать часов в сутки — за пятьдесят лет такой адской работы он сумеет прочесть двадцать четыре тысячи книг, объемом в триста страниц каждая.

Электронные машины стали «на все руки мастера»: с их помощью оказалось возможным делать автоматический перевод с языка на язык и даже реферировать статьи. Логико-информационная машина будущего — это настоящая энциклопедия, электронный «кладезь премудрости», который в любое время готов навести справки и дать исчерпывающий ответ на интересующий вас вопрос (разумеется, если этот ответ действительно имеется). Усовершенствование «умной» машины, увеличение объема запоминающего устройства, скорости работы — это дело техников. Создание универсального машинного языка, с помощью которого можно записать знания, накопленные человечеством, — прямая обязанность семиотиков.

Создать единый «код науки», систему записи, общую для всех народов, для всех точных наук, — об этом мечтали столетия назад Ломоносов и Лейбниц, Ньютон и Декарт. Первые шаги уже сделаны. Математическая символика, метрическая система мер и весов, нотные знаки, международный телеграфный код — эти «языки» приняты всем миром, понятны китайцу и бразильцу, конголезцу и якуту. Тридцать лет тому назад начала работу Международная федерация по установлению стандартов. Установить единую терминологию в разных областях науки и техники — эту цель преследует непрерывно ведущаяся работа федерации. А когда единый код науки будет создан — однозначный и строгий, — логико-информационные машины со скоростью сотен и тысяч знаков в секунду будут прочитывать научные статьи, публикации и книги, отбирая нужные сведения и навечно оставляя их в своей «железной» памяти.

Язык науки — система знаков, доступная формализации, а значит, доступная и машинам. Электронные машины освоили основы математической логики и начали помогать ученым (опыты Ван Хао убедительнейшим образом доказывают

это). Недалек тот день, когда они смогут помочь физикам, химикам, астрономам. Ведь «пользуясь логическими схемами исследования материала», логико-информационная машина сможет «получать новые в научном отношении справки, устанавливать новые аналогии в различных процессах природы, в формулах, законах и т. д.», — пишет известный советский ученый Л. И. Гутенмахер в книге «Электронные информационно-логические машины».

«Механизация умственного труда!» — этот лозунг XX века с каждым годом приобретает все более глубокий смысл. Сначала освобождение бухгалтеров, статистиков, математиков от долгих и утомительных вычислений. Затем освобождение библиографов, библиотекарей, переводчиков от океана книг, освобождение, начавшееся в середине нашего века. И наконец во второй половине века — помощь творческому труду, помощь научному творчеству. То, что может быть механизировано, должно быть механизировано — это не только теория, но и насущная задача практики. Не будь механизации научного творчества, лет через сто, как замечает директор Института кибернетики УССР В. М. Глушков, население земного шара должно состоять целиком из научных работников, если темп роста числа научных работников будет таким же, какой он сейчас.

Язык науки однозначен. Когда физик говорит слово «масса», то оно относится только к научному термину «масса», а не к множеству людей или творожной массе. Благодаря своей однозначности язык науки и может быть доступен машинам. Но могут ли они понять обычный человеческий язык, многозначный, полный смысловых оттенков?

Перевод с помощью машин — утопия, — считал еще в конце сороковых годов Норберт Винер. А уже в 1954 году машина публично переводила с русского языка на английский! Проблема машинного перевода стала «прикладной» задачей лингвистики.

Создать машинный язык-посредник, который мог бы вобрать в себя богатство живых языков, много сложнее, чем создать единый код науки, для которого безразличен стиль изложения, эмоциональная окраска, языковые тонкости.

Найти присущие всем человеческим языкам значения, классифицировать и формализовать их, построить единый «язык смысла», единый «смысловой код» — такова задача современного языкознания.

Чтобы создать такую гибкую и универсальную знаковую систему, нужно знать все другие знаковые системы человеческого общества: дорожную сигнализацию, язык жестов, этикет (как «язык поведения»), музыку, живопись, пантомиму и многие другие. Семиотическое изучение неязыковых средств связи сулит в будущем создание общей теории знаковых систем, действующих в человеческом обществе. Интенсивно изучаются семиотиками и средства связи животных, «язык» дельфинов, обезьян, птиц. Делается это не только с чисто теоретической целью. Семиотика обязательно связана с практикой, хотя эта связь подчас бывает совершенно неожиданной...

Одна из практических задач теории знаков — это создание космического языка, предназначенного для разговора с неведомыми «братьями по разуму». Задача на первый взгляд научно-фантастическая, но на самом деле вполне своевременная в век освоения космоса. Многие ученые надеются, что к концу нашего столетия удастся установить двустороннюю радиосвязь с разумными обитателями космоса. В Соединенных Штатах были проведены эксперименты по «космическому разговору», правда, уловить какие-либо сигналы из глубин космоса пока что не удалось. А если удастся? Как мы будем обмениваться информацией с неведомыми существами, которые, вполне возможно, обитают в нашей Галактике? А быть может, и в солнечной системе жизнь и разум имеются не только на Земле. Как найти контакт с мыслящими нелюдьми?

Только семиотика, только теория знаков, изучающая сходство и различие языков человека, животных, машин, может указать на сходство и различие средств общения «звездных братьев» и нас, землян. Первые попытки создать космический язык уже сделаны. Голландский математик и семиотик Ганс Фрой-

денталь не так давно опубликовал книгу «Линкос», посвященную разработке специального языка для космической связи. В основе лингвистики космоса лежит математика; используя ее, Фройденталь излагает на «линкосе» основы физики, биологии и даже такие сугубо человеческие установления, как мораль (вплоть до правил вежливости!). Знаменательно, что Фройденталь закончил свой труд, вернее, первый том — второй еще не написан, — в декабре 1957 года, года запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего эру завоевания космического пространства, выхода человечества на «космическую орбиту».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Мозг человека воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает и хранит ее. По этому же принципу работают кибернетические машины.

Мы получаем информацию от своих органов чувств. Каким образом передать информацию машине? Аналогия с живыми существами и здесь помогла создателям машин. У машины может быть «зрение» — электрический глаз фотоэлемента. Машину можно наделить «осознанием» — при помощи перфокарт, перфолента, магнитной записи на дисках, лентах, барабанах. Наконец не столь уж трудно наделить машину искусственным «слухом» с помощью микрофона. Правда, машинные «органы чувств» необычайно примитивны в сравнении с человеческими. Наш глаз, способный различать прерывистую структуру света, видеть фотоны, — это, по признанию инженеров, самый совершенный из приборов.

Но технические задачи — создание более тонких машинных «органов чувств» — решаются технически. Есть все же немало задач, которые чисто инженерным путем решить нельзя. Система фотоэлементов может быть необычайно сложна и богата; микрофон может превосходить наше человеческое ухо по диапазону слышимых звуков. Значит ли это, что машинные «зрение» и «слух» уподоблены человеческим? «Нет!» — отвечают кибернетики.

Электрический глаз машины видит мир фотографически, он слепо запечатлевает все световые лучи, попадающие на фотоэлементы, и только. А работы физиологов и психологов неопровержимо показали, что человеческий глаз видит мир не фотографически, а образно! На сетчатке глаза имеется около ста тридцати миллионов клеток; к мозгу идет миллион нервных волокон. Наша система «глаз — мозг» отбирает самые важные зрительные впечатления и отсеивает менее значительные.

Мы видим не пять пальцев и ладонь, а руку; мы видим не четыре лапы, голову, хвост, усы, а кошку. И мы безошибочно отличим ее от собаки. По каким признакам? Мы пока не знаем правил действия, или, как говорят кибернетики, алгоритмов, следуя которым мозг распознает зрительные образы, будь это буквы или цифры, кошки или собаки, дома или стулья.

Именно благодаря образному, а не фотографическому видению и существует искусство живописи. Роботы, наделенные электрическим, а не человеческим глазом, — добросовестные кописты увиденного.

Вот такое человеческое умение распознавать образы машинам еще недоступно, хотя очень необходимо. Ведь тогда мы сможем отдавать приказы не в виде перфокарт или магнитных лент, а устно или письменно, непосредственно, сразу. Куда как проще разговаривать с машиной «по-человечески»! Но для этого нужно, чтобы машина смогла распознавать образы, отличать букву «а» от буквы «о» независимо от почерка, независимо от произношения говорящего, от интонации и дефектов речи.

Здесь вступает в действие семиотика: ведь язык — это система знаков!

Почему мы понимаем друг друга, когда говорим на одном языке? В письменной речи объяснение простое: есть определенное количество букв — алфавит, из букв составляются слова, предложения и т. д. А в устной?

Школьная грамматика едва ли не с самых первых страниц учит, что есть

«буквы письменности» и «звуки речи». Однако это не совсем так. Исследования акустиков и лингвистов показали, что нет двух абсолютно одинаково говорящих людей, их «звуки речи» всегда чем-то отличаются. Да и один и тот же человек говорит по-разному в разных обстоятельствах. В обычной речи мы можем проглатывать звуки и целые слоги (например, «чеек» вместо «человек»), но вряд ли сделаем это в научном докладе или на экзамене.

Живая человеческая речь — непрерывный поток звуковых волн. «Звуки речи» могут быть бесконечно разнообразны. Почему же мы все-таки понимаем друг друга? Ответила на этот вопрос одна из самых развитых областей семиотики — структурная лингвистика.

Работами русских ученых Л. В. Щербы, Н. С. Трубецкого, И. А. Водуэна де Куртене, Пражского лингвистического кружка, американца Э. Сепира и многих других ученых создана стройная теория, которая смогла научно ответить на вопрос, кажущийся на первый взгляд таким простым.

Кроме «звуков речи», есть еще «звуки языка», или фонемы. Они делят непрерывный поток человеческой речи на элементарные знаки, «атомы», из которых затем складываются единицы более высокого порядка: слова, предложения. Разнообразие звуков человеческой речи изучает фонетика. Систему звуков языка — фонология. По образному выражению одного из создателей фонологии, она так же относится к фонетике, как политэкономия к товароведению или наука о финансах — к нумизматике, коллекционированию монет.

Непрерывный поток звуков может быть расчленен на любое число частей, на любое число «атомов» — фонем. Но в каждом языке, будь это русский или полинезийский, существует своя строгая система «атомов». А поскольку человеческая память ограничена, число фонем во всех языках мира не столь уж велико: от десяти — пятнадцати в полинезийских до семидесяти — восьмидесяти в кавказских. В русском языке тридцать девять фонем — тридцать четыре согласных и пять гласных.

Каким же путем человек «узнает» фонемы, распознает их акустические образы-знаки? Структурная лингвистика смогла ответить на это. Более того: ей удалось выделить общие черты, присущие всем языкам мира, найти алгоритмы построения звуков любого человеческого языка. А советский ученый Н. И. Жинкин установил, что эти алгоритмы приложимы и к языку обезьян.

Чем различается «а» от «б»? Прежде всего тем, что «а» гласная, а «б» согласная. Первый признак классификации звуков найден (звук может быть либо вокальным, либо невокальным — так формулируется это структурной лингвистикой). Но ведь гласные и «е» и «у», а негласных, кроме «б», также достаточно. Как различать их?

Естественно, нужно найти еще один признак классификации звуков. Например, звонкость или глухость, высокая тональность или низкая тональность, яркость или тусклость, прерывистость или непрерывность и т. д. Оказалось, что для описания звуков всех языков мира достаточно двенадцати признаков классификации. А число различных языков мира, по приблизительным подсчетам, ни мало, ни много около трех тысяч.

Теперь, пожалуй, вы не особенно будете удивлены, узнав из газет о самопишущей машинке-полиглоте, сконструированной в Японии (ей можно диктовать тексты на разных языках, и она будет их грамотно печатать), о разговоре человека с машиной не в переносном, а в буквальном смысле и о других кибернетических чудесах.

Семиотика нашла те правила действия, те алгоритмы, по которым человек распознает образы-звуки. А когда эти правила найдены, передать их машине не столь уж трудная задача.

Гораздо сложнее обстоит дело с распознаванием зрительных образов. Распознавать стандартный шрифт машина может легко. Рукописные тексты — самые простые, вроде цифр, написанных от руки на банковских счетах, — также могут быть прочтены машиной. Но машина по-прежнему не может сделать то, на что

способен любой ребенок, — отличить кошку от собаки, дом от недома. Алгоритмы распознавания зрительных образов неизвестны, и кибернетики решили... обучать машину! Пусть она сама выработает свои собственные алгоритмы. Создание «самостоятельных» систем (и в виде программы для обычной вычислительной машины, и в виде специального технического устройства), систем, способных обучаться и усовершенствоваться в процессе обучения, — наиболее перспективная и молодая отрасль кибернетики.

Работы американского ученого Фрэнка Розенблата, работы советских кибернетиков Э. Бравермана, В. Ковалевского, М. Бонгарда по обучению машин распознаванию образов убедительно показывают, что час, когда машина получит «образное» зрение, не столь уж далек. И общение с такой «зрячей» машиной будет куда как проще, чем «разговор вслепую»!

НАУКА И СЕМИОТИКА

Итак, рождение кибернетики способствовало перевороту и в науках гуманитарных: из наук описательных, качественных они стали переходить в разряд наук точных, пользующихся числами и формулами. Прежде всего это относится к наукам о языке.

Связь кибернетики и теории знаков наглядно проявилась на проходившем в Москве в декабре прошлого года симпозиуме по структурному изучению знаковых систем, первому в мире совещанию по семиотике. Теория знаков — это своего рода «лингвистика кибернетики», наука, с помощью которой можно переводить человеческие системы знаков на формализованный машинный язык.

Впрочем, не все человеческие системы знаков доступны формализации. Семиотический анализ искусства показывает, что формализация его неизбежно ограничена. Найти законы «языка», следуя которым рождается «текст», — такова задача структурных и математических методов. Но знаковая система искусства тем и отличается от остальных систем, что ее «тексты» не могут быть полностью порождены законами «языка», законами системы. Ведь педантичное соблюдение правил в искусстве дает не художественное произведение, а шаблон, «общее место».

Этой особенностью искусства, конечно, не отрицается возможность изучения его методами точных наук. Работы выдающегося советского математика Андрея Николаевича Колмогорова и его учеников показывают, что применение идей и методов такой сугубо «кибернетической» дисциплины, как теория информации, оказывается весьма плодотворным при исследовании законов стиха. «Что не имеет цели, — замечает академик Колмогоров, — помогать поэтам писать стихи».

Роль методов семиотики для наук гуманитарных можно смело сравнить с ролью математических методов для естественных наук. Теория знаков позволяет вносить в описательные науки строгие формулировки и точные термины. Так, например, изучение религии и мифов в рамках семиотики дает огромные возможности истории религии, антропологии, социологии.

Тесно соприкасаются задачи семиотики с задачами экспериментальной физиологии и психологии, наук, которые исследуют «места хранения» в человеческом мозге знаковых программ, будь это «речевые центры» или клетки мозга, ответственные за другие знаковые операции. И здесь теоретические задачи теснейшим образом связаны с практическими. Помочь людям, лишенным зрения и слуха, с помощью кибернетической техники — такова гуманная задача дефектологии, таково одно из важнейших практических приложений теории знаков. Работы советских ученых А. Р. Лурия в области лечения афазий (расстройств речи), А. И. Соколянского по созданию специального языка для людей, лишенных слуха, зрения и речи, служат блестящими образцами «семиотического подхода» к проблемам медицины.

Семиотика нужна не только медицине, но и педагогике. Ведь процесс обучения во многом сводится к тому, чтобы научить людей владеть знаками, будь это знаки языка, родного или иностранного, специальные знаки математики, физики или других наук. Организаторы московского симпозиума, Совет по кибернетике АН СССР и сектор структурной типологии Института славяноведения готовят материал для создания программного обучения в средней школе, обучения с помощью машин. В самом ближайшем будущем «электронные экзаменаторы» станут надежными помощниками педагогов.

Задачи семиотики неразрывно связаны с практикой. Но кроме чисто практических приложений, теория знаков имеет еще один, не менее важный аспект. С ее помощью человек осознает самого себя, свое место в окружающем мире, место среди других живых существ, место среди создаваемых им же самим «усилителей умственных способностей» — кибернетических машин.

В сознании первобытного человека самым причудливым образом переплелись религиозные и научные представления, знание и вера, здравый смысл и фантастические суеверия. С развитием общества стало расти как число знаковых систем, так и их специализация. В сознании философов древнего мира науки о природе, науки о человеке и философия были слиты воедино. По мере развития науки от философии отпочковывались математика и физика, биология и лингвистика, психология и социология. В нашем веке многие задачи, связанные с использованием знаков в человеческом обществе, перешли к новой науке — семиотике. Философия от этого не пострадала: наоборот, материализм и его вершина — диалектический метод получил новые научные доказательства своей жизненности, своей правоты!



К 80-летию со дня рождения Демьяна Бедного

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

★

«ПИСАТЬ ПРАВДУ ЖИЗНИ...»

Пятого апреля 1931 года Д. Бедный выступил на пленуме Центрального совета ЛОКАФа (Литературного объединения Красной Армии и Флота) с речью, посвященной агитационным задачам «военной» литературы. Другое значительное выступление поэта состоялось 1 декабря 1933 года, когда он был приглашен на открытие в Москве Вечернего рабочего литературного университета (ныне Литературный институт имени А. М. Горького). В своей напутственной речи перед будущими студентами Д. Бедный говорил о великом значении Октябрьской революции для творчества писателей, об ответственности художника перед народом.

Мы публикуем частично эти выступления Д. Бедного, сохранившиеся в виде направленных стенограмм в архиве Института мировой литературы имени А. М. Горького (ИМЛН). Публикация подготовлена А. П. Антоненковой.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЕРВОМ РАСШИРЕННОМ ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ЛОКАФА

Мне, товарищи, конечно, особенно приятно вас приветствовать. Я припоминаю прошествование шумного и храброго в свое время литературного критика Воронского, который когда писал обо мне статью, то написал, что, в общем, я ничего себе пишу и во времена военных фронтов писал, видимо, то, что нужно, но все-таки я такой писатель, что у меня учеников нет и не будет. Демьян Бедный никакой школы не создал, писал Воронский, и не создаст. Когда я смотрю на это собрание, на такое собрание, как ваше, я думаю, что тут наглядное, живое, убедительное опровержение этому.

Я не хочу сказать, товарищи, что непременно это моя школа. Но я хочу сказать, что мы-то с вами все вместе находимся в одной и той же школе. Скажу, как я себе представляю нашу школу, особенно в этом ее военном секторе — вы ведь только сектор нашей общей литературной общественности. Чем-то должна отличаться наша военная литература. Чем, товарищи? Самым основным. Я бы сказал: предельной простотой. Я обыкновенно ратую, чтобы наша агитация была доступна массе. Но у нас на военном фронте эта простота должна быть предельная. И в этом заключается величайшая трудность вашей работы, — трудность, доходящая до подвига. Почему предельная простота? Потому что здесь вам приходится иметь дело с красноармейцем. Здесь приходится иметь дело со средой, насыщенной весьма крестьянскими элементами, с той средой, которая приносит с собой словесный запас очень ограниченный. Как вы думаете, много ли слов в деревенском обиходе? Когда-то высчитывали и находили, что деревенский обиход имеет в себе около 1000 слов. Допустим, что теперь 2000 слов, пусть 3000 слов. Но все-таки вот тот словесный запас, с которым вы приходите, и надо вам объяснить самые сложные вещи, не только чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, а уметь самым предельно простым способом прийти и рассказать величайшей сложности вещи

без всяких выкрутасов словесных, без всякого желания как-то показать себя особенно юным. То, что не раз служило качеством положительным в другом месте, здесь, в нашей агитации военно-боевой, должно быть начисто отменено. Здесь мы, товарищи, должны быть, прямо сказать, спартакцами: кратко, четко, ясно. У вас еще будут разговоры об отражении быта. Это по другой линии, по общелитературной. Но я говорю об агитации. Мне придется совместно с вами не раз участвовать в агитации, — нужна для нашей агитации предельная простота.

Я уже имел случай заявить, что связывается с простотой. Простота — это ясность. Ясность — это честность. А честность — это смелость. Мы боевые писатели, нам нечего скрывать. Наши лозунги должны быть художественны, плакатны, такими же ясными и четкими, как боевое командование. Никаких выкрутасов, никаких кривляний, ничего того, что может умалить силу наших простых, но действенных слов.

Если говорить о нашем литературном фронте, его самая боевая часть — это, конечно, ЛОКАФ. Мы должны быть все мобилизованы, и каждый из нас должен уметь рассказывать красноармейцу — за что мы боремся, что мы защищаем, чем красна жизнь красноармейца, его подвиги...

Мы зачеркнули Октябрем старую культуру, взяв из нее самое ценное. Все перевернулось, все иначе. Это «иначе» я лично видел во время наших фронтов в Вильно. Сажу в Вильно в вагоне, а мимо вагона идет красноармеец, меня не видит, идет по шпалам и тащит куда-то бревно. Уморился очень. Подходит еврей, типичный виленский еврей, и помогает. Ташат, ташат, оба уморились, присели, отдыхают, разговаривают по-хорошему. Наконец притащили «Ну, — говорит красноармеец, — спасибо» — и начал торопливо шарить в карманах. Тот говорит: «Что вы, что вы...» Это была трогательная сцена. Один обязательно хотел поблагодарить, потому что очень оборванный был еврей, а тот ни за что не хотел взять. Признаться, я даже прослезился, потому что картина была совершенно противоположная очень многому, что я видел. Во время царской войны, когда за нами в каждой части следили жандармы, что было тогда с евреями, как русского человека в зверство вгоняли, к какому позору приводили...

Во что теперь превратилась казарма? В школу. И эту новую жизнь, которую я не могу увидеть, вы увидите. Казарма стала школой, она учит, воспитывает, перерождает, дает перспективы, вовлекает молодежь, деревенский цвет, в наше строительство, выпускает десятки и тысячи будущих трактористов — это в полном смысле школа, которая дает и работников, и творцов, и будущих защитников. Это вы должны изобразить, товарищи, уже иначе, не с предельной простотой, а с предельной красочностью, художественностью, убедительно, наглядно, так, чтобы весь мир видел, каковы наши красноармейцы и каковы их изобразители.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ РАБОЧЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В МОСКВЕ

Товарищи, я умышленно взял слово последним, для того чтобы все то хорошее и умное, что можно было вам сказать, было уже сказано и чтобы мне не повторяться, не повторять других. Разрешите с вами поговорить как писателю с молодыми писателями. Это будет не речь — это так... нескладно будет.

Первая мысль, когда я сюда пришел, у меня вот какая была. Пройдет 25 лет, и можете быть уверены, что от меня уже порошок останется, не будет меня на свете, и вот 25 лет празднования этого дня, вероятно, будет красивым, пышным, культурным праздником. Будут ли мои стихи читать — не знаю, но в это 25-летие, вспоминая нас, стариков, вспомнят, что на первом организационном собрании молодых писателей был и Демьян Бедный, и меня это радует. Да и как не радоваться вообще, товарищи, явлению этому. Я думаю, что мы даже не охватываем целиком его значения. То, что сейчас происходит — это осуществление нашей мечты. До сих пор все это было мечтой — учить пролетарских писателей, освободить их от мордобоя и нособоя, от всего того, что мы на своих физиономиях испытали. Потому что наши университеты очень похожи на университеты Алексея Максимовича. И мои университеты также были нележки. От этой

всей беды партия вас освобождает. Это страшный успех, счастье и страшное обязательство. В тех условиях, в которых вы находитесь, вы должны всю энергию ухлопать на учебу.

Я писатель уже не первый день, много лет достаточно известный писатель, а что я буду писателем, мне прежде даже и в голову не приходило. Когда я был мальчиком в деревне, мечтой моей деревенской жизни был деревенский конокрад Влас, такой красивый человек, который никого не боялся и крал лошадей у богатых людей. Я восхищался им, а он говорил: «Шустрый ты малый, далеко пойдешь, обязательно вором будешь». Это я принимал как высшую похвалу и думал: действительно вором буду. Я никак не подозревал, что тот шустрый мальчик станет писателем. Я умел бойко читать, и благодаря этой бойкости меня немного эксплуатировали: помирают в деревне густо, а я церковнославянский язык лучше знал, чем русский, говорил на украинском языке свободно, и вот моей профессией в деревне было — за 20 копеек, вместо 80 копеек, которые платили псалтырщику, я голосил за упокой и не знал, что в дальнейшем буду петь не за упокой, а за здравие того класса, который так победоносно приобретает новую культуру.

Товарищи, вы молодые, хотя некоторым из вас кажется, что вы уж не совсем молодые; юноша в 19 лет говорил, что он уж не молодой, и жалел, что он еще ничего не написал. Мне лично, хотя я и прошел некоторую школу, пришлось держать экзамены сразу за весь курс гимназии, а в те времена выдержать экзамены за весь курс гимназии — это была такая штука, что даже в газетах об этом писали. И вот я попал в университет, но там я не так науками занимался, как знакомством с жизнью. Писателем я еще тогда не был. Любопытно, что писать я стал на 27-м году. Были легонькие попытки и раньше на два года, когда я стал расти политически, но настоящим писателем я сделался тогда, когда столкнулся с большевиками. Меня наша партия в полном смысле этого слова сделала писателем, тут вдруг я как-то сразу обрел язык и обнаружил дарованные какое-то на 27-м году, потому что жизнь меня замучила. Но ваша жизнь такова, что все козыри у вас, и стыдно будет тому, кто с такими козырями не сумеет выиграть очень серьезное дело.

Вы, понятное дело, радуетесь, что в числе 130 человек вы первый отряд, который начинает вузовскую литературную пролетарскую учебу, но радуйтесь, товарищи, сознательно радуйтесь с готовностью и лти на большой подвиг. Талантов вам здесь никто не даст, не прибавит. Вас освободят от всех тех тяжестей, которые мешают таланту развернуться, вам очистили дорогу, и всю работу вы можете употребить на то, чтобы в каждом из вас, в ком есть искра таланта, искра эта стала пламенем. Без красных слов, товарищи, скажу вам, что самое главное, что я хотел бы, чтобы у вас осталось от наших разговоров, — это внутренняя уверенность, никакой робости, ни малейшей. Если вы ощущаете го, что я называю искрой таланта, то развить эту искру в пламя будет зависеть целиком от вашего упорства, революционного мужества. Если вы сами в себя будете верить, вы сделаетесь писателями, колебаний быть не может. Есть муки творчества — очень тяжелые муки, литературная работа — очень тяжелая работа, сомнения во время работы обуревают, порой можно дойти до изнеможения, но должна быть твердая уверенность, что я этого добьюсь во что бы то ни стало. Беритесь смело, беритесь за любую тему, которая вам по душе, пишите смело. Будете писать правдиво — тогда постепенно ваш язык обретет форму, какой не снилось.

Учитесь у нашего класса. Пролетарский класс, партия — наш авангард и революционное мужество.

Думаю, что именно потому, что я так поздно начал писать, у меня уже был определенный опыт и я многого добился. Говорят о секретах творчества. Действительно, у каждого писателя есть свои секреты, как есть какие-то трудом приобретенные навыки, привычки. Например, Владимир Ильич никогда не писал обыкновенным карандашом, он всегда писал маленьким огрызком. Я, например, не могу писать на большом столе... Я правду скажу — не пишу ни карандашом, ни чернилами, пишу прямо на машинке. И кто поверит, что не пишу даже стихотворений карандашом. Я человек очень упорный. Тренировка была большая. Хотя я по-настоящему работаю 21—22 года, написал больше 200 тысяч строк... Вы поняли масштаб? Представьте, что у Пушкина 30 тысяч строк.

Значит, если вы положите Пушкина, сверху Гоголя и Майкова, Некрасова — вот общее количество.

Почему я так много написал? Была ударная работа. Надо было писать и писать... Ко мне с фронта звонят, что надо дать ударно. Утром сажусь — и к вечеру у меня готовая вещь в 50 строк: «О Митьке и борьбе с дезертирством». Но когда я редактировал эту вещь, я увидел, что у меня Маша, Даша, Лукерья (С м е х.)... все разные имена. Четыре раза переименовал имя и не заметил, запутался.

Или, скажем, «Нас побить, побить хотели». Та же самая история: «молния» — дать песню. Кажется, в шесть часов была «молния», а в восемь часов я эту «Нас побить, побить хотели» дал. И это то, что от нас требовали и что от вас будут требовать — всегда быть готовым работать ударно, с максимальной напряженностью, не боясь того, что это может отразиться и на качестве формы. Важен дух, бодрость, зарядка. Но тут есть некоторый плохой отыгрыш — я бы мог лучше сделать, лучше написать многое из моих двухсот тысяч строк. Если вы их начнете разбирать и если скажете, что там много слабых моментов, — это не в обиду мне будет сказано. Что можно было бы лучше сделать, это я и сам прекрасно знаю. Пишу я сейчас гораздо меньше и гораздо старательнее — кто читает, тот видит.

Учитесь овладению словом. Кто-то здесь сказал, дескать, начинайте работать, поменьше слов, побольше дела, но это не так, потому что слово — это ваше дело. Но учитесь владеть этим оружием обоюдоострым. Оно может выдать вас с головой. Это оружие, которое не терпит фальши. Чтобы вам привести пример, какова бывает эта фальшь, я расскажу вам про этого несчастного Троцкого, потому что это действительно не человек, а 33 несчастья. Я всегда посмеивался, когда некоторые восхищались его словозвержениями. Вот пример. Ленин умер, вы знаете, как нас это потрясло, тут нужно было революционное мужество, чтобы собой владеть! Я был так подавлен, что ничего не понимал, и когда Надежда Константиновна, для которой Ленин значил больше, чем для меня, стала речь говорить, меня поразило, что она в состоянии говорить — некоторые не могли говорить. Я год не писал стихов, кажется, одно написал, я оказался слабее, развинтился, растерялся. Троцкий тогда был на юге и прислал телеграмму, которая начиналась так: «Ленина нет, нет Ленина». Ко мне подходит малоопытный человек и говорит: «Какой стиль, какое мастерство, всего два слова — и вы чувствуете эту боль». Я говорю: «Идиот вы, это краденое, это он читал, и у него осталось в голове». В 1872 году примерно была статья Михайловского, которая так начиналась: «Литературной критики нет, нет литературной критики». Вот откуда Троцкий это взял.

Когда мы со слезами говорили либо, глотая слезы, молчали, Троцкий декламировал, и я это хорошо понимал. Это была псевдореволюционная декламация. Человек шеголял словами, а слова выдают. Учитесь владеть словами, но не так, чтобы слова владели вами, а чтобы вы владели словами.

Вот другой пример. Выходит приказ, что нужно наступать на Колчака, а по тогдашнему времени мы из православного воинства еще недостаточно вытряхнули всякую божественную чепуху. И вот Троцкий говорит: «Красные воины, вперед, что делаете — делайте скорей». Товарищи, так это же в евангелии Иисус Христос, отправляя Иуду на предательство, говорит: «Что делаешь — делай скорее».

Профессор Соколов сказал, что у меня замечательная библиотека. Это верно, но читаю я с осторожностью, выбирая только то, что мне нужно, и если цитирую, то так, чтобы било в то место, куда нужно.

Слово — орудие, не переносящее фальши. Словом владеть надо искренне. Это также основное условие. Писать правду жизни надо искренне, потому что если у кого червоточинка, если у кого «не того» с революционностью, то на четвертой строчке будет видно. Я получаю очень много писем и ловлю, что пишут о самой манере моей. Одно письмо мне очень понравилось. Там написано: нам приятно читать, у тебя выговор приятный. Я думаю, ну хорошо, приятный выговор. Раз приятно — значит, доходчиво.

Товарищи, нужно, чтобы вы свою искренность умели выразить. Сколько раз Владимир Ильич и устно и письменно говорил: «Ничего я так бы не хотел, как научиться так писать, чтобы каждый рабочий меня понимал». Это была его мечта, его желание,

и он так и пишет: Ленин всю свою жизнь говорил: учитесь, работайте над собой. Строчка должна быть полноценной — это мое мнение.

Октябрьская революция дала нам две вещи: во-первых, она дала нам правильное революционное дыхание, мы вышли на воздух, грудь не придавлена, и мы широкой грудью хорошо дышим; во-вторых, она дала нам правильную походку, мы ее называем революционной, чеканной походкой. Когда идут наши колонны по Красной площади, они идут в ногу, как надо боевым колоннам идти, прямой правильной походкой, какой революция научила. Представьте себе, что эти колонны будут то подпрыгивать, то подскокивать и т. д. Нам балет в прозе и в стихах не нужен. Научимся правильно дышать в стихах, ходить не по-балетному, а по твердой земле ходить настоящей твердой походкой.

Я давно уже писал и иначе быть не может, что наша муза — лучшая советская профессия, и если нам дадут иной раз вместо лирики-метлу, особенно сатирику, берите метелку и подметайте. Чистоплюйства не может быть. На чистке меня кто-то спросил, девушка какая-то: что вы пишете в данный момент? Я говорю: я бы хотел написать стихи о вас. Но представьте себе, что за полчаса до того, как я сюда пошел, ко мне пришел начальник штаба по конскому составу и говорит: товариш, ради бога, о случайной кампании дайте стихи, потому что у нас здесь наблюдается вредительство и нужно думать об амурах не собственных, а о красноколхозской кампании, о том, что надо посадить наших красноармейцев на хороших колхозных коней.

Я писал и об утиле, да и как не писать было, когда приходит директор утиля и говорит: какая наша работа, ну, там, трест тяжелой промышленности, легкая индустрия, а у нас что — тряпки, рвань, галоши. Один молодой районный инспектор пришел к директору и заплакал: «У меня, говорит, жена ушла; я ей сказал, что я служу в Наркомвнешторге (действительно мы эту рвань покупаем и посылаем за границу), а как она узнала, что тряпки, она и говорит: «Мерзавец, я думала, что ты за границу будешь ездить и привозить вешницы». Вот так, по-бытовому, взяла и ушла»

Я написал об этом по-настоящему, и надо было видеть, как эти люди радовались, что Демьян Бедный стихами мог доказать, что это очень важное дело. Трогательно, что они этот фельетон отдали хорошему художнику, который так распатронил в картинках, что получилась замечательная книжка об утиле

О чем бы вы ни писали, но если это революционное творчество, если это идет на пользу революции — это всегда будет хорошо. Уходите от чистоплюев, не верьте им. Вот мог же я и о цветочках и о платочках писать, так нет, я бнлся над той формой, которая мне присуща. Она мне долго не давалась, если вы знаете мои первые стихотворения. Мне говорят: вы вначале так хорошо писали, а потом испортились и угрубились. Я пробовал, где этот самый доходчивый слог, и увидел, что я его правильно нащупал.

Вот вам пример, который ни один чистоплюевский критик не приметил: появляется «Двенадцать» Блока, сильная вещь, кроме Христа, в основном это было о революционере. Когда я читал, я подумал: какой у меня хороший ученик появился. Блок написал по-моему. Когда это стихотворение частями проскочило за кордон, то меня месяц или полтора крыли там за слова «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» и только через полтора месяца узнали, что это Блок написал. Он своим тонким чутьем угадал этот стиль. Значит, я правильно нащупал свой путь.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ПОЛЯКОВА

★

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

1. Путь в литературу

Первый рассказ, первая повесть еще не делают способного человека писателем — это все знают. Правда, в литературу эта первая книга может войти прочно. Но, написав хорошую, иногда великолепную книгу, словно освободившись от того, о чем он не мог молчать, автор подчас возвращается к профессии врача или учителя или же сочетает прежнюю профессию с новой, и они дополняют, обогащают друг друга, как было это, скажем, у Макаренко. Но таких немного. Чаше человек на всю жизнь уходит в литературу. Из начинающего автора превращается в писателя. Если все идет хорошо, уже не он сам робко появляется в редакции с рукописью, но редакция любезно напоминает ему о договоре и просит не опоздать к очередному номеру. «Литературная газета» сообщает в новогоднем интервью о творческих планах молодого писателя, толстый журнал анонсирует на грядущий год его новый роман или повесть, а тонкие журналы просят рассказы, предлагают командировки...

И вчерашний начинающий уже чувствует себя «в обойме» и волнуется, когда его не упоминают в очередном докладе как многообещающего или укоризненно напоминают, что такой-то долго молчит. Человек пишет каждый день; это становится привычкой и потребностью. Естественно, у него появляются новые жизненные связи, меняется окружающая среда. Каждому свое. Один остается в деревне, где родился и прожил жизнь, другой переезжает в Москву; одному нужна тишина, размеренность, насиженные, знакомые места, другому — постоянные перемены. Иные на десятки лет

обеспечены жизненным материалом, у других источник жизни, питавший первые книги, острожно скудеет.

Путем к профессии становится обычно вторая книга — будь то роман или сборник рассказов. Дается она трудно: часто свежесть и простота кажется потерянной, напор жизни, вызвавший первую книгу, словно ослабевает. Та, первая, рождается больше вдохновением, чем расчетом, больше непосредственностью, чем мастерством. Автору второй книги нужно утвердить и подтвердить заявленное первой книгой, доказать свою неслучайность в литературе и право на дальнейшее творчество.

Но если уж трудное дело «пошло» — где-то к десятому рассказу, к четвертой повести писать становится легче. Проясняется, выработывается стиль писателя, его взгляд на жизнь. И в это же время приходят главные соблазны и главные опасности профессионализма. В это время читательская радость узнавания писателя («Все тот же!») может смениться скукой («Опять тот же!»), оригинальность — обернуться манерностью и нарочитостью, открытие жизни — смениться подобием открытия. Свой стиль, свое построение фразы, свои метафоры и манера рассказа могут сделаться самоудовлетворяющими, если перестанут определяться главным — восприятием жизни и отношением к ней.

Болезни профессионализма бывают разные, и признаки их различны. И все-таки писатели, заразившиеся этими болезнями, непременно становятся похожими один на другого, хотя сами они этого сходства никогда не замечают. Оно начинается с излишней легкости решений, с уверенности, что времена поиска прошли. «свое лицо» найдено, стиль определен, читатели тебя

приняли, и теперь можно писать в пределах найденного, используя то, что казалось удачным и принималось как удача.

Редко можно отделаться в таких случаях стереотипной фразой: «Не знают жизни». И жизнь писатели знают, и людей видят, но видят их уж очень привычно, удобно для себя, видят, как легче видеть, уверенно выбирая ракурс рассчитанный и эффектный.

Эта легкость, уверенность в том, что все уже найдено и нужно только развивать найденное, сказались в последних книгах нескольких способных писателей, совсем недавно бывших начинающими. Сейчас у них на счету повести, романы, сборники рассказов. Последние их книги изданы «Роман-газетой», и их покупают во всех киосках, от Бреста до Петропавловска-Камчатского, — словом, таких успехов можно пожелать каждому. В этом они похожи друг на друга. Но в их книгах проступает и иное, опасное сходство — сходство легких решений, использование «своих», проверенных приемов. В чем это опасное сходство, эта заманчивая легкость профессионализма — постараемся показать ниже.

2. Ночные сторожа, летчицы и капитаны

Илья Лавров хорошо вошел в литературу. Вошел небольшим сборником рассказов, скромно изданным в Чите восемь лет тому назад. Сборник назывался «Ночные сторожа» — по названию лучшего рассказа, посвященного самым что ни на есть простым людям — сторожам и сторожикам городского парка в Нальчике. Но в выборе этих героев не было конъюнктуры, как не было и снисходительности в самом отношении к ним. Рассказ, сразу обративший на себя внимание критики, в то же время насторожил сторонников праздничной литературы и неприменного поверхностного оптимизма: помилуйте, самый интересный для читателя и автора персонаж — сторож Ефим, угрюмый неудачник, вымещающий свою злость на безответной жене. У Ефима «роман» с пожилой сторожихой Варварой, а она уезжает, и Ефим знает, что никогда ее не увидит. Впрочем, роман — слово избитое и неточное, да и вообще пересказать содержание этого рассказа трудно, потому что в нем, как в каждом настоящем произведении литературы, дело не только в сюжете, а в том, как автор развивает этот сюжет и что он недосказывает. Очарование расска-

за — в его едином ритме. в пейзаже; он неотрывен именно от Нальчика, от близких гор, от пышного цветения и строгой пустоты осеннего парка: «Столы сложены друг на друга ножками вверх. Болтается от ветра на шнуре пустой патрон — лампочку выкрутили». Рассказ насыщен такими точными и емкими деталями, и каждая деталь необходима, потому что подчинена главному — раскрытию жизни этих самых ночных сторожей, и в маленьком рассказе эта жизнь уплотняется, становится зримой в ее прошлом, настоящем, будущем.

Такая же жизнь — настоящая, насыщенная — неторопливо и в то же время точно раскрывается в рассказах о жизни молодых лесорубов, о начинающей актрисе, впервые получившей большую роль, о старухе, мечтающей об отдыхе и сбежавшей из благополучного сыновнего дома к прежней неустроенности, о девочке, впервые соприкасающейся со сложным миром взрослых.

По многим рассказам и немногим повестям крепло ощущение правомерности прихода в литературу нового писателя, напечатанного первое произведение в тридцать шесть лет. Лавров принес свою зрелость и внимание к людям, свое ощущение значительности каждой человеческой жизни и слитности всех проявлений этой жизни. Его среднеазиатские рассказы пронизаны желтым солнцем Ташкента и Ферганы, его байкальские герои живут на настоящем, а не на экзотическом Байкале, и когда герой «Девочки и рябины», молодой актер, перебирается из Нальчика в Читу, переезд этот ощутим почти физически.

«Учительство», вообще свойственное русской литературе, присуще Лаврову, но не переходит у него в поучения; заражая читателей тревогой своих раздумий, писатель не навязывает им готовую мораль. Вот театральный художник, обаятельный и талантливый, знакомится с глухонемой девушкой. Художник дарит ей цветы, ведет в кино, целует руку на прощанье и, приятно возбужденный, размышляет о чуткости и внимании к людям, а девушка плачет одна, впервые поняв свое несчастье и ужас человеческой снисходительности («Девушка с зонтиком»).

Вот немолодой актер-неудачник приезжает на свадьбу дочери, которую он давно бросил. Он уже понимает свою никчемность, знает, что до смерти будет руководить клубными драмкружками, а все-таки

продолжает утешаться детскими сладкими мечтами о том, что еще свершит что-то великое, сделается то ли знаменитым актером, то ли знаменитым путешественником: «Он стоит на вершине таежной сопки, ветер треплет золотистую бороду, уносит голубой дымок из черной, выдавшей виды трубки... Эта мечта успокаивает» («Гость на свадьбе»).

Лавров умеет описать и укрощение диких коней, и рабугу продавщицы обувного отдела, и лесной пожар, и житье-бытье провинциального бухгалтера. И мы будто сами пробираемся по горящему лесу, минуя наполненные угольями ямы-западни, или бродим по прокуренным залам московской «актерской биржи», или трясемся в ветхом театральном автобусе куда-то в глухомань на очередной выездной спектакль. Эти люди у Лаврова, в большинстве настоящие, сегодняшние, несут в себе все черты положительных героев современности, но свою положительность ни они, ни автор не подчеркивают, потому что она совершенно естественна для них.

Но вот в том же «Госте на свадьбе» среди учителей и фельдшерниц появляется тот, кто противопоставлен Залесову с его танцевальными и драматическими кружками. Собственно, ему противопоставит и бывшая жена его, и старая тетка, и дочь. Но этого мало. Человеку, прозевавшему жизнь, прогнвопоставляется «настоящий» герой: «Худошавый, легкий. Он двигается быстро, даже грациозно, как танцор. Лицо его прожарено солнцем и опалено горячими азиатскими ветрами до черноты. На таком лице поразительны синие глаза и почти белые, выгоревшие волосы, спадающие на лоб. Даже на свадьбе он не изменил своей черной вышитой тубетейке и узбекскому шелковому халату с зелеными и лиловыми полосами».

Не нужно и добавлять: «Было в фигуре Асташева что-то очень романтическое, и молодежь смотрела на него с восхищением». Это очевидно. Причем с восхищением относится к Асташеву и сам автор. Он словно не осмеливается приблизиться к герою, а повествует о нем благоговейно: «Вода — кровь земли, говорят узбеки, и он дает хлопковым полям и виноградникам эту светлую кровь». И Асташев, чувствуя свою непохожесть на обыкновенных людей, не говорит, как они, а изрекает: «Воду можно любить, как любят ее моряки, но можно влюбиться и не в море, а в простой арык.

Струйка воды на раскаленной земле, а около струйки — зеленое деревце. Вот и вся картина моей жизни». Куда девалась реальная Средняя Азия, которую любит и умеет описывать Лавров? Слово в картине вырезали кусок и вклеили на его место плакат на тему «Дадим воду пустыне!», сделанный плохим художником.

Ну, неудачный рассказ, да не рассказ, а один образ. Но чем дальше, тем чаще появляется на страницах Лаврова этот выпяченный человек. У него в гардеробе не только узбекский халат. Он может надеть милицмейскую форму и отважно сражаться с грабителями («Лейтенант милиции») или перевоплотиться в летчицу Инну, которую знают все прибайкальские жители («Они летали к облакам»). Она водит самолеты над тайгой, сбрасывает «лесных пожарников», раздает конфеты деревенским ребятам, когда самолет приземляется.

Инна поднимается над землей даже выше, чем ей положено по профессии, и вчерашние десятиклассники, пленяясь ею, идут в летные училища, а она так разговаривает с этой молодежью: «А ведь лес — это не просто лес. Не только чудесный строительный материал. Он частица родины. Он — образ красоты... И вот люди велели нам, парашютистам, летчикам, хранить его. И мы поднялись на самолетах к облакам. Теперь представьте: эту красоту охватывает пламя, клубы дыма... Но летим мы. Бросаются отважные парашютисты. И как всегда текут белые реки цветов. Звенят корабельные боры». Всех персонажей заворожила «гордая, властная летчица», а больше всего автора, который, как юные Гриша и Тоня, смотрит на нее снизу вверх, как на лучезарное видение, на мечту, которая не живет в реальной жизни, но выключена из нее, поднимается над нею.

Любя жизнь, умея отображать ее вроде бы в самых простых, но на деле самых трудных для художника ракурсах, Лавров словно не вполне верит, что эта жизнь и глубока и значительна, и людям простых профессий и простых дел любит иногда противопоставить героев, которые не идут в общем строю, но как бы возносятся над ним. Все чаще и чаще появляются такие «люди мечты» на страницах повестей и рассказов Лаврова и почти вытесняют просто людей из последнего его романа, который так и называется — «Встреча с чудом».

Здесь есть легко и точно построенные главы о сестрах-двойняшках, которые сбегали из дома и бьются изо всех сил, чтобы осуществить давнюю мечту — попасть в мореходное училище. Есть растерянность этих сестер в водовороте московских вокзалов, тяжелая работа на звероферме, страшная мгновенная смерть молодого геолога и горе Ярославы, которая хочет остаться вблизи этой неожиданной могилы, а не пробираться куда-то к морю. Есть, как всегда у Лаврова, дожди, сумерки, сибирские метели, уют родительского дома. Но эти подробности и образы тонут в многозначительной патетике.

Здесь сам автор принимает облик «человека в полосатом халате». Лавров громко разговаривает с читателями сам, от себя, в многочисленных отступлениях под названием «Слово автора».

Первое «Слово»: «Помню, как прежде я проходил по улице. Мне было только двадцать. Неужели это когда-нибудь было? Я шел, и как мало, как до странного мало встречалось мне красивых людей... Я тревожно осматривался, я искал Нарцисса или Афродиту... А сегодня мне стукнуло сорок. Я вышел на горячие камни улицы в шум тополей. Я степенно шел среди пестрой толпы и не верил своим глазам: город был полон красавицами и красавицами». Конечно же, сорокалетний сказал себе: «Теперь ты понял, что красота — это молодость и свежесть, а не Афродиты и Нарциссы» — и перешел к рассказу о тех семнадцатилетних, которые презируют будни и хотят романтической жизни. Олицетворение этой романтики для них — белоснежный корабль, синее море и сами они, семнадцатилетние, стоящие на капитанском мостике или склонившиеся над штурманской картой: «Шумели иноземные гавани, свистел ветер в снастях, развевал ленточки бескозырок, суровые капитаны давали команды... Все это жило и шумело в любимых книгах Новикова-Прибоя, Станюковича, Стивенсона, Александра Грина». Сестры и сами рассудительно уговаривают друг друга, и их предупреждают: «Море — это суровый, тяжелый труд, а не танец «Яблочко» и не алые паруса на волшебной шхуне». Но это словесная дань благоразумию. Сестры снова и снова мечтают о белоснежных судах, о коралловых островах и перистых кокосовых пальмах.

Правда, на пути к цели встречаются пре-

пятствия. Нет денег. В Москве отказывают в приеме — нужно самим пробираться на Дальний Восток. Вместо моря приходится видеть злые морды лисиц на звероферме, месить руками болтушку для зверей. Асю, прелестную Асю с ее оленьими глазами, неоднократно упоминаемыми в повести, обвиняют в краже лисьей шкурки... Но все это быстро кончается. Нет денег — появляется поэт, не знающий, куда девать гонорар за сборник, покупает сестрам билеты, везет в Сибирь, опекает, помогает. Обвинение в воровстве, естественно, рушится. Ярослава все-таки покидает могилу любимого и едет во Владивосток, к белым парходам и шхунам.

Недаром в начале своего пути сестры видят в вагоне-ресторане стройного капитана с седыми висками и красавицу летчицу. С улыбкой посмотрев на милых девочек, летчица бросает им цветы, девочки смущенно убегают. И все время сестер сопровождает умиленная улыбка автора. Все время главы романа перебиваются очередным «Словом»: «Я каждое утро просыпаюсь от счастья... Я встречаюсь с жизнью, как с чудом...» Или: «А в душе звучит только любовь». Или: «Я знал их. И я любил их. И поэтому рассказал эту историю». Умиление переливается со страницы на страницу, и «чудо жизни» возникает перед нами в окружении дежурных аксессуаров: здесь и белая ветвь черемухи, и кошой ослепительный дождь, и голуби в синем небе, и детские улыбки. Можно открыть для себя эту радость и рассказать о ней своими, единственными словами. А у Лаврова здесь слова примелькавшиеся, слишком легкие.

Препятствия расступаются перед сестрами, как заколдованный лес перед принцессами. В конце концов сестры входят в кабинет начальника училища — очередного седовласого капитана, который тоже умиляется девочкам, добравшимся до Владивостока ради исполнения мечты, и решает помочь ей осуществиться.

Капитан — очередное чудо на пути сестер: «Вся его жизнь была связана с флотом. В каких только портах и гаванях не бросал якорь его корабль! Тысячи встреч с разными людьми, множество событий, в которых приходилось ему участвовать, суровый труд моряка — все это научило его понимать людей, понимать их сердца». Опять нет сущности человека, нет отбора тех единственных слов, которыми можно

рассказать о нем. Наоборот — здесь используется профессиональный набор слов, легко текущих, быстро прилипающих друг к другу.

Стоя у окна, капитан вспоминает строки Бунина: «Ты взшел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить... Немного уже осталось тебе. Живи, как на горé. Как с горы, обозревай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» Это Бунин.

А капитан все стоит у окна. За окном «корабль уходил в синие дали. Может быть, к берегам Италии или Индонезии. Вспомнилась последняя строка рассказа: «Еще одно мое утро на земле». Да, это утро уже есть! И не хочет он жить, как на горé. Нет, уж если жить, так жить в шумных, кипящих долинах, где все есть и все дорого: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения... На всех этажах шумят курсанты, уходят в океан суда, рокошет порт, чайки вьются над бухтой. На землю пришло еще одно утро живущего человека».

В этом утверждении жизни и превосходства своего капитана над бунинским героем строк вчетверо больше, чем в отрывке из Бунина. Но строки эти не опровергают Бунина, потому что его слова измерены и отобраны в единственном сочетании, в единственном ритме, а в «утре живущего человека» этого ритма нет. И соседство это убийственно для Лаврова — при всех его благих намерениях, — потому что нельзя великолепной прозе противопоставлять прозу среднюю.

Лавров любил своих ночных сторожей, но, видимо, ему тесно в рамках обыденности, ему хочется «прорваться» к людям больших мыслей и чувств, проживших жизнь яркую и красивую. Конечно, его можно только напутствовать добрым словом — тем, которым он провожает своих семнадцатилетних: ищите свою дорогу, осуществляйте мечту, пишите о тех, о ком хочется писать. Хочется о девчонках, убежавших из дома к морю, о поэтах и геологах, о людях, прокладывающих каналы в пустыне? Прекрасно. Им принадлежит будущее.

Но чем выше поставленная задача, тем больше спросится с художника. А главное, тем больше, тем строже должен он спрашивать с себя сам. И по этому, большому,

спросу получается, что «маленький мятр» сторожей и продавцов Лавров видел и описывал по-своему, искал для них свежие слова и детали. А летчикам и штурманам дальнего плавания дал монологи о бурях, пожарах, белой черемухе. Парикмахеры и рабочие непохожи друг на друга. У летчиков и капитанов — седые виски и «оленьи глаза» или синие глаза на загорелом лице. Тем — земля, этим — небо. И, отделяя их друг от друга резкой чертой, Лавров не замечает, что нет людей только «летающих», и взлетают-то они с земли, что ослепительно яркие краски, которыми рисует он летчицу Инну и будущего штурмана Асю, быстро выцветают и тускнеют. Автор все время говорит о своей любви к девчонкам, пробирающимся к океанскому берегу, а читать о глупом стороже Бибе и о мальчишке, который впервые варит сам обед, было интереснее, потому что им сопутствовало человеческое волнение, а не многозначительная патетика.

Пусть у писателя и его героев будут впереди коралловые острова и полеты. Но нужно, чтобы поиски в новом жанре, открытия новых характеров продолжали бы «трудное» у Лаврова, а не легкое для него. Чтобы, закрыв новую книгу, читатель сам мог бы сказать о ее героях: «Я знал их. Я любил их». А не слушать легкую и умиленную подсказку автора. Умиленность меньше всего нужна сейчас и в жизни и в литературе.

3. Обыкновенный Север

Александр Рекемчук нашел своих героев и свою писательскую тему на Севере.

В последние десятилетия писатели часто тянулись на Север, на Дальний Восток: открывать новые места, новых людей — якутов, ненцев, гиляков. Возникли книги Бориса Горбатова, Макса Зингера, Рувима Фраермана, Тихона Семушкина о новой жизни чукчей и лопарей, о русских летчиках, стронтелях, радистах, обжившихся в дальних краях.

Хорошие книги писали тогда, когда экзотика переставала удивлять.

Газетчик, журналист и писатель Рекемчук, долго живший в Коми, изъездил вдоль и поперек европейскую «обыкновенную Арктику», а заодно и лесные места и давно не удивляется северным сияниям,

оленьим упряжкам, летним белым ночам и черным зимним дням. Для него самого и для его героев все это стало привычным, как для москвича шум машин за окнами и поездки в метро. Но именно потому, что он знает людей Севера, у него нет лишнего бодрчества — дескать, русскому человеку и пятидесятиградусный мороз нипочем, он и такую зиму проживет в палатках и будет выполнять план на двести процентов. Его обыкновенный Север суров и труден — это признают даже вербовочные организации, которые платят отъезжающим двойную зарплату.

Писатель и его герои живут не в Сибири, манящей многих литераторов, но на русском Севере — на Печоре, в древних селах Беломорья. Ежедневная суровость жизни, налаженный быт старинных сел с высокими рублеными избами, трудное дело охотников и лесорубов, весенняя кипень черемухи, посиделки, где девушки в нарядах, вынутых из бабьих сундуков, поют строем и протяжные песни. Рекемчук не любит выступать от первого, от своего лица. Он никогда не скажет о своих героях: «Я знал их. И я любил их», хотя он их очень любит, прекрасно знает, а потому и пишет о них.

Недаром некоторые его ранние рассказы несут подзаголовок «Быль». Он привержен к факту, к точным обстоятельствам места и действия. Рассказы его вырастают из этих былей: точность факта он сочетает с точностью характера, повествует ли он о дотошной лесничихе Клавке, распугавшей всех нарушителей лесного порядка, а заодно и всех женихов («Берега»), или о московском аспиранте, приехавшем собирать материалы для диссертации и на всю жизнь «заболевшем» Севером и его людьми («Заповедные места»).

Эти люди приезжают на Север работать, предвидя трудное впереди и готовясь к нему. И в лесу и в палатках они устраиваются удобно, домовито, потому что приезжают надолго, не мечтая сбежать в теплые края, хотя длинные свои отпуска используют с удовольствием.

На Север они едут, чаще всего не мечтая о подвигах, но попадают туда по распределению или по вербовке. И от этого не становятся менее привлекательными. Наоборот — конкретность, земная основа сразу дружит их с читателями.

И люди эти становятся у Рекемчука все интереснее: его демобилизованный паренек

Алеша Деннов («Все впереди»), а особенно Светлана Панышко («Время летних отпусков») — уже те герои, которые могут устроить неожиданность и самому автору, движет ими не авторский произвол, а логика их собственных характеров.

Рекемчук старается ничего не навязывать этим героям, но идти рядом с ними, «в них», раскрывая жизнь через героя, видя окружающее его глазами. Он не любит навязывать читателю себя, свои выводы: иногда он, словно отсправив своего персонажа, бросает несколько лукавых, точных авторских фраз и опять прячется. Нет его. Растворился. «Умер в героях».

Все строительство «Севергаза» увидено и пережито Алешей Денновым — демобилизованным солдатом, работягой-мотористом. Это он так видит шофера, отсидевшего срок за нечаянное убийство, ясноглазого жулика Бобочку, живущего тем, что, прикарманив подъемные, он тут же смыывается со стройки, чтобы через месяц завербоваться на другую стройку, глухого геолога Храмцова, открывшего этот самый «Севергаз» (и здесь вклинивается авторская реплика: «В различных комиссиях и коллегиях на Храмцова кричали. Его обличали. И даже разоблачали...»).

Жизнь ограничена тем, что видит и ощущает один человек. Но, сознательно «замыкаясь в мирке одного человека», Рекемчук умеет выбрать такого, который сам-то в своем мирке никак не замыкается. Его героям, как говорится, «дохнуть некогда», а «общественное» и «личное» у них также не подавляют друг друга, но немислимы друг без друга, как это чаще всего бывает в жизни.

Писатель не ведет своих героев легкими дорожками. «Личное» у них не всегда бывает легким, а вернее, почти всегда бывает нелегким. Солдат Деннов, отслужив, вернувшись домой, видит свою невесту со свертком, прижатым к груди. «Как же это... получилось?» — бессмысленно спрашивает он. «Не знаешь, что ли, как дети...получаются?» — кричит невеста. А уже на вербовочном пункте к Алексею активно присасывается толстопяτηная Дуся с мечтами о семейном уюте, вышитых салфеточках и абажуре. Ни Алексей, ни автор Дусю не охаживают: девушка она хорошая, привязчивая. И в то же время та, с чужим ребенком, не забывается. У Светланы Панышко еще сложнее: дожила до двадцати семи не-

замужницей, а здесь, в тайге, сошлась с женатым человеком, да еще с детьми, да еще пьющим.

Словом, все возможности для описания «несчастливого романа». Но сила Рекемчука в том, что герои его на редкость естественно живут в книгах. И работает Светлана так не потому, что старается что-то преодолеть, забыть «личные неудачи», а просто потому, что не может по-другому. Это люди своего времени, в нем выросшие, им воспитанные. И выросли они людьми, естественно и просто живущими не «за себя», а «за всех» и для всех, они не замыкаются в коробочке своего дома, в семье, но живут в обществе и для общества, не мысля существования вне работы, вне прочнейших связей с другими людьми.

Светлана, заменяющая во время отпуска своего начальника, окружена людьми, которые приходят к ней требовать, просить, советовать, ругаться, приказывать, ждать приказаний. У нее голова идет кругом, и в то же время она живет в полную силу, потому что жизнь ее открыта всему.

И Алексей Деннов, и Светлана, и ее незадачливый Глеб «вкатывают» на Севере не ради премиальных (хотя и это небезразлично), но потому, что иначе не могут. Не произносятся громких слов о любви к людям, они живут среди этих людей и для них.

Оказывается, слова эти им не очень нужны. И сами они не любят говорить патетически и не понимают, когда о них говорят свысока («Простой человек, а смотрите, горы ворочает») или, наоборот, снизу вверх («Смотрите, как красив и необыкновенен этот якобы обыкновенный человек»). Им не нужны пьедесталы — они сильны тем, что ходят по промерзшей земле, по которой столько прошел и проехал сотрудник сыктывкарской газеты А. Рекемчук.

На Джегор, где работал Деннов, попадаем мы и в последней повести Рекемчука «Молодо-зелено». Джегор — уже центр цивилизации, с многоэтажными домами и учреждениями. «Полюс трудности» переместился в другие таежные и тундровые места, в частности на Пороги, где строители живут в палатках (правда, двойных, утепленных — об этом автор не забудет сказать, потому что он-то знает, какво в палатках джегорской зимой).

Авторская свобода в этой повести полная. Кажется, Рекемчук даже любит своим умением строить сюжет, подбирать

подробности в тщательную, тонкую мозаику единой картины. Он может начать рассказ с описания московского спортивного магазина и продающихся там лыж — охотничьих, беговых, слаломных, прыжковых, — чтобы сообщить в конце концов, что все эти лыжи никуда не годятся сравнительно с теми лыжами, на которых шел тайгой Николай Бабушкин.

На следующих страницах выясняется, что Коля Бабушкин, идущий тайгой на самодельных лыжах, которые оставляют позади все лыжи спортивных магазинов, не просто Коля Бабушкин, но лучший монтажник на Порогах, депутат райсовета, и идет он в Джегор с ответственной задачей — добывать кирпич для своего строительства. И начинаются хождения Бабушкина по райсоветам и горсоветам (правда, с ним разговаривают почтительно, поскольку он депутат), начинается битва с главным инженером кирпичного завода и с бюрократом Каюровым Ф. М.

Опять все написано с точки зрения Коли Бабушкина, живущего делами своего строительства, своей бригады. Он встречается со многими людьми. И каждый из них написан законченно и крепко, у каждого есть свой характер, развивающийся, раскрывающийся в повести. Это и мускулистый поп с разбойничьей бородой, которого Бабушкин принимает сначала за командированного ученого; и дружок Лешка Ведмедь, подрядившийся к этому попу строить церковь (церковь на Джегоре!); и шофер, ревнующий жену тем более мучительно, что объект ревности — его же сменщик, и когда один работает, другой сидит дома; и Колин сосед Агеев, несладко названный родителями Черномором. Он прожился и оголодал, но не хочет заключать договора на работу, а сидит в общежитии и ждет, когда его отправят в ракете на Луну, — он изъявил желание и получил благодарность из самой Академии наук. Правда, благодарность напечатана даже не на машинке, а в типографии, и ясно, что ежедневно канцелярия Академии отправляет сотни таких писем, в которые лишь вписывается чернилами фамилия очередного романтика. Но это не обесценивает чистоты и самоотверженности устремлений Черномора.

В противоположность предыдущим повестям Рекемчука эти новеллы о разных людях не влетают в общую ткань повести. И манера его «видения через героя»

не так органична здесь, как прежде: герои повестей «Все впереди» и «Время летних отпусков» легко несут эту ношу восприятия и оценки людей, а Коля Бабушкин, при всей его молодой силе, в конце концов не справляется с ней. И то, что повесть Рекемчука распадается на рассказы об отдельных людях, объясняется именно характером Коли Бабушкина, а вернее, как это ни обидно, отсутствием у него этого характера, своеобразной человеческой индивидуальности.

Бабушкин должен как бы развивать образ Алеши Деннова. Тот — новичок на Дзегоре. Этот — уже депутат, лучший рабочий, своими руками построивший Дзегор. «Не зеленый», как говорится. Но название повести — «Молодо-зелено» — относится именно к нему, и в названии этом уже заложена интонация одновременно снисходительная и восторженная, которая неожиданно сближает эту повесть и «Встречу с чудом». Коля Бабушкин для Рекемчука — такое же «чудо», как сестры для Лаврова. Правда, Рекемчук не выражает своего восхищения героем так бурно и открыто, как Лавров, — внешне он, как всегда, тяготеет к обычным, бытовым проявлениям жизни.

Но если Алеша Деннов был человеком с биографией, со своим отношением к жизни, которое обогачало, менялось, как менялся он сам, то Бабушкин каким выходит из тайги на лыжах, таким и возвращается на Пороги (правда, уже на барже, груженной новым стройматериалом, да еще с невестой-архитектором) — тем же «молодым-зеленым», как и был. И эта «зеленость» все время умиляет автора. Он то смотрит на Бабушкина снисходительно, как взрослый на юнца, одновременно подсмеиваясь и завидуя этой молодости, нетерпимости, петушину задору, то ставит его выше себя и других героев, словно подкладывая ему под ноги в качестве пьедестала те самые кирпичи, из-за которых воют Бабушкин. Здесь нет уважения к герою как равному, а есть любовная снисходительность, «подлаживание» под него, как взрослый подлаживается под ребенка. Потому-то Коля и остается, что называется, «голубым» героем, хоть он и молод, и задорен, и удачлив, и свершает множество полезных дел. Он не только осаждаст учреждения и достает кирпич — он не забывает пленившей его девушки, вырывает Лешку Ведмедя из-под влияния попа и калмыщика

Волосатова, устраивает семейную жизнь ревнивого шофера, успевает побывать на концерте — и как прелестно написана очередная новелла о безголосой стареющей певице, которой только и осталось, что ездить по окраинам, печатая аршинными буквами на афишах звание заслуженной артистки.

И чем дальше, тем больше Коля Бабушкин становится похожим на ту заретушированную фотографию, на которой он сам себя не узнавал: был здоровый русый парень с коротеньким носом, снимавшийся в гимнастерке без подворотничка, а получился красивый брюнет в костюме и при галстуке.

Рекемчук не делает героя красавцем брюнетом, потому что он опытный писатель, а не ретушер районного масштаба. Он «ретуширует» Бабушкина по-иному, подчеркивая его детскость, наивность. Двадцатитрехлетний парень, он часто думает и ведет себя, как семнадцатилетний подросток. А Рекемчуку удобно, легко писать так — писать «через героя», через его видение и восприятие жизни, — и этот проверенный, всегда удававшийся ему прием он использует и здесь, уверенный, что прием сработает, что читателю он полюбит так же, как самому Рекемчуку. Но неточность характеров здесь мстит за себя.

Очень достоверны были всегда у Рекемчука женщины. И не только главные героини. Даже Светланаина подруга Танька с ее скоропалительно-курортным замужеством — лицо живое, хотя и знаем-то мы ее только по письмам. Ирина с ее новаторскими устремлениями в архитектуре, с институтским значком на свитере, с любовью к Николаю Бабушкину такой настоящей не сделалась. И Бабушкина она полюбила не сама, не так, как любит Светлана Глеба. Просто привел ее автор в эту повесть, подвел к лучшему монтажнику Николаю Бабушкину, приказал — люби. И она полюбила, как положено литературной героине: отвергла другого, с высшим образованием, пришла к любимому смертельно усталой, поцеловала его «под занавес», на людях, когда герои подплывали к Порогам. И слов у нее своих нет. И мысли среднелитературные, привычные: «Странно, ее сейчас вовсе не заботит, кем может стать для нее этот ясноглазый юноша. Она сразу почуяла в нем то обыкновенное, что на поверку до-

роже необычного. Ей покойно и радостно думать о нем».

Кажется, что и всем другим персонажам книги так же покойно и радостно думать о Коле Бабушкине — так легко берет он препятствия, так расступаются перед ним соперники и бюрократы, словно подыгрывая ему в веселой игре, и правда деталей, рассыпанных щедро по всей повести, тоже оборачивается неправдой легкости, умилятельного снисхождения: «Цветите, юные!» Молодо-зелено. Пусть плывут на белых кораблях к коралловым островам, пусть женятся на молодых архитекторах, пусть строят светлые города на Порогах.

Но почему же больше хочется, чтобы осуществились мечты Алеши Деннова и его тезки, молодого актера Алеши Северова из лавровской «Девочки и рябины», чем лучезарные мечтания сестер — будущих штурманов и Ирины, уже ставшей архитектором? Потому, что те шли своей дорогой, сами прокладывая ее. А этим удобную и красивую дорогу протаптывают авторы, расстилают ее, как ковер, под ноги юным героям. Легко героям. Легко авторам: повести написаны профессионально, крепко. Они читаются. Их хорошо почитать на ночь, в вагоне, после обеда. Почитать. Но не поставить на полку, не вспоминать так, как вспоминаются лавровские ночные сторожа или трудная и в то же время ясная судьба Светланы Панышко.

4. Любовь — дитя свободы

Лидия Обухова тоже перешагнула из «подающих надежды» в когорту «плодотворно работающих»: очерки, повести, два переиздававшихся романа. «Творческое лицо» ее иное, чем у Лаврова или Рекемчука. Иная манера описания, выбор героев, иное видение жизни. И именно видение определенных сторон жизни и порой точность ее отражения привлекали к ее «Глубынь-городку», к некоторым страницам «Занозы».

Обухова хорошо знает быт городков-райцентров, знает деревенские нужды. Она легко входит сама и легко вводит читателя туда, где может показаться скучно: на заседании, на колхозные собрания, в буднич-ный день райисполкома. И оказывается, что это скучно для постороннего, а Обухова умеет не быть там посторонней.

Ее привлекают сложные сплавы человеческих отношений и поступков, тема «взаимной ответственности» людей друг за друга и друг перед другом. Она хочет говорить о гуманизме, «доброте» человеческих отношений, хочет раскрыть сложность каждого человека и жизни его. Герои ее всегда попадают в ситуации острые и неподготовленные. Причем ситуации эти непохожи на ожидаемый опыт, готовясь к которому заранее напрягаешь силы и волю. События не предупреждают о себе, но приходят неожиданно, в потоке; человек думает, что продолжается повседневность, а это, оказывается, главный миг его жизни, испытание на прочность, которое он или выдерживает, или ломается, подчас сам того не замечая.

Л. Обухова умеет показать слитность этой повседневности, маленьких дел с большими — по капиллярам ее деревушек и райцентров бежит та же кровь, что и по главным сосудам. В первой своей книге — в «Глубынь-городке» — она нашла место действия, неотрывное от героев. Полесье — край, куда, кажется, из русских писателей и не заезжал-то прежде никто, кроме Куприна. Без навязчивых противопоставлений на тему «старое — новое» Обухова раскрывает новое в жизни полесского городка и деревень, к нему тяготеющих, пишет немногими штрихами точные человеческие портреты: секретаря райкома с его повседневными заботами, председателя колхоза, начавшего свое председательство с того, что агитируя колхозников выйти на работу в «святой день», он сам нечаянно напился, или другого председателя — старого хитрюги, привыкшего к почету и готового на все, чтобы этот почет сохранить.

И в то же время это увиденное, непридуманное, точно написанное в первой же повести соседствует с явно ощутимой манерностью, литературностью самой сюжетной схемы, особенно того решающего «опыта», которым испытывает она своих главных героев и которому чем дальше, тем больше посвящает свои книги.

Это любовь.

Идет дождь. Лен пропадает. Ключарев, секретарь райкома, мечется от окна к телефону, злится на неповинного инструктора: «Беги в Братичи, созови колхозников: мол, погибли, товарищи, все ваши труды...» В это время: «В одну из таких коротких яростных вспышек, когда сплошные потоки

делали стекло волнистым, Ключарев увидел на улице за оградой всадника в намокшем брезентовом капюшоне... Лошадь мчалась во весь опор... Спустя минуту дверь распахнулась, словно вошедшая женщина все еще не могла усмирить инерцию быстрого движения». Эта женщина с мокрыми волосами, в «туго обтянувшем ее докторском халате» и есть та любовь, о которой почему-то и мечтать не смеет секретарь райкома.

И по испытанному литературному штампу, по которому у любви должна быть преграда, на доктора Антонину Андреевну тут же постукает донос, что она поставила на больничном участке свои улы, и секретарь райкома долго мыкается с разными сомнениями, пока не выясняет, что мед нужен доктору для больных, а заодно что доктор Лукашевич любит не его, а Якушонка — председателя райисполкома, молодого, энергичного, не бюрократа, в общем — человека с большим будущим.

И во второй части книги лен и колхозные беды отодвигаются на задний план, а главным становятся томления доктора и председателя райисполкома, их недоговоренные слова, предрассветные блуждания вдвоем.

А нужна ли эта самая Антонина Андреевна для рассказа о жизни Глубынь-городка? Да нет, пожалуй, именно из-за этой роковой женщины, отнявшей много места в повести и много времени у других героев, Якушонок памятен только своей «возмутительной моложавостью», дела его перечислены торопливо, не показаны — не то что прогулка с Антониной над ночной рекой. И сама Антонина названа красивой, скачет в ливень на коне, пестует своих больных, подробно вспоминает прошлую свою жизнь — а человека нет и нет, а есть красивый литературный образ, к которому восторженно относятся герои, а еще более восторженно автор.

В «Занозе» — опять деревенские заботы, «страницы сердобольской хроники». Опять сложность жизни, тесная связь людей, живущих полно и напряженно, точные современные детали. Но снова чем дальше, тем торопливее говорит Обухова о сердобольской жизни. Колхозные и областные дела — это все во-вторых, даже в-третьих. А главным становится то, что вынесено в заглавие и отражено в эпиграфе романа — история отношений редактора Павла Теплова с «занозой», сиречь Тамарой, сотрудницей

областного радио, которая неумоимо ездит по сердобольской земле с тяжелым магнитофоном в руках, в старом пальтишке, в шапке с помпоном, висящим на ниточке, который она так и не удосуживается пришить в течение всего романа.

Авторская позиция Обуховой предельно ясна: она хочет, чтобы неповторимость каждого человека уважалась и была возведена в закон жизни. Нет канонов, нет предписаний, каждому нужен свой подход, особенно когда к человеку приходит главное в жизни, святая и чудо — любовь. Обухова открыто протестует против удобной морали, предписывающей неизменные правила на все случаи жизни. Почему Павлу честнее оставаться с распустехой Ларисой, которая и сама-то никчемна, и для мужа камень на шее? Почему он не может быть рядом с Тамарой: ведь они, как говорится в старых романах, созданы друг для друга? Почему в Сердоболе травят их любовь, ломают их жизнь, заставляя разойтись, разъехаться?

Но сами герои, вокруг которых шушукуются и сплетничают, особенно Тамара, словно не думают об этом. Пусть сплетничают и ханжат соседи, обсуждая ее приходы к Павлу. Обывательщина Сердоболя старается затоптать, заглушить любовь, а сам автор, противостоявший пошлости, так высоко поднимает эту любовь, что словно теряет ее из виду где-то в облаках, в ослепительном сиянии солнца. И в то же время очень подробно, слишком подробно описываются ситуации, требующие от писателя предельного такта и чувства меры, и главное — ясного сознания, ради чего нужно это в романе. Когда это «ради чего» ясно, никакие подробности не унижат автора и его героев.

А «Заноза» — мелкая книга в решении этого главного. Доказывая, что человек может, имеет право разлюбить свою жену и полюбить другую, она не поднимается над сотнями банальных книг, написанных о том же. Обухова верит в силу и «очистительность» этой любви, в то, что человек должен быть достоин ее. Заноза-Тамара — для нее как бы осуществленный идеал человека. Резкая, воинствующе-неустроенная девчонка, которой плевать на себя, она не хочет уюта, тишины, обывательского благоразумия. Чего она не хочет — ясно. А вот чего хочет она себе и любимому — неизвестно. Вернее, хочет одного — быть вместе. Но как, что для

этого нужно, об этом она не думает. Это для Обуховой и есть настоящая любовь. Любовь над бытом, над житейской прозой, вообще над землей. Только настоящее — шальные свидания, полное пренебрежение окружающим. Любовь для любви, отгородившаяся от всего, единственная, замкнутая в себе.

Зашишая и вознося свою Занозу, Обухова в то же время ставит ее в самое унижительное, самое ложное для женщины положение. Эта воинствующая антимещанка с ее обостренной чувствительностью и ощущением справедливости любит человека, зная, что он еженедельно ездит в Москву к жене и ребенку. Можно объяснить это отношение женщины к человеку, которого она любит. Можно это отношение оправдывать. Но Обухова, а с ней и Заноза как бы вообще не думают о том, как достойно выйти, как вообще выйти из этого труднейшего испытания жизнью.

По простой житейской логике, Тамара с ее цельностью и прямотой никогда не стала бы тянуть эту жизнь, двусмысленную и нечистую, тяжкую для всякого честного человека.

Так «любовь», которой «не закажешь», уничтожает сама себя. Оказывается, ее и нет — такой абсолютной, совершенной сверхлюбви, парящей где-то над землей и уносящей туда же человека. Оказывается, ее надо отстаивать на земле, она немислима сама в себе, вне других чувств и отношений, вне реальной жизни людей.

А реальная жизнь течет и течет — на земле, по земле, как и положено жизни. И существует на этой земле большая семья молодого учителя, директора школы. Семья, видимо, дружная: живут хорошо, да и не станет уважающий себя человек приживать троих детей, не любя жену. Директора переводят в маленький городок на азиатской границе, где пыль, черепахи, степь, а вернее — полупустыня. Семья переезжает в городок с тещей и нянькой, с многочисленным багажом — книгами, картинами, мебелью, охотничьей собакой. Вероятно, женщинам тяжело в непривычном жестоком климате. в пыли и безлесье. Но жалоб не слышно.

Однажды утром семья просыпается. Все на месте — жена, трое детей, теща, нянька, пес. Отца, директора, нет. Исчез. Что было с женой и ребятами — представьте себе сами. Потом они узнали. Муж ушел ночью из дома. Ушел к женщине, которую давно

любил и с которой давно расстался. Она приехала в тот же город, за ним, и жила здесь строго и одиноко, работая в больнице, вообще не показывая, что она знакома с директором.

Случилась внезапная беда. Самолет, летевший из южной страны, привез больного чумой. Весь экипаж, пассажиры самолета, а заодно и медперсонал на строжайшем карантине. Неизвестно, выйдут ли они живыми. И директор ночью вламывается (буквально) в окно второго этажа, в комнату, где собрались карантинники. Ладонь у него окровавлена — выдавливал оконное стекло. Она, медсестра, позвонила ему по телефону, сказала еще раз, что любит. И он не мог больше — он бросил семью и пошел в темноте по карнизу второго этажа к любимой. Они стоят, взявшись за руки, смотрят друг на друга сияющими глазами и вспоминают, как они лежали на матраце и слушали музыку, и всего-то имущества у них был один помидор на двоих (а теперь у директора картины и мебель). Старый врач, прослезившись, говорит: «Дайте пожать вашу руку!» И все понимают, что это необыкновенное чувство нуждается в защите, в доброте. Маленькая повесть эта так и называется — «Доброта».

О жене, о ребятах директора и не вспоминает никто: ни сам директор, ни медсестра, ни старый доктор, только что так трогательно беседовавший по телефону со своей Идушкой, с которой прожил жизнь. Конечно, не вспоминает их и автор — ведь он-то (она-то) вообще только один раз упоминает о них в повести, перечисляя, с кем и с чем приехал новый директор. А уж чувства этой самой жены и детей автора никак не волнуют. Там остались всего-навсего жена, дети, теща, мебель. А здесь директора ждет любовь! Любовь лучезарная и надмирная, которой ничего не нужно, кроме себя самой. Такая любовь вправе ломать все, подчеркивает, настаивает Обухова. Быт, повседневность, работа, дети — это там, на земле. А если человеку суждено прорваться в небо, к этой редчайшей любви, то дело других людей смотреть на нее снизу вверх, быть счастливыми тем, что им удалось присутствовать при чуде, окружить любящих стеной доброты и заботы, чтобы, не дай бог, не померкло это чудо.

Но если героям — особенно таким, литературным, придуманным, — легко поступать

по велению автора, то читающему не заказано думать о том, что осталось за пределами «маленькой повести»: о том, как текли долгие годы, как таились от близких директор и медсестра, как привыкали они к двойной жизни, как росли дети, отец которых, оказывается, не любил их мать. Обухова не хочет раскрывать подробностей, мелочей биографии своего директора. Как расстался он с любимой, почему он женился и женился раньше или позже этой любви — неизвестно, и неизвестность эта придает событиям еще большую загадочность и возвышенность. Но что бы там ни было, а эффективное «не могу молчать», появление директора с окровавленной рукой в окне неизбежно оборачивается униительностью прошлого, долгой трусостью двойной его жизни. Потому что любовь неотделима от жизни. Потому что любовь — не оперная Кармен, поющая густым голосом: «Любовь — дитя, дитя свободы». Нет, не дитя свободы, не безоглядное чувство Занозы и загадочной медсестры. Настоящей любви, которая к каждому приходит по-разному, не нужно такое умиление, такая благоговейная и одновременно унижающая «доброта», которой окружает Обухова своих любимых героев.

Она уверенно идет своим путем; она пишет много и, к сожалению, с каждой новой повестью умножает литературность и манерность, теряя ту свежесть видения, зоркость взгляда, которая была ей присуща раньше. В «Глубынь-городке» и в «Занозе» эти тенденции противоборствовали, в «Доброте» и особенно в последней повести Обуховой «Та, которая под цвет травы» живое начало целиком подчиняется уверенно составленной и опытной рукой обработанной литературной схеме.

«Рэпсоды и поэты! Еще и еще раз воспойте любовь, потому что она — смелая надежда мира! Когда люди засыпают в тяжелом предчувствии войн, с нерасеявшимися страхами — она одна дышит полной грудью!.. Спешите же, поэты и рэпсоды, прославить любовь, которая живет рядом с вами! Пожалуй, только она одна, бесплотная и неосязаемая, одна реальна посреди мира реальнейших вещей, которые можно ощупать, съесть, поджечь и уничтожить, но которые не прибавляют нам мужества жить». Очередная «маленькая повесть», посвященная такой мгновенно возникающей лучезарной любви. Только воз-

никает она не в Глубынь-городке, не в Сердоболе, а где-то на греческой земле, лет тысячи три тому назад, в «убогие предрасветные эпохи человечества».

Разбойничий корабль (видимо, скандинавский) пристал к каким-то мирным берегам (видимо, греческим). Впрочем, автор не хочет конкретности. Страна — это идеал, олицетворение мирной жизни, а корабль с его вожаком — олицетворение разбоя, насилия, смерти. Молодой воин, разведчик Юлс, один высаживается на берег — узнать, есть ли поблизости селения, которые можно грабить, женщины, которых можно насиловать, поля, которые можно сжечь.

На горной тропе он встречает девушку в зеленой одежде и в пастушьей хижине проводит с ней два дня и две ночи. На исходе второй ночи он просыпается. «Его сердце было полно печальной благодарностью. Он тронул рукой ее обнаженное плечо, круглое и гладкое, похолодевшее от ночного воздуха. В лунном свете оно казалось тускло-золотым. Погладил грудь, почти неосязаемую, и на секунду прикрыл ее своей ладонью. Она уместилась целиком, как птенец в гнезде. Потом положил руку на живот; он был теплый и мерно поднимался от дыхания». И от всего этого Юлс уходит. Уходит, оставив ей на память шнурок, сплетенный из травы. Уходит, потому что иначе товарищи начнут его искать и найдут хижину, и увидят город в долине, и превратят город в пепелище и людей в трупы.

Юлс возвращается на корабль и говорит вожаку: «Берег пуст и безлюден. Поднимайте паруса».

Красиво все это необыкновенно. Винноцветное море, золотые волосы девушки, поцелуй, который «был крепок и мгновенен, словно птица клюнула и отлетела». Все, как на картине Семпирадского, который очень любил изображать красавиц в хитонах и мускулистых юношей, обнимающих этических красавиц на берегу лазурного моря. Многозначительность оборачивается манерностью, мнимая глубина замысла обнаруживает себя беспощадно и логично от первой до последней строки повести. Живопись превращается в отлакированную цветную открытку с сюжетом «из древней жизни», литература окончательно становится литературщиной.

Обухова пишет все легче, она уверена в своей полной власти над материалом и

над читателем. «Преодоление трудностей» осталось позади — повести следуют одна за другой, их читают, они переиздаются.

Эта популярность у читателей (вернее, у читательниц) завоевана прежде всего картинками необыкновенной любви, все больше вытесняющими из ее книг то настоящее, что ощущалось в первых повестях.

И в этом умилении своими героями, в легкости подхода к большим темам и в то же время в растущей уверенности профессионализма и заключается то «ненужное общее», что объединило трех разных писателей.

В недавнем начале их творчества никогда бы не подумалось, что их можно будет так объединить. Разным было их видение жизни и увиденные люди. Об этих людях и для людей начинали писать молодые, пораженные сложностью и широтой жизни, не умеющие подчас найти для воплощения ее законченную литературную форму.

Внимание к жизни и роднило их, и отделяло друг от друга, так как каждый видел свое и говорил о своем. Сейчас они увере-

ны в своем праве писать и писать именно, «как легче», повторяя то, что было найдено ими или даже до них. Однако любуются они своими героями — сестрами-близняшками, Колей Бабушкиным и Ириной, Занозой и гречанкой, полюбившей скандинавского пирата. Одинаково смотрят они на любимых своих персонажей — снизу вверх, отделяя их от простых смертных, всячески прославляя их полет «над землей».

Работают они много, постоянно, новые их произведения уже анонсируются журналами. И нужно, чтобы новые их книги были действительно новыми, чтобы поиски форм выражения сочетались в них с тем вниманием к реальности, с удивлением перед нею, которое жило в маленьких рассказах Лаврова, в небольших повестях Рекемчука, которое уходит из последних их книг, написанных рукой, гораздо более уверенной и опытной.

Право писателя — много работать. Долг писателя — в каждой книге открывать неоткрытое, идти дорогой незнакомой и трудной, а не проходить еще раз по удобной, давно протоптанной для себя тропинке.



Н. ГУДЗИЙ

★

ЧТО СЧИТАТЬ «КАНОНИЧЕСКИМ» ТЕКСТОМ «ВОЙНЫ И МИРА»?

Проблема «канонического» текста «Войны и мира» до сих пор не может считаться разрешенной. Для того, чтобы приблизиться к ее разрешению, необходимо напомнить и кое в чем уточнить историю публикаций текста романа при жизни Толстого, а также досказать то, что полностью не было сказано в связи с этой историей.

Известно, что текст «Войны и мира», кончая описанием Шенграбенского сражения, под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год» печатался в журнале «Русский вестник» в 1865 и 1866 годах. Продолжение романа Толстой не стал печатать в журнале, а выпустил «Войну и мир» почти сразу двумя отдельными изданиями в 1868—1869 годах. В шести томах, значительно переработав при этом напечатанное в «Русском вестнике». Во втором издании первых четырех томов Толстой сделал ряд исправлений по сравнению с первым изданием, что же касается двух остальных томов — пятого и шестого, — то они в обоих изданиях печатались с одного набора и потому каждый из них совершенно не отличается один от другого. Роман изобилует французскими фразами и целыми пассажами, иногда в несколько страниц, на французском языке, как, например, два письма друг к другу Жюли Карагиной и княжны Марьи Болконской или письмо Библибина к Андрею Болконскому. На французском языке приводились письма государственных деятелей, в том числе

Александра I и Наполеона, а также официальные документы, извлеченные из печатных исторических источников. Диалоги на французском языке порой занимали целые абзацы, как, например, разговор Наполеона с Раппом или Пьера Безухова с Рамбалеми. Отдельные персонажи романа говорят то по-французски, то по-русски, часто мешая оба языка без того, чтобы читателю были понятны причины этого смешения. Наполеон говорит то по-французски, то по-русски. По-французски говорит порой и Кутузов. Только в редких случаях речь персонажей «Войны и мира», передаваемая по-русски, сопровождается оговоркой, что они говорят по-французски (сравните, например, разговор Пьера с Анатолом Курагиным). В нескольких случаях, в частности при передаче документального материала, фигурирует в «Войне и мире» немецкий язык.

Иностранный словарный материал сопровождается, впрочем далеко не систематически, переводом на русский язык, в основном сделанным не Толстым, а лицами, читавшими корректуры романа, вероятнее всего П. И. Бартеневым, С. С. Урусовым и С. В. Голицыным. Только в одном случае мы с достоверностью можем говорить об участии Толстого в переводе французского текста романа — именно писем Жюли Карагиной и Марьи Болконской. Доказательством тому служит письмо Толстого к редактору «Русского вестника» Каткову от 3 января 1865 года, при посылке ему рукописи романа: «Французские письма

Публикуя статью академика АН УССР Н. К. Гудзия, редакция не предполагает открывать дискуссию по вопросу о «каноническом» тексте «Войны и мира». Однако мы думаем, что точка зрения крупнейшего ученого-толстоведа может представить интерес для читателей «Нового мира».

я перевел и, по-моему, можно не печатать перевода, но нельзя не печатать французский текст».

Во время печатания «Войны и мира» отдельными двумя изданиями в 1868—1869 годах в типографии Ф. Ф. Риса посредником между Толстым и Рисом был основатель и редактор журнала «Русский архив» П. И. Бартенев. Он же снабжал Толстого необходимыми историческими материалами и вел основную корректуру романа. В письме к нему от 4 декабря 1867 года Толстой писал: «В первых главах 4-го тома¹ есть французское письмо императора Александра к Наполеону, я не поправлял ошибки — его поправить по печатному у Богдановича² и перевести надо». Через два дня тому же Бартеневу Толстой писал: «В IV т. довольно много французских и немецких фраз. Надо их перевести, в особенности немецкие». С просьбой о переводах с французского Толстой обращался к Бартеневу присылке очередных рукописей «Войны и мира» — 8 декабря 1867 года и 20—21 января 1868 года. В отдельных случаях, нужно думать, переводы делались в самой Ясной Поляне. Так, в письме к Бартеневу от 6 февраля 1869 года, сопровождающем посылку ему последних листов пятого тома «Войны и мира», Толстой писал, что «места в двух не сделаны переводы». Однако нельзя утверждать, что те переводы, которые были подготовлены в Ясной Поляне, принадлежат самому Толстому.

Как бы то ни было, о слабой во всяком случае причастности Толстого к переводам с французского языка в текстах «Тысяча восемьсот пятого года» можно судить по следующему редакционному примечанию «Русского вестника» в самом начале публикации романа на его страницах: «Чтобы сохранить колорит разговора действующих лиц, автор весьма часто употребляет французские фразы. Для незнающих французского языка присоединяется в подстрочных выносках перевод французских выражений текста». Как нетрудно заключить из приведенных выше писем к Бартеневу, участие Толстого в переводах с французского и с немецкого языков в первых двух

отдельных изданиях «Войны и мира» в 1868 и 1869 годах было во всяком случае незначительным.

Обилие французского текста в «Войне и мире» не могло не вызвать упреков со стороны довольно значительного количества читателей и критиков романа. Ни в одном произведении русской литературы XIX века, в котором фигурирует светское русское общество, даже воспитанное на французской культуре, мы не найдем такого избытка французского текста, какое находим в обычных текстах «Войны и мира», — ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Тургенева, ни у самого Толстого в других его произведениях. В частности, это нужно сказать о произведениях Пушкина, Загоскина, в которых изображается русское светское общество в пору Отечественной войны 1812 года.

В первых же критических откликах на роман Толстого еще в пору печатания его в «Русском вестнике» высказывалось недовольство в связи с чрезмерным увлечением автора французским языком. Так, критик Варфоломей Зайцев в статье «Перлы и алмазны русской журналистики» упрекал писателя в том, что он писал о русских аристократах «на французском языке» («Русское слово», 1865, № 2). Критик «Книжного вестника» (1866, № 16—17) жаловался на то, что книга Толстого «едва ли не на треть написана по-французски». Такой же упрек делался Толстому и критиком газеты А. А. Краевского «Голос» (1868, № 11) в связи с выходом первых трех томов «Войны и мира». «Целыми страницами, — писал критик, — тянутся у него длинные французские диалоги и еще более длинные французские письма с подстрочными к ним примечаниями. То, что было бы совершенно уместно в каких-нибудь мемуарах или исторических записках, совершенно неуместно в художественном произведении, требующем обработки и не терпящем сырых материалов».

Показательно, что даже недавний литературный единомышленник Толстого, один из членов высоко ценившегося им прежде «бесценного триумvirата» — В. П. Боткин в письме к Фету от 14 февраля 1865 года, с большой похвалой отзываясь о начальных главах романа Толстого, напечатанных в «Русском вестнике», тем не менее жаловался: «... к чему это обилие французского разговора? Довольно сказать, что разговор

¹ Имеется в виду шеститомное издание «Войны и мира» 1868—1869 годов.

² То есть по тексту, напечатанному в книге М. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года».

шел на французском языке. Это совершенно лишнее и действует неприятно. Вообще в языке русском большая небрежность»¹. Те же жалобы находим в письме графини А. Д. Блудовой к П. В. Анненкову от 4/16 марта 1865 года: «1805 год» Толстого не слишком нравится мне,— больше плохого французского языка, чем русского...»². Следовательно, против обилия французского языка в «Войне и мире» выступал не только демократический читатель.

В статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», напечатанной в мартовской книжке «Русского архива» за 1868 год и первоначально задуманной в качестве предисловия к «Войне и миру», Толстой так оправдывал обильное пользование в своем романе французским языком: «Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно». Таким образом, сам Толстой не отрицал в данном случае известных излишеств в пользовании французским языком, который, как сказано, использован им не только в разговорной речи персонажей романа, но и в цитировании официальных документов и писем, извлеченных из печатных источников. Совершенно очевидно, что такое цитирование было совершенно излишним при передаче того «французского склада мысли», которое характеризовало определенные слои светского русского общества начала XIX века, а также французов и Наполеона. Добавим к этому, что французский склад мысли светских русских людей сказывался не только в их французской речи, но и в тех галлицизмах, которые присутствовали в русской их речи.

Касаясь статьи Толстого, газета «Голос» (1868, № 105) считала совершенно справедливыми упреки критики по поводу излишеств в употреблении французского языка в «Войне и мире». Газета находила странным даже не само по себе употребление в романе французских фраз рядом с русскими, а «чрезмерное, сплошное наполнение французской речью целых десятков стра-

ниц сряду». «Для того чтобы показать, что Наполеон или какое-либо другое лицо говорит по-французски,— писал «Голос»,— достаточно было бы одну первую его фразу написать по-французски, а остальные по-русски, исключая каких-либо двух-трех особенно характеристических оборотов, и мы без труда догадались бы, что вся тирада произнесена на французском языке».

Тот же критик, познакомившийся уже с четвертым томом «Войны и мира», предъявляет такие претензии к роману Толстого, которые частично предъявлялись к «Войне и миру» еще раньше и которые особенно участились после выхода в свет последних трех томов романа. Претензии эти вызывались в основном включением в роман философских экскурсов, по мнению критиков, отяжелявших его и далеко не бесспорных, выдвижением в нем исторического материала в ущерб романическому развитию повествования, чем нарушалось художественное равновесие в общем плане сочинения. Наконец критики считали весьма субъективными и потому во многом ошибочными рассуждения Толстого об исторических событиях и лицах, обусловленные его убеждением, что цели и задачи историка и художника различны.

Очень показательно, что один из солиднейших критиков «Войны и мира» — П. В. Анненков, статью которого Толстой ценит очень высоко и который был знаком только с тремя первыми томами романа, писал: «Не трудно доказать математически, на основании законов перспективы, что во всяком романе великие исторические факты должны стоять на втором плане: только тогда и возможно представить их в некоторой полноте и целостности... Героям своим и частному событию он (Толстой.— Н. Г.) отводит столько пространства, света и воздуха, сколько нужно единственно для поддержания их существования. Этот скудный паек, этот *le strict nécessaire* предоставленной им жизни, при роскоши и богатстве обстановки всего прочего — действует неблагоприятно на читателя, который под конец догадывается, что существенный недостаток всего создания, несмотря на его сложность, обилие картин, блеск и изящество,— есть недостаток романического развития» («Вестник Европы», 1868, № 2).

Упреки Толстому в том, что исторические эпизоды его романа заслоняют эпизоды романические, что в исторической части много

¹ А. Фет. Мои воспоминания. 1848—1889. М., 1890, т. II, стр. 60.

² В. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга вторая. Л.—М., 1931, стр. 262.

спорного и ошибочного, что философские экскурсы, помимо своей спорности, отяжеляют роман.—такого рода упреки фигурировали в ряде безымянных критических отзывов в газетах и журналах, а также в рецензиях Суворина, Буренина, Навалихина (В. В. Берви), Богдановича, Пятковского, Витмера, отчасти и Драгомирова. Упреки эти относились и к статье Толстого «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».

Единственный критический отзыв о «Войне и мире», к которому Толстой отнесся с безусловным уважением, был отзыв военного писателя Н. А. Лачинова, напечатанный в одном из апрельских номеров газеты «Русский инвалид» за 1868 год, подписанный инициалами Н. Л. и касавшийся главным образом только что вышедшего тогда четвертого тома романа. Написанная в очень уважительном по отношению к Толстому тоне, с признанием большой художественной ценности романа, статья Лачинова содержит в себе очень солидно обоснованные возражения по поводу военно-исторических взглядов Толстого, недооценки им военного гения Наполеона, по поводу его философских воззрений, которые автор считает сводящимися «к чистейшему историческому фатализму».

В связи с этой статьей Толстой 11 апреля 1868 года писал редактору «Русского инвалида»: «Я сейчас прочел в 96 № вашей газеты статью г-на Н. Л. о 4-м томе моего сочинения. Позвольте вас просить передать автору этой статьи мою глубокую благодарность за радостное чувство, которое доставила мне его статья, и просить его открыть мне свое имя и, как особенную честь, позволить мне вступить с ним в переписку. Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисходительную критику. Со многими доводами его (разумеется, где он противного моему мнению) я согласен совершенно, со многими нет. Если бы я во время своей работы мог воспользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок. Автор этой статьи очень обяжал бы меня, ежели бы сообщил мне свое имя и адрес».

Само по себе письмо Толстого свидетельствует о том, что к статье Лачинова он отнесся с большой серьезностью и что она заставила его передумать свои исторические и философские экскурсы, самокритически

отнестись к ним и признать ошибочность некоторых своих высказываний. Самый тон письма говорит о том, что Толстой близко к сердцу принял не только похвалы рецензента, но и его решительные возражения. До статьи Лачинова о «Войне и мире» напечатаны были весьма сочувственные отзывы Ахшарумова, Щебальского, недавнего друга Толстого Анненкова, в которых наряду с отдельными критическими замечаниями в самом главном давалась высокая оценка романа, и все же Толстой не считал нужным благодарить этих своих рецензентов за внимание к своему произведению, что он сделал по отношению к Лачинову, задевавшему его, что называется, за живое.

Переписка с Лачиновым, которая была так желанна для Толстого, не состоялась: то ли Толстой раздумал посылать свое письмо (при публикации его в Юбилейном издании сочинений Толстого не указано, к сожалению, место первоначального его нахождения), то ли ответное письмо Лачинова до нас не дошло. Как бы то ни было, если Лачинов был извещен о желании Толстого вступить с ним в переписку, трудно предположить, чтобы он пренебрег элементарной вежливостью, оставив без ответа столь искреннее и столь лестное для него письмо.

Самым страстным и восторженным, можно сказать безоговорочным, почитателем и апологетом «Войны и мира» был Н. Н. Страхов, вскоре ставший ближайшим другом Толстого, написавший несколько крупных статей об этом романе. И вот Страхов в статье, посвященной пятому и шестому томам «Войны и мира» («Заря», 1870, №1), считал себя вынужденным высказать одно существенное, с его точки зрения, критическое замечание по поводу включения в текст романа философских экскурсов: «Философские рассуждения гр. Л. Н. Толстого сами по себе чрезвычайно хороши; если бы он выступил с ними в отдельной книге, то его нельзя было бы не признать отличным мыслителем и книга его была бы одною из тех немногих книг, которые вполне заслуживают название философских. Но в соседстве с хроникой «Войны и мира», наряду с ее животрепещущими картинами, эти рассуждения кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величю и глубине предмета. В этом отношении гр. Л. Н. Толстой сделал большую ошибку против художественного такта: его хроника,

очевидно, подавляет собою его философию, и его философия мешает его хронике».

В 1873 году вышло в свет третье издание сочинений Толстого в восьми томах (частях). В пятой — восьмой частях напечатан роман «Война и мир» в новой, переработанной Толстым редакции: военно-исторические и философские рассуждения перенесены в особое приложение с самостоятельной нумерацией страниц. Напечатанное в конце восьмой части под общим заглавием «Статьи о кампании 12-го года», приложение состояло из девятнадцати статей с особыми заголовками, в значительной своей части сделанными самим Толстым. Кроме того, отдельные главы, содержащие историко-философские рассуждения, полностью или частично были изъяты из «Войны и мира» начиная с четвертого тома, где они впервые появились в романе. В основном тексте, за редчайшими исключениями, оправданными контекстом, французский язык заменен русским; немецкий язык всюду заменен русскими переводами. Что касается приложения («Статьи о кампании 12-го года»), то здесь французский язык полностью сохранен в полном соответствии с текстом изданий 1868—1869 годов. Французские фразы, за небольшими исключениями, сопровождаются подстрочными переводами на русский язык. Сохранение французского языка в приложении, очевидно, объясняется тем, что приложение представляло собой не художественный, а историко-философский материал, рассчитанный на эрудированного читателя-специалиста. Наконец в отличие от предшествующего издания роман в издании 1873 года состоял не из шести, а из четырех томов (частей), причем каждый том (часть) имел сплошную нумерацию глав.

Изменения в тексте и композиции «Войны и мира», сказавшиеся в перенесении военно-исторических и философских рассуждений в приложение с исключениями некоторых из них, в замене французского и немецкого языков русским, вызваны были, очевидно, известными нам отзывами критики. В частности, нужно думать, немалую роль в решении Толстого перенести страницы, содержавшие военно-исторические и философские рассуждения в особое приложение к роману, сыграли суждения Страхова, критические статьи которого о «Войне и мире» Толстой очень высоко ценил.

О намерении Толстого переработать текст «Войны и мира» для издания 1873 года мы

впервые узнаем из его письма к А. А. Толстой от конца января — начала февраля 1873 года. «...мне Война и мир теперь отвратительна вся, — писал он. — Мне на днях пришлось заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания, и не могу вам выразить чувство раскаянья, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места! Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. — Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего».

В письме к Страхову от 25 марта того же года, своевременно не отправленном, но позже ему врученном, Толстой писал: «...я начал готовить Войну и мир ко второму изданию и вымарывать лишнее — что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатать отдельно. — Дайте мне совет, если вам будет время проглядеть 3 последние тома. Да если вы помните, что нехорошо, напомните. Я боюсь трогать потому, что столько нехорошего на мои глаза, что хочется как будто вновь писать по этой подмалевке. Если бы, вспомнив то, что надо изменить, и поглядев последние 3 тома рассуждения, написали бы мне, это и это надо изменить и рассуждения с страницей такой-то по страницу такую-то выкинуть, вы бы очень, очень обязали меня». 11 мая, сообщая Страхову о своей работе над «Анной Карениной», Толстой добавляет: «Еще я занимаюсь поправкой «Войны и мир». Исключаю все рассуждения и французское и ужасно желал бы вашего совета. Можно ли прислать вам на просмотр, когда я кончу?»

В ответ на это письмо Страхов, не высказывая своего мнения о переработке Толстым «Войны и мира» и не давая ему по этому поводу никакого совета, тем не менее горячо откликнулся на просьбу Толстого просмотреть исправленный им текст романа. «Это будет большое наслаждение... — пишет он. — Да притом я Вам не доверяю в высочайшей степени; Вы непременно сделаете недосмотр; я гораздо аккуратнее Вас»¹.

31 мая Толстой писал Страхову: «Очень, очень вам благодарен за предложение просмотреть «Войну и мир». Вы не поверите, как это для меня дорого. Я начал просмат-

¹ Толстовский музей, т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым 1870—1894. СПб., 1914, стр. 32—33.

ривать и сделал главное, т. е. выкинул некоторые рассуждения совсем, а некоторые, как, например, о Бородинском сражении, о пожаре Москвы, рассуждение эпилога и др. вынес отдельно и хочу напечатать в виде отдельных статей. Другое, что я сделал, переводил с французского по-русски; но еще не кончил 4, 5 и 6 томы и кое-что выкидал плохое».

22 июня, живя в Самарской губернии, Толстой обращается к Страхову с просьбой просмотреть посылаемый ему «исправленный ли, но наверное испачканный и изорванный экземпляр Войны и мира», просмотреть в нем поправки, высказать свое мнение о них и «уничтожить поправку» или самому исправить то, что он найдет плохим. «Уничтожение французского, — признается Толстой, — иногда мне было жалко, но в общем, мне кажется, лучше без французского. Рассуждения военные, исторические и философские, мне кажется, вынесенные из романа, облегчили его и не лишены интереса отдельно. Впрочем, если вы какие из них найдете излишними, выкиньте. На счет того, что я соединил 6 частей в 4, я в нерешительности и прошу вас решить, как лучше: с старым разделением или по-новому».

Ответа Страхова на это письмо мы не знаем. Неизвестно нам и другое письмо Страхова, на которое Толстой отвечал 3—4 сентября. В письме Страхова, очевидно, содержались предложения о некоторых сокращениях в историко-философском приложении к последнему, четвертому тому в издании 1873 года. В своем письме Толстой, вновь благодаря Страхова за его работу над новым изданием «Войны и мира» и вновь предоставив ему право уничтожить все, что он найдет лишним, противоречивым и неясным в романе, пишет одинако: «Даю вам это полномочие и благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею. Мне кажется (я наверно заблуждаюсь), что там нет ничего лишнего. Мне много стоило это труда, поэтому я и жалею. Но вы, пожалуйста, марайте, и посмейте». В ответном письме Страхов извещал Толстого, что, перечитывая и обдумывая очередной присланный ему текст «Войны и мира» (совершенно очевидно — приложение к четвертому тому), он теперь не решился почти ничего вычеркнуть, напротив: первоначально пришедшие ему в голову мысли о поправках исчезли по

мере вчитывания в текст, «так что, — пишет он, — сделавши множество мелких исправлений, в которых эти две статьи (как мне именно — неизвестно. — Н. Г.) особенно нуждались, я вычеркнул всего в двух местах по две — по три строчки, — там, где надобность была совершенно очевидна». Страхов сообщает при этом, что четвертый том он отослал в Москву, в типографию, но предлагает Толстому в статье «Вопросы истории» исключить последнюю, XII главу, в которой переворот в истории неудачно сравнивается с переворотом в астрономии, произведенным системой Коперника. В случае согласия с этим предложением, Страхов просит Толстого послать в Москву распоряжение об исключении этой главы. Страхов также отмечает, что рассуждение Толстого о власти, занимающее половину его обширной заключительной статьи «Вопросы истории», «чрезвычайно растянуто и не совсем точно».

Отвечая Страхову, Толстой писал (23—24 сентября): «Очень благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за все, что вы сделали с Войной и миром, только жалею, что вы не выкинули или не сократили того, что вы, совершенно справедливо, нашли растянутым и неточным — о власти. Я помню, что это место было длинно и нескладно. XII параграф выкинуть — я нынче напишу¹. И тоже благодарен за указание».

Содержание переписки Толстого со Страховым по поводу «Войны и мира» дает нам возможность представить себе, с каким доверием относился Толстой к Страхову как к своему литературному советчику, разрешая ему самостоятельно распоряжаться текстом своего романа. Эти же письма показывают, что Толстой не всегда удовлетворен был тем, что он отнес в приложение к роману, и не всегда был убежден в правоте своих военно-исторических и философских взглядов.

В чем же выразилась инициативная работа Толстого над текстом «Войны и мира» в издании его сочинений в 1873 году?

Здесь необходимо прежде всего обратить внимание на то, что Толстой совершенно

¹ Двенадцатая глава в статье «Вопросы истории» в издании «Войны и мира» 1873 года сохранилась: очевидно, Толстой не послал в типографию распоряжения об исключении этой главы. Так как мы не знаем, по каким соображениям Толстой этого не сделал, мы не вправе исключать ее из текста «Войны и мира».

исключил из текста романа в издании 1868—1869 годов и что он перенес из этого текста в приложение.

Исключению подверглись, начиная с четвертого тома, наиболее сложные и порой спорные философские главы или части их. Так, отсюда (из третьей части в издании 1873 года) исключена I глава (первой части в издании 1868—1869 годов), в которой идет речь о начавшейся в 1812 году войне как о противном человеческому разуму и человеческой природе событии, сопровождающемся бесчисленными злодеяниями, каких до тех пор не знала история человечества, опровергаются домыслы историков о причинах войны Франции с Россией. По утверждению Толстого, войну вызвали «миллиарды причин», совпавших для того, чтобы произошло то, что произошло, и не зависящих от воли отдельных людей, будь то Наполеон, Александр или любой солдат. Исторический процесс фатален. «Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее», — говорил Толстой. Тут же рассуждение о двух сторонах в жизни каждого человека — личной и стихийной, роковой, о предопределении как о законе истории.

Из того же четвертого тома исключены первые пять абзацев I главы второй части по изданиям 1868—1869 годов. В этих абзацах все участники войны, начиная от Наполеона и Александра, трактуются как непроизвольные орудия истории, действовавшие по воле провидения, тем более несвободные, чем выше они стоят в людской иерархии. Оттуда же, из XXXVIII главы по тому же изданию, исключена большая ее часть, в которой Наполеон характеризуется как «предназначенный провидением на печальную несвободную роль палача народов», как человек, до конца своей жизни не понимавший ни добра, ни красоты, ни истины. Тут же приведена на французском языке длинная выписка из мемуаров Наполеона, написанных на острове Святой Елены, в которой говорится о тех благодеяниях для человечества, которые замыслил Наполеон в случае удачного для него исхода войны 1812 года, а также о том, что в армии Наполеона, воевавшей против России, французы были в меньшинстве.

Целиком исключена I глава первой части пятого тома по изданию 1869 года. В ней — со ссылкой на законы математики — утверждается непрерывность исторического движения, а также опровергается решающая роль «великих людей» в исторических событиях... Исключено начало IV главы второй части того же пятого тома, где идет речь о том, что в войну 12-го года личные интересы у людей были значительно более общих интересов, связанных с судьбой государства. Наконец исключено начало I главы третьей части пятого тома по изданиям 1868—1869 годов. Тут отрицается существование причин исторического события и утверждается существование законов, управляющих событиями, причем законы эти могут быть открыты только тогда, когда мы отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека.

Таким образом, из «Войны и мира» были изъяты, в сущности, все философские отступления, находившиеся в тексте романа до заключительной его части — «Эпилога».

Среди того, что начисто удалено из «Войны и мира» в издании 1873 года, имеется, однако, одно место, с философскими экскурсами романа связанное только косвенно. Это рассуждение о том, что в войну 12-го года личные интересы людей преобладали над интересами общими и что те, кто пренебрегал общими интересами государства, были самыми полезными людьми. Это суждение Толстого настолько противоречило основной направленности «Войны и мира», утверждающей положительную роль в войне 1812 года именно тех людей, которые жертвовали личными интересами в пользу интересов общенародных, что Толстой, нужно думать, счел необходимым отказаться от своего сомнительного заключения.

В приложение перенесены были Толстым те части текста «Войны и мира», которые, не заключая в себе рассказа о вымышленных персонажах романа, выходили за пределы простого описания событий и в основном содержали в себе такие описания, которые сопровождалась рассуждениями на военно-исторические темы. Кроме того, сюда же включены были и указанные выше философские части «Эпилога» по изданиям 1868—1869 годов, озаглавленные в приложении «О значении Александра и Наполеона» и «Вопросы истории». При этом приходилось в отдельных случаях исключать по две-три строки, которые непосредственно

связывали перенесенный в приложение материал с материалами, оставленными в основном тексте.

При определении характера и объема работы Толстого для издания «Войны и мира» 1873 года следует учесть также стилистические исправления текста романа и вопрос о том, что и как сделано Толстым при переходе с французского языка на русский.

Что касается первого вопроса, то он с полной определенностью не может быть разрешен. Стилистические исправления в тексте «Войны и мира» в издании 1873 года делались Толстым и Страховым в экземпляре второго издания 1868—1869 годов. До нас дошли только пятый и шестой тома этого экземпляра, в которых отчетливо запечатлены исправления Толстого и исправления Страхова (в пятом томе толстовских исправлений сравнительно значительное количество, в шестом же минимальное; почти все исправления тут принадлежат Страхову)¹. Что же касается первых четырех томов наборного экземпляра, то они до нас не дошли, и с уверенностью сказать, что в них исправлено Толстым, а что Страховым, мы не можем. Следует ли принимать для «канонического» текста «Войны и мира» достоверные поправки Страхова, которому Толстой разрешал стилистические и грамматически совершенствовать свой текст, или необходимо восстанавливать без всяких исключений лишь заведомо толстовские исправления в тех случаях, когда мы с большей или меньшей вероятностью можем их установить, — вопрос спорный, и здесь не место его решать, тем более что разрешение его в ту или иную сторону одинаково обязательно для любого типа «канонического» текста «Войны и мира».

Относительно работы Толстого, связанной с переводами с французского языка на русский, можно сказать, что в огромном большинстве случаев он использовал уже имевшиеся переводы в изданиях 1868—1869 годов, в иных местах уточняя их, в других — отступая от буквальной их передачи и прибегая к более выразительному разговорному русскому языку. Кроме того, Толстой заново перевел отдельные французские фразы, оставшиеся без перевода в изданиях 1868—1869 годов. Следовательно, он про-

явил авторскую активность в работе над переводами в целом.

Текст «Войны и мира» в третьем издании сочинений Толстого 1873 года был повторен в четвертом издании в 1880 году и больше уже никогда не воспроизводился.

В 1886 году вышли одно вслед за другим пятое и шестое издания сочинений Толстого. В пятом издании текст «Войны и мира» печатался по изданиям 1868—1869 годов, то есть с восстановлением французского текста, с сохранением на прежних местах военно-исторических и философских рассуждений, но, в согласии с изданием 1873 года, роман поделен не на шесть томов, а на четыре, хотя и с разделением каждого тома, как и в изданиях 1868—1869 годов, на части. Издание это не отличалось текстовой строгостью: в нем использовался текст то первого, то второго издания «Войны и мира», видимо, в зависимости от того, какое издание было под рукой в очередной стадии работы. Стилистические исправления издания 1873 года не были при этом учтены, хотя в редких случаях сделаны были кое-какие словарные изменения по сравнению с изданиями 1868—1869 годов, в том числе и в переводе французских фраз. небрежность в подготовке текста пятого издания сказалась и в том, что в нем сохранилась такая же путаница в нумерации начальных глав первого тома, какая была и в журнальном тексте «Тысяча восемьсот пятого года», и в обоих последующих изданиях «Войны и мира».

Шестое издание, вышедшее на худшей бумаге по сравнению с пятым изданием и предназначенное, очевидно, для широкого круга читателей, представляло собой новый текстовый вариант «Войны и мира» по сравнению с предыдущими изданиями. В нем французский язык всюду заменен русским, а военно-исторические и философские рассуждения полностью восстановлены на прежних местах, как в издании пятом.

В текстовом отношении шестое издание следует то тексту первого и второго изданий 1868—1869 годов, то тексту издания 1873 года. Но в целом ряде случаев в шестом издании имеются новые чтения.

В последующее время текст шестого издания повторен был в изданиях сочинений Толстого — седьмом, восьмом и десятом. Во всех остальных изданиях, вышедших при жизни Толстого — в девятом и одиннадцатом — и после его смерти, текст «Войны и

¹ См. Н. Н. Гусев. Авторские исправления текста «Войны и мира». «Летописи Государственного литературного музея. Книга двенадцатая. М., 1948, стр. 193—199.

мира» печатался в соответствии с текстом пятого издания, то есть с удержанием французского языка и сохранением военно-исторических и философских рассуждений в основном тексте романа, а не в приложении. Уже сам по себе этот двойкий способ издания «Войны и мира» начиная с 1886 года свидетельствует о явном неблагополучии в разрешении вопроса о тексте романа.

Возникает вопрос: имел ли Толстой какое-либо касательство к тем текстам «Войны и мира», которые представлены были двумя изданиями 1886 года (пятым и шестым)? Никаких определенных данных на этот счет мы не имеем, но мы знаем, что в эту пору Толстой все дела по изданию своих сочинений передал своей жене Софье Андреевне, и пятое и шестое издания были первыми, осуществленными ею. Произведения, написанные Толстым до перелома в его мировоззрении, в частности «Война и мир», его уже не интересовали, и едва ли есть основания думать, что он активно участвовал в подготовке текста «Войны и мира» в пятом и шестом изданиях.

В Юбилейном издании полного собрания сочинений Толстого текст «Войны и мира» в девятом — двенадцатом томах вышел в свет двумя тиражами. В первом тираже (1930—1933), вышедшем под редакцией А. Е. Грузинского, а после его смерти под редакцией М. А. Цявловского, роман печатался по изданию 1886 года с введением сравнительно небольшого количества исправлений по изданию 1873 года и с дополнительными редакторскими переводами французских фраз, не переведенных в изданиях 1868—1869 годов; во втором тираже (1937—1940), вышедшем под редакцией Г. А. Волкова и М. А. Цявловского, в основу текста «Войны и мира» положен текст второго издания 1868—1869 годов с разделением, однако, не на шесть томов, а на четыре, как и в предшествовавшем тираже, и с использованием почти всех исправлений, сделанных в издании 1873 года, а также с введением подстрочных переводов иностранных текстов согласно этому изданию. В обоих тиражах авторы предисловия не сомневаются в том, что в пятом издании сочинений Толстого инициатива возвращения к тексту романа 1868—1869 годов принадлежала С. А. Толстой, но что в поддержке и частично в осуществлении этой инициативы принимал участие Страхов, хотя, думается нам, небрежность пятого издания не свидетельствует о

сколько-нибудь компетентной помощи при его осуществлении. Текст «Войны и мира» в этом издании, за исключением некоторых минимальных исправлений отдельных слов, в целом не отступал от изданий 1868—1869 годов, а внешняя реконструкция, сводившаяся к сжатию шести томов в четыре, подсказывалась очень простым расчетом: предшествующие «Войне и миру» четыре тома в пятом издании по своему объему были значительно обширнее, чем каждый из шести томов изданий 1868—1869 годов, и легко было догадаться, что шесть томов романа необходимо было сжать в четыре и таким образом достичь единообразия объема во всех томах сочинений Толстого. Кроме того, если бы в этом собрании «Война и мир» по-прежнему занимала шесть томов, то это нарушало бы нормальные пропорции в распределении художественного материала, принимая во внимание, что произведения, написанные до «Войны и мира», уделялось всего четыре тома. Понять это Софье Андреевне легко было самой даже без обращения за советом к Л. Н. Толстому или к Страхову, участие которого в решении вопроса о тексте «Войны и мира» для пятого издания предполагается некоторыми исследователями на том лишь основании, что его рукой сделан перечень произведений Толстого, входящих в это издание. Не нужно, однако, забывать, что Страхов возражал против включения в роман военно-исторических и философских рассуждений.

Сложнее обстоит дело с текстом «Войны и мира» в шестом издании сочинений Толстого, где, помимо компромиссного решения вопроса (русский язык вместо французского всюду, в том числе и в военно-исторических и философских рассуждениях, но с возвращением военно-исторических и философских рассуждений в основной текст — по типу изданий первого, второго и пятого), внесены дополнительные исправления, больше всего во фразах, переведенных с французского языка. Исправления эти сделаны, видимо, каким-то вдумчивым помощником С. А. Толстой во время ее работы над переизданием «Войны и мира». У нас нет оснований полагать, что таким помощником был Страхов, сравнительно недолго гостивший в Ясной Поляне в 1885 и 1886 годах. Подготовка к пятому изданию сочинений Толстого, а возможно, и к шестому началась еще в 1885 году, в то время, когда в Ясной По-

ляне летом в течение более полутора месяцев гостил в прошлом домашний учитель детей Толстого филолог И. М. Ивакин, окончивший Московский университет со степенью кандидата. С. А. Юрьеву Толстой писал о том, что у него живет «прекрасный и очень умный человек Иван Михайлович Ивакин».

В записке Ивакина под 16 июля 1885 года отмечено: «После завтрака читал графине корректуры из «Войны и мира». Дамы настолько заинтересовались, что просили дальше читать уж так». 12 августа им записано: «Вечером читал корректуры из «Войны и мира». Лев Николаевич сел поодаль и слушал, как я читал графине про Пьера и пожар в Москве». Судя по первой записи, в которой сказано, что дамы «просили дальше читать уж так», можно заключить, что вообще-то корректуры читались Ивакиным в рабочем плане. Поэтому ничто не мешает предположить, что именно Ивакин был помощником С. А. Толстой при подготовке текста «Войны и мира» для пятого, а также для шестого издания сочинений Толстого, допустив при этом некоторые недосмотры. Но во всяком случае не может быть сомнения в том, что рука Толстого не прикасалась к тексту «Войны и мира» ни в пятом, ни в шестом изданиях его сочинений. Однако нельзя не обратить внимания на то, что, когда предполагается согласие Толстого на ту работу, которая производилась в основном Софьей Андреевной для изданий 1886 года, речь идет только об издании пятом с восстановлением французского языка, а также немецкого и совершенно игнорируется при этом шестое издание, в котором эти языки отсутствуют. Почему? ¹ Ведь оба издания вышли почти одновременно, и можно думать, что если бы Толстой давал санкцию на какой-либо из двух текстов «Войны и мира» в изданиях 1886 года, то при возросшем с конца семидесятых годов его демократизме он отдал бы предпочтение тексту в шестом издании как гораздо более доступному демократическому читателю.

Предполагая, что Толстой выразил согласие на публикацию «Войны и мира» по тек-

сту пятого издания, на защиту французского языка в «Войне и мире» стали и редакторы второго тиража томов «Войны и мира» в Юбилейном полном собрании сочинений Толстого Г. А. Волков и М. А. Цявловский, как стали они и на защиту философских и военно-исторических рассуждений в самом тексте романа, а не в приложении к нему. Они утверждали, что «Война и мир» «немыслима без французского языка». «Французский язык,— писали они,— неотъемлемый бытовой аксессуар высшего сословия начала XIX века. При исключении из текста «Войны и мира» французского языка потеряют в своей жизненности многие художественные образы романа: Анна Павловна, Ипполит Курагин, Билибин, Наполеон, Кутузов, Александр и др.».

Чисто субъективно и потому недоказательно звучало второе утверждение редакторов: «Философские и исторические рассуждения в «Войне и мире» являются неотъемлемой составной частью романа. Художественные образы романа — живая, яркая иллюстрация к ним. Поэтому исключение философских вступлений к отдельным главам и отнесение рассуждений в приложение нарушает композицию и жанр «Войны и мира», этого необычайно целостного организма, произведения, которое Толстой своеобразно задумал и осуществил в издании 1868—1869 гг.».

Для того чтобы проверить это утверждение, достаточно обратить внимание на композицию «Эпилога» к роману в изданиях 1868—1869 годов и в зависящих от них. Совершенно бесспорно, что построение «Эпилога» вызывает возражения, если смотреть на весь роман как на «целостный организм»: в первой части «Эпилога» первые четыре главы посвящены военно-историческим рассуждениям и вопросам философии истории, а вслед за тем, как продолжение их, непосредственно следуют главы V—XVI, в которых идет речь преимущественно о семейной жизни Безуховых (Пьера и Наташи) и Ростовых (Николая и Марьи). После этого следует вторая часть «Эпилога», состоящая из двенадцати глав и целиком посвященная философской проблеме предмета истории. Таким образом, если исключить неорганически вклинившийся в «Эпилог» рассказ о судьбе двух семейств, этот «Эпилог» по существу также является приложением к роману, только более коротким, чем в издании 1873 года, и без наименования «прило-

¹ Такой же вопрос совершенно резонно задают В. Жданов и Э. Зайденштур в статье, посвященной изданию художественных произведений Толстого в Юбилейном полном собрании сочинений Толстого. См. «Литературное наследство», т. 69, кн. 2-я, стр. 446.

жение». В него вошел весь историко-философский материал, кроме философских отступлений в тексте романа, которые сам Толстой выкидывал.

Нельзя отрицать, что перенесение всего историко-философского материала «Эпилога» в приложение к изданию 1873 года в интересах художественно-композиционных было совершенно целесообразно: следует обратить внимание на то, что этот материал, входивший в «Эпилог», занимает половину всего приложения в издании 1873 года. Как же в таком случае можно говорить о том, что, будучи помещены в самом конце текста «Войны и мира» не только в издании 1873 года, но и в изданиях 1868—1869 годов и с ними связанных, «философские и исторические рассуждения в «Войне и мире» являются неотъемлемой составной частью романа» (подчеркнутой. — *Н. Г.*) и что «художественные образы романа — живая, яркая иллюстрация к ним»? Что же касается «философских вступлений», то сам Толстой не дорожил ими, очевидно, не считая их необходимыми для того, чтобы придать «Войне и миру» характер «целостного организма».

Нужно иметь в виду, что приведенные выше письма Толстого к Страхову в период работы Толстого над текстом «Войны и мира» в издании 1873 года, в которых он писал, что уничтожение французского языка ему было иногда жалко, но что, в общем, как ему кажется, «лучше без французского», а также что «рассуждения военные, исторические и философские... вынесенные из романа, облегчили его и не лишены интереса отдельно», и другое, содержащееся в этих письмах в связи с этой работой, не были известны редакторам «Войны и мира» в Юбилейном издании: указанные письма Толстого к Страхову были опубликованы только в 1951 году в издании «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов». Очень вероятно, что столь поздняя публикация писем оказалась причиной того, что редакция «Войны и мира» 1873 года не пользовалась в предреволюционных и послереволюционных изданиях тем авторитетом, какого она по праву заслуживала.

Однако и после опубликования этих писем раздавались голоса авторитетных исследователей творчества Толстого в защиту той редакции текста «Войны и мира», которая представлена первыми двумя изданиями романа 1868—1869 годов (в большинстве слу-

чаев с учетом стилистических исправлений, сделанных Толстым в издании 1873 года). Так, А. В. Чичерин полагает, что «опыт Л. Н. Толстого в издании 1873 года — освободить «Войну и мир» от иностранных текстов — явно не удался»¹. А. А. Сабуров стремился обосновать закономерность военно-исторических и философских рассуждений в основном тексте романа².

Наиболее отрицательная оценка издания «Войны и мира» 1873 года была высказана Л. Д. Опульской. По ее словам, «издание 1873 года остается авторским экспериментом, в котором непреложными являются лишь разделение на четыре тома и художественная, стилистическая правка»³. Она полагает, что выделение историко-философских рассуждений в отдельное приложение и частичное изъятие их разрушило естественную композицию эпопеи, соединяющей в себе органически, в тесном сплетении художественное изображение и обобщающее его авторское рассуждение.

Что же касается замены французского языка русским, то и эту замену Л. Д. Опульская не считает художественно оправданной.

Нужно сказать, что подобного рода заключения, устанавливающие непреложные законодательные нормы в отношении естественной композиции эпопеи, нормы, раз навсегда установившиеся и непоколебимые, как и заключения относительно обеднения художественных качеств романа вследствие устранения из него французского языка, являются выражением личных взглядов и вкусовых привычек исследователя и критика, не считающихся с решениями, высказанными самим Толстым в его письмах к Страхову.

Заметим, что Б. М. Эйхенбаум, дважды обращавшийся к проблеме текста «Войны и мира» и некогда в своей монографии о Толстом подвергший сомнению тщательность работы писателя над изданием 1873 года, в одной из последних своих статей косвенно взял под защиту именно этот текст, напомнив, что в такой редакции роман «был издан дважды самим автором, находившимся в совершенно здоровом уме» («Русская литература», 1959, № 4, стр. 222).

¹ А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958, стр. 185.

² А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959, стр. 448—462.

³ Л. Опульская. Монументальное издание. «Вопросы литературы», 1960, № 2, стр. 98.

В свое время В. В. Виноградов подробно коснулся вопроса о роли французского языка в «Войне и мире» и пришел к выводу о том, «как тонко, разнообразно, художественно-целесообразно и исторически-правдоподобно пользуется Л. Толстой французским языком для воссоздания стиля изображаемой эпохи и многообразия характеров «русских европейцев», русских парижан из великосветского общества начала XIX в.»¹. Однако В. В. Виноградов не посчитался с тем, что Толстой в первоначальной печатной редакции «Войны и мира» воспользовался французским языком не только для воссоздания стиля изображаемой эпохи и для изображения характеров персонажей романа, но и для пространныго цитирования исторических материалов и исторических исследований. Необходимо было также обратить внимание на нарушение чувства меры в привлечении французского языка, когда количество уже переходило в качество, отнюдь не положительное.

Пора наконец прямо ответить на вопрос, что же считать окончательным, «каноническим» текстом «Войны и мира». Таким текстом, как вытекает из всего сказанного, необходимо считать текст романа в издании 1873 года, представляющий собой результат последней активной работы Толстого над романом. Если бы эта работа протекала через значительный промежуток времени после первой его публикации, мы не вправе были бы считать ее «каноническим» текстом, так как она могла отражать существенную эволюцию Толстого в его мировоззрении и в художественных и эстетических взглядах. Но переработка текста «Войны и мира» сделана была всего лишь через четыре года после первой публикации романа (так что говорить о каких-либо сдвигах в идейных и художественных взглядах Толстого не приходится), и затем повторена была через семь лет, в 1880 году, без попыток в этот промежуток времени вернуться к первоначальной редакции романа. Это была последняя писательская воля Толстого, отказа от которой документальных и сколько-нибудь достоверных сведений мы не имеем. Принимая эту переработку романа в издании 1873 года, мы, естественно, должны принять и самые существенные ее особенности — за-

мену иностранных текстов русскими, перенос военно-исторических и философских рассуждений в приложение к тексту романа и исключение некоторых глав и частей их, содержащих философские отступления. Должны принять и сплошную нумерацию глав в каждом томе без разделения томов на части, как это было сделано в изданиях 1868—1869 годов и изданиях начиная с 1886 года. При этом само собой разумеется, что опечатки, вкравшиеся в издание 1873 года, и ошибки переписчиков должны быть исправлены.

К тем соображениям Толстого, в которых он оправдывал в письмах к Страхову переработку текста «Войны и мира» для издания своих сочинений в 1873 году, добавим следующий черновой набросок, предназначавшийся для заключительной части «Эпилога» романа и касающийся историко-философских рассуждений в романе: «Большинство моих читателей состоит из тех, которые, дойдя до исторических и тем более философских рассуждений, скажут: Ну, опять. Вот скука-то,— посмотрят, где кончатся рассуждения, и, перевернув страницы, будут продолжать дальше. Этот род читателей — самый дорогой мне читатель. Их суждениями я дорожил больше всего; от их суждений зависит успех книги, и их суждения безапелляционны... Это читатели художественные, те, суд которых дороже мне всех. Они между строками, не рассуждая, прочтут все то, что я писал в рассуждениях и чего бы и не писал, если бы все читатели были такие. Перед этими читателями я чувствую себя виноватым за то, что я уродовал свою книгу, вставляя туда рассуждения...»² Вслед за тем Толстой оправдывает рассуждения в «Войне и мире» тем, что, принимаясь за описание исторического прошлого, он пришел к выводу, что оно описано «совершенно навыворот тому, что было», и потому, «если бы не было этих рассуждений, не было бы и описаний».

Обратим внимание также на свидетельство английского биографа Толстого Эйлмера Моода, который писал: «Толстой говорил мне, что он считает недостатком своей книги, помимо ее большого объема, вторжение в повествование философской полемики. Он по-прежнему придерживается того же мнения о роли в истории «великих» людей, о свободе и необходимости, какого придерживался тогда, когда писал свой роман, но понимает, что роман был бы лучше, если бы

¹ В. Виноградов. О языке Толстого (50—60-е годы). «Литературное наследство», т. 35—36, М., 1939, стр. 160.

в нем не было этих отвлеченных рассуждений»¹.

Если согласиться с тем, что «каноническим», критическим, научно обоснованным текстом «Войны и мира» должен быть текст в издании 1873 года, то нельзя согласиться с двояким решением вопроса о тексте романа, как это считают возможным авторы предисловия к девятому тому Юбилейного издания во втором тираже — Г. А. Волков и М. А. Цявловский, допускающие наряду с изданием «Войны и мира», в основу которого положен текст второго издания романа 1868—1869 годов (что, по их мнению, единственно должно быть оправдано с научной точки зрения), также популярное издание по доступному для широкого читателя тексту 1873 года. Совершенно очевидно, что в издании и редактировании текстов произведений, особенно классической литературы, не

может быть различия между научными, критическими изданиями и изданиями популярного характера: как нельзя оправдать различных по тексту изданий «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Анны Карениной», так не может быть оправдано издание двояких текстов «Войны и мира».

В заключение — *pro domo sua*. Автор настоящей статьи являлся одним из членов редакторского комитета Юбилейного полного собрания сочинений Толстого и состоит членом редколлегии издающегося в настоящее время Гослитиздатом двадцатитомного собрания его сочинений. В обоих случаях, так же, как и в своих печатных работах о Толстом, он не отставал своей точки зрения на текст «Войны и мира» в издании 1873 года как на текст, который должно признать «каноническим». Объясняется это тем, что соображения, защищаемые им в данной статье, окончательно закрепились в его сознании с запозданием.

¹ Aylmer Maude. The Life of Tolstoj, v. I. Oxford University Press, 1930, p. 421.



А. М. ГОРЬКИЙ В ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ НАРКОМВНЕШТОРГА

В феврале 1919 года А. М. Горький по совету наркома Л. Б. Красина организовал в Петрограде экспертную комиссию для отбора и оценки вещей, имеющих художественную ценность. За два года комиссия под председательством А. М. Горького проделала работу огромной государственной важности: было собрано большое количество высокоценных произведений искусства, переданных затем в Эрмитаж, в Пушкинский дом Академии наук и другие музеи и хранилища.

В. И. Ленин всемерно поддерживал Горького в деятельности экспертной комиссии, что известно из опубликованной между ними переписки.

Недавно в Центральном государственном архиве народного хозяйства СССР среди архивных материалов Наркомвнешторга выявлены новые документы А. М. Горького.

В октябре 1920 года А. М. Горький в письме в Совнарком сообщал, что на складах экспертной комиссии в Петрограде собрано сто двадцать тысяч предметов художественной старинной мебели, картин, фарфора, бронзы, керамики и других вещей на сумму свыше миллиарда рублей золотом (в ценах 1915 года). А. М. Горький рекомендовал часть предметов роскоши продать за границей.

По предложению В. И. Ленина, в связи с письмом А. М. Горького Совет Народных Комиссаров принял 26 октября 1920 года следующее постановление:

«1. Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской Экспертной Комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей.

2. Вопрос о количестве и норме лайков для Экспертной Комиссии передать на разрешение комиссии рабочего снабжения. В случае если не будет достигнуто согла-

шение с тов. Лежавой — внести в СНК.

3. Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть вопрос о создании аналогичной комиссии в Москве и в случае признания целесообраз-

ным организовать ее.

Назначить доклад т. Лежавы в СНК через месяц о том, как идет практически исполнение принятого постановления.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин).

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров

Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Народных Комиссаров

Л. Фотиева»¹.

Через несколько дней А. М. Горький обратился к В. И. Ленину с письмом, в котором писал:

«Владимир Ильич!

Распорядитесь, пожалуйста, чтоб Камо дали белой муки и рису, что необходимо ему, он болен.

Позвольте напомнить Вам, что, переведя некоторые учреждения из Москвы в Петроград, Вы освободите здесь множество квартир, а то квартирный кризис Москвы принимает с наступлением холода трагический характер.

Ввиду того, что появление на рынках Запада значительного количества русских антикварных вещей может вызвать претензии собственников этих вещей и даже эмбарго со стороны враждебных правительств, следует признать за Экспертной Комиссией право — в порядке исключения — покупки у граждан Советской Респуб[лики] художественных предметов и дать в распоряжение Эк[спертной] Ком[иссии] определенную сумму на сей предмет.

Если представятся случаи воспользоваться этим правом, — Эксп[ертная] Ком[иссия] не причинит убытка Республике, ибо вещи, купленные за обесцененные советские бумажки, будут проданы на золото.

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 1, д. 247, л. 23 (машинописная копия).

В среду, в час дня, у Лежавы будет первое заседание организованной мною Московской Экспертной Комиссии, — хорошо бы к этому времени дать А. М. Лежаве соответствующие указания.

По моим справкам в Москве учтено еще много неразграбленных складов и, вероятно, товара будет достаточно.

2.XI.1920 г. А. Пешков»¹.

На письме в правом верхнем углу резолюция В. И. Ленина: «1.XI. т. Лежава! Прочтите и дайте в 2-х словах Ваш отзыв, пожалуйста. Ваш Ленин»².

Письмо А. М. Горького написано на большом листе простой серой бумаги красными чернилами. Первые три строчки в письме зачеркнуты.

Второй абзац перечеркнут двумя линиями крест-накрест.

При первом же чтении документа возникают вопросы: 1) почему разные даты: у Горького поставлена дата «2.XI», а резолюция В. И. Ленина помечена «1.XI»? 2) кем и почему зачеркнуты первые три строчки в письме? 3) почему перечеркнут второй абзац в письме?

В собрании сочинений А. М. Горького опубликован отрывок из данного письма (абзац второй) без указания источника, но дата указана так: «31 октября или 1 ноября 1920»³.

В. И. Ленин резолюцию на письме А. М. Горького помечает 1 ноября, а также записку в малый Совнарком с выпиской (второго абзаца) из письма Алексея Максимовича датирует 1 ноября⁴. Все это свидетельствует, что А. М. Горький письмо написал 1 ноября (в понедельник) и в тот же день оно было у Владимира Ильича.

Первые три строки из письма А. М. Горького с просьбой позаботиться о больном Камо вычеркнуты красным карандашом (кем — установить не удалось), но сделано это, видимо, еще до вручения письма Владимиру Ильичу.

Камо (Тер-Петросян) к 1 ноября 1920 го-

да был здоров и занимался в военном учебном заведении, о чем Алексей Максимович, очевидно, не знал.

Второй абзац в письме А. М. Горького перечеркнут крест-накрест синим карандашом, каким написана рукой Владимира Ильича и резолюция на письме.

В. И. Ленин написал 1 ноября 1920 года записку в малый Совнарком, в которую выписал целиком второй абзац из этого письма А. М. Горького о квартирном кризисе в Москве. Это дает основание предположить, что упомянутый абзац вычеркнут Лениным.

Из опубликованных документов известно, что малый Совнарком по записке В. И. Ленина принял решение о разгрузке Москвы и для практического проведения этого постановления создал специальную комиссию по переводу в Петроград ряда учреждений.

В. И. Ленин принял меры и для выполнения просьбы А. М. Горького об отпуске средств экспертной комиссии для закупки художественных вещей у частных лиц.

Заместитель наркома внешней торговли А. М. Лежава сообщал Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину письмом за № 437 от 2 ноября 1920 года:

«По поводу записки тов. Горького о продаже антикварных предметов считаю этот вопрос улаженным. Тов. Луначарский выдал удостоверение Комиссару Экспертной комиссии М. Ф. Андреевой в том, что она уполномочена, согласно постановления Совета Народных Комиссаров, производить покупку различных антикварных предметов.

Полагал бы этого достаточным для разрешения заграничных покупателей вообще. Что же касается собственников, которые могут узнать на выставке свои вещи, то издание проектируемого декрета в самом конце 20 года никакого действия на них не произведет.

Единственное декретное вмешательство в это дело мне представлялось в форме объявления конфискации всего имущества граждан, самовольно покинувших РСФСР.

Замнаркомвнешторг

Лежава»¹.

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 17, д. 28, лл. 55 и об. (фотокопия).

² Там же, л. 55 (автограф). Настоящее письмо А. М. Горького в полном его объеме не публиковалось. Резолюция В. И. Ленина, как и письмо А. М. Горького, публикуются впервые по автографам.

³ А. М. Горький. Собр. соч. 1955, т. 29, стр. 394.

⁴ Сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький». 1961 стр. 172.

Пятнадцатого ноября 1920 года В. И. Ленин вновь пишет записку в Наркомвнешторг, копия т. Курскому (наркому юстиции), в которой просит ускорить

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 17, д. 28, л. 54 (машинописная копия).

подготовку декрета о конфискации имущества эмигрантов¹.

Шестнадцатого ноября 1920 года Совнарком РСФСР принял следующий декрет:

«Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Объявить собственностью РСФСР все движимое имущество бежавших за пределы республики или скрывающихся до настоящего времени граждан, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

2. Из означенного имущества все предметы искусства и старины, имеющие особую художественную и историческую ценность, передать в музеи, университеты и другие просветительные учреждения распоряжением Народного комиссариата просвещения; все остальное имущество таких граждан обратить в товарный фонд республики и передать в распоряжение Народного комиссариата внешней торговли и других Наркоматов по принадлежности.

3. Народным комиссариатам просвещения и внешней торговли во исполнение настоящего постановления издать подробную инструкцию².

Таким образом, все просьбы А. М. Горького, изложенные в письме, были выполнены при личном вмешательстве В. И. Ленина.

Петроградская и Московская экспертные комиссии Наркомвнешторга под председательством А. М. Горького спасли для Советского государства национальные произведения искусства огромной ценности.

Однако деятельность Горького в качестве председателя экспертных комиссий Наркомвнешторга изучена и освещена в литературе слабо. Архивы Петроградской и Московской экспертных комиссий за 1919—1920 годы ждут своих исследователей.

Среди огромного числа бумаг архива экспертных комиссий Наркомвнешторга хранится много писем за подписью А. М. Горького. Одно — типичный документ из этой переписки — приводится ниже:

«РСФСР
Экспертная комиссия
при
Петроградском отделении
Нар. комиссариата внешней торговли
15 апреля 1920 года
№ 2756

¹ Сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький». 1961, стр. 175.

² «Ленинский сборник» XXXV, 1945, стр. 172.

В Народный комиссариат
внешней торговли.

Во исполнение распоряжения Наркомвнешторга от 18-го февраля с. г. за № 230 Экспертная Комиссия препровождает при сем копию отношения Пушкинского Дома при Российской Академии Наук от 6-го апреля с. г. за № 2866 о передаче ей целого ряда предметов, отобранных ее сотрудниками на складе-выставке Экспертной Комиссии.

Ввиду того, что помянутые предметы представляют несомненный интерес для музея Пушкинского Дома, как характеризующие эпоху, а также имеющие непосредственное отношение к русской литературе, Экспертная Комиссия, не встречая препятствий к удовлетворению приложенного ходатайства, просит о выдаче письменного на то разрешения Наркомвнешторга.

Приложение: копия отношения Пушкинского Дома за № 2866 и один экземпляр Устава.

Председатель М. Горький¹.

Далее следует приложение:

«Пушкинский Дом
при
Российской Академии Наук
Петроград.
6 апреля 1920 г.
№ 2866

В Экспертную Комиссию при
Народном комиссариате по внешней
торговле.

Пушкинский Дом при Российской Академии Наук ходатайствует о передаче в Музей и Библиотеку его следующих предметов и книг, находящихся ныне в Экспертной Комиссии:

- 1) портрет писателя Фонвизина (№ 1550),
- 2) бисквитный бюст баснописца Крылова (№ 1249),
- 3) акварельный портрет, работы Райта, А. Н. Голицына (№ 3767),
- 4) портрет масляными красками И. Ф. Паскевича-Эриванского (№ 3817),
- 5) акварельный портрет Николая I (№ 3770),
- 6) портрет неизвестного, работы В. Лангера (№ 4630),
- 7) литография монумента Петра I в Петрограде (№ 212),

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 1, д. 247, л. 18 (подлинник).

8) портрет артиста и писателя М. И. Писарева, работы Репина (№ 731),

9) портреты и виды, имеющие отношение к жизни ближайшего друга Пушкина И. И. Пущина и членов его семьи (далее следуют номера предметов.— С. Б.).

10) экземпляр сборника стихотворений поэта К. Р. с его автографом.

Все эти предметы представляют собой для Пушкинского Дома значительный интерес по своему ближайшему отношению к Пушкину и к русской литературе вообще: из них портрет Голицына служит иллюстрацией к известной эпиграмме Пушкина на этого министра; портрет Паскевича-Эриванского имеет непосредственное отношение к поездке Пушкина на Кавказ во время Персидско-Турецкой кампании 1829 года; небольшой портрет Николая I, принадлежащий кисти Брюллова, любопытен в двух отношениях — как изображение лица, сыгравшего в жизни Пушкина выдающуюся роль, и как работа одного из приятелей поэта; близость остальных перечисленных предметов к целям и задачам Пушкинского Дома, как Музея русской литературы XIX века, не нуждается, как кажется, в особых пояснениях и доказательствах...

Директор

Нестор Котляревский.

Старший ученый хранитель

Б. Модзалевский»¹

Среди материалов архива экспертной комиссии обнаружено примечательное письмо

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 1, д. 247, лл. 14, 15 (машинописная копия).

А. М. Горького (без подписи), представляющее проект отношения Наркомвнешторга в Наркомфин:

«Ввиду того, что производство эмалированного, оксидированного и вообще художественно обработанного серебра и золота фабриками Сазикова, Фаберже, Овчинникова, Хлебникова и др. ныне прекратилось и в течение ближайших десятилетий едва ли будет возобновлено — фабрикаты этого рода перестают быть обыкновенными, рыночными предметами роскоши, принимают значение редкостей и становятся для Запада товаром антикварного рынка, вследствие чего ценность этих фабрикатов многократно повышается.

Рассматривая фабрикаты этого рода как товар, имеющий высокий интерес и ценность для музеев и коллекционеров Европы и Америки, [Нар. к-т внеш. торг.] предлагает учреждениям, хранящим у себя эмалированное и художественно обработанное серебро русских мастеров, сдать его в порядке спешности на склад Экспертной комиссии, учрежденной при Комвнешторге.

Или: допустить Экспертную комиссию, учрежденную при Внешторге, для осмотра и отбора и вывоза указанного серебра на склад Эк[спертной] Ком[иссии].

Осмотр и отбор должны производиться в присутствии представителя [Наркомвнешторга] и все отобранные вещи сдаются по описи и под расписку Председателя Экспертной комиссии»¹.

Публикация С. БЕЛЯКОВА.

¹ ЦГАНХ СССР, ф. 413, оп. 1, д. 257, л. 4 (автограф).

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Тушнова. Зрелость таланта.— **А. Берзер.** Победил человек.— **Владимир Огнев.** «...Мой век — в стихе моем».— **И. Соловьева.** Материал и прием.— **З. Файнбург.** Желанное и трудное будущее.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Лев Разгон. Драгоценные находки.— **Г. Анисимов,** кандидат экономических наук. Важный принцип строительства коммунизма.— **М. Васильев.** Хорошее начало.— **Ю. Моралевич,** научный обозреватель АПН. Океан тысячи тайн.— **В. Матвеев.** Распространители отравы.

Литература и искусство

ЗРЕЛОСТЬ ТАЛАНТА

Расул Гамзатов. *Высокие звезды. Стихи и поэма. Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева и Я. Козловского. «Советский писатель». М. 1962. 268 стр.*

Счастлива судьба поэта, чья книга не находит спокойного места на полке своего владельца. Чья книга, потрепанная, с измятой обложкой, лежит открытая на столе или тахте, путешествует в портфеле или просто в кармане пиджака, уходит из дома и вновь возвращается в дом — словом, живет своей собственной незримой жизнью.

Это уже не просто сборник стихов — это живой человек говорит с тобой, жалуется, утешает, спорит, советует. А человек этот добрый, жизнерадостный. Хорошо, когда он другом входит в твою жизнь. С книгой Расула Гамзатова не хочется расставаться — такой теплотой зрелости она согрета, такой проникнута человечностью.

Речь Расула Гамзатова проста, мужественна, уверена. И в то же время сколько веселости, озорства и удали в иных его стихах! Поэт несет в сердце своем память о всем пережитом, он не может забыть о своем поколении, он не хочет, чтобы кто-нибудь посмел забыть об этом:

Звезды ночи, звезды ночи
В мой заглядывают стих,

Словно очи, словно очи
Тех, кого уж нет в живых.

Слышу,
с временем не ссорясь,
В час полночной тишины:
— Будь как совесть, будь как совесть
Те вернувшихся с войны!

Горец, верный Дагестану,
Я избрал нелегкий путь.
Может, стану, может, стану
Сам звездой когда-нибудь.

По земному беспокоюсь,
Загляну я в чей-то стих,
Словно совесть, словно совесть
Современников моих.

(Перевел Я. Козловский)

Чувство единства со своим народом ни на минуту не покидает поэта. Сознание исключительности ему чуждо. Юношеская жажда славы осталась позади. Ему уже не нужна она, эта слава, он верит в себя. Именно потому и верит, что осознал себя как неотъемлемую часть своего народа:

Я ль лучше моих земляков возмужалых,
Я ль лучше, чем мудрые горцы — крестьяне...

Чего же хочу я? Работы, заботы.
 Чтоб руки мои не повисли в бессилье.
 А слава! Пусть славятся эти высоты,
 Которые создали нас и вскормили.

(Перевел Н. Гребнев)

В лучшую пору своей жизни вступает Расул Гамзатов. Немалый путь уже пройден им, и не просто пройден. Шел он и пристально вглядывался в камни под ногами и в высокие звезды над головой, вглядывался в лица и сердца, собирал каждую драгоценную крупницу. Сколько передумал! Сколько понял! Узнал, что никакая красота в поэзии не заменит правды, что без правды нет ни стихов, ни жизни.

Не бездумная любовь к родным местам, не юная привязанность к своим землякам, не детская нежность к матери — другие чувства, выстраданные, испытанные, поновому сильные, переполняют сердце поэта. Даже когда он пишет в стихотворении, посвященном матери: «Тебе твой мальчик на ладони седую голову кладет», несколькими строками раньше этот мальчик говорит:

Мне горько, мама, грустно, мама.
 Я — пленник глупой суеты,
 И моего так в жизни мало
 Вниманья чувствовала ты.

(Перевел Я. Козловский)

И родной язык, на котором когда-то птички щебетал мальчишка из аула Цада, для поэта Расула Гамзатова становится великим языком, олицетворением родины, тем, за что можно отдать жизнь, без чего нельзя существовать:

И если завтра мой язык исчезнет.
 То я готов сегодня умереть.

Любовью к родному Дагестану, к дорогим сердцу горам, где родился и вырос, проникнуто все творчество поэта. Да только надо ли особо говорить об этом? Ведь если бы не было этой любви — не было бы и поэта. И кому бы тогда были нужны мастерски сделанные строфы и звучные рифмы?

Об этой «главной» любви хочется здесь сказать потому, что она не является единственной, заслоняющей все другое у поэта. Наоборот, эта любовь помогает ему увидеть и понять любовь других людей к их родным и далеким краям. Стихи о Болгарии сердечны и добры. Глазами своего болгарского друга видит он город Софию и учится любить ее. Войдя с печалью в опустевший на-

веки дом Самеда Вургуну, его глазами видит он ветреные просторы Азербайджана. С радостью спешит он в ставший дорогим ему Тбилиси.

Через любовь к своему родному краю приобщается он ко всей стране и ко всему миру. В стихотворении «О моей родине» поэт видит турка в Стамбуле, «похожего на моего отца», и похожую на мать женщину на Капри. Он вспоминает о парижской девушке, подарившей ему гвоздики, которую он может назвать сестрою «всей родословной вопреки», и благодарит свою страну «за то, что счесть родни не в сила».

Очень разные стихи в этом последнем сборнике. Философские, грустные — размышления о жизни и смерти. Полные жизнерадостности, уверенности, ясности. Полные трогательной нежности обращения к любимой. Такой понятный, такой человеческий страх за свое счастье:

Всего я боюсь.
 Я боюсь, что, быть может,
 Тебя не смогу оградить от обид.
 Что, может, знакомый иль просто прохожий
 Не то тебе скажет, не так поглядит.

Боюсь я, что ветер, ворвавшись незванно,
 Порвет между нами некрепкую нить,
 Что счастье окажется наше стеклянным;
 Стекло чем крупнее, тем легче разбить...

(Перевел Н. Гребнев)

Стихотворения, о котором хочется упомянуть, нет в сборнике «Высокие звезды»; оно только что напечатано в журнале. Это «Песня, которую поет мать своему больному сыну». Как трудно, наверное, было написать так бесхитросно, так честно о матери, которая готова поступиться всем для того, чтобы выздороветь ее любимый сын. Хочет пить вино — пусть пьет, хочет курить — пусть курит. Даже жениться он может на ком пожелает, даже грешить с «городскими вдовами» может он — мать все стерпит, только бы остался жив! Каким зрелым должно быть сердце, которое поняло эту материнскую мольбу, которое не пожелало ничем украсить эти бесхитростные двенадцать строк!

Есть в русской народной речи одно слово, на язык литературный как будто не переводимое. Это прилагательное «самостоятельный», употребляемое как высшая похвала: «Это человек самостоятельный!» Емкое это слово совмещает в себе многое. Здесь и порядочность, и честность, и серь-

езность, и независимость суждений, и скромность, и чувство собственного достоинства. Хочется употребить это русское слово, говоря об аварском поэте Расуле Гамзатове. Расул Гамзатов знает, что он хочет сказать, он заслужил, заработал свое право открывать свою душу. Потому что эта душа богата и щедра. Потому что Расул Гамзатов глубоко уважает своих читателей, потому что он не фальшивит, не обманывает своего собеседника. Он достаточно долго думал до того, как написать эту книгу, хотя в одном стихотворении жалеет о том, что слишком много было пустых страниц, что зрелость пришла слишком поздно.

Нет, в этом нельзя с ним согласиться. Без той длинной дороги, без тех страниц, которые сейчас кажутся поэту пустыми, нельзя было бы прийти к зрелости. Зрелость наступила вовремя, и можно только благодарить за это судьбу. Не ко всем поэтам, подававшим большие надежды в годы своей юности, приходит зрелость. И зрелость сказывается не только в том, о чем говорит поэт, но и в том, как он это говорит. В большинстве своем в сборнике — отличные чеканные стихи, где ничего лишнего, где мысль облечена почти в скульптурную форму.

В. ТУШНОВА.

★

ПОБЕДИЛ ЧЕЛОВЕК

В. Максимов. Жив человек. Повесть. «Октябрь», № 10, 1962.

Когда я читала небольшую повесть Владимира Максимова «Жив человек», мне вдруг, совсем как будто неоправданно и незаконно, вспомнилась «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара. Сначала эту неожиданную ассоциацию хочется отогнать — до чего же далеки и до чего непохожи эти писатели: всем знакомый, исполненный гармонии мир Гайдара — и тревожный, даже несколько невзрачный мир молодого писателя, впервые входящего в литературу. А все-таки, несмотря на это, чувствуешь, что где-то соприкоснулись между собой эти два далеких друг другу мира.

Нелегко сложилась судьба юного барабанщика Гайдара, когда арестовали его отца и он остался совсем один в окружении чужих людей. Казалось бы, омрачились и рухнули все когда-то прочные и светлые устои его ребячьего мира. Нежданное освобождение отца спасает героя.

Повесть В. Максимова как бы возвращает нас обратно к исходным рубежам этой трагедии безотцовщины.

Уже в те годы Гайдар думал об этой трагедии и передал на страницах повести свою тревогу за судьбу героя, за его омраченное детство.

И, несмотря на все различие характеров и обстоятельств жизни героев, сейчас, через много лет, читая повесть Максимова, кажется порой, будто это выросший, возмужавший, прошедший через все испытания маленький барабанщик рассказывает о том, что с ним могло бы случиться.

Свое повествование Владимир Максимов ведет от первого лица. Не будем гадать о том, есть ли совпадение в биографии героя и в биографии автора. Скажем только, что без собственного жизненного опыта молодой писатель вряд ли избрал бы подобный материал для своей повести. Такие факты не сочинишь и не соберешь в творческой командировке.

...Сергей Царев, главный герой повести «Жив человек», заматерелый вор, циничный и ожесточенный, умирает в маленькой районной больнице, куда его, обмороженного, доставили после того, как он в очередной раз бежал из заключения. Это самое начало повести и вместе с тем итог жизни ее героя. Далее повествование развивается во времени — и в прошлом, и в настоящем. В таком построении нет особой новизны, в литературе оно не раз встречалось, но у Максимова это вполне уместно, оправдано содержанием и состоянием героя. И больше всего именно состоянием — тем болезненным, горячечным полубредом, полуявью, когда память как будто произвольно перескакивает от настоящего к прошлому, оживляя какие-то рваные куски жизни, отдельные, вроде бы и не связанные между собой, картины.

А вместе из этих отдельных картин и эпизодов вырисовывается вся прошлая жизнь героя. Вот ее начало. Цареву четырнадцать лет: «...Я выхожу на крыльцо. В руках у меня портфель. Впереди три изученные до последней ноты ступеньки, от которых, рас-

секая двор надвое, ведет к калитке выщербленная кирпичная дорожка... Так же, как и вчера, с детства знакомые звуки и краски устремляются ко мне со всех сторон: петушиная перекличка, белье на веревках вдоль забора, кружение тополиного пуха... Но я чувствую: что-то круто переменялось во мне. Если раньше я сливался со всем окружающим, казался сам себе только его маленькой и почти незаметной частичкой, то сегодня я словно выхвачен из привычной обстановки ярким снопом света. И каждый шаг, каждый мой вздох теперь исполнен предчувствием близкой и бесповоротной перемены. Первое уже произошло: нынешней ночью арестовали моего отца.

Дисгармоничность, противоестественность этого события для жизни мальчика запечатлена здесь очень верно. И если в прежней, спокойной жизни он сливался с миром, чувствуя себя его незаметной частичкой, то теперь прежде всего нарушена эта естественность, эта нормальность соотношения мира и себя в нем. Все становится колючим, торчащим, и собственное «я», вырванное из привычной обстановки, приобретает гипертрофированные размеры.

Так с первых же страниц повести привлекает умение писателя спрессованно, лаконично передать состояние души взбудораженной, смятенной.

...И мальчишка бежит от этого ослепившего его «снопа света», бежит из дома, из школы, из родного города, становится бродягой, ноцует где попало, воровством и хитростью добывает кусок хлеба.

Контур окружающего для него сдвинуты, он видит все в смещенно недобром свете.

«...Я не люблю танцев,— рассказывает он.— Даже больше — я их ненавижу. У моей неприязни к танцам веская причина: хочу спать. Но пары шуршат подошвами ежевечерне — с семи до часу, а духовой оркестр надо мной подбирает под них — из лязга, стука и воя — вытягивающие всю душу мелодии. Я ворочаюсь с боку на бок в своем логове под эстрадой танцплощадки и никак не могу заснуть. Будь проклят тот человек, который первый вильнул задом под музыку!»

Да, тут вырабатывается свое отношение к окружающим вещам: для того, кто веселится на эстраде, и для того, кто живет под эстрадой танцплощадки, танцы представляются совсем по-разному. И В. Максимов

умеет запечатлеть этот ожесточенный, недобрый взгляд своего героя, неприютность, жестокость его видения мира, когда он «до тошноты явственно» видит в человеке все неприятное, видит «перед собой мясистое, как бы наспех вылепленное лицо с рассеченной надвое нижней губой, лоснящийся шевитовый пиджак, густо припорошенный перхотью, и руку — дряблую, со вздутыми венами под рыжей порослью».

Эта нелегкая проза, концентрированная, как перенасыщенный раствор, с утратой порой чувства меры, такта, даже и вкуса. Здесь можно натолкнуться на фразы вроде «слух чуток, как незажившая рана», или «водянистыми бликами по палате шарит рассвет». Образность Максимова может быть очень непростой, книжной: «Дороги оседают у нас на зубах хрусткой до дрожи в спине пылью, дороги рвутся из наших легких сухим и надрывным кашлем».

Эти примеры можно выписывать с большим или с меньшим старанием, можно обнаружить где-то в описании бродяжьей жизни героя влияние Горького, а где-то в жестокости письма почувствовать отголоски влияния Достоевского.

Все это можно сделать без труда, но делать это не хочется, так как повесть отмечена дарованием и так как она неразрывно связана с жизнью, со страданием и раздумьем.

История Сергея Царева — история все более углубляющегося нравственного падения. Бродяжничество, воровство, контрабанда, колонии, тюрьмы, побег, лагерь. Такова внешняя, фактическая сторона этой жизни. И за эту свою биографию, казалось бы, герой не несет большой ответственности. Все можно объяснить, все причинно связано, одно всегда вытекает из другого. Человек не может быть безразличен к условиям жизни, жестокость приводит к ожесточению, бесчеловечность к бесчеловечности. Жизнь привела Царева к нравственному опустошению.

Но повесть Максимова не написана из страдания, и в этом ее особый интерес. Да, все можно объяснить, все можно понять, но не все можно оправдать. Писатель занимает здесь суровую, лишенную какой-либо жалостливости, сентиментальности позицию. Он не может принять в своем герое утрату человечности. А именно эта утрата становится как бы фокусом характера Царева. В его душе нет оттенков чувств, нет

различных черт в его характере. Этот образ как концентрат одной черты — озверения, волчьей ненависти и неверия.

Память вырывает далекий разговор:

«— Ага, вор?

— Вор. А ты, батя, видно, за святость семерик оттягивал?

— Пятьдесят восемь, пункт одиннадцать.

— Понятно.

— Что тебе понятно?

— Все понятно...

Я говорю ему:

— А вообще-то, вы, политические, всегда с заскоком...

— Думаешь?

— Да уж знаю.

— Плохо знаешь.

— Насмотрелся.

— Не с теми людьми водился.

— А что — люди? Люди одинаковые. Зверье...

— Эх ты, брат, о людях-то.

— Сволочи».

Этот прочный кодекс иной раз подвергается атакам со стороны, но Царев без труда отшвыривает прочь все сомнения.

И это продолжается до тех пор, пока он не попадает в маленькую таежную больницу. Это второй план повести «Жив человек». Это ее настоящее и настоящее ее героя. Небольшие главы прошлого перемежаются этим настоящим, возвращаются к нему.

...А в маленькой больничке весь персонал ее дни и ночи не отходит от Царева, чтобы спасти ему жизнь. С каким ожесточением и неверием встречает это Царев! Он хочет жить, но он не хочет добра от людей, он боится добра как огня.

Его взгляд презрителен даже тогда, когда он смотрит, как возится с ним сестра Сима: «Я никогда не думал, что в такой квашне, как Сима, может таиться подобная ловкость. Недаром же руки ее кажутся игрушечными. Любой карманник отдал бы Симе полжизни за такие руки, тем более что вторая половина жизни карманнику ни к чему».

Тут, пожалуй, опыт жизни героя очень естественно, профессионально преломился в первом взгляде на нового человека, в первой реакции на него.

Новизна иного мира, который открылся в больнице Цареву, вообще показана в повести очень хорошо. Здесь нет характеристик людей, пространных описаний, все показано через восприятие больного Царева.

Тут все точно — и то, что этот мир здоров, а герой болен (это раскрывается и в прямом и в переносном смысле), и то, что этот мир далек ему, чужд, до предела потусторонен.

«— Колька-то знает?

— Так я ему и сказала!

— А ты скажи.

— Скажешь, а он подумает, что навязываюсь. Вот рожу, тогда пускай и решает.

— Отец.

— Отец — так что?

— Должен жениться.

— Должен! Да зачем он мне, из жалостн-то! Не захочет — не надо, сама выращу».

Вместе с героем мы сначала не видим лиц, а только вслушиваемся в невнятно шелестящий шепот чужой жизни. Чужая любовь, чужие радости и беды — нормальные, человеческие, наполненные добром, заботой, естественностью жизни. «Словами тихими, словно бы и не окрашенными чувством, стучится в душу чужая, едва понятная мне жизнь», — говорит Царев.

Но эти разговоры у постели больного постепенно начинают окрашиваться во все более определенные краски, лица людей становятся все отчетливее и привлекательнее — молоденькая скуластенькая няня, сестра Сима, врач Иван Антонович... С каким остервенением старается Царев отбросить от себя этот непонятный ему мир, который борется с его болезнью и не подозревает при этом, что борется за его душу даже в большей степени, чем за его тело. И то, что они делают это как бы бессознательно, составляет особую привлекательность повести.

Конец повести не является неожиданным — в герое проснулся человек, особенно тогда, когда он узнал о гибели другого человека, который для него, незнакомого и неизвестного, пожертвовал жизнью.

Другого конца тут не могло быть, потому что он заложен в нравственной основе повести, в отношении к жизни и к людям самого Максимова.

Бывает так, что произведение несет только то, что в нем заключено, не больше того, и судить по нему о писателе и его будущем не хочется — не располагает к этому книга, даже неплохая. Повесть Владимира Максимова раскрывает в нем писателя, заставляет предчувствовать будущие книги, их незаурядность, их серьезность.

А. БЕРЗЕР.

Один современный писатель назвал культуру «собранием человеческих достижений». Это хорошо сказано. Ценить культуру — это и беречь родное слово, сохранять в незамутненной чистоте его первичный смысл, его суть.

В замечательном стихотворении «Слово свято», переведенном С. Маршаком с прищущим этому мастеру артистизмом просто-го, говорится:

«Мы писать раздельно строчки будем,
Чтоб они понятней были людям.

Буковки мы станем выводить
Так, как жемчуг нижется на нить.

Пусть не тесно буквам будет в слове,—
Будет слово каждое толковой.

Пусть как можно четче на бумагу
Лягут мысли, служащие благу.

Тысячи сердец ты словом радуи,
Это будет для тебя наградой! —

Так отец учил тебя когда-то.
Ты же стал писать замысловато.

Правду ты опутал суетой,
Ясное окутал темнотою.

Не теряя ни одной минуты,
То, что ты запутал, сам распутай!

Вот о чем твердит мне без конца
Строгий голос моего отца.

Вновь отец глядит в мои тетрадки:
Все ли буквы у меня в порядке?

В дружбе ли живут мои слова
Или врозь, как под грозой трава?

Тесно ли моим строкам и фразам?
Не зашел ли в слове ум за разум?

Он твердит мне, как твердил когда-то:
«Помни, сын, что слово наше свято.

И еще запомни, что недаром
Наделен ты вдохновенным даром.

Этим даром нужно дорожить,
Чтобы людям легче было жить.

Пусть же тем, кого забота давит,
Трудности искусство не прибавит!»

Обезруживающая простота рисунка этого стихотворения, неопровержимость его мысли — качества, происходящие от одного корня. С. Галкин не мыслит искусства как чего-то стоящего «над» или «рядом» с жизнью. Это продолжение жизни. А для него, поэта, и сама жизнь.

Как говорил Блок, «в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и

тревогой». Это особенно явственно в стихах Галкина о любви. Ощущение тревоги, непрочности шаткого мира чувств — и упрямая стойкость этого кажущегося эфемерным мира личного.

В такие годы — в этакой тоске?
Чтоб трубка, дрогнув, замерла в руке...
Что ж ты молчишь?.. Мне страшно немоты!
Дух занялся?.. И у тебя?.. И ты?..

(«Кто ж так тоскует в шестьдесят-то лет...»
Перевела Ю. Нейман)

Можно возразить, что натяжкой будет относить трагедийное в поэзии к приметам нашей эпохи. Это так. Но ведь разной была трагедийность любви у Данте в «Новой жизни», у Блока в «Кармен» и у Маяковского в «Про это».

Не только в ракетах приметы века космоса. Черты исторической жизни то тут, то там сквозят меж строк стихов Галкина о любви. Вот отрывок из стихотворения «В наш трезвый век»:

Всю ветошь пестроцветную
Проветри и — в ларь!..
Сама ж росой рассветною
Глаза свои протри,

Промой их влагой росною
И полюбить заставь
Не мишуру несносную,
А подлинную явь,

Которую без жалости
Ты рада оттолкнуть...
А я в малейшей малости
Ищу живую суть.

Мишурному и лишнему
Ее ль не предпочтешь?
И мир, хвала всевышнему,
Я вижу, как он есть!

(Перевел И. Гуревич)

Видеть мир «как он есть» — тоже не привилегия нашего времени. Но одна из существенных его особенностей. И важная черта нашего повзрослевшего миропонимания.

Книга «Стихи последних лет» заканчивается небольшой поэмой о голодном детстве, о мечте ребенка найти клад, чтобы облегчить мамы заботы. Мальчик готов для этого даже отнять у соседской девочки клубок цветных шерстяных ниток, полагая, что и это — достояние... Первое шемящее чувство любви к маленькой соседке борется с чувством добровольного «долга», голосом нужды. Это зародыш противоречия: сносная жизнь или красота.

С. Галкин, как всегда, не упрощает и не философствует. Это кусок жизни. Но в элементарной клеточке быта уже таится ущерб уродливого выбора, уже и есть первое ощущение, пусть зыбкое и смутное, чего-то несправедливого, рвущего сердце.

Вот почему через всю книгу протянется эта нить — мечта о красоте, свободной от корысти, маскарада, фальши, от уничтожающей и калечашей человека нужды.

Образ старого дерева, расщепленного грозами, но в зеленой кроне своей дающего пристанище птицам и звездам, появляется тоже не один раз. Это и лейтмотив «последних лет» поэта, и символ прочности красоты, корни которой — в реальной жизни своего народа, в его духовном, историческом опыте.

И вот еще о чем моя тревога,
Мои сомнения, мой тайный страх:
Век нынешний — забот в нем было много,
А радость люди выражали строго,—
Узнают ли мой век в моих стихах?

Быть может, скажет молодое племя:
Такую жизнь, мол, прожил человек,
А в чем, скажите, отразил он время.
Где каждый день был точно стих в поэме
И вправе стать прославленным навеки?..

Но иногда, все колебанья взвесь,
Я верю, что себя терзаю зря.
Как в сумерках замешана заря,
Мой век — в стихе моем, в его замесе.

(Перевела Ю. Нейман)

В «замесе» стиха Галкина отражены многие существенные черты времени. В том числе и это желание не суетливо, а вдумчиво разобраться, «как в сумерках замешана заря» будущего.

Конечно, в поэзии этой мало веселого. Ведь поэт, работая над книгой, жил трезвым ощущением того, что это его последняя работа. Но думающий читатель в печали строк Самуила Галкина найдет светлые и мудрые раздумья о человеке, его долге перед собой и трудовым человечеством.

Владимир ОГНЕВ.

★

МАТЕРИАЛ И ПРИЕМ

Анатолий Гладилин. Вечная командировка. Повесть. «Советский писатель». 1962. 146 стр.

Повесть Анатолия Гладилина «Вечная командировка» начинается с того, что новый человек приходит в «будку» — в один из деревянных домиков, где живут рабочие с приисков. Осваивается и осматривается.

Записки этого человека идут от первого лица. У автора записок есть юмор, несколько избирательный. Фиксируются первым делом моменты обыденности.

Забавно, что здесь, на краю света, через какие-нибудь пятнадцать минут все обнаруживается таким же, как везде, и приезжий уже рассматривает принадлежащий одному из парней семейный альбом, где на первых страницах — фотографии стариков и праздничных старух, напряженно глядящих в объектив, а потом — солдаты, солдаты по одиночке и выстроившиеся целыми отделениями. И девушки. «Деревня, армия, девушка Зина, которая часто пишет письма и, может быть, приедет сюда». А к другому парню девушка не приедет — другой вариант обыденного, сразу понятного...

Расспрашивают и приезжего. Его рассказ

тоже обыден. Но тут уже обдуманная неприметность биографии человека, который должен какой-то срок жить среди людей под чужим именем. Это очевидно с первых строк.

Итак, герой — не тот, за кого выдает себя. Не московский студент, женившийся слишком рано и уставший от необходимости рассчитывать рубли стипендии, приехавший подработать. На самом деле — офицер разведки, «вышедший на след» преступников, которые расхищают золото.

Повесть строится следующим образом: предполагается, что в руки журналиста переданы личные записки погибшего при выполнении задания майора Краминова. Журналист публикует эти записки, дополняет их письмами, перемежает собственными комментариями, и наконец заключает повесть «объяснительной запиской автора».

Но при этом Анатолий Гладилин говорит от собственного лица вовсе не тогда, когда он предлагает нам «примечания автора»; свое зрение, свои мысли и свою направленность внимания он передает Краминову.

Так сказать, переодевается Краминовым. Текст же «от автора» написан несколько пародийно, с пародийной разъяснительной интонацией, с нарочитой истертостью оборотов речи вроде «переживает глубокий кризис» и т. д...

Краминов, в которого переодевается Гладилин, раздражается тем же, чем раздражался Гладилин без переодеваний. Очень характерна его реакция на приезд шмыгающей носиком, протруженной журналистки, при которой все ведут себя так, что перестают быть похожи сами на себя. Краминов смотрит на девушку, беседующую с кем-то из прискоковых ребят, и злится заранее: «Представляю, как она его расписывает: «Чудобогатырь», «человек, на которого равняется прииск» и т. д.». «Я могу сказать больше об этом парне», — объясняет свое раздражение Краминов.

Именно с этого начинал Анатолий Гладилин как писатель. Вспомним его вторую повесть «Бригангина поднимает паруса...» — историю московского школьника Возки, немного пижона и немного романтика, уехавшего на великую стройку в Сибирь. «Бригангине» предпослан эпиграф: «...охваченные трудовым подъемом, комсомольцы-добровольцы все, как один, с энтузиазмом работают на стройках Сибири и Востока. В городе Н-ске бригада Андрианова, встав на вахту в честь Дня строителя, выполнила месячный план на 190 процентов...» (Из газет). Андрианов — это фамилия героя.

В повести на строительство приезжает корреспондент. Собеседник смотрит на журналиста тоскуя — «принесла его нелегкая на мою голову», — и рассказывает об Андрианове. Рассказывает Шалин неважно, скучно, но газетчик радуется: «Это отличный материал. Как раз для моего очерка. Получается очень интересный, главное оригинальный, сюжет. Сначала парню было трудно, но потом, с помощью комсомола и, в частности, секретаря комитета, он перевоспитался, мобилизовал свои силы и стал настоящим строителем».

В «Бригангине» Гладилин многое строит как раз на соотношении между элементарным конспектом своей повести и самой повестью. Он хочет взять те же факты, которые так или иначе попадают в поле зрения банального журналиста. Сохранить то сцепление фактов, какое возникает в самой жизни. Но написать о них иначе:

свежее и точнее. В своей манере. Всего лишь.

Это «всего лишь» — не так уж скромно, как может показаться. Но и не так всеобъемлюще, как думалось автору.

У первой повести Гладилина было длинное название: «Хроника времен Виктора Подгурского, составленная из дневников, летописей, исторических событий и воспоминаний современников». Для Гладилина станет характерным это дробное, с разных сторон падающее на предмет освещение, многоголосица свидетельств, разнофактурность их. Различие фактуры Гладилин рад отметить различием шрифтов, игрой набора, типографской неоднородностью своих страниц. Так, в «Дыме в глаза» чередуются воспоминания очевидцев, куски дневника героя, магнитофонная запись, газетная информация, письма героя, к герою, о герое, наконец авторский текст. Авторский текст, излагающий обстоятельства и поясняющий, на каком плохом пути стоит индивидуалист Серов, выглядит таким же стилизованным, как профессиональная бойкость спортивных репортажей, включенных в повесть, или инвентарная опись школьных познаний Серова.

Стиль этих книг резко, намеренно индивидуален. Сюжеты же лишены индивидуальности. Автор находит множество способов подчеркнуть их распространенность: литературную — и фактическую, жизненную. Способом подчеркивания тут может стать появление пошляка с корреспондентским удостоверением, в трех строках формулирующего суть дела («Бригангина поднимает паруса...»); может стать и появление зурядного дьявола, под именем старика Шагренева соблазняющего студента университета Игоря Серова («Дым в глаза»). И события складываются именно так, как строчит понаторелый журналист и как оговаривает в условиях адского соглашения старый черт, скучающий от однообразия своей работы. Вовка в самом деле при поддержке комсомольской организации проходит через все трудности, а Игорь Серов в самом деле расплачивается своей бессмертной душой за незаслуженно великолепную карьеру.

Гладилин может сколько угодно иронизировать над предусмотренностью сюжета, над заранее понятным сцеплением событий. Он может пародийно обыгрывать эту предусмотренность. Но так или иначе, он стоит перед нею как перед фактом.

«Я могу рассказать больше об этом парне», — говорит Краминов в «Вечной командировке», полемизируя со скучной словесностью штампованных очерков. Больше, иначе — в этом основной пафос прозы Гладиллина. Но этот пафос оказывается в разладе с его излюбленным приемом. Прозаик способен полемизировать с банальностью в литературе. Он может обнаруживать банальность в самой жизни, гротескно сгущать эту банальность. В этом природа его дарования. В этом, а не в первооткрытиях свежего материала.

Гладиллин начал писать очень рано — по годам ему было едва за двадцать, когда в 1956 году была напечатана «Хроника времен Виктора Подгурского»; но все-таки он начал писать тогда, когда характер юноши, заносчивого и неприспособленного к жизни, уже не был литературным открытием. Как не был уже открытием и сюжет его взаимоотношений с жизнью, его поиск жизненного опыта. Сюжет, возникший как открытие, скажем, в «Добром часе» Виктора Розова, тем чаще повторялся, тем быстрее был литературно освоен, чем он фактически был точней. Ситуация и выход героев из нее стали уже ясны. Через год-другой они уже стали ясны до ясности штампа.

Можно было пытаться преодолевать эту небогатую ясность путем последовательного наблюдения за временем, делая как бы запись его вибрации. Можно было также пытаться преодолевать схему поисками психологической глубины, вниманием к неповторимости юной личности. Но Гладиллин особого вкуса к психологизму не имеет. Характеристики своим героям он пишет нарочито плоско. Верней, он вводит вместо характеристики «характеристику» в канцелярском звучании слова; или составляет инвентарную опись нравственного имущества, потерь и приобретенный героя; или с язвительной добросовестностью копирует анкету персонажа:

«Краминова

Ирина Юрьевна

апрель 1934 года, Киев

русская

высшее

член ВЛКСМ, английский, французский (со словарем), в оппозициях не состояла, выговоров не имела, ни я, ни мои родственники в белых армиях не служили, на оккупированной территории не проживала,

за границей не была, депутатом не избиралась...»

В «Коллегах» В. Аксенов тоже иронизирует над принципами канцелярской типизации и дословно приводит единообразные характеристики, выданные по окончании лечебного факультета трем юношам-медикам. В «Коллегах» полемика проста и лежит на поверхности: юноши, окончившие примерно в пятьдесят седьмом или пятьдесят восьмом ленинградский медицинский, не так стандартно благополучны, как аттестует их бумажка, прилагаемая к диплому, но и не так стандартно неблагополучны, как подозревают шокированные покровом их брюк старшие. Плоскости анкеты, как и плоскости уличной клички «стиляги», автор «Коллег» противопоставляет стремление к глубине художественного портрета.

Гладиллину мысль насчет того, что человек не укладывается в анкету, перестает казаться такой уж богатой. Иной укладывается. Прозаик иронически расширяет опросный лист, и включаемые им дополнительные сведения в еще большей мере, чем все эти «не был, нет, не привлекался», подчеркивают повторяемость героя, выбранного им.

Что можно добавить в дополнение к оптимистическим отрицаниям анкеты Иры Краминовой? Она была девушкой, которая — в подбор, в аккуратный столбик перечисляет автор — принципиально не давала списывать; редактировала стенную газету «За отличную успеваемость»; умру, но не поцелую без любви; целый год переписывалась с девочкой из Феодосии о своих переживаниях, связанных с репродукциями Поленова, восходом солнца на Днепре и грубостью ребят из 17-й школы.

Ира Краминова — жена героя повести «Вечная командировка»; с Ирой Краминовой связан основной конфликт повести; молодая женщина бунтует против самоотверженности мужа: она любит его и чувствует за собой право требовать, чтобы он принадлежал ей всегда, а не в считанные свободные часы; и Алексей тоже любит ее, мечтает быть только с ней — мечтает и сам напрашивается на самые дальние и рискованные командировки...

Любопытно, как относится к этому конфликту сам Гладиллин с его чутьем к банальному?.. По всему кажется, что серьезно. А может быть, и здесь пародия?

«Вечной командировке» не на пользу постоянная игра автора с самим собой, лука-

вая система отношений с героями, с собственными мыслями, с собственными приемами. При такой игре всегда рискуешь самого себя перелукавить.

И действительно, система двойных отрицаний приводит в повести к самым банальным утверждениям. Удвоение приема уничтожило прием. Однажды можно вывернуть материал наизнанку. А что значит — вывернуть наизнанку дважды?..

К примеру, когда нужно рассказать о юных годах Иры, Гладиллин ставит три звездочки и пишет: «В этом месте читателю предлагается раскрыть любую книгу, посвященную студенческой жизни и поступлению в институты. В каждой из них очень подробно описано:

1) как светило солнце ласковым сентябрьским утром;

2) как троллейбус шел по людным праздничным улицам Москвы;

3) как нарядные, взволнованные девушки и смущенно улыбающиеся юноши с душевным трепетом переступают святые стены вузов, в котором...

4) как встретились взгляды нашей героини с высоким черноволосым парнем, трудовые мозоли...

5) как стилиста Эдик...»

Это, конечно, профессиональное переругивание с братьями-писателями. Показательно сделан маленький монтаж двух штампов («переступают святой порог» и «вступают в святые стены»): две банальности слипаются в одну нелепость, но ее не замечаешь; оборот «переступают стены» почти фантастичен, а звучит так, будто именно так и положено говорить...

Но, иронизируя над стандартом молодежной повести, Гладиллин под видом полемикки, в сущности, демонстрирует согласие с этим стандартом. Добавить к этому стандарту ему нечего. Все эти штампы как раз соответствуют тому, как жила Ирина в институте. И, скажем, имя Эдика как имя персонажа, уже представленного нам в этом списке, мелькнет дальше в тексте.

Это прием, который естественно взять на вооружение, когда автор во вражде с материалом, зол на него, хочет его компрометации. В «Дыме в глаза» было именно такое соотношение манеры и материала. Манера иронизирует тут над материалом, обнажает его истерность. Индивидуализм зазнавшегося футболиста Игоря Серова, его страх «быть как все» — этот страх так же

зауряден, так же распространен, как выученные Игорем за его молодую жизнь сведения о квадратах двух катетов и о том, что надо мыть руки перед едой.

Безусловно, основа манеры Гладиллина — тяга к точности. Но не к тому, чтобы опознать новое, никем не виденное, а к тому, чтобы зафиксировать всякую словесную и фактическую обыденность. Он хватается все примелькавшееся, заносенное, заштампованное. Газетную фразу. И домашнюю нотацію. И вопли болельщиков с непременным превращением фамилии Серова в «Серый, давай!»...

Гладиллин не разбрасывает эти приметы как бытовые подробности. Он сдвигает банальности в стык, прессует их до плотности. Так возникают его перечни, его конспекты: перечни и конспекты общеизвестного.

В «Дыме в глаза» прием откровенно враждовал с материалом, что отвечало авторскому отношению к материалу, к герою.

В «Вечной командировке» отношения с материалом у автора вроде бы совсем иные. Как и в «Бригантине», здесь у автора романтическое задание. Гражданский пафос дает знать о себе в приподнятом тоне эпиграфа, вызывающего тени комиссаров в пыльных шлемах, в знаменательных отступлениях о том, что Краминов — характер, близкий и героичным натурам двадцатых годов, о том, что мы не уходим с баррикад...

Может быть, прием здесь направлен против тех, с кем не хочет примириться романтический Краминов? Так сказать, прием заодно с Краминовым против некоего семейства образцовых пошляков Ростиславских: «супруги Ростиславские интересны тем, что всегда для всех были образцом хорошей семьи и счастливой любящей пары...»

Но ведь прием атакует и Ирину. Прием бывает обращен и против самого Краминова. Это окончательно путает игру.

Запутанны и лукавы также и отношения писателя с жанром. Гладиллин на этот раз писал приключенческую повесть. Ее герой Алексей Краминов носит то самое звание майора, которое раз и навсегда присвоено разведчикам с седыми висками из библиотечки военных приключений. Краминов расследует «золотое дело» — выслеживает тех, кто орудует на приисках на Чукотке, настигает их в Харькове и выходит на их же след в Ленинграде... Совершается покушение на его помощника где-то в тундре; сам майор утачивает неслышные шаги в

гостиничном коридоре, на лестнице, на улице у себя за спиной — может быть, сдают нервы, а может быть...

В том, как Гладилин строит этот сюжет, снова есть привкус пародии. Гладилин пишет детектив, все время посмеиваясь над острою фавулы, над низкопробной приключенческой неожиданностью, как будто бы отменяя ее пародией. Но все эти опущения в развитии фавулы, выпавшие (не записанные Краминовым) драматические моменты, небрежно оставленные вне текста завязка и развязка — это все вовсе не издевка над дешевым интересом читателя к уголовщине: кто в кого стрелял, кто готовил взрыв на корабле, кто бесшумно

крадется по пятам за усталым героем... В итоге просто написан детектив сортом выше, почитающий себя свободным от мелочного объяснения что к чему, детектив, прибавляющий к примитивному удовольствию от уголовной истории еще и удовольствие чувствовать себя (заодно с автором) выше этого удовольствия.

Между тем важно вот что: отдавать себе отчет в том, что пишешь. Можно написать детективную повесть о храбром разведчике. Можно написать пародию на детектив. Но не одновременно. Но не мистифицировать самого себя. не длить без конца некоторое переодевание...

И. СОЛОВЬЕВА.



ЖЕЛАННОЕ И ТРУДНОЕ БУДУЩЕЕ

Станислав Лем. Солярис. Фантастическая повесть. «Звезда», № 8, 9, 10, 1962.

На обложках книг и страницах журналов все чаще мелькают четкие, прямые профили астролетчиков и кибернетиков будущих десятилетий и веков. Безупречные поэты, скульптурные лица, но во всем этом проступает чаще всего лишь общая идея: наши потомки будут по-человечески совершеннее, лучше нас.

Мы живем, однако, в такой век, когда этого общего утверждения уже мало. Будущее приближается стремительно, опрокидывая все фантастические сроки фантастов, — и мы хотим, мы должны видеть его более конкретным, более живым, более осязаемым.

Недавно опубликованная у нас повесть польского писателя Станислава Лема «Солярис» — смелая попытка показать далекое будущее с его реальными заботами и проблемами.

Основную естественно-научную идею повести «Солярис» можно выразить словами самого Лема: «Космос — это не «увеличенная до размера Галактики Земля». Это новое качество».

Скорее всего в космосе нас ждет встреча с подобными нам разумными существами (главный герой повести психолог Крис Кельвин говорит: «Мы — обычные, мы трава Вселенной, и гордимся этой нашей обыкновенностью, которая так всеобщи...»), но также очень велика вероятность и того, что мы встретим Неведомое.

В книге Лема это Неведомое показано ярко и убедительно. Описание необычного,

странного Океана, который покрывает собой всю планету Солярис, настолько конкретно, реально, что, пока читаешь повесть, забываешь, что это самая безудержная фантазия.

Крис Кельвин прилетел на Солярис. Да, он знает и историю открытия планеты, и ход исследований ее Океана, и неудачные попытки вступить в контакт с ним (существуют и, кажется, подтверждаются гипотезы о том, что это не только органическая, но и мыслящая материя — нечто вроде одного гигантского мозга). Но он человек: он верит во всемогущество разума, он уверен, что два потока мысли не могут не встретиться.. Действительность оказывается сложнее и трагичнее. Дело не в простой неудаче: любые средства, любые попытки (попытки, очевидно, обоюдные) наталкиваются на непонимание самой цели, самого содержания чужого бытия.

Последовательно и настойчиво ведет нас Лем к мысли о том, какими ограниченными и условными могут показаться самые обычные, с нашей точки зрения, формы жизнедеятельности и жизненного самосознания людей, когда они встречаются с чем-то к а ч е с т в е н н о иным. Это не различия в уровне: такое различие для нашего времени уже не может быть неодолимым, каким оно было для не андертальца.

Выходя в космос, готовясь к встрече с иными формами разума, земляне должны суметь взглянуть на себя со стороны, по-

смотреть критически на свое самое обычное и обыденное, переоценить с позиций иного разума те границы, в которых развертывается наша жизнь, те формы, в которых она развивается. И при этом надо остаться людьми: не потерять ни разума, ни чувств, ни воли к жизни... Без этого контакт может оказаться не только трагедией для нескольких людей (или нескольких сот людей, как на Солярисе), но и для человечества в целом.

Весьма важно подчеркнуть то, что Лем устами своих героев категорически отвергает предположения о враждебности Океана людям. Наоборот, последние сцены повести наполнены мыслью о том, что невозможность понять друг друга одинаково трагична и для людей, и для Океана.

Одно из главных достоинств книги Лема то, что в центре повествования стоят люди. Океан, космос, обстановка и устройство самой станции на Солярисе и т. п. — все это лишь фон, на котором крупным планом действуют, любят, страдают реальные люди. Фантастично в повести лишь описание Океана и его «действий», но отнюдь не описание людей.

Мы пресытились научно-фантастическими произведениями, где герои являются самое большее экскурсоводами по космосу, по другим мирам, по своеобразной выставке кибернетических машин, по фотонным и иным ракетам и т. д. и т. п. Злоупотребленные плоскостными, схематическими героями — одна из бед научно-фантастической литературы. Ей этот грех почему-то прощают легче. То ли потому, что не считают ее за большую литературу, то ли боятся, что будущее может потерять свою привлекательность, если герои книг о будущем будут не однолинейно совершенными, то ли просто не хватает элементарной социологической грамотности и социологического видения будущего.

Станислав Лем, так же как и лучшие наши писатели-фантасты, избежал этого соблазна. В том, что герои его повести — люди будущего, сомневаться не приходится. Но это живые, а не идеализированные люди.

Главные действующие лица, ученые, исследователи — фанатики поиска, эксперимента, знания. Они обеспокоены не тем, что Солярис уже стал могиллой сотен исследователей, самый страшный враг для них — незнание. Ни тени тщеславной мысли о собственном героизме не появляется у них.

Смерть без могилы, как замечает Кельвин, никого не может удивить в их время. В научном поиске они все герои, но при этом отнюдь не все на одно лицо.

В докторе Сарториусе, например, эта одержимость исследованием в чем-то подавила человечность. Доминирующий в нем безраздельно разум, с одной стороны, делает его наиболее выдержанным, наиболее способным к аналитическому исследованию в любых условиях, наиболее хладнокровным. Но именно эти сами по себе положительные стороны натуры развили в нем некоторую жестокость, лишили его чуткости, теплоты. Сарториус неприятен не только для Кельвина и Снаута, но и для нас.

Крис Кельвин и Снаут пережили на Солярисе такое, перед чем слова «ужасное» или «страшное» теряют какую-либо силу. Они и в решении своей научной задачи пришли фактически к тупику, но примириться с этой мыслью ни Кельвин, ни Снаут не могут. Никто из них не декларирует веры в величие разума, никто из них не говорит о жертвах и самопожертвовании, но именно в этом для них весь смысл бытия, это их самые главные и самые глубокие чувства. Их дело и их чувства слились в одно.

Герои Лема — люди будущего и по своему отношению друг к другу. «Хорошо бы мы выглядели, если бы вдобавок ко всему начали еще применять принуждение!» — восклицает Снаут. Уважение к чужой точке зрения даже при самом яростном несогласии с ней характерно для героев книги. И столь же глубоко их неуважение к любой непринципиальности, любой лжи, к недоверию по отношению к людям.

Людам будущего — героям повести Лема — свойственно обостренное эмоциональное восприятие жизни. Творческий характер их труда, требующий обязательного горения, воспитывает, развивает эту эмоциональность. И здесь Лем полемизирует с современной фантастикой Запада, изображающей людей будущего чаще всего в виде бездушных, бесчувственных биологических машин, у которых разум подавил эмоции.

Жизнь в острых конфликтах, а не библейское благолепие ждет нас в будущем, утверждает Лем. Социальные конфликты будущего будут происходить, конечно, на совершенно другой, чем сейчас, основе. Изобилие основных материальных благ снимет, например, конфликты, где негативной стороной являются алчность, стяжательство

и т. п. Но живое не может быть бесконфликтным, живое не может быть целиком и полностью идеально совершенным, ибо ему дальше некуда будет развиваться — такова мысль Лема.

Конфликты эти не поверхностны, не просты. Напряжение этих конфликтов настолько велико, что даже трагический порок их исход не вызывает недоумения ни у читателя, ни у самих персонажей повести. Однако при всем этом трагедия должна быть утверждением жизни. Такой ее характер предопределен тем, что мы имеем дело с будущим: с более высокой организацией общества, с более высоким развитием всех положительных качеств человеческой личности.

Лему оптимистическая трагедия в принципе удалась. Будущее общество, его цели, его дела, его люди не теряют своей привлекательности из-за трагического решения «большого» конфликта: человечество — Океан; и конфликта «малого»: Кельвин — Хари.

Сложный и богатый внутренний мир людей будущего в книге Лема, характер социальных конфликтов их времени — все это противостоит упрощенному, вульгаризированному, опошленному изображению конфликтов будущего в буржуазной фантастике: обычных, сегодняшних, волчьих конфликтов буржуазного общества, лишь «разыгранных» на космических подмостках в XX... веке.

Большое достоинство книги Лема и в том, как она показывает нам будущее любви. Без любви нет жизни. Но писать о любви труднее всего. А для автора книги о будущем — вдвойне.

В условиях развитого коммунистического общества любовь по существу свободна от каких-либо внешних препятствий: нет материальных различий, ограничений, нет классовых и национальных предрассудков, нет возможности посягнуть на чужую волю, нет существенных различий в культурном и умственном развитии и т. п. В коммунистическом будущем есть только сама по себе любовь, только единство тела и духа... Но это противоречивое единство.

В повести Лема дважды трещинка в духовном единстве неминуемо ведет любовь Кельвина и Хари к трагическому крушению. Кажется, ничто не мешает их счастью. Ничто и никто не стоит между ними, но...

Первый раз с «настоящей» Хари, еще на Земле, Кельвину не хватило мягкости, человеческой внимательности. Им обоим не хва-

тило взаимопроникновения душ: внешнее, случайное сумело на какое-то время заслонить главное. Этого совсем короткого времени оказалось достаточно, чтобы Хари с безапелляционностью молодости приняла страшное, непоправимое решение — покончила с собой.

Прошло десять лет. Кельвин провел их не столько на Земле, сколько в космосе. Но рана не зарубцевалась: можно уйти от чего угодно, но куда уйдешь от собственной совести, от собственной памяти, от собственных чувств? Трагедия утраты стала для Кельвина еще и трагедией совести.

Трагедия повторяется на станции «Солярис». После жестокого рентгеновского облучения Океан посылает работникам станции материализованные образы их самых сильных и глубоких личных психических переживаний, запечатленных в памяти. Естественно, что эти переживания — переживания любви, действительные (как у Кельвина) или вымышленные, сфантазированные (как у Снаута и Гибаряна).

Кельвину Океан «посылает» Хари. Она — новая — не просто подобна Хари, она тождественна ей, ее «я» — это Хари, вернее, все то, что помнит где-то в глубинах памяти мозг Кельвина о Хари. Различие начинается много «ниже» психики, ниже клеток, ниже молекул: нейтринные соединения, а не атомные образуют физическую структуру вещества, из которого состоит ее тело.

Разум Кельвина преграждает путь чувству: что перед ним? Настоящий человек? Инструмент чужого разума? Кибернетическая машина в биологической «упаковке»? Мыслит и чувствует она сама или это приходит к ней извне? Ни на один из этих вопросов ответа исчерпывающего нет. Нет и быть не может...

Это состояние обоюдное. У новой Хари нет полноценного ощущения самостоятельности человеческого бытия, ощущения собственной индивидуальности. В ее психику заложено лишь то, что могла знать, помнить и даже чувствовать только Хари. Другого ей не дано, другое может быть только новым знанием.

Конфликт чувства и разума разделил их, воздвиг между ними невидимую, но непреодолимую стену, привел и новую Хари к трагической гибели.

В первой смерти, смерти настоящей Хари, Кельвин виновен, хотя и не безусловно.

А во второй? Нет. Здесь между ними стало нечто большее, чем простой недостаток каких-то душевных качеств у одного из любящих. Им обоим не хватило, не могло хватить полной, безоговорочной, надрассудочной близости, искренности, составляющей в представлении Лема критерий любви в будущем.

Книга Лема, конечно, не безупречна. В ней много спорного и противоречивого, иногда неясного — не от сложности мысли, а от усложненности изложения. Есть в ней растянутость, просчеты, погрешности против логики и т. п. Не названа, например, профессия, род занятий Хари. Это может быть терпимо лишь с трудом даже для нашего времени и совершенно нетерпимо для будущего. Возраст ее — девятнадцать лет —

заставляет нас усомниться в том, что она и Кельвин досконально успели узнать друг друга, как они говорят об этом сами. Очень сомнительно даже простое употребление алкоголя Снаутом, а тем более злоупотребление им. Такие и им подобные весьма спорные места в книге Лема, к сожалению, есть. Однако в целом повесть «Солярис» — шаг вперед в творчестве Лема, шаг вперед в самом жанре литературы о будущем.

Новая талантливая книга Станислава Лема говорит нам о будущем, гораздо более интересном и гораздо более сложном, чем это передают схематизированные прямые профили на плоскости. Будущее это трудно и прекрасно.

З. ФАЙНБУРГ.



Политика и наука

ДРАГОЦЕННЫЕ НАХОДКИ

Р. Пересветов. Поиски бесценного наследия (О судьбе некоторых рукописей В. И. Ленина). Госполитиздат. М. 1963. 319 стр.

Давно, в конце двадцатых годов, мое воображение поразило сообщение о том, что Государственная библиотека имени В. И. Ленина разыскивает и готова приобрести за любую цену второй выпуск гектографированного издания знаменитой работы Владимира Ильича «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Где-то есть все-таки это бесценное сокровище... Может быть, валяется оно на каком-то чердаке или покрывается пылью на полках забытого архива?.. Где оно? Как будут его разыскивать? Сколько возникло вопросов в связи с поисками ленинских рукописей!

И вот сейчас, через три с лишним десятка лет, на многие из этих вопросов я получил ответ: передо мной небольшая, но очень емкая книга, рассказывающая не только о судьбах некоторых рукописей Владимира Ильича, но и об исторической обстановке, в которой они создавались.

Книга переносит нас в то далекое время, когда Ленин создавал теоретические основы партии, намечал пути русского революционного движения. Самара, Москва, Петербург, Шушенское, Женева, Париж, Лондон, Краков, Поронинно, Выборг — эти названия не

исчерпывают тех мест, где Ленин писал свои великие труды. Литературное наследие Владимира Ильича огромно. Пятое издание его сочинений будет состоять из пятидесяти пяти томов, и оно все же не будет исчерпывающе полным. Поражаешься, когда подумаешь, что многочисленные эти труды Ленин создавал не в спокойной тиши кабинета, а в обстановке лихорадочной политической борьбы, преследований, арестов, явочных квартир, тюрем, ссылки...

Общеизвестна старая шутка, что для революционера тюрьма заменяла дом отдыха... Но Ленин не отдыхал в тюрьме. Где бы он ни находился, он не переставал работать. Проекты программы партии, полемические статьи, революционные листовки, экономические исследования писались Владимиром Ильичем в самых, казалось бы, немыслимых условиях, при самых невероятных обстоятельствах, самыми необыкновенными способами: молоком между строками книг, наколотыми точками на страницах журналов.

Книга Р. Пересветова воссоздает эту обстановку конспирации и во многом объясняет, почему собирание ленинского наследия требовало и еще впредь будет требовать огромных усилий многих исследователей. В первом издании сочинений В. И. Ленина бы-

ло помещено около 1500 произведений, в следующих двух изданиях к ним прибавилось еще 1250, в тридцати пяти томах четвертого издания их более трех тысяч. А ведь это издание было дополнено еще восемью томами... На протяжении десятков лет производились поиски ленинских работ в сохранившихся архивах жандармских охранок, в частных библиотеках, в зарубежных частных и государственных архивах, в тайниках.

Поиски эти носили подчас такой напряженный и драматический характер, что рассказ о них невозможно читать — несмотря на спокойный, даже несколько «академический» тон повествования — без живейшего волнения. Таков, например, рассказ о поисках второго выпуска «Друзей народа».

Судьба некоторых ленинских автографов поистине удивительна. В 1918 году польский писатель Адам Гжимала-Седлецкий купил в Кракове яблоки. Торговка завернула их в кулек, сделанный из листков какой-то русской книги с пометками на полях. Покупатель заинтересовался книгой и увидел на ней штамп: «Вл. Ульянов»... Польский писатель опас двенадцать таких книг и позже передал их в Быдгошскую библиотеку. Книжки эти были остатками большого ленинского архива, находившегося в Кракове и Поронине, откуда в начале первой мировой войны Ленину пришлось переехать в Швейцарию. О значительности этого архива можно судить по тому, что, по документам польского департамента полиции, в нем находилась тонна рукописей и книг. Десятки лет Советское правительство делало все возможное, чтобы вернуть ленинский архив. Но эти усилия разбивались о сопротивление польских властей. И лишь тогда, когда хозяевами Польши стали польские рабочие и крестьяне, бесценное ленинское наследие вернулось к нам.

Большой эмоциональный заряд несут многие рассказанные автором истории. Такова, например, глава «Судьба одной переписки». Это рассказ о том, как в суровой обстановке конспиративной деятельности два революционера-единомышленника, пришедшие к выводу о необходимости теоретического и практического поворота в революционном движении, искали встречи друг с другом... Этими людьми были Владимир Ильич Ленин и Николай Евграфович Федосеев.

Трагичной оказалась судьба Н. Е. Федосеева. Глубоко изучив работы Маркса и Энгельса, он старался осмыслить будущее Рос-

сии, пути революционного движения. Он знал о Ленине, как знали о нем все революционные социал-демократы, видел в нем не только единомышленника, но и признанного лидера, посылал ему свои работы, много с ним переписывался, стремился встретиться. Но Ленина и Федосеева сажали в разные тюрьмы, посылали в разные ссылки, а когда случилось, что они попали в одну и ту же сибирскую ссылку, то ехали, не встречаясь друг с другом.

В основе повествования — поиски переписки Ленина и Федосеева. Но оно выходит далеко за эти рамки. Это рассказ о человеческих судьбах, об исключительном внимании Ильича к незнакомому своему другу.

Очерки Пересветова о поисках ленинских рукописей необыкновенно богаты деталями, раскрывающими не только облик Ленина-теоретика, Ленина-литератора, но и Ленина-человека. Где бы ни был Владимир Ильич, в каких бы условиях ни находился, он не переставал думать, беспокоиться, заботиться о своих товарищах по общему делу.

Всего лишь четыре письма сохранилось из тех, что Ленин писал из петербургской «предварилки», где провел четырнадцать месяцев в одиночке. Письма эти были пропущены тюремной цензурой, потому что состояли из списков книг, «потребных: арестанту Ульянову для его экономических занятий»... Ленин, например, просит прислать ему книгу Костомарова «Герои смутного времени». И получатели письма догадываются, что не смутное время интересует Ленина, а судьба двух деятельных членов марксистского кружка — студентов Ванеева и Сильвина, приехавших в Петербург из Нижнего Новгорода и носивших конспиративные клички «Минин» и «Пожарский». И в ответе Ленину сообщают: «В библиотеке имеется лишь первый том сочинений Костомарова». Это значит, что Ванеев арестован, на свободе находится лишь Сильвин... Владимир Ильич запрашивает книгу Брема о мелких грызунах, и близкие Ленина понимают, что его беспокоит судьба Кржижановского, имеющего конспиративную кличку «Суслик»...

Из богатейшего эпистолярного наследия Ленина сохранилось немногое. Наиболее значительные письма Ленина подверглись и наибольшим испытаниям. Это те, в которых Владимир Ильич развивал свои взгляды, полемизировал со своими идейными противниками. Совершенно понятно, что эти пись-

ма не носили частного характера обычных писем. Это были глубокие теоретические работы, пространные, на многих страницах. Корреспонденты Ленина давали читать эти письма другим, спорили о них, хранили как конспиративные документы, прятали от полиции, а иногда и уничтожали перед арестом как опасные улики. О судьбе одной такой переписки Р. Пересветов рассказывает в очерке «Тайну хранит Волга».

В годы сибирской ссылки Владимир Ильич много переписывался со своим близким другом и единомышленником Глебом Максимилановичем Кржижановским. «Горько мне вспомнить о том, что эта груда писем от Владимира Ильича, полученная мной за время ссылки, погибла в результате тех мытарств и непрерывных полицейских репрессий, которым пришлось подвергаться в дальнейшем», — говорил впоследствии Кржижановский. Однако до сих пор судьба этих писем, а их около двухсот, не выяснена. Кржижановский заботливо хранил их, привез из ссылки в Самару. Когда он был вынужден перейти на нелегальное положение, то передал их на сохранение опытному конспиратору В. П. Арцыбушеву. Р. Пересветов воссоздает яркий образ самарского революционера, человека необычайной судьбы. Арцыбушев хранил ленинские письма до тех пор, пока не почувствовал, что вокруг него смыкается кольцо жандармской слежки. Тогда он отправился на один из волжских островов и там в цинковом ящике закопал драгоценный архив. Где? Арцыбушев умер в 1917 году и унес свою тайну в могилу. Много лет продолжались и до сих пор продолжают поиски ленинских писем. В них принимали участие партийные работники, красноармейцы, комсомольцы и пионеры. Изменилась конфигурация волжских островов, многие из них оказались затопленными, но до сих пор энтузиасты не теряют надежды разыскать сотни ленинских писем! Сотни!

«Поиски бесценного наследия» раскрывают всю сложность работы советских историков в многочисленных архивах. Задача ведь не только в том, чтобы найти документ, написанный знакомым ленинским почерком, или обнаружить подпись Ленина под неизвестным ранее текстом. В архивах охранки имеется немало ленинских работ, подлинное авторство которых можно установить лишь в результате длительного и скрупулезного исследования.

Вот один из многочисленных примеров. Важный документ, написанный Лениным в период подготовки Пражской конференции — обращение к членам партии в России, — был перехвачен департаментом полиции. Агент охраны, возможно, раздобывший этот документ в Баку, предположил, что обращение написано Ст. Шаумяном для опубликования за границей в центральном органе партии. На основании донесения шпика жандармский ротмистр Мартынов препроводил обращение высшему начальству как «статью Ст. Шаумяна». Сорок пять лет пролежала в архиве эта работа, пока на нее не наткнулся советский историк Л. М. Лифшиц, хорошо знавший литературное наследие руководителя бакинских большевиков. После долгих изысканий он установил, что автором обращения является не Шаумян, а Ленин. И ленинская работа впервые была напечатана в 1956 году в журнале «Коммунист» под названием «Положение дел в партии»...

Владимир Ильич подписывал свои статьи различными псевдонимами, а иногда и вовсе не подписывал. Выделить из колоссальной массы легальных и нелегальных журналов и газет работы Ленина и неопровержимо доказать его авторство — одна из труднейших и сложнейших задач исследователя. Р. Пересветов показывает, какие огромные трудности приходится преодолевать историкам в этой работе, он как бы вводит нас в «лабораторию исследователя». И рассказ о таких поисках бывает подчас не менее интересным, нежели рассказ о пропавших тайниках.

Именно такое впечатление оставляет глава «Логика доказательств», в которой рассказывается о том, как работник Института марксизма-ленинизма кандидат исторических наук В. Т. Логинов обнаружил шесть ленинских работ. Даже в такой интересной и напряженной книге, какой являются «Поиски бесценного наследия», страницы этой главы выделяются своим волнующим рассказом о сложнейших путях мысли и труда исследователя. Длительные раскопки в архивах, тщательный анализ десятков, а то и сотен документов, сопоставление дат, имен, фактов, выявление стилистических особенностей статьи... Иногда одна фраза, два-три характерных для лексикона Ленина слова становятся ключом, который открывает тайну... Читать про это увлекательно, ощущаешь себя не только свидетелем работы историка,

но и в какой-то степени участником этой работы...

И вместе с тем именно эта интереснейшая глава вызывает чувство некоторой досады и неудовлетворенности оттого, что кажется, будто автор умышленно старается исключить из книги живые образы искателей ленинского наследия. Происходит это вовсе не от неумения Р. Пересветова создавать человеческие портреты. В книге немало ярких характеристик, живых человеческих черт. Но это только тогда, когда речь идет о корреспондентах Ленина, о тех, кто с ним встречался, прятал его работы — словом, о людях, входящих в материал самой книги. Создается ощущение, что автор сознательно ограничил себя предположением, что создает такой «ученый» труд, в котором неуместны портреты современников.

Мне такая позиция кажется ошибочной. Несомненно, что книга Р. Пересветова вполне научная по своей точности, достоверности, по обилию исторического материала, по освещению вопроса. Но всем своим складом, характером она принадлежит, пожалуй, к научно-художественной литературе. У нее немало предшественников — книги Б. Казанского, В. Лидина, Н. Смирнова-Сокольского, наконец известные работы И. Андроникова. Для читателя рецензируемой книги жгучий интерес представляют не только сообщения об обнаружении определенных ленинских работ, но и самый процесс их розысков, люди, которые в них участвуют. Нас,

конечно, интересует, каков же он, этот историк В. Т. Логиннов, пополнивший Собрание сочинений В. И. Ленина шестью работами. Может быть, это старый, маститый ученый? Ведь и таким можно представить себе автора большой и интересной книги «Ленин и «Правда», вышедшей в прошлом году к пятидесятилетию центрального органа нашей партии. Но пишемому эти строки известен другой В. Т. Логиннов — молодой человек в ковбойке, живой, веселый, увлекающийся... Так надо ли исключать его портрет из книги, как исключены из нее и те, кто разыскивал тайник на волжском острове, кто ездил на Урал в деревню Масловку и ходил от человека к человеку, восстанавливая события полувековой давности?..

Нет возможности упомянуть все необыкновенные находки, о которых рассказывает в книге. В ней нет ни одной страницы, которая оставила бы читателя равнодушным. Поэтому лучше всего отослать его к самой книге. Это тем более важно, что «Поиски бесценного наследия», как нам кажется, не только рассказ о поисках, но и активное участие в них. Появление этой замечательной книги будет, несомненно, способствовать оживлению поисков, привлечет к ним многих и многих людей — работников архивов, библиотечкарей, историков, да и не только специалистов, а просто энтузиастов этого благородного дела.

Лев РАЗГОН.

★

ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

М. Н. Лаптин. В. И. Ленин о материальных и моральных стимулах к труду. Экономиздат. М. 1962. 232 стр.

Нарушение в годы культа личности ленинского принципа материальной заинтересованности особенно тяжело сказалось, как известно, на экономике сельского хозяйства. Крупные недостатки были также в стимулировании труда в промышленности и на транспорте.

За годы, прошедшие после знаменательного сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС, наша партия, Центральный Комитет под руководством Н. С. Хрущева провели огромную работу по восстановлению и совершенствованию ленинского принципа материальной заинтересованности во всех отраслях народного хозяйства.

Обобщение опыта теоретической и практической деятельности Владимира Ильича Ленина в осуществлении принципа материальной заинтересованности представляет для нас огромный интерес. И с этой точки зрения надо безусловно приветствовать появление за последние годы ряда работ, посвященных раскрытию этого принципа. К их числу относится и рецензируемая книга.

Не затрагивая всех проблем книги, мы хотели бы в дачной рецензии обратить внимание читателя на те ленинские положения и другие материалы, приводимые в книге, которые наиболее созвучны задачам современного этапа борьбы за коммунизм.

Социализм, как известно, первый общественный строй, который не только дал трудящимся самые передовые политические учреждения и идеи, но и обеспечил непрерывный рост их материального благосостояния. Прямая связь между повышением производительности труда и ростом жизненного уровня — внутренне присущая социализму закономерность, и она отражается в сознании трудящихся как их материальная заинтересованность в росте производительности труда.

Сумма производимых в период социализма материальных благ еще недостаточна для полного удовлетворения потребностей всех членов общества. И хотя труд в этот период перестал быть только средством к жизни, он не стал еще первой жизненной потребностью. В этих условиях для привлечения миллионов людей к повседневному, высокопроизводительному труду недостаточно одних лишь моральных стимулов. Необходимо сам процесс распределения материальных благ подчинить задаче развития и совершенствования производства.

«Когда речь идет о распределении продовольствия, — указывал Ленин, — думать, что нужно распределить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие, средство для повышения производства».

Необходимые реальные основы материального стимулирования труда В. И. Ленин видел в централизации в руках государства определенного фонда предметов потребления, и прежде всего продовольствия. Он неоднократно разъяснял внутреннюю зависимость производства и потребления. Предпочтение в ударности, говорил Ленин, есть предпочтение и в потреблении. Без этого ударность — мечтание, облачко, а мы все-таки материалисты.

Значительный интерес в рецензируемой книге представляют те ее страницы, где освещается деятельность В. И. Ленина по разработке принципов коллективного снабжения предприятий. По его предложению X Всероссийская конференция РКП(б) приняла директиву о введении в виде опыта коллективного снабжения предприятий. Что это означает?

Ранее при уравнительном распределении предприятия получали натуральное снабжение независимо от результатов их работы. При коллективном снабжении размеры натуральных и денежных фондов определя-

лись в целом для предприятия, и величина их зависела не от числа рабочих, а от выполнения производственной программы и повышения производительности труда. 22 июля 1921 года в записке на имя члена коллегии НК РКИ Коростелева В. И. Ленин писал, что он за то, чтобы переводить отдельные предприятия на коллективное снабжение.

В последующие годы вместо коллективного снабжения стала применяться коллективная оплата труда на основе бюджетно-сметной системы. При этом размер заработной платы, выдаваемой коллективу предприятия, находился в зависимости от количества выпущенных изделий. Это усиливало хозяйственный расчет, повышало коллективную заинтересованность работников в развитии производства. Одновременно продолжалась разработка системы распределения заработной платы между работниками внутри предприятий.

В дореволюционной России не было никакой тарифной системы. В оплате рабочих различной квалификации существовали соотношения, сложившиеся в соответствии со стихийными законами рынка рабочей силы. Установление единой, планомерно организуемой в масштабе целой страны тарифной системы стало возможным лишь в результате перехода к плановой социалистической экономике. В середине 1918 года постановлением Совета Народных Комиссаров была введена единая тарифная шкала для всех отраслей народного хозяйства.

С переходом к нэпу и развертыванием товарно-денежных отношений в организацию заработной платы, и прежде всего в тарифную систему, были внесены существенные изменения. Денежная форма оплаты труда имела большие преимущества по сравнению с натуральной. Переход к ней, подчеркивается в книге, был дальнейшим шагом по пути развития материальных стимулов к труду и повышения жизненного уровня рабочего класса.

Автор рассматривает ленинские положения о роли премиальной системы в материальном стимулировании труда. В 1919 году в проекте программы партии В. И. Ленин писал: «Премии будут недопустимы при системе полного коммунизма, но в переходную эпоху от капитализма к коммунизму обойтись без премий нельзя, как свидетельствуют и теоретические соображения и личный опыт Советской власти».

Автор приводит примеры, свидетельствующие о том, что еще до введения нэпа были практически разработаны основные принципы премирования в народном хозяйстве. В период «военного коммунизма» денежное премирование, конечно, не могло получить должного распространения и стать одной из основных форм поощрения, поскольку финансовая система была разрушена и денежная заработная плата имела малое значение. В этих условиях главным было натуральное премирование. Но принципы, на которых оно строилось, сохранили свое значение и при организации премирования в других формах. В. И. Ленин решительно выступал против попыток дискредитировать премиальную систему, отказываясь от нее. В книге приводится выдержка из письма В. И. Ленина к членам Политбюро, в котором, в частности, говорится о необходимости «упорнее работать над изучением и улучшением способов применения премиальной системы, а никак не вести к отказу от нее».

Автор привлек интересный материал о роли профсоюзов в осуществлении принципа материальной заинтересованности. Основной формой участия профсоюзов в этой работе являлись коллективные договоры. При капитализме коллективный договор представляет собой одно из средств классовой борьбы пролетариата. С победой социалистической революции значение коллективных договоров существенно изменяется. Коллективный договор становится основным документом, закрепляющим отношения между рабочими и администрацией предприятий, отражая как интересы социалистического государства в целом, так и интересы коллективов рабочих и служащих, определяя их задачи и место в социалистическом строительстве. Устанавливая определенную гарантированную оплату, договор обязывал рабочих при наличии нормальных технических условий вырабатывать определенное количество продукции.

Разрабатывая вопросы материальной заинтересованности, В. И. Ленин неразрывно связывал их с развитием и укреплением моральных стимулов к труду. Впервые именно в социалистическом обществе возникает такая дисциплина труда, о которой Ленин говорил, что это «дисциплина доверия к организованности рабочих и беднейших крестьян, дисциплина товарищеская, дисциплина всяческого уважения, дисципли-

на самостоятельности и инициативы в борьбе».

В налаживании этой дисциплины непосредственное участие принимали сами рабочие. В. И. Ленин высоко оценил правила, разработанные в мае 1918 года рабочими Брянского завода, требовавшими ликвидации опозданий, прекращения собраний в часы работы, обязательного выполнения норм выработки. Ленин рекомендовал конференции представителей национализированных предприятий узаконить повсюду правила внутреннего распорядка по примеру брянцев и использовать их в интересах поднятия трудовой дисциплины и производительности труда. Автор показывает, какое огромное значение придавал В. И. Ленин перевоспитанию десятков миллионов людей в духе коммунистического отношения к труду.

Однако не все в книге М. Н. Лаптина равноценно. Наиболее удачно, на наш взгляд, написаны вторая и третья главы книги. Здесь много интересного и поучительного. Слабее заключительная глава.

Автор в ряде случаев избегает теоретического углубления в существо рассматриваемых проблем. А ведь именно такой научный анализ ленинских идей и требуется для успешного решения сложнейших задач современного этапа борьбы за коммунизм.

В период развернутого строительства коммунистического общества осуществление ленинского принципа материальной заинтересованности должно быть в первую очередь связано с выполнением главной экономической задачи — с созданием материально-технической базы коммунизма.

Известно, какое большое значение придавал В. И. Ленин поощрению работников за изобретательство и внедрение новой техники. Показателен в этом отношении, в частности, опыт материального стимулирования работников при создании первого в России электропуга.

К сожалению, эта весьма актуальная сторона теоретической и практической деятельности В. И. Ленина не получила в книге достаточно полного отражения и развития применительно к сегодняшнему дню. А это тем более необходимо было сделать, что и сейчас, как указывал Н. С. Хрушев на ноябрьском (1962) Пленуме ЦК КПСС, материальная и моральная заинтересованность каждого человека в развитии нашей

экономики — один из важнейших рычагов ускорения технического прогресса.

Следует также заметить, что авторские комментарии подчас отрывочны. И тем не менее перед читателем безусловно полезная и интересная книга, которая помогает изуче-

нию ленинского наследия в такой важной практической области, как создание материальных и моральных стимулов к труду.

Г. АНИСИМОВ,

кандидат экономических наук.

★

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Наука и человечество. Ежегодник. Издательство «Знание». М. 1962. 414 стр.

Наука все более властно, неотвратимо входит в литературу. Так же властно и так же неотвратимо, как в жизнь.

Сто лет назад Иван Сергеевич Тургенев мог ограничиться упоминанием о том, что Базаров анатомирует лягушек. Да и невозможно представить в романе Тургенева главу о научных интересах его героя. Зато многие страницы из книг Леонида Леонова и Даниила Гранина, Митчела Уилсона и Арчибалда Кронина могут быть без правки и сокращений перенесены в антологии научно-популярных очерков. Научный спор слышен со сцены театра; разговор о науке идет на экране кино; о науке заговорили поэты. Это одна из характерных черт литературы второй половины XX века.

Стремительно развивается сравнительно новая ветвь литературы, пока не очень почетительно называемая научно-популярной. Книжки этого жанра нередко читаются с меньшим интересом, чем чисто художественные. Вспомните триумфальное шествие по земному шару книг Тура Хейердала «Кон-Тики» и «Аку-Аку», Д. Томсона «Предвидимое будущее», К. Керама «Боги, гробницы, ученые», Р. Юнга «Ярче тысячи солнц»; вспомните бесчисленные переиздания на всех языках книг Ильина и Перельмана.

Мы радуемся каждой новой удаче этого жанра. И бесспорно, к числу больших удач научно-популярной литературы относится выход в свет книги «Наука и человечество».

Девизом создателей этой книги стали слова: «Доступно и точно о главном в мировой науке». Очень точна эта формулировка. И очень обязывающая.

Наука сегодня — поистине безграничная область. Навсегда ушли в прошлое времена, когда один человек мог охватывать все области знания: быть врачом и астрономом, металлургом и архитектором, да еще вдоба-

вок художником и музыкантом... И не потому, что не рождаются в наше время люди со способностями Леонардо да Винчи и Михаила Ломоносова. Нет, дело в том, что суммы фактов, накопленных к середине двадцатого века узкими областями науки, столь необозримо огромны, что могут соперничать со всей суммой знаний века пятнадцатого. Специалист в области ядерной физики нередко обращается за консультацией к специалисту по физике твердого тела, и вместе они идут советоваться к радиофизику...

Главные области науки — это те, которые обещают дать новые великопепные открытия в ближайшем будущем. Искусство стратегии руководителей науки заключается в том, чтобы по первым неуловимым признакам заметить эти перспективные области и сосредоточить на них превосходящие силы ученых, обеспечить стремительность, широту и глубину прорыва. Советская наука именно потому оказалась впереди мировой науки и в области ядерной энергетики, и в области космических исследований, что правильно были намечены направления главного удара и вовремя сконцентрированы силы... Но она знает и поражения. Неправильная оценка возможностей кибернетики, сложившаяся в период культа личности, тормозила в свое время развитие в нашей стране этой важной области науки. Аналогичное положение обнаружилось и в некоторых областях биологии... Не простое дело — стратегия большой науки! И не простое дело — выбрать для такого сборника три-четыре локальных вопроса, чтобы рассказать о главном в мировой науке. Тем приятней отметить, что составители сборника (ответственный редактор В. Р. Келер) в основном справились с этой задачей.

Читатель найдет в книге сообщения с главных участков гигантского фронта миро-

вой науки. Причем сообщения эти исходят от полководцев науки — крупнейших советских и зарубежных ученых. Среди авторов книги президент Академии наук СССР М. В. Келдыш, президент Академии медицинских наук Н. Н. Блохин, президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина М. А. Ольшанский, академики Н. Н. Семенов, В. Г. Фесенков, В. А. Энгельгардт, известные зарубежные ученые Д. Бернал, Б. Рассел, Л. Лики, В. Гейзенберг и другие. В предисловии издательство сообщает, что авторский коллектив книги включает двенадцать лауреатов Ленинской и Государственной премий и шесть лауреатов Нобелевской премии. Эти люди не могут рассказывать о своих исканиях и открытиях неточно. И в подавляющем большинстве случаев редактору книги удалось добиться, чтобы они рассказывали об этом и доступно.

Книга состоит из вводной части и четырех больших разделов — «Человек», «Земля», «Частицы», «Вселенная».

Первый раздел открывается обстоятельной статьей Н. Н. Блохина о новейших успехах медицины. Тут же сенсационный рассказ английского палеонтолога Лунса С. Б. Лики о находках костей древнейшего человека, жившего 1750000 лет назад, и интереснейшее сообщение академика Б. А. Рыбакова, который расшифровал календарь древних славян, и любопытные размышления японского философа К. Янагида о проблеме свободы человека в зависимости от развития науки.

Человек еще очень мало знает о самом себе. Еще не слишком отчетливо представил он свой путь, приведший его из мира инстинктов, свойственных животным, в мир мысли, в мир познания Вселенной. Не научился он управлять работой своего организма, не победил смерть и старость, не расшифровал ни кода наследственности, ни тонкого механизма рождения мысли, ни механизма сокращения мышцы. И еще многое и многое не постиг в себе самый человек. Но он — часть живой природы, к нему относятся многие ее законы.

Второй раздел книги — «Земля» — в значительной мере посвящен биологическим наукам. О них рассказывают также и некоторые материалы третьего раздела — «Частицы».

Нет, не случайно столь большое место отведено в книге наукам о живом веществе.

Именно эти области науки, по всеобщему мнению, в ближайшее время обогатят человечество новыми знаниями, новыми открытиями, результаты которых будут сравнимы лишь с открытием огня и атомной энергии. Среди проблем, решение которых зависит от прогресса биологических наук, — проблема бессмертия человека, победа над раком, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. Другая важная проблема — возможность управления наследственными качествами организмов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур...

Академик В. А. Энгельгардт рассказывает о величайшем открытии, «равного которому не было ни в одной области экспериментальной биологии за все последние десятилетия», — расшифровке химического кода наследственности, скрытого природой в гигантских молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты, которую химики для краткости называют ДНК. Венгерский ученый и популяризатор науки К. Акош отвечает на вопрос, думают ли животные. Доктор биологических наук А. В. Иванов сообщает об открытии нового «материка в зоологии». Ведь открыть в наше время на земле новый тип живых существ — подвиг, равный открытию нового материка в географии. И то и другое практически невозможно. Однако именно в последние годы А. В. Ивановым и его сотрудниками открыт новый тип живых существ — погонофор, насчитывающий уже более шестидесяти видов!

Если биологические науки только начинают развивать наступление, которое, несомненно, принесет людям многие победы, то физика элементарных частиц, физика атомного ядра уже сделала грандиознейшие открытия. Смертоносным ли радиоактивным облаком, как саваном, окутает нашу планету вновь открытая сила или она зажжет над землей искусственные солнца? Ряд статей в книге рассказывает о новейших работах физиков в области элементарных частиц.

Наибольший интерес в этой группе статей представляет сообщение члена-корреспондента Академии наук СССР Д. И. Блохинцева о структуре элементарных частиц. Частицы эти — следующая ступень деления вещества, которая пришла на смену атому, неделимому по самому названию своему, — оказались сложно устроенными. Причем сложность эта своеобразна. Когда их пыта-

ются разбить, они не разлетаются на мелкие осколки, а превращаются в другие элементарные частицы... О попытке создать систему элементарных частиц, нечто вроде периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева, рассказывает немецкий физик В. Гейзенберг.

Последняя часть книги посвящена космосу. Первые советские астронавты Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов рассказывают о своих полетах. Академик Академии наук УССР Н. П. Барабашов сообщает новейшие данные о ближайшей космической соседке Земли — планете Венере. Пожалуй, не в таком уж далеком будущем направятся туда пассажирские звездолеты землян. А. Л. Зельманов, старший научный сотрудник Астрономического института имени П. К. Штернберга, заключая книгу, рассматривает возможные варианты пространственно-временного строения Вселенной.

Таково (коротко и неполно из-за недостатка места) содержание этой книги, читая которую совершаешь увлекательные путешествия и в отдаленное прошлое человечества, и к крайним пределам Вселенной, в лабиринт сложной структуры живой клетки и в тайники атомного ядра.

Дурным тоном считается говорить в рецензиях о том, что должно бы быть в том или ином произведении, но чего там нет. Однако к этой книге, обязанной отразить взаимоотношение науки и человечества, сообщить читателю «о главном в мировой науке», можно предъявить некоторые требования.

Вряд ли можно оспаривать, что к числу главных направлений в науке относятся и термоядерная энергетика, и химия полимеров, и электроника, и кибернетика. Однако о них лишь мимоходом упоминается в статьях, посвященных другим проблемам. Отдав десятки страниц проблемам исторического характера (им посвящено пять специальных статей), составители сборника обошли вниманием важнейшие области знания, наиболее тесно связанные с практическими проблемами современной техники, промышленности, жизни.

Можно поспорить и о строении книги. Распределение материала по четырем названным выше разделам оказалось порой искусственным, не всегда оправданным и привело к тому, что в разделе «Частицы» статьи о механизме наследственности и жи-

вой клетке оказались рядом со статьями об элементарных частицах и квантовых излучателях — лазерах. В раздел «Земля» попала статья об определении возраста органических остатков радиоактивным методом, применяемым главным образом в археологии, хотя остальные статьи исторического плана сосредоточены в разделе «Человек». А в последнем очутилась статья о новейших направлениях в развитии и применении математики.

Серьезные возражения вызывает оформление книги. Известно, что в научных трудах иллюстрации играют особо важную роль. Зачастую на них ложится огромная познавательная нагрузка. Художник должен изобразить никогда не виденный читателем пейзаж Марса, тоματοуборочный комбайн, имеющийся на заводе в единственном экземпляре, новый вид выловленного на громадной глубине животного, а то и вообще представляемые лишь в виде математических абстракций взаимодействия элементарных частиц гравитационного поля. Во всех этих случаях надо найти и подчеркнуть главное: прозрачное небо и странно синий цвет марсианской растительности, удивительные рабочие органы нового комбайна, снимающего только спелые помидоры, странное устройство глаз и рта глубоководной рыбы, своеобразность ядерного процесса. Документально точен, правдив, реалистичен в глубоком значении этого слова должен быть рисунок, иллюстрирующий научно-популярную книгу.

И досадно, что многие иллюстрации рецензируемой книги, в первую очередь на цветных вкладках, не отвечают этому требованию. Чем, например, помогает понять механизм фотосинтеза цветная вкладка между страницами 136 и 137? А что за животные изображены на вкладке между страницами 144 и 145? В какие странные ящики заключили художники молекулы ДНК на страницах 228, 230, 231?.. Может быть, эти «ящики» сделаны для масштаба и помогают представить величину молекул? Какой ребус должен решить читатель, рассматривая четыре градусника на странице 158? И так далее, и так далее.

Нет, мы совсем не против оригинального оформления. Но мы против такого оформления, которое затрудняет, а не облегчает понимание книги. Нам не понятно, почему первые шестьдесят пять страниц книги не имеют нумерации. Не понятно также, поче-

му подписи ко многим рисункам вынесены в оглавление книги, а иные рисунки, содержание которых отнюдь не ясно, вовсе лишены подписей.

Разумеется, все эти замечания, хотя и имеют принципиальный характер, не умаляют большой ценности книги. Рецензируемая книга — первая в серии ежегодников,

задуманных издательством. В ее эпиграфе — слова древнегреческого драматурга Софокла: «В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего». Чтение книги укрепляет уверенность в силах человека, в его великих возможностях, великолепном будущем.

М. ВАСИЛЬЕВ.

★

ОКЕАН ТЫСЯЧИ ТАИН

Е. Руденко, П. Таубе. Пятый океан. Пензенское книжное издательство. 1962. 190 стр.

Чтобы не интриговать читателя, сразу сообщим, что речь идет о необычайно близком, знакомом и в то же время почти неведомом мире — о грандиозном воздушном океане. Всего лишь об атмосфере Земли, о ее воздушной оболочке. Но какие же тут могут быть тайны? Привычная смесь азота и кислорода, столь доступная для всех от первого крика при рождении до последнего вдоха.

Вероятно, именно неверное убеждение, что мы отлично знаем все нехитрые секреты атмосферы — «пятого океана», привело к тому, что популяризаторы обходили чрезвычайно интересную тему стороной. Лишь в очень немногих книгах и брошюрах рассказывается об использовании в технике воздуха — главным образом сжатого, — о ветродвигателях и энергетических ресурсах ветра. Вот, пожалуй, и все. Но это ничтожная доля того, что чрезвычайно интересно узнать о воздушной оболочке нашей древней и очень еще юной планеты.

В том, как бедны были сведения весьма многих из нас об атмосфере, легко убеждаешься, читая книгу «Пятый океан». Авторы бережно и любовно собрали весьма обширные сведения о нашей атмосфере (начиная от древнейших представлений о небе и кончая новейшими исследованиями, которые помогли раскрыть немало «неразрешимых загадок») и, что не менее важно, сумели популярно изложить их.

О счастливых у нас до сих пор говорят, что они чувствуют себя «на седьмом небе». Но если вы спросите у знакомых, что это за странный адрес, очень немногие ответят, что такова была «научная» гипотеза Аристотеля, изложенная им в сочинении «О небе». Великий мыслитель считал, что Земля окружена семью прозрачными обо-

лочками с закрепленными на них планетами. И на самой дальней оболочке — «на седьмом небе» — находятся звезды и Солнце.

Наивно? Бесспорно. Но не будем кичиться эрудицией. Немалый груз наивнейших представлений мы притащили и в 1963 год. Это в некоторой степени относится и к авторам книги при всех ее достоинствах.

Попробуем вместе с читателями решить «спор, уж взвешенный судьбою». Речь идет об одной из самых важных проблем космоса — о страшном космическом холоде. Так назвали его не мы. Эта сакраментальная фраза кочует по сотням учебников, научно-популярных книг и научно-фантастических произведений. Поэтому нас несколько не удивляет, что на странице девятой авторы пишут:

«Среднегодовая температура на Земле никогда не достигает нуля градусов, несмотря на то, что в окружающем ее мировом пространстве царит вечный мороз; представить который невозможно даже при наличии самой смелой фантазии. Во всяком случае он не поднимается выше... минуса двухсот градусов по Цельсию!»

Не будем придираться к тому, что у слова «минуса» последняя буква, пожалуй, лишняя. Это вопрос орфографический. Но в отношении необычайно низкой температуры космоса советская наука недавно внесла существенную поправку в ошибочные представления мировой науки: космос не вещество, а пространство, глубочайший вакуум, а поэтому он не имеет температуры.

После такого маленького уточнения можно продолжать путешествие по этой интересной книжке. Что ни страница — то наряду с некоторыми знакомыми понятиями все новые и новые сведения, своего рода «открытия» для многих читателей.

Есть страницы, где слишком явно виден школьный учебник физики. Однако их не так уж много. Вот интересный вопрос: сколько весит вся атмосфера? Правда, здесь вкрадлась погрешность, которую не заметили авторы и издательство. Напечатано цифрами 5 300 000 000 000 000 тонн, что означает 5,3 квадриллиона, но в скобках пояснено «5,3 миллиарда тонн». Погрешность получилась довольно существенная — в миллион раз.

Еще в морских рассказах прошлого века красочно описывалось, как моряки с тревогой следили за стремительным падением барометра. Норма — 760 миллиметров, но вот уже 740, 720, 710 миллиметров ртутного столба. Значит, близка беда. Не миновать кораблю страшного урагана... А какие из зарегистрированных крайностей наибольшие? Самое высокое давление воздуха нашей планеты было отмечено 23 января 1900 года. Правда, произошло это не среди просторов океана, а в Барнауле. Барометр показал 809 миллиметров. Дальше в книжке сообщается, что катастрофически низкое давление удалось зафиксировать именно там, где оно служит грозным признаком. В Китайском море 2 августа 1891 года оно равнялось всего 686 миллиметрам. Мировой рекорд! Правда, он не принес особых бед. Но рекорд ли? Вот сведения, которых нет в книжке. К востоку от Филиппинских островов 18 августа 1927 года судно, попавшее в центр тайфуна, отметило давление всего 665 миллиметров. Это было как раз под «глазом урагана» — голубым клочком неба, который появляется в центре тайфуна. Жаль, что авторы не воспользовались этими общедоступными данными из Большой Советской Энциклопедии, не говоря уже о специальных источниках.

В книге приведены интересные сведения о действии перемены давления воздуха на человеческий организм. Разве не удивительно, что человек может работать, хоть и не очень долго, при давлении в десять атмосфер? Ведь это давление в котле паровоза! Но страшнее недостаточно медленное понижение давления до обычной нормы. Тут происходит примерно то же, что с шампанским в момент удаления пробки. Из крови бурно выделяются пузырьки растворенного в ней воздуха. Они закупоривают кровеносные сосуды, разрываюи нежные ткани мозга. Человек умирает или становится инвалидом. Авторы сообщают, что

при бурении туннеля под Гудзоном «смертность рабочих достигала двух процентов в месяц, число инвалидов было значительно больше». Еще страшней получается годовой показатель. За год там погибала четверть всех рабочих, трудившихся в кессонах.

Мы знаем, что человек трудно переносит пониженное давление. Бывает, что у нетренированных альпинистов на высоте три с половиной — четыре километра начинается сильная одышка, головокружение и даже наступает обморок. Но это только у непривычных. В книге приводится пример, когда в горном селении на высоте 3700 метров местные мальчишки играли в футбол. В столице Боливии Ла-Пас некоторые жилые дома расположены на высоте 4100 метров над уровнем океана. А лыжная база этого города, высочайшая в мире, находится на высоте 5200 метров. Вершина Монблана, восхождение на которую раньше считалось чуть ли не подвигом, почти на четыреста метров ниже.

А спросите, кстати, у друзей, не слышали ли они о таком авиационном достижении — новейший самолет на высоте 4100 метров выключает двигатели и застывает в полной неподвижности? Пребывать в таком состоянии он может очень долго, так как это обычная стоянка на самом высокогорном в мире аэродроме в Боливии. Взлетая с него, самолетам приходится очень немного набирать высоту, а при посадке — снижаться. Но есть у этого аэродрома и существенный недостаток: большой самолет делает для взлета обычно пробег не больше двух километров. А на высокогорном аэродроме в Боливии воздух так разрежен, что самолету необходимо развить для взлета дополнительную скорость. И пришлось сделать пятикилометровую взлетную дорожку.

Не забыли авторы и такой интересный факт, как работа советских ученых на станции «Восток» в Антарктиде. Расположена эта станция на высоте 3420 метров. Но этот «самый южный» юг никак не назовешь привычным эпитетом «благословенный». В разгар южного лета там господствуют средние температуры в пределах 35—40 градусов холода. А зимой бывает вдвое холодней.

Последовательно развивается рассказ о свойствах воздуха, его составных частях. Многие **ли** знают, что всем известный кислород может быть превращен в черную кристаллическую массу, похожую на ком

дробленого антрацита? После обработки электрическими разрядами кислород перестраивает свои молекулы из двухатомных в трехатомные и становится озоном. Если же озон охладить до минус 251 градуса, он превращается в черные кристаллы.

Глава «Зеленый лист и атмосфера» рассказывает, к сожалению, мало нового. То, о чем в ней сообщается, есть как в сочинениях Климента Аркадьевича Тимирязева, так и в многочисленных «сочинениях о его сочинениях». Но вопрос о том, не уменьшается ли содержание кислорода в нашей атмосфере, не грозит ли человечеству в связи с этим «кислородный голод», бесспорно, заинтересует читателей. Промышленность, транспорт сжигают горы и озера твердого и жидкого топлива. Но, оказывается, воздух, случайно сохранившийся в сосудах, обнаруженных при раскопках Помпеи, был не богаче кислородом, чем нынешний воздух, взятый, конечно, не в «часы пик» на Бродвее или в центре столиц Франции и Англии.

А слышали ли читатели о таинственном газе геокоронии, открытом в 1919 году в спектре свечения ночного неба? История этого газа весьма занимательна. Сотни ученых старались разгадать его тайну, затратили на это много сил и времени. И оказалось, что это обычный кислород, молекулы которого под действием солнечных лучей разделились в верхних слоях атмосферы на атомы. Атомарный кислород!

Много полезного узнает читатель об азоте — о том, как его обрабатывают молнии, превращая в пищу растений. Не нужно, однако, огорчаться, прочитав, что такой же азот действует на Марсе уже не как друг, а как враг жизни: «Наличие на Марсе окислов азота исключает возможность существования жизни, так как большинство окислов азота ядовито». Утверждение категорическое. Но дальше следует смягчающая оговорка: «Очевидно, окончательное решение вопроса будет получено после тщательных спектроскопических проверок». Но нам к этому хочется добавить: подождем, что сообщат «Марс-1» и его преемники — автоматы, а за ними и космонавты. Ждать не так уж долго.

Интересны рассказы о «солнечном газе» гелии, о «благородном семействе», группе инертных газов — неоне, аргоне, криптоне и других, о первых упорных поисках и сегодняшнем применении этих газов вплоть до созданной советскими учеными самой мощной в мире электролампы, которая по силе света заменяет 25 тысяч обычных пятидесятиваттных лампочек.

С каждой страницей все больше весьма любопытных сведений о «чудесной незнакомке», какой оказалась окружающая и Землю, и любого из нас атмосфера. Сколько кубических километров испаряют в течение года океаны? А материки? Сколько воды хранится в «кладовых» Арктики и Антарктиды в виде вечных льдов? Где на Земле место, на которое в виде дождей обрушивается за год слой воды толщиной более двенадцати метров? А где дождь так редко бывает, что можно состариться, не увидев его ни разу?

А сколько воды зримо и незримо «висит» в атмосфере над каждым гектаром земной поверхности? Ответ изумляет: двести тонн!

Не удивительно ли, что жители Гибралтара пьют... туман, умываются туманом и даже белье им стирают. На скалах натянуты сетки, на которых конденсируется ночной туман и, стекая в трубы, поступает в городской водопровод.

Ценные сведения собраны авторами о пыли в атмосфере, о самом чистом и самом загрязненном воздухе, о губительном «смоге» — удушливом и ядовитом тумане над крупными городами капиталистических стран. Не забыли авторы об атомной радиации и даже о ракетном горючем.

Книга обогащает наше представление о воздушном океане. Конечно, кто-то заметит неточности, о которых мы упомянули, кто-то пожалует, что нет главы «Воздух работает» с описанием компрессоров и пневматического инструмента. Но как раз об этом и не нужно было писать, чтобы не повторять написанное многими.

«Пятый океан» — полезная и интересная книга.

Ю. МОРАЛЕВИЧ.

научный обозреватель АПН.

РАСПРОСТРАНТЕЛИ ОТРАВЫ

Б. С п и р у. Отравители. К истории развития современной буржуазной журналистики. Перевод с немецкого. Издательство ИМО. М. 1962. 336 стр.

«Э то неслыханный позор: причинить столько зла только для того, чтобы продавать больше газет».

Крик души, вырвавшийся у одного американского буржуазного журналиста много лет назад, должен в наши дни звучать воплем отчаяния в звериных дребнях капиталистической прессы. Социальное, моральное и политическое зло, творимое этой прессой, умножилось в геометрической прогрессии одновременно с ростом ее тиражей. Гниль и отбросы разносятся прессой в так называемом «свободном мире» во все более широких масштабах. Этот грязный товар украшается, упаковывается, наряжается с помощью новейших технических средств полиграфии. Распространителей отравы не только не привлекают к ответственности, но их щедро вознаграждают, окружают почетом.

У нас и в других социалистических странах о современной буржуазной прессе написано сравнительно немного книг. Их можно пересчитать по пальцам. И отрадно, что рецензируемый труд ставит целью широко показать историю развития и современное состояние буржуазной прессы вообще и буржуазной журналистики в особенности.

Это необъятная тема, даже если взять одну страну. Автор же весьма подробно анализирует и прессу Западной Германии (уделяя много внимания ее предшественнице — прессе веймарской, а затем гитлеровской Германии), и печать США, Англии, Франции. Он не проходит мимо специфических особенностей буржуазной журналистики каждой из этих стран, глубоко и обстоятельно прослеживая то общее, что объединяет и роднит все эти разнообразные рупоры «его препюхобя» капитала.

Перед читателем открывается обширная и весьма детализированная панорама. Правда, сразу же следует сказать, что некоторые факты, сообщаемые автором, уже устарели. Но это лишь подтверждает один из главных тезисов книги: «Не крупный

владелец газеты, а финансовый капитал как четко обрисованная социально-идеологическая категория определяет идеологическое, политическое и организаторское лицо прессы».

Не удивительно поэтому, что некоторые сведения о монополистических объединениях прессы в 1960 году оказываются сегодня историей. В первую очередь это относится к прессе Англии. Так, в группу Роттермира не входит концерт Сесилия Кинга «Дейли миррор». Напротив, издания самого Роттермира («Дейли мейл» и другие) оказались под угрозой поглощения их королем Флит-стрит — Сесилем Кингом. Газета «Ньюс кроникл» слилась не с «Дейли геральд», а исчезла бесследно в недрах газеты «Дейли мейл». В свою очередь «Дейли геральд» перешла к новому владельцу — тому же Сесилию Кингу. За последние три года в Англии вырос новый — и второй по величине после концерна Кинга — газетный осьминог в виде монополии Роя Томсона. Совершенно исчез со сцены концерт Одхемса.

Сегодня чересчур категорично звучат слова автора о том, что пресса Франции и ФРГ находится под сильнейшим американским влиянием в политической области. Нарастание противоречий внутри атлантического блока на почве межимпериалистической борьбы находит свое отражение и в поведении многих печатных органов монополий Франции и Западной Германии.

Автор дает глубокий марксистско-ленинский анализ антинародной, реакционной сущности современной буржуазной прессы — прессы концернов, показывает пути ее проникновения в среду трудящихся капиталистических стран.

Одни цифры тиражей крупнейших буржуазных газет говорят сами за себя. Например, воскресная «Ньюс оф уорлд» в Англии выходит тиражом в семь миллионов (на пятьдесят миллионов населения). Ее основное содержимое — секс и еще раз секс. Примерно десять — одиннадцать миллио-

нов граждан Западной Германии каждую неделю получают ту духовную пищу, которую готовит им в газетных котлах кухня Акселя Шпрингера...

Автор проводит мысль, что процесс монополизации в газетно-издательском деле — это прежде всего следствие последовательно осуществляемой тенденции современного капитализма «выдвигать на передний план... функцию обмана и одурманивания народных масс». Известны случаи, когда силы крупного капитала, отбрасывая коммерческие интересы, приходят на помощь тонущему в финансовом отношении буржуазному печатному органу, если он является для них важным в качестве эффективного идеологического средства воздействия на массы.

Показывая превращение либерально-буржуазной журналистики в фабрику бульварщины, дутых сенсаций и псевдо-развлекательности, автор совершенно верно замечает, что подобное культивирование антипатии к политике совершенно не случайно, оно преследует определенные классовые цели и задачи.

Важное вытесняется ничтожным, тривиальным. Мерилом является не правда, а привлекательная форма, рассчитанная на завлечение читателей в сети оглуляющей и растлевающей прессы. Броские заголовки, хлесткие выражения заменяют аргументы. Преувеличения, ошеломляющие детали, ложь применяются там, где «новостей» оказывается недостаточно. Читателей толкают в мир иллюзий, фантастических надежд, в мир мелкобуржуазного, мещанского бытия, замкнутого стенами «домашней крепости».

Классическими в этом отношении являются заповеди Херста. В 1927 году он рекомендовал своим репортерам: «Читатель интересуется прежде всего событиями, которые содержат элементы его собственной примитивной природы. Таковыми являются: 1) самосохранение, 2) любовь и размножение, 3) тщеславие. Материалы, содержащие один этот элемент, хороши. Если они содержат два этих элемента, то они лучше, но если они содержат все три элемента, то это первоклассный информационный

материал». Такое содержание вкладывал Херст в понятие «информации».

Достаточно взглянуть на любую буржуазную газету, издающуюся миллионными тиражами, чтобы убедиться, как точно она следует этим заповедям, строя на этом свое благополучие, отстаивая интересы породившего ее класса буржуазии, а следовательно, ведя непрерывную борьбу против интересов трудящихся.

Ее материалы не повышают моральный и интеллектуальный уровень читателей, а низводят их до положения бездумных и бессловесных созданий, которым изо дня в день под острым соусом сенсационного журнализма приправляется одно и то же тухлое идеологическое варево.

А как же обстоит дело с теми политическими материалами, которые занимают сравнительно небольшой удельный вес в желтой прессе?

Вот что писал в этой связи в 1957 году некий д-р Гейнц Бойерлейн в книге «Практический журнализм», изданной в Мюнхене: «...Чем отдаленнее и сложнее тема, чем дальше она от повседневного опыта читателя, тем более педантичная точность может отойти на задний план по сравнению с другими аспектами».

Сказано витиевато, но довольно ясно. Профессор Спиру отталкивается от этого «наставления», чтобы схватить за руку профессиональных клеветников и лицеов буржуазной прессы, специализирующихся из антикоммунистической, антисоветской пропаганде. Он мастерски показывает, как одна «большая», коренная ложь рождает тьму «малой» лжи и клеветы. «...Буржуазные идеологи, — пишет автор, — сосредоточивают свои усилия на том, чтобы «опровергнуть» марксизм-ленинизм и в первую очередь скомпрометировать в глазах масс марксистско-ленинскую теорию классов и классовой борьбы». И далее автор совершенно справедливо подчеркивает: «Эта коренная ложь и вытекающий из нее антикоммунизм американского толка составляют в настоящее время не только основное содержание, но и основную форму материалов всей капиталистической прессы Запада».

Если на Западе нет классов, нет и экс-

плуатации и нет классовой борьбы (как утверждает буржуазная пресса), то в стачках повинны «рука Москвы», «красные шпионы» и «пронски» собственных коммунистов. «Большая», коренная ложь порождает в бесчисленном количестве расистскую, антирабочую, антикоммунистическую и антисоветскую «малую» ложь.

В книге приводится любопытное высказывание маститого американского обозревателя Уолтера Липпмана — этого рупора дна-

сти Морганов: «Мнение масс приобретает в наш век все возрастающую власть. Оно проявляет себя опасной силой, определяющей решения, от которых зависит жизнь или смерть».

Тут не договорено: речь идет о «жизни или смерти» капитализма. В этом смысле весьма поучительна истинная суть современной буржуазной журналистики, вскрытая в книге профессора Спиру.

В. МАТВЕЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



АНАТОЛИЙ ИВАНСКИЙ. Книга в жизни молодого Ленина. Документальный очерк. Издательство «Знание». М. 1962. 40 стр. Цена 8 к.

Домашний учитель Владимира Ульянова В. А. Калашников вспоминал о своем ученике: «Он удивительно хорошо, сознательно читал. Это их семейная традиция. Родители подбирали книги и руководили чтением детей. Страсть к чтению у В. И. сохранилась до конца. Через чтение дети очень рано получили разнообразные знания и общее развитие».

Книги имели огромное значение в жизни В. И. Ленина. Любовь к ним Владимир Ульянов впитал с детства. В часы отдыха, дав детям вдоволь наиграться, Илья Николаевич приглашал их к себе в комнату, которую все в доме называли «научной». Здесь за книгами, наглядными пособиями по этнографии, географии и естествознанию проходили задумчивые беседы и споры.

Большим почетом в семье Ульяновых пользовались произведения Чернышевского, Добролюбова, Писарева и Герцена. С юных лет Владимир Ильич полюбил книги, в которых отобразались передовые идеи. Знакомство с «Капиталом» Маркса было для молодого Ленина величайшим открытием, помогло ему в поисках ответов на многие социально-экономические вопросы того времени.

Уже в четырнадцать лет Владимир Ильич хорошо знал классиков русской и зарубежной литературы, в шестнадцать принял за «Капитал» К. Маркса, а в двадцатилетнем возрасте перевел «Манифест Коммунистической партии».

О том, как книги формировали сознание Владимира Ульянова, какое огромное влияние оказали на него, и рассказывается в небольшом, но содержательном очерке Анатолия Иванского. Заканчивается он высказыванием ближайшего соратника Владимира Ильича Г. М. Кржижановского о том, что молодой Ленин был не только первоклассным знатоком нашей родной литературы и гениальных творений Маркса и Энгельса; это был «самостоятельный мыслитель, превосходно справляющийся с «первозданным» материалом искомых им научных истин».

Г. Трофимов.



ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ. Единственный путь. Перевод с испанского. Госполитиздат. М. 1962. 464 стр. Цена 83 к.

Помнится, строки из знаменитой светловской «Гренады» «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» приобрели в 1936 году совершенно новое звучание. Трудно было встретить в нашей стране человека, которого не волновала бы героическая борьба испанского народа, поднявшегося против врагов республики, против фашизма. Героическая летопись этой борьбы до сих пор сохраняет притягательную силу для новых и новых поколений читателей.

Но далеко не все из наших современников достаточно ясно и четко представляют себе всю сложность обстановки 1936—1939 годов в Испании, понимают причины поражения республиканцев; немногие знают в подробностях славный путь Коммунистической партии Испании. Вот почему с таким интересом встречена автобиографическая повесть Долорес Ибаррури — одного из организаторов, а ныне председателя героической партии испанских коммунистов.

В увлекательной форме, искренно и просто Пасонария рассказывает о своей жизни — жизни дочери и жены испанского шахтера, — о трудной, самоотверженной борьбе за свободу и счастье народа.

Читая книгу, еще отчетливее понимаешь, как неразрывно была связана судьба Испанской республики с судьбами народов всего мира. Немецкие и итальянские фашисты, которые в Испании «репетировали» массовые расстрелы беззащитных женщин и детей, вскоре развязали вторую мировую войну. Какими пророческими оказались слова Долорес Ибаррури, обращенные от имени ЦК Коммунистической партии Испании к демократическим странам: «Помогите нам помешать удушению демократии в Испании, ибо ее поражение неизбежно повлечет за собой развязывание мировой войны, которой мы все хотим избежать».

Более двадцати лет прошло со времени установления в Испании фашистского режима Франко. В стране беспробудно нищета и жестокий террор. Но непоколебимым оптимизмом звучат заключительные слова книги: «Молодежь Испании — наша надежда. И я уверена, что она пойдет, что она уже идет по единственному пути, превра-

шающему простых людей в героев, в строителей новой жизни и нового мира,— по пути борьбы за демократию, за мир, за социализм».

Л. Серебрянник.

★

Н. Н. ГОРСКИЙ. Вода — чудо природы. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 224 стр. Цена 34 к.

«Один мой знакомый, москвич, человек образованный,— рассказывает автор в предисловии,— узнав, что я пишу книгу о воде, слегка пожал плечами и заметил: «А что о ней можно написать? Отвернул кран водопровода — вот тебе и вода».

Оказалось, что о воде можно написать не просто полезную и интересную для каждого образованного читателя книгу, но, что еще важнее, книгу актуальную. Рассказывая, как вода — этот самый удивительный минерал — совершает великий круговорот, питая все живое, Н. Горский показывает, что людям грозит не недостаток воды, а нечто худшее — недостаток чистой воды. Сбрасывая губительные радиоактивные отходы в океаны и моря, империалистические атомщики «готовы смертельным ядом напоить Водохранилище планеты — Мировой океан».

В книге не так много страниц посвящено непосредственно этой проблеме. Но все описание вечного движения вод, жизни океана и его режима помогает осознать серьезность опасности, угрожающей человечеству. Ведь в океане нет обособленных районов. Вода, зараженная в одном районе, рано или поздно может появиться у других берегов. Еще быстрее радиоактивные вещества разносят растительные и животные организмы, населяющие океанские и морские пучины.

Только в 1946—1957 годах у берегов Калифорнии было сброшено в море более шестнадцати тысяч двухсотлитровых бочек с отходами низкой и средней радиоактивности. На морское дно близ Сан-Франциско сброшено десять тысяч бочек с общей радиоактивностью десять тысяч кюри...

Вода распределена на планете неравномерно, несправедливо. Но это не беда, как бы говорит автор. Воду можно перераспределить, удовлетворив потребности всех зон и всех народов. Но если водные источники, и в первую очередь океан, будут превращены в раствор радиоактивных отходов, нечего будет распределять.

Так, казалось бы, «нейтральная» научно-популярная тема обернулась злободневностью. Отметим, что книга сочетает научную достоверность с живостью изложения.

Мих. Цуни.

★

И. Г. ХОРБЕНКО. Звуки в морских глубинах. Воениздат. М. 1962. 76 стр. Цена 11 к.

Акустические приборы подводного флота все более полно возмещают неприспособленность человека к наблюдению и сигнализации под водой. Они обнаруживают подвод-

ные лодки противника, управляют движением подводных снарядов (торпед), обеспечивают связь с лодками, находящимися в подводном положении, и могут делать еще многое другое. Книга И. Г. Хорбенко в популярной форме относительно полно знакомит читателя с современным уровнем этого направления зарубежной военной техники и дает представление и об основных закономерностях распространения звуковой энергии под водой. Однако узко военная направленность книги не позволяет автору остановиться на другом — познавательном аспекте подводного распространения звука, к которому хотелось бы привлечь внимание широкого круга читателей.

Единственным видом энергии, который распространяется в воде на десятки, сотни, а в благоприятных условиях и на тысячи километров, является акустическая энергия — звуки, которые слышит и человеческое ухо, и специальные приборы.

Неверно представление об океане как о мире безмолвия. Он полон звуков. Это шум его постоянно волнующейся поверхности, шумы, свидетельствующие о малых и больших сейсмических возмущениях земной коры под ним, и наконец это многочисленные и разнообразные крики его обитателей — животных и рыб, которые отнюдь не немые. Изучение этих звуков может дать огромную информацию о жизни океана и его населения.

Применение гидроакустики — науки о распространении звуков под водой — позволило человеку составить карты рельефа морского дна, нанести на них подводные хребты и впадины, переоценить ряд представлений о геологическом прошлом Земли, разведать залежи нефти, скрытые морями. Человек научился с помощью звуковых приборов находить в глубинах океана скопления промысловых рыб, узнавать об угрозе прибрежных океанских наводнений, о страшных волнах цунами.

Дальнейшее развитие гидроакустики — этого мостика, который человечество перекинуло в мир морских глубин, — несомненно, принесет новые открытия и достижения в науке, военном деле, судоходстве и рыбном промысле.

И. Андреева,

кандидат технических наук.

★

Ю. ЮЗОВСКИЙ. Мы с Наташей плывем по Волге. «Советский писатель». М. 1962. 314 стр. Цена 45 к.

Маршрут, по которому отправился Ю. Юзовский в плавание по Волге, был нехитрый: Москва — Астрахань — Москва. Двадцать дней провел критик среди различных людей, со многими перезнакомился, с кем-то, видно, сдружился; осматривал по пути, как положено, города, заходил в музеи, участвовал в экскурсиях. И обо всем, что увидел, услышал, узнал, передумал за это путешествие, написал, не мудрствуя лу-

каво, в традиционной форме лирических путевых очерков.

Может быть, покажется несколько неожиданным, что театральный критик вдруг написал очерки? Но есть, очевидно, в этом жанре нечто такое, что делает его в настоящее время особо привлекательным не только для очеркистов-профессионалов. Надо думать, что эта форма, сочетая в себе элементы описательный, лирический и публицистический, дает широкие возможности и для изображения каких-то сторон жизни, и для выражения личности самого писателя, его видения мира, его отношения к общественным проблемам своего времени.

О многих людях рассказал нам автор. И будь это история любознательной старой учительницы Веры Пегровны или даже безнадежно грустная новелла о милой Анне, которая так и не нашла счастья после гибели любимого на войне, — мы чувствуем: людей автор книги уважает и любит; он умеет найти самое хорошее и интересное в каждом из них. И, естественно, он резко осуждает все, что мешает им жить радостно и полно. Отсюда сатирическая струя в этой доброй книге.

Книге Ю. Юзовского присущи живость и яркость изложения. Множество вставных рассказов, отступлений, обращений автора к читателям, к героям, повествования, обилие этих героев, разнообразие авторских интонаций — все это могло бы очень «утяжелить» книгу, если бы не четкость и внутренняя логика развития мысли.

М. Блинкова.

★

НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ. Думы и воспоминания. «Советский писатель». М. 1962. 96 стр. Цена 9 к.

Кажется, если есть в литературе нечто несовместимое, так это стихи и мемуары. Но нет. Воистину все доступно поэзии. Нашлось место и для мемуарной лирики.

Этот лирик-мемуарист — поэт Надежда Павлович. Кроме того, она и критик, и знаток литературы; но в книжке, о которой сейчас речь, она предстает лишь в первом из названных своих качеств.

Конечно, в сборнике — не только воспоминания в стихах. Здесь, так сказать, и лирика как таковая, безотносительно к литературной истории. Как поэт Н. Павлович тяготеет к классической школе стиха, к поэзии высокого и мечтательного склада чувств. Но и эти «самостоятельные» стихи все-таки явно связаны с тем, о чем сказано вначале.

Поэту и другу Александру Блоку Н. Павлович посвящает довольно большую лирическую поэму; она открывает сборник и представляет, собственно, основной интерес его. Трагический образ Блока предстает в мировосприятии восторженной, чуткой, немного экзальтированной девушки. «Блоковские» мотивы, образы, строй стиха сочета-

ются с рассказом о самом Блоке, наполненным точными мемуарными деталями.

Но в этой книге — не только о Блоке; тут и о Маяковском, и о Есенине, и о Горьком, и об Ахматовой; и миниатюрный лирический портрет Брюсова. И удивительное дело: каждый раз Н. Павлович, оставаясь собой, в то же время перевоплощается отчасти и в своего «героя», как бы напоминая его стих, его интонацию.

Сборник «Думы и воспоминания» Н. Павлович и поэтически и познавательно интересен для всякого, кто любит поэзию.

В. Гусев.

★

АЛЕКСАНДР ИВИЧ. Приключения изобретений Детгиз. М. 1962. 240 стр. Цена 50 к.

Кто изобрел паровоз?

— Знаем, знаем! — скажет читатель. — Стефенсон!

— А вот неверно, — возражает автор книги. — Первый паровоз построил Тревентик...

Автор не ставит своей целью удивить неожиданностью сведений, не гонится за сенсационностью сообщений. Все же странички его книги вызывают чувство необычности, какое бывает лишь при знакомстве с чем-то особенно интересным, новым.

И это тем более ценно, что большинство героев рассказов А. Ивича общеизвестны. Ведь имена Гутенберга, Ползунова, братьев Райт, Эдисона и других выдающихся изобретателей знакомы нам еще со школьной скамьи.

Почему же теперь мы бросаем на них свежий, любопытствующий взгляд?

Дело не только в том, что кладовые нашей памяти далеко не все хранят надежно и прочно, отчего некоторые живые подробности стираются, исчезают бесследно. Многие, что прежде было загадочным, ныне стало достоянием науки.

Возможно, читатель забыл или не ведал, что первый двигатель внутреннего сгорания изобрел бывший официант ресторана Лемуар, а затем конструкцию этого двигателя улучшил простой конторщик техник-самоучка Отто. А разве не любопытно узнать, как была найдена более совершенная форма гребного винта? Сначала лопасти винта делали очень длинными, все же пароходы ходили слишком медленно. Но однажды один из таких тихоходов, сев на мель, обломил лопасти, после чего пошел гораздо быстрее.

Книга рассказывает, как сбывались дерзкие мечты человечества и как самые смелые полеты фантазии становились действительностью.

Говоря об изобретениях и изобретателях, А. Ивич делится своими размышлениями. В этой «философичности» — особая привлекательность книги. Как поучительна, например, судьба паровоза! Автомобиль, оказавшись, появился на свет почти на шестьдесят лет раньше своего могучего стального собрата. Первый автомобиль с

паровым двигателем даже по бездорожью развивал невиданную по тому времени скорость — около двадцати пяти километров в час. Однако безрельсовый транспорт надолго уступил пальму первенства железнодорожному. А по прошествии десятилетий, уже на чаших глазах, достигший технического совершенства паровоз кончает свой век, и наступило торжество все более модернизирующегося автомобиля.

Почему так случилось? На это, как и на многие другие подобного рода вопросы, дает содержательные ответы книга А. Ивича.

А. Таланов.

★

В. Г. БЕЛИНСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. Гослитиздат. М. 1962. 760 стр. Цена 1 р. 24 к.

После смерти Белинского Тургенев назвал его «центральной натурой», которая всем существом своим стоит «близко к сердцевине своего народа».

Составители сборника А. А. Козловский и К. И. Тюнькин постарались подобрать те воспоминания, которые ярче всего характеризовали бы четырнадцатилетний период творческой деятельности критика, ставшего своеобразным центром, вокруг которого формировались, росли и набирали силы Тургенев, Достоевский, Гончаров, Некрасов и многие другие литераторы.

Воспоминания, как и письма, почти всегда пристрастны. Человек рисует портрет своего современника, а мы невольно видим перед собой двух людей — и героя воспоминаний, и их автора. Автор «высвечивает» какие-то одни — близкие или же, наоборот, чуждые ему — черты своего героя. Скажем, Белинский глазами Кавелина («благородный мученик либерализма», — как писал Кавелин Грановскому 5 сентября 1848 года) и Белинский в восприятии Герцена — во многом разные люди.

Шестидесятые годы, когда в основном и написана большая часть воспоминаний, развели друзей Белинского по разным лагерям. И только умный подбор воспоминаний и правильная последовательность их позволит читателю представить себе Белинского как живое лицо, увидеть его духовный портрет. Составители с этой задачей справились.

В сборнике представлены как самостоятельные воспоминания о Белинском, так и отрывки из «Литературных воспоминаний», посвященных критике, — Лажечникова, Константина Аксакова, Герцена, Кавелина, Панаева, Панаевой, Анненкова, Тургенева, Достоевского, Гончарова и других.

Полезна будет для читателя вступительная статья К. Тюнькина, в которой дается не только разбор воспоминаний отдельных лиц, но и да» наш сегодняшний взгляд на тридцатые — сороковые годы, на жизнь и творческую деятельность Белинского, бывшего, по словам Ленина, «еще при крепост-

ном праве» «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении».

Б. Яранцев.

★

Н. Н. АРДЕНС (Н. АПОСТОЛОВ). Творческий путь Л. Н. Толстого. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 680 стр. Цена 2 р. 5 к.

Капитальный труд старейшего исследователя творчества Толстого Н. Н. Арденса (Н. Апостолова), являющийся итогом его почти полувековой научной деятельности, — заметное явление в обширной литературе о великом писателе. Н. Н. Арденс в своем вводном слове предупреждает читателя, что он не стремился к «новациям», к оригинальности концепций, к какому-то новому прочтению толстовских произведений. По его собственному признанию, он «шел в известной мере по проторенным дорогам, лишь далее развивая или укрепляя выявившиеся бесспорные положения». Скажем прямо, что не все бесспорные положения, которым следует автор книги, столь уж бесспорны. Например, вряд ли правомерно истолковывать творчество молодого Толстого только как обличительное и ангидворянское, сближать его с революционно-демократическим искусством. Можно оспаривать и некоторые другие кажущиеся автору «бесспорными» положения. Но не это, в сущности, определяет значение рецензируемого труда.

Книга интересна тем, с какой тщательностью автор исследует наиболее значительные произведения Толстого. Он подробно останавливается на обстоятельствах, сопутствовавших рождению того или иного художественного замысла, внимательно читывается в черновые варианты.

Исследователь проявляет пристальный интерес к творчеству Толстого-художника. И с этой стороны автором сделано много заслуживающих внимания наблюдений, особенно в главах, посвященных «Анне Карениной», «Воскресению», «Хаджи-Мурату».

Н. Н. Арденс начал свою исследовательскую работу тогда, когда еще были живы члены семьи Толстого, с которыми он имел возможность общаться, узнать от них новые весьма любопытные подробности о писателе. В книге читатель найдет несколько писем С. А. Толстой и Т. А. Кузминской к Н. Н. Арденсу, познакомится с некоторыми записанными автором книги устными их высказываниями. Так, например, не лишен интереса записанный со слов жены Толстого рассказ о том, как автор «Войны и мира», «возвращаясь от какой-то высокопоставленной дамы, у которой бывала вся «знать» и которая всем расточала салонные любезности с неперменными «мон шер» и «ма шер», смеясь, говорит, что его важная собеседница становится все «шерее» и «шерее». Здесь Софья Андреевна находит ключ к разгадке происхождения фамилии и вообще образа Анны Павловны Шерер.

Книга завершается большим разделом о влиянии Толстого на русскую и зарубежную литературу. В этом разделе собран материал о литературных связях и взаимоотношениях Толстого с его современниками — Чеховым, Гаршиным, Лесковым, Эртелем, Л. Андреевым и другими. Главы, посвященные связям Толстого с зарубежными писателями, в большой мере повторяют то, что уже было установлено Т. Л. Мотылевой в ее работе о мировом значении Л. Н. Толстого. Поэтому нас удивило отсутствие ссылки на эту работу в книге ученого, весьма щепетильного во всех других случаях.

С. Розанова.

★

Т. ТРИФОНОВА. Литература и современность. Статьи. «Советский писатель». М. 1962. 352 стр. Цена 86 к.

Вчерашние журнальные и газетные статьи, ставшие книгой критика, — своего рода дневник времени. В ряду многих таких сборников, появившихся за последний год, стоит и книга, написанная нашим ушедшим товарищем Тamarой Казимировной Трифоновой.

Быстро бежит время — споры, вчера еще казавшиеся такими важными, сегодня за-

бываются, становятся историей литературы. Но остаются хорошие книги, которые вызвали споры. Так, остался, например, «Сентиментальный роман» В. Пановой. Стоит вспомнить, что в жарких схватках вокруг этой книги Т. Трифонова была одной из первых, кто справедливо оценил эту вещь. И сегодня актуальна полемика Трифоновой с вульгаризаторами, ее борьба за широту против узости, за многообразие против схематизма и сектантства.

Справедливы жалобы на критику; все еще невелик круг охватываемых ею явлений, все еще много книг не находит никакого отклика. А ведь за каждой книгой — живые люди, и те, кто пишет, и те, для кого пишут. Т. Трифонова была очень жадным читателем, на страницах ее сборника — сотни названий: и подробно рассмотренных книг, и лишь упомянутых. Она была доброжелательным критиком, особенно к молодым литераторам.

Был бы жив автор сборника, можно было бы с ним поспорить, спросить, почему сборник оказался неполным? Почему, например, в него не вошла хорошая статья о книге Луи Арагона «Советские литературы»? Очень горько, что ответить на эти вопросы некому.

Р. Орлова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. В пятом году семилетки возьмем новые рубежи в развитии сельского хозяйства. Речь на совещании секретарей партийных комитетов и начальников производственных колхозно-совхозных управлений Российской Федерации. 13 марта 1963 года. 48 стр. Цена 5 к.

А. Аглин. Будни и битвы Бразилии. 128 стр. Цена 16 к.

В. В. Александров. Международное рабочее движение в эпоху империализма (1900—1914 гг.). II Интернационал. Образование в России революционной рабочей партии нового типа. 80 стр. Цена 10 к.

Август Бебель. Из моей жизни. 800 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. С. Галкин. I Интернационал. Парижская коммуна. 80 стр. Цена 10 к.

И. К. Гамбург, П. Е. Хорошилов, Г. А. Санович, М. Э. Струве, Г. А. Брагилевский, М. В. Фрунзе. Жизнь и деятельность. 352 стр. Цена 60 к.

Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866—1868. Протоколы. 360 стр. Цена 80 к.

XII съезд Коммунистической партии Чили (Сант-Яго, 13—18 марта 1962 года). 184 стр. Цена 20 к.

X съезд Прогрессивной партии трудового народа Кипра (г. Никозия, 8—11 марта 1962 года). 104 стр. Цена 15 к.

Документы внешней политики СССР. Том седьмой. 1 января—31 декабря 1924 года. 760 стр. Цена 1 р. 50 к.

Олесь Донченко. Лукня. Антирелигиозная повесть. 208 стр. Цена 30 к.

В. Дробинев, Н. Думова, В. Я. Чубарь. Биографический очерк. 72 стр. Цена 10 к.

Тодор Живков. Отчетный доклад Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии VIII съезду партии. 192 стр. Цена 25 к.

Из истории создания партии нового типа. Доклад большевиков международному социалистическому конгрессу в 1904 г. 112 стр. Цена 13 к.

Янош Надар. Отчетный доклад Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии VIII съезду партии. 80 стр. Цена 10 к.

Евгений Карасийчук. Спасибо тебе, человек. 96 стр. Цена 11 к.

В. Н. Комаров. Космос, бог и вечность мира. 216 стр. Цена 30 к.

В. Морев. Пентагон. Заметки советского журналиста. 160 стр. Цена 17 к.

Михай Новиков. Конец Дофтань. Рассказ бывшего политзаключенного. 152 стр. Цена 18 к.

Антонин Новотный. Отчетный доклад Центрального Комитета XII съезду Коммунистической партии Чехословакии о деятельности партии и главных направлениях дальнейшего развития нашего социалистического общества. 4 декабря 1962 года. 112 стр. Цена 11 к.

О коммунизме. Книга для чтения. 560 стр. Цена 1 р.

Партия большевиков в годы мировой империалистической войны. Вторая революция в России (1914 год — февраль 1917 года). Документы и материалы. 456 стр. Цена 80 к.

**Партия — вдохновитель и организатор раз-
вернутого строительства коммунистического
общества (1959—1961 годы).** Документы и
материалы. 599 стр. Цена 1 р.

Принципы твоей жизни (Беседы о мораль-
ном кодексе строителя коммунизма). 136 стр.
Цена 15 к.

СОЦЭНГИЗ

М. Букин, П. Биргер. Крупнейшая в мире.
К истории создания Волжской ГЭС имени
XXII съезда КПСС. 229 стр. Цена 59 к.

А. А. Введенский. Дом Строгановых.
308 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Древнеиндийская философия (Начальный
период).** 272 стр. Цена 99 к.

Очерки истории Бразилии. 569 стр. Це-
на 1 р. 72 к.

**Проблемы безработицы в период общего
кризиса капитализма.** 340 стр. Цена 37 к.

А. С. Протопопов. Внешняя политика Ита-
лии после второй мировой войны. Краткий
очерк. 318 стр. Цена 88 к.

С. Д. Черемушкин. Теория и практика эконо-
мической оценки земли. 279 стр. Це-
на 88 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Залыгин. Тропы Алтая. Роман. 432 стр.
Цена 73 к.

В. Кирпотин. Пафос будущего. Литератур-
но-критические статьи. 380 стр. Цена 88 к.

В. Лифшиц. Клюква в сахаре. Сатириче-
ские и юмористические стихи, рассказы, па-
родии. 120 стр. Цена 18 к.

М. Лобанов. Время врывается в книги.
180 стр. Цена 35 к.

Панахи Макулу, Саттар-хан. Роман в двух
книгах. Перевод с азербайджанского. Кни-
га 1. 644 стр. Цена 1 р. 6 к. Книга 2. 560 стр.
Цена 92 к.

С. Снегов. В поисках пути. Повести. 344 стр.
Цена 62 к.

А. Солженицын. Один день Ивана Денисо-
вича. Повесть. 144 стр. Цена 19 к.

У подножия Памира. Очерки. Перевод с
таджикского. 240 стр. Цена 44 к.

М. Храпченко. Лев Толстой как художник.
664 стр. Цена 1 р. 65 к.

Б. Ямпольский. Молодой человек. Повесть.
284 стр. Цена 40 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Была темная ночь. Рассказы португаль-
ских писателей. Перевод с португальского.
319 стр. Цена 95 к.

Решад Нури Гюнтекин. Зеленая ночь. Ро-
ман. Перевод с турецкого. 255 стр. Це-
на 67 к.

С. Елпатьевский. Крутые горы. Рассказы
о прошлом. 239 стр. Цена 52 к.

Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы.
206 стр. Цена 43 к.

Лайош Надь. Новеллы. Перевод с венгер-
ского. 294 стр. Цена 48 к.

Публий Овидий Назон. Любовные элегии.
203 стр. Цена 1 р. 20 к.

Чезар Петреску. Крушение. Роман. Пере-
вод с румынского. 678 стр. Цена 1 р. 23 к.

Хосе Рисаль. Не прикасайся ко мне. Ро-
ман. Перевод с испанского. 463 стр. Це-
на 92 к.

Михаил Садовяну. Место, где ничего не произошло... Повести и рассказы. Перевод с румынского. 471 стр. Цена 81 к.
 Хафиз. Лирика. Перевод с фарси. 223 стр. Цена 12 к.
 Ф. П. Шиллер. Генрих Гейне. 367 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Алдан-Семенов. Черский. 224 стр. Цена 48 к.
 Знакомство. Сборник стихов. 240 стр. Цена 49 к.
 Николай Корнеев. Моя подорожная. Стихи. 128 стр. Цена 16 к.
 Мих. Коршунов. Рисунок с природы. Рассказы. 192 стр. Цена 38 к.
 Аллен Преву. Безвестные герои. Роман. Перевод с французского. 222 стр. Цена 58 к.
 Борис Ручьев. Любава. Поэма. 96 стр. Цена 31 к.
 Сергей Сартаков. Ледяной клад. Роман. 512 стр. Цена 95 к.
 С. С. Смирнов. Рассказы о неизвестных героях. 224 стр. Цена 49 к.
 Николай Соколов. Март. Стихи. Поэма. 160 стр. Цена 36 к.
 Ольга Фокина. Сыр-бор. Лирика. 128 стр. Цена 31 к.
 Анатолий Чехов. Пять шагов до горизонта. Повесть. 208 стр. Цена 47 к.
 Алексей Шмаринов. От Рима до Флоренции. Книга-альбом. 88 стр. Цена 47 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. О. Богуславский, В. А. Диев. Русская советская драматургия. Основные проблемы развития. 1917—1935. 376 стр. Цена 1 р. 93 к.
 О. Н. Веселовский. Доливо-Добровольский. 1862—1919 гг. 87 стр. Цена 14 к.
 Я. Э. Голосовнер. Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». 103 стр. Цена 21 к.
 М. С. Горячина. Сатира Лескова. 232 стр. Цена 48 к.
 В. П. Зенкович. На рубежах земли и моря. Записки исследователя. 220 стр. Цена 34 к.
 А. М. Кузин. Радиационная биохимия. 336 стр. Цена 72 к.
 Литературное наследство. Том 7. М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. 736 стр. Цена 3 р.
 Очерки истории математики и механики. Сборник статей. 272 стр. Цена 1 р. 26 к.
 М. М. Плисецкий. Взаимосвязи русского и украинского героического эпоса. 448 стр. Цена 1 р. 96 к.
 Н. А. Смирнов. Мюридизм на Кавказе. 244 стр. Цена 75 к.
 В. Ю. Урбах. Математическая статистика для биологов и медиков. 324 стр. Цена 1 р. 27 к.
 Французский ежегодник 1961 г. Статьи и материалы по истории Франции. 540 стр. Цена 3 р. 5 к.
 Экономическое сотрудничество и взаимопомощь социалистических стран. 275 стр. Цена 1 р. 6 к.
 Т. Якимович. Французский реалистический очерк 1830—1848 гг. 319 стр. Цена 1 р. 14 к.
 А. В. Яроцкий. Павел Львович Шиллинг (1786—1837). 184 стр. Цена 67 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Я. Архипов. Индонезия в борьбе за экономическую самостоятельность. 77 стр. Цена 20 к.

Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты (Древнеиндийский эпос). 199 стр. Цена 40 к.
 М. А. Поповский. Судьба доктора Хавкина. 130 стр. Цена 42 к.
 Современная историография стран зарубежного Востока. Китай. 239 стр. Цена 1 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Боттичелли. Сборник материалов о творчестве. Перевод с французского, английского и итальянского. 99 стр.+ иллюстрации. Цена 3 р. 16 к.
 В тени Балкан. Рассказы болгарских писателей. Перевод с болгарского. 582 стр. Цена 1 р. 71 к.
 Дайсон и Шарлотта Картер. Будущее свободы. Перевод с английского. 300 стр. Цена 56 к.
 Роберт С. Клоуз. Элиза Каллаган. Роман. Перевод с английского. 299 стр. Цена 94 к.
 Димфна Кюасан. Жаркое лето в Берлине. Роман. Перевод с английского. 263 стр. Цена 68 к.
 Игорь Неверли. Лесное море. Роман. Перевод с польского. 538 стр. Цена 1 р. 68 к.
 Ежи Путрамент. Рассказы. Перевод с польского. 104 стр. Цена 27 к.
 Рапальский договор и проблема мирного сосуществования. 292 стр. Цена 72 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Расул Гамзатов. Горняк. Поэма. 232 стр. Цена 57 к.
 Государство — это мы. 80 стр. Цена 9 к.
 Мстислав Левашев. Под крылом — тайга. Стихи. 128 стр. Цена 16 к.
 В. Л. Лидин. Шум дождя. Рассказы. 128 стр. Цена 16 к.
 А. Мигунов. Источник радости и вдохновения. Литературно-критические статьи. 104 стр. Цена 15 к.
 На сатирической орбите. Сборник. 168 стр. Цена 35 к.
 Владимир Попов. Счастье трудных дорог. 160 стр. Цена 26 к.
 Рубежи России. 288 стр. Цена 41 к.
 С. Савин, Г. Тарасов. За Байкалом. 200 стр. Цена 29 к.
 Арнадий Славутский. Горячее дыхание. 252 стр. Цена 66 к.
 Алексей Талвир. Живая ветка. Повесть. 376 стр. Цена 74 к.
 П. Ф. Юдин. Беседы о коммунизме. 72 стр. Цена 6 к.

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Демченко. Повесть о настоящей любви. 380 стр. Цена 74 к.
 П. Старцев. Весной. Рассказы. 112 стр. Цена 17 к.

ПРИМОРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Бирюлин. Море и звезды. Фантастический роман. 310 стр. Цена 49 к.
 А. Макаров, А. Демьянчук. 30 лет на боевом посту. 128 стр. Цена 35 к.
 Н. Павлов. 500 дней в океане. Записки моряка. 160 стр. Цена 23 к.
 О. Щербановский. Море зовет отважных. Документальная повесть. 120 стр. Цена 20 к.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ВЕРШИГОРА

Скончался Петр Петрович Вершигора — замечательный советский писатель, прославленный партизан, герой Отечественной войны. Смерть Петра Петровича, близкого друга нашего журнала, отозвалась в наших сердцах острой болью.

Петр Петрович прожил жизнь, которую можно поставить в образец. Он был наделен не одним, а многими талантами — талантом военачальника, талантом писателя, кинорежиссера. Обаяние его личности было покоряющим. Все, кто знал Петра Петровича, глубоко скорбят о его смерти. Эту скорбь разделяют с нами и наши читатели.

РЕДКОЛЛЕГИЯ И
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ «НОВОГО МИРА»

Человек с чистой совестью

Двадцать седьмого марта на своей родине в Молдавии умер замечательный человек, человек с чистой совестью, воин-герой, большой писатель Петр Петрович Вершигора.

Он совершил много героических походов, завершил много талантливых трудов.

Я хорошо узнал Петра Петровича и познакомился с ним во время войны. Он ушел на нее добровольцем. Был ранен, попал в окружение, из вражеского тыла прорвался к своим частям, но после госпиталя снова ушел в глубокий тыл врага командиром войсковой разведки. Осенью 1942 года в Брянских лесах он вместе со своей группой присоединился к партизанским отрядам Ковпака и стал заместителем командира соединения по разведке. Вместе с ковпаковцами Вершигора совершил знаменитые рейды от Брянских лесов за Днепр, на Киев, на Карпаты. В конце 1943 года Петр Петрович возглавил 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени Ковпака. Особенно ярко раскрылся военный талант Вершигоры во время похода этой дивизии на Сан и Вислу. За выдающиеся боевые успехи в этом рейде генералу Вершигоре было присвоено звание Героя Советского Союза.

После победы над фашизмом партизанский генерал Вершигора полностью посвятил себя литературной работе. Вскоре вышла в свет героическая эпопея «Люди с чистой совестью», ставшая одним из популярнейших произведений послевоенной советской литературы. А писать эту книгу Петр Петрович начал еще задолго до конца войны, в дни великих походов.

Мы подружился с Петром Петровичем, как говорится, с первой встречи. Приземистый, широкий, бородатый, с хитровой детской

улыбкой, он внешне мало походил на боевого командира. На стоянках он обычно лежал на своем широком возу, перерывая кучи документов и фотогографий, доставленных разведчиками. Но на марше Вершигора преобразался: на своей маленькой юркой лошадке он внезапно появлялся из темноты то в одном, то в другом отряде, иногда на целые ночи уходил по одному ему известным маршрутам. Петр Петрович был по-солдатски удивительно храбрым человеком. Нельзя сказать, чтобы к смерти он относился безразлично, но почти всегда случалось так, что он оказывался в самой гуще боя и, казалось, только чудом оставался невредим.

Обладая прекрасной памятью и наблюдательностью писателя, Вершигора накопил огромный материал о героике партизанской жизни. Это выливалось у него в отдельные яркие новеллы, которые он с охотой рассказывал нам. В этих новеллах действовал один общий герой — потомок запорожских казаков, наделенный исключительной храбростью и неистощимым народным юмором. Но, живя и борясь бок о бок с реальными героями, своими друзьями-партизанами, переживая боль утраты близких ему людей, Петр Петрович изменил свой первоначальный замысел. Он сделал героями своей книги людей с чистой совестью, оставив им настоящие их имена. Он не раз говорил мне, что хочет создать книгу-памятник живым и мертвым народным мстителям Украины. И эту мечту Вершигора осуществил.

После «Людей с чистой совестью» Петр Петрович написал новые книги о партизанах: «Карпатский рейд», «Рейд на Сан и Вислу», роман «Дом родной», «Невыдуманные приключения» и широкий исторический труд «Военное творчество народных масс». Петр Петрович был глубоко мыслящим человеком, страстно реагиовавшим на все происходившее вокруг.

Петр Петрович Вершигора был верным и бесстрашным другом. В первые послевоенные годы, когда многие бывшие партизаны подвергались тяжелым обвинениям, а иногда и репрессиям, он делал все, что было в его силах, чтобы восстановить правду и спасти честь невиновных людей.

Петр Петрович Вершигора был героем, коммунистом, большим художником. Он навсегда останется в памяти народа как человек с чистой совестью.

ПЛАТОН ВОРОНЬКО.

Главный редактор **А. Т. Твардовский.**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин.**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.
Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 8/II 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/IV 1963 г.
А 01966. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л.
Зак. 290. Тираж 113.800.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636